

ЮРИЙ
ДРУЖНИКОВ

3

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

3



Юрий Дружников
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том 3



YURI DRUZHNIKOV

**Collected Works
in Six Volumes**

Volume Three

Prisoner of Russia

**Baltimore
1998**

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ

**Собрание сочинений
в шести томах**

Том третий

Узник России

**Балтимор
1998**

YURI DRUZHNIKOV
COLLECTED WORKS IN SIX VOLUMES

Volume Three

Russian edition

Copyright © Yuri Druzhnikov
All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Druzhnikov, Yuri, 1933 — Collected Works in Six Volumes
Sobranie sochinenii v shesti tomakh / Yuri Druzhnikov

Volume One. Micronovels and Short Stories.
Volume Two. Angels on the Head of a Pin.
Volume Three. Prisoner of Russia (Pushkin).
Volume Four. Literary Criticism. Informer 001.
Volume Five. Prose and Plays for Children.
Volume Six. Essays. Memoirs.
p. cm.

Includes an Introduction (Volume One), bibliographical references and index.

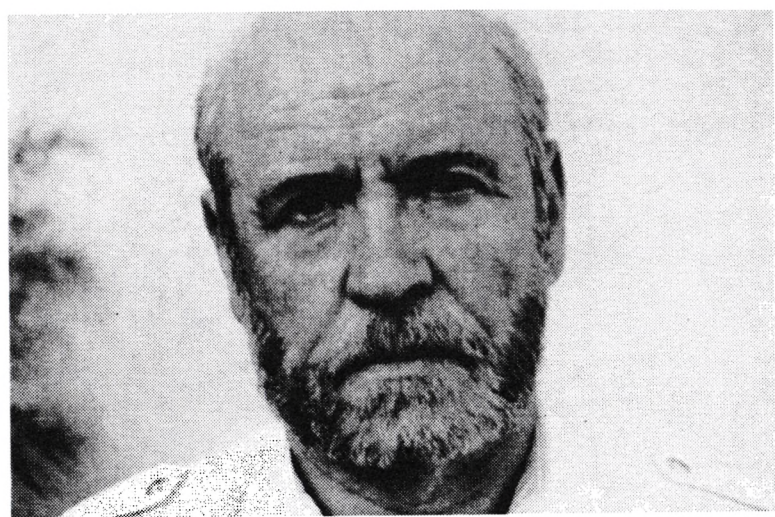
ISBN 1-885563-16-7 (set)
ISBN 1-885563-12-4 (v.3)

1. Russian literature—Fiction. 2. Russia—XIX—XX century History.
3. Russian writers—Literary criticism.
I. Title. II. Title: Sobranie Sochinenii.

PC3350.5.J681D78 1998
891.71'44--dc20 98-60549
CIP

Published by VIA Press
6100 Park Heights Ave
Baltimore, MD 21215
tel.(410) 358-0900

Manufactured in the United States of America



УЗНИК РОССИИ

По следам неизвестного Пушкина

Роман–исследование

Хроника первая

**ИЗГНАННИК
САМОВОЛЬНЫЙ**

Читатель Императорского Высочайшего Училища
 Березовский Григорий. № 11
 читатель Императорского Высочайшего Училища
 Александровский ^{Капелла} 1817 Июня 14
 Читатель Императорского Высочайшего Училища
 Вильгельм Карлов Кюхельбекер
 Июня 14 ²⁰ 1817 года
 читатель Императорского Высочайшего Училища
 Горчаковъ Июня 14 ²⁰ 1817.
 Читатель Императорского Высочайшего Училища
 Сергий Лавриновичъ Июня 14 ²⁰ 1817 года.
 Читатель 10-го класса Александръ
 Пушкинъ, 1817 года 10

Читатель 10-го класса Александръ Пушкинъ, 1817 июня 15.

Расписка под присягой об ответственности за неразглашение государственной тайны, данная при поступлении на службу в Министерство иностранных дел. Среди других на этой странице архивного документа подписи Александра Грибоедова, Вильгельма Кюхельбекера, Александра Горчакова.

Глава первая

ПУШКИН СОБИРАЕТСЯ ЗА ГРАНИЦУ

*Краев чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель...*

30 ноября 1817 (1.281).

Летним вечером 1817 года в Петербурге маститый поэт и будущий переводчик на русский язык Гомеровской «Илиады» Николай Гнедич познакомил в театральном антракте двух поэтов. Один из них, Павел Катенин, был гвардейским офицером, дослужившимся через три года до полковника, и драматургом. Другой... Этот другой был молодым человеком, шедшим вместе с Гнедичем. «Вы его знаете по таланту, – представил Гнедич Катенину другого поэта, – это лицейский Пушкин».¹ На самом деле Пушкин уже получил чин 10-го класса, то есть коллежского секретаря, и был зачислен на службу в Министерство иностранных дел. Гнедич, конечно, это знал, а «лицейский» означало «тот самый, который был в лицее».

По-видимому, разговор между ними пошел о продолжении знакомства, но выяснилось, что это сейчас невозможно. «Я сказал новому знакомому, – пишет в воспоминаниях Катенин, – что, к сожалению, послезавтра выступаю в поход, в Москву, куда шли тогда первые батальоны гвардейских полков; Пушкин отвечал, что и он вскоре отъезжает в чужие

краи; мы пожелали друг другу счастливого пути и разошлись».²

Сомневаться в том, что Катенин запомнил слова Пушкина, не приходится. Исследователи не раз убеждались в достоверности его мемуаров. Авторитетным свидетелем называет его Ю.Лотман.³ Катенин не указывает даты знакомства, но, скорей всего, Пушкин сказал ему, что уезжает, 27 августа на представлении драмы Августа Коцебу «Сила клятвы», в которой играла трагическая актриса красавица Екатерина Семенова. Гнедич был ее учителем декламации, а Катенин и Пушкин были актрисой увлечены, не подозревая о соперничестве.

К нашей теме этот флирт не относится, не будем на нем задерживаться. Отметим лишь слова Пушкина, что он вскоре отъезжает в чужие края. Слова «чужие края», «чужбина», были просто синонимами слова «заграница». В те годы образованное общество с ними не связывало никакие негативные оттенки.

Итак, после окончания лицея (а возможно, и еще раньше, в лицее, но об этом мы не знаем) Пушкин начал думать о поездке за границу. Исполнилось ему восемнадцать.

Мы выделяем факт, отмеченный Катениным, потому, что биографы поэта не обращали внимания на это замечание Пушкина и не упоминали о его намерении сразу после окончания учения отправиться за границу. Выдающийся пушкинист М.А.Цявловский в первой и, кажется, последней существующей статье на эту болезненную тему начинает разговор о намерениях поэта выехать за границу с 1923 года, о чем у нас речь будет значительно позже.⁴ Через 20 лет жизнь его оборвется, но за это время великий русский поэт так и не побывает ни разу за пределами империи, – факт, важность которого для него и для страны, где он жил, нам предстоит исследовать.

Голос крови был силен в Пушкине. Может быть, поэтому важно его, так сказать, иностранное происхождение. До конца XIX века предка Пушкина считали негром, потом абиссинцем, т. е. уроженцем страны, которую ныне называют Эфиопией. Предположительно, он происходил из княжеского рода. Ныне доказывается, что прадед поэта Ибрагим, известный по кличке «арап Петра Великого», родился, по-видимому, недалеко от озера Чад, на границе современных Чада и Камеруна, в Афри-

ке.⁵ Ибрагим был ребенком, когда началась война с Турцией. Турки вывозили трофеи, ценности, рабов. В их число попал и предок будущего поэта. В то самое время мода на чернокожих слуг дошла до России.

В конце XVII века мальчик был доставлен в подарок Петру I и назван Абрамом Ганнибалом. Любопытно, что он был в Турции рабом, но оказался в России свободным человеком – не по прихоти Петра, а по закону, тогда изданному. Впоследствии за сметливость и преданность произвели его в генералы. Женат Абрам был первым браком на гречанке, а потом на немке или шведке Христине Шеберг, от которой у него были дети. Сын Абрама и Христины Иосиф, ставший впоследствии Осипом, и стал дедом Пушкина.⁶

Голос предков может оказаться немаловажным фактором в желании покинуть страну, где ты родился, а может и не иметь никакого значения. Потому, вероятно, этот факт и не рассматривался пушкинистикой. Желание эмигрировать любители списывать на наличие иностранных кровей компетентные органы в разгар бегства из Советского Союза. В определенные периоды в политической полемике подчеркивалась то чистая русскость Пушкина, то его «интернационализм» или «братская солидарность с другими народами», поскольку негры символизировали угнетаемых в капиталистических странах. Маяковский, имея в виду негритянское происхождение поэта, писал: «Ведь Пушкина и сейчас не пустили бы ни в одну «порядочную» гостиницу и гостиную Нью-Йорка».⁷ Происхождение Пушкина использовалось, чтобы доказать советскому читателю, как плохо жить в Америке и как хорошо в СССР.

В противоречие с традиционным представлением, волосы у Пушкина не были черными, а когда он вырос, перестали виться. Он их не стриг, и они свисали до плеч. «У меня свежий цвет лица, русые волосы», – кокетливо описывал он себя по-французски в стихотворении, когда ему было пятнадцать лет (1.80). Говорил он также, что хочет покрасить волосы в черный цвет, чтобы более походить на арапа. Биограф Пушкина Петр Бартнев записал со слов родственников, что у Надежды Осиповны Ганнибал, матери Пушкина, были на теле темные пятна.⁸ Ее называли креолкой. Возможно, такие пятна свидетельствуют о нарушении пигментации кожи, а не о происхожде-

нии. Что касается прозвища, так оно и вовсе означает потомков европейских колонизаторов в Латинской Америке. Надежда Ганнибал была полушведкой, или, как туманно намекает советский источник, со стороны матери были «рюриковичи».⁹ Предки другой бабушки Пушкина – О.В.Чечериной, матери его отца, были выходцами из Италии.

Род Пушкина по отцу идет от прусского выходца Радши (Рачи), въехавшего в Россию во время княжения Александра Невского. Пушкин говорил об этом в своих записках. Когда Пушкина уже канонизировали, начали писать, что Радша не немецкого, а славянского происхождения. Имеет ли это существенное значение? Нам кажется, только для мифа. Ведь на самом деле, при всем влиянии генетики, главное – кем Пушкин сам себя ощущал. Он считал себя русским дворянином, это была его национальность. Интеллигентный Вяземский, человек более космополитический, чем Пушкин, уверял его, что русскости в определенные периоды истории лучше бы стыдиться. Но и гордость Пушкина своим российским рождением вполне имела право на существование.

Тем не менее, отдельные черты характера своего прадеда Пушкин перенял, причем не только лучшие. Мальчиком Абрама Ганнибала пытались выкупить, царь его не уступил, но отпустил юношу учиться во Францию. С восторгом, даже излишним, Пушкин описывает его заграничные похождения там, где «ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов» (IV.7). Петр звал Абрама обратно, а тот учился, гулял, вступил в армию, воевал за Францию. Только промотавшись окончательно и запутавшись в любовных интригах, заявил, что готов возвратиться, если пришлют средства на дорогу, что и было сделано. Про жизнь прадеда в России Пушкин не дописал, оборвав записки на полуслове.

Есть подозрение, что Петр сделал Абрама приближенным не случайно. Царь воевал с Турецкой империей, и не исключено, что имел виды не только на Индию, но и на Абиссинию. На этот случай у него была бы, мысля современными категориями, готовая марионетка. Петр умер, оставив свои планы для последующих владык империи. Как бы там ни было, влияние России в Африке было ничтожным при Пушкине, но для

него Африка была частью заграницы, которую он называл своей.

Социальное происхождение Пушкина теоретически дало ему определенные привилегии для поездок за границу, и это происхождение следует рассмотреть. Где точно родился Пушкин в Москве, остается не до конца ясным и является предметом споров вот уже полтора века, – такова хлипкость русской истории. Установлено лишь, что родился он в Немецкой слободе и что крестили его в церкви Богоявления в Елохове. Мы жили пару лет в этой бывшей Немецкой слободе после Второй мировой войны – там все оставалось, как в конце позапрошлого века. Разве что трамвай громыхал рядом с извозчиками по кривым улочкам между развалинами, в которых из каждой заборной щели вылезали люди. Немецких профессоров университета и обрусевшей иностранной интеллигенции там, разумеется, не осталось, большую часть улиц переименовали, и дома вельмож и богатых помещиков заполнила пролетарско-деревенская голытьба.

Во времена Пушкина это был престижный немецкий район недалеко от центра Москвы, в которой тогда жило 300 тысяч жителей (во всей России при Петре было около тринадцати миллионов человек, а при Александре I около сорока миллионов).¹⁰ Прирост населения империи шел не столько за счет рождаемости, сколько за счет захвата новых территорий. Цивилизация проникала вовнутрь не спеша: первый водопровод, подобный древнеримскому, построили, когда Пушкину было пять лет, и воду стали возить в бочках на лошадях не из реки, а из фонтана в центре города.

Хотя отец Пушкина Сергей Львович был сыном богатого помещика, от богатств этих внуку досталось мало. Для утешения самолюбия и продвижения вверх оставалось утверждать знатность рода. Поэт говорил о шестисотлетних корнях, но над ним потешались. Среди предков Пушкина были те, кто подписали грамоту об избрании Михаила Романова на царство. Поэт вставлял своих предков в художественные описания русской истории. Подлинная родословная обрусевших пушкинских предков была составлена еще в конце прошлого века М. Муравьевым. Выяснилось, что по отцу родословная Пушкиных даже богаче, чем предполагал поэт.

Среди его предков были знатные дипломаты и исполнители особых царских зарубежных поручений. Василий Слепец в 1495 году сопровождал княжну Елену в Литовское царство, Василий Пушкин в 1532 году ездил послом в Казанское царство, Евстафий Пушкин – к шведам, Григорий – к полякам и шведам, Степан – послом в Польшу, Алексей Пушкин был сенатором, посланником при датском дворе. Один только Матвей Пушкин в конце XVII века, сопротивляясь тому, что его детей посылали учиться за границу, вызвал ярость Петра. Родословная как бы поощряла Пушкина ступить на дипломатическую стезю.

Странно, но факт: Пушкин неохотно вспоминал первые свои годы, не любил родного дома, семьи, родителей. Ни разу поэт не упомянул отца или мать в своих стихах, хотя кого он только ни увековечил. В «Евгении Онегине», например, подробно говорится о воспитании героя, его учителях, отце, даже дяде, но нет ни слова о его матери. Переписка поэта с родителями тоже не сохранилась. Родимой обителью, домом он называл лицей. Перед своей смертью Пушкин не вспомнил недавно умершей матери, не попросил позвать к себе ни отца, ни брата, ни сестру.¹¹

Серьезных причин отчуждения от родительского очага поначалу не было. Пушкин был толстым (тучным, по выражению сестры), неуклюжим, малоподвижным. Но обижали его не больше других. Воспитание его до лицея было бессистемным. Единственное, в чем он преуспевал, был французский язык, и читал он много, конечно, по-французски.

Восемнадцатый век в России шел под немецким влиянием. В конце того века и начале девятнадцатого оно стало сменяться французским, и семья Пушкиных полностью этому поддалась. Пушкин рос среди французов, гостивших в доме родителей, и офранцузенных русских. Брат Лев Пушкин вспоминает: «Вообще воспитание его мало заключало в себе русского. Он слышал один французский язык; гувернер его был француз... библиотека его отца состояла из одних французских сочинений». Она была начинена, в основном, эротическими писателями XVIII века и французскими философами, – все это Пушкин читал с детства, что способствовало раннему его созреванию. Советский пушкинист Б.Томашев-

ский утверждал, что французский был вторым родным языком Пушкина.¹²

Сопоставим русское и французское влияние на формирование Пушкина. Читать и писать по-русски ребенок начал, когда ему было пять или шесть лет. Говорила с ним по-русски бабка с материнской стороны М.А.Ганнибал, сама слабо владевшая русской грамотой.¹³ Дьякон учил Пушкина Закону Божьему по-русски, когда мальчику было десять лет. До этого и после воспитателями его были только французы, как вспоминает сестра. В семье по-русски не говорили. Пушкин учился фехтованию, и эти его учителя (Вальвиль, Гризье) русским владели из рук вон плохо. Я.Грот со слов одноклассника поэта Матюшкина сообщает, что «при поступлении в лицей Пушкин довольно плохо писал по-русски».¹⁴ Добавим: и лицейских преподавателей это не заботило.

Первый известный нам автограф Пушкина писан по-французски. Первые стихи, написанные им в восемь лет, поэма *La Toliade*. Пушкин пишет много стихов, все по-французски, и сжигает их, так как гувернантка смеется над ними. Девятилетний мальчик сочиняет комедию в духе Мольера и сам ее разыгрывает. Он изображает в лицах любимых героев французских романов. Герои эти жили в Париже, на юге Франции или в Италии. Он воспитывается на французской литературной школе, и это происходит даже тогда, когда он читает Шекспира, Скотта, Байрона, Данте, Гете, Гофмана, потому, что их он тоже читает по-французски.

По словам брата (согласитесь, это некоторое преувеличение), к одиннадцати годам Пушкин знал всю французскую литературу. Именно через французский язык он постигал мировую культуру. «...Он был настоящим знатоком французской словесности и истории, – сообщает его сестра, – и усвоил себе тот прекрасный французский слог, которому в письмах его не могли надивиться природные французы».¹⁵

Что касается творчества, то уже писалось, что «Пушкин выступил как откровенный подражатель французской поэзии».¹⁶ Анненков отмечал, что «в ранней молодости он (Пушкин. — Ю.Д.) писал одни французские стихи, по примеру своего родителя и по духу самого воспитания».¹⁷ В литературе анализируются модели, по которым зрелый Пушкин создавал свои

произведения.¹⁸ Типичная модель выглядит так: французское произведение – русские реалии – русское произведение Пушкина. То есть Пушкин накладывал французскую (или другую европейскую) литературную модель на русские события, создавая свое произведение. Для Пушкина европейская литература часто была более важным источником сюжетов, нежели русская действительность, по крайней мере, пока он не обратился к документам русской истории. Но и тут западные модели исторических романов лежали на его столе, облегчая ему поиски формы. Именно французские просветители и писатели сделали его, выходца из полупросвещенной, полуевропейской, полуазиатской среды, Европейцем.

Значительная часть из уцелевших его писем написана по-французски. С семнадцатилетнего возраста он подписывается в письмах и документах Pouchkine. Прожив четверть века, он сообщит Жуковскому: «Пишу по-французски, потому что язык этот деловой и мне более по перу» (X.111). Зрелым мастером он напишет по-французски Чаадаеву: «...я буду говорить с вами на языке Европы, он мне привычнее нашего» (X.282). Не странно ли, что письма русского поэта мы читаем в переводах его биографов? Всю жизнь французский был ему близок. «Пушкин, по роду своего воспитания, часто и охотно употреблял французский язык в разговоре даже с соотечественниками», – вспоминает современник.¹⁹ Как большинство людей его круга, Пушкин всю жизнь прожил в окружении иностранных вещей и иностранцев. Повседневные вещи, мебель, книги, украшения, одежда, вина – все было привезено из Европы или сделано в подражание Европе. Все, за исключением привезенного с Востока. Мы как-то забываем, что Татьяна Ларина пишет письмо Онегину по-французски, а автор романа выступает как бы в качестве переводчика. «Когда-нибудь должно же вслух сказать, – писал Пушкин Вяземскому, – что русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай Бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского (ясного точного языка прозы – т. е. языка мыслей)» (X.120).

В жизни русскую рубаху Пушкин и надевал-то разве что ради потехи, в деревне, когда шел на ярмарку. Среди мужиков он оставался в этой рубахе своим до того момента, пока не открывал рта. Нет, не вторым, а первым и родным языком

Пушкина волею обстоятельств оказался французский. Потом поэт стал двуязычным, в стихах и прозе русский язык стал главенствовать. Но – не владей Пушкин французским, возможно, не было бы великого русского писателя.

Не случайно со школьной скамьи закрепилась за ним кличка «француз». И спустя годы он сам часто называл себя «Пушкин-француз».²⁰ Кем же он был, этот, как называли бы его радетели чистоты расы или юмористы, офранцузенный русский африканского происхождения с дальними примесями немецкой, шведской и итальянской кровей? Конечно же, настоящим русским человеком и русским писателем, и это в данных рассуждениях существенней всего.

Вот как, однако, оправдывались в официальной пушкинистике французские корни поэта и его заимствования из западной литературы, весьма часто без ссылок и сравнения с первоисточниками (почему поколениям пушкинистов нужно было оправдывать эти заимствования, вопроса, надеемся, не возникает). «Разумеется, Пушкин не подражал Парни, а вольно варьировал заданную им тему». «Пушкин не был рожден копировщиком, точный перевод был не сроден его натуре...» И даже так: «Обращаясь к иностранным писателям, он подчинял их своим творческим задачам».²¹

Родители хотели дать ему, если не европейское, то хотя бы европеизированное образование. Обсуждались два варианта: иезуитский колледж в Санкт-Петербурге и привилегированный пансион, содержащийся католическим аббатом. Русские учебные заведения, по мнению родни, были недостаточно престижны, да так и было на самом деле. Но в 1811 году правительство решило открыть специальное учебное заведение для детей элиты с целью подготовки высшей чиновничьей аристократии, как это делалось в Англии и во Франции.

Миф о лицее как колыбели русской патриотической знати – особый. На практике всё в императорском лицее, от названия до содержания, заимствовалось из подобных институций, уже давно существовавших на Западе. Само слово было новым в русском лексиконе, и Пушкин обсуждал, как его писать: лицей, ликей или ликея? Современник вспоминает: «Лицей был заведение совершенно на западный лад; здесь получались иностранные журналы для воспитанников...»²²

Преподавателями были иностранцы и русские, но и русские профессора лицея получили образование за границей за казенный счет. Александр I подарил лицее свою юношескую библиотеку, состоявшую в основном из иностранных книг. Лицей разместили в Царском Селе, в императорском дворце, так, что он выглядел частью семейных покоев царской фамилии. Это был результат замыслов графа М.М.Сперанского, который предлагал обучать в лицее членов высочайшей фамилии, готовя из них просвещенных государственных мужей. Таким образом, Пушкин мог бы оказаться на одной скамье с великими князьями Николаем и Михаилом Павловичами, то есть стать школьным приятелем Николая I, который был всего на три года старше.

Попасть в лицей можно было только по могучей протекции, и ее нашли. Дядя Василий Львович Пушкин, поэт со связями, повез племянника в Петербург, взяв с собой любовницу Анну Ворожейкину. Возможно, впрочем, он вез в Петербург Ворожейкину, а заодно взял племянника. До этого дядя, будучи женат, с вольноотпущенной девушкой «в Париж и прочие немецкие города ездил».²³ Иван Дмитриев так описывал поездку Василия Пушкина в Европу:

Друзья, сестрицы, я в Париже,
Я начал жить, а не дышать...²⁴

Для того, чтобы добиться разрешения поступить в лицей, были задействованы высшие силы, которые оказали протекцию. Среди протекторов был Александр Тургенев, тогда директор департамента духовных дел иностранных исповеданий, впоследствии очень близкий Пушкину человек. После того, как стало ясно, что члены императорской семьи в лицее учиться не будут, критерии отбора кандидатов снизились. Экзамены оказались для Пушкина пустой формальностью при хорошем французском и наличии у мальчика покровительства.

Сомнения родителей, не сделали ли они ошибку с иезуитским колледжем, вскоре отпали сами собой: два года спустя колледж закрыли, а в 1820 году иезуитов выслали из России. Началось другое время, наступал период ужесточения. На наш взгляд, Пушкину повезло. Либерализма в педагогической кон-

цепции иезуитов было меньше. Там осуществлялась система аудиторов и внутреннего шпионства каждого за каждым. В лицее отверстий в дверях для подглядывания за учащимися не было.

Открытие лица произошло в волнующее время. Считанные месяцы отделяли страну от войны с французами, когда освободившая себя Россия сумела не только не стать жертвой, но, напротив, сама прошла через пол-Европы до Парижа. После войны общество спешило жить, восстановить и развить свои духовные силы и ценности. Азиатское смешалось с европейским: разные образы жизни, уклады, языки, обычаи, вещи, лошади, книги, люди. Смешалась кровь, ибо в русских деревнях родилось неподдающееся учету число французских детей, а в Европе – русских. И, конечно, идеи.

В России складывалась интеллигенция с ее особыми стремлениями, надеждами на лучшее время. У этих надежд были основания. Выразители официального мнения печатно радовались победе русского оружия, и совсем юный Пушкин был подвержен общему пафосу.

Но были и такие, кто осознал, что победа французов в России могла стать подлинным благом. Франция не только показала, но и внесла бы в жизнь более высокую культуру, – бытовую, экономическую и духовную. Наполеон, вероятно, мог бы сделать то, на что России понадобилось еще полстолетия: отменил бы непродуктивное крепостное право и создал в России более совершенный общественный строй, как он это сделал в других завоеванных странах. В России появились бы надежды на конституцию и права человека, рожденные французской революцией, задушенные и выжившие основы цивилизованного европейского демократизма под контролем ограниченной монархии. Карл Маркс, например, тоже считал, что была бы удачей для деспотической России победа над ней более демократической Франции. Для первого марксиста Наполеон был распространителем «плодов французской революции». Быть Европе республиканской или казацкой – вот какой была альтернатива Маркса, неудобная для советской историографии.²⁵

Позже мысль о благе оккупации для России, нам кажется, проскользнула и у повзрослевшего Пушкина. В стихотворении

«Наполеон» поэт писал о той роли, какую Наполеон мог сыграть для Российской империи:

Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир... (II.57)

Излагая официальную реакцию на победу России, поэт далее отмечает, что Наполеон «русскому народу высокий жребий указал» (II.60), имея в виду уже лишь воинские заслуги.

Западные влияния и роль европейской ориентации лучшей части русского образованного общества обычно приуменьшаются в официальной исторической литературе. Что касается правящего аппарата в России, то он во все времена был привержен патриотизму. Исключение составлял, как ни странно, царь Александр I.

Взращенный на идеях французского просвещения, благодаря мудрым иностранным наставникам, он с готовностью осваивал аксиомы цивилизованного общества, на которых в России лежало табу. Александр Павлович женился, когда ему было 15 лет, на Баденской принцессе Луизе-Марии-Августе, названной в миропомазании Елизаветой Алексеевной. Это произошло в год, когда Екатерину всерьез встревожили ветры французской революции.

Вначале Пушкин называл Александра якобинцем (X.701), а затем самодержцем, умеющим уважать человечество и смягчившим строгость Петровских законов (VII.242). Швейцарец Лагарп, воспитатель и своего рода духовный отец царя, сохранил письма молодого великого князя Александра Павловича, в которых тот писал, что желает свободных учреждений для России и даже отмены династического наследия власти.

Лагарп говорил, что из Александра он хочет сделать Марка Аврелия, но русское окружение предпочитает, чтобы царь стал Чингисханом.²⁶ Юный Александр обещал, что он даст России свободу и конституцию западного образца, а затем отречется от трона и уйдет в частную жизнь «на берега Рейна» (т.е. в Германию). Позже он решил удалиться в Америку.²⁷ Мысль спастись в Америке овладела Александром, когда он понял, что его бабка Екатерина хочет отстранить от престола своего сына и сделать царем внука. Услышав от нее об этом, Алек-

сандр ответил бабушке ласковой благодарностью, но за спиной царицы говорил, что хочет уклониться от власти. Так началось его раздвоение.²⁸

Александр действительно отправился в Вену, но не в качестве эмигранта, а уже царем подписывать жесткий акт о разделе Европы. Мы не знаем, возникало ли у него в процессе царствования желание оставить корону, скипетр и державу и эмигрировать в Америку. Но известно, что он глубоко презирал страну, которой ему приходилось управлять.

В самом деле, нет более рискованного занятия, чем управлять Россией, и даже самые ловкие деспоты готовили себе укрытие в эмиграции на случай, если придется бежать. Иван Грозный договаривался с Елизаветой I, королевой Английской, о предоставлении убежища на случай смуты, собирался жениться на англичанке. И снова договаривался о взаимном укрытии. На такую взаимность Елизавета не пошла. Но Ивану убежище обещала.

Несколько Александровских лет были, так сказать, эпохой гласности в дремучей стране. Смягчены законы, упразднена тайная полиция, дворянство дышит Европейским воздухом, получает европейское образование. Налицо почти что просвещенный абсолютизм, тот самый, за который ратовали и пострадали Радищев и Новиков, чьи имена в это время перестали быть под запретом. «Дней Александровых прекрасное начало», – вспомнит после Пушкин в «Послании к цензору» (II.113), вспомнит, когда этих дней уже не будет.

Первое сохранившееся письмо шестнадцатилетнего подростка исполнено чувства «любви и благодарности к великому монарху нашему» (X.7). Для исполнения на годовщине лица в октябре 1816 года Пушкин допишет к молитве «Боже, Царя храни» две строфы (I.270). Он искренне верит в благодеяния царя. Позже Иван Тургенев, дальний родственник братьев Тургеневых, назовет Александровскую эпоху знаменательной в развитии и России, и Пушкина.²⁹

Но в то же либеральное для нарождающейся интеллигенции время Санкт-Петербург оставался столицей гигантской военной империи. Повсюду маячат казармы, на площадях гарцуют полки, военная карьера престижна, на улицах и на балах много офицеров, а южная Россия обрастает военными поселе-

ниями, окруженными могилами солдат, засеченных в назидание еще живым. Фабрики отливают пушки, ткнут паруса, за границей закупается новое военное снаряжение, в генеральном штабе отрабатываются стратегические планы – срочные и на годы вперед, дипломатическая машина ищет слабые звенья в альянсах иностранных держав.

Александр оказался лишь временным владельцем не им созданного гигантского механизма – государственной надстройки, полностью подавлявшей российское общество. Мы не располагаем данными статистики по 1813 году, но численность русских войск увеличивалась постепенно от Петра I до Первой мировой войны с 200 тысяч до 4 миллионов, то есть в 20 раз. К середине прошлого века содержание армии в России обходилось в 45–50 процентов всех расходов государства. На образование расходовался один процент.³⁰

Россия вела столько сражений, что переходы от мира к войне были подчас незаметны. В течение XVIII столетия страна находилась в состоянии почти непрерывной войны. Русские войска оказались в Париже. Если, не дай Бог, это состоится в будущем опять, пропаганда станет утверждать, что Париж принадлежит русским с 1813 года, и они лишь освобождают город от временно захвативших его французов. Офицер и будущий декабрист Федор Глинка иронизировал по поводу переименования русских в северных французов.

Уже в наше время подсчитано, что в течение четырех столетий Россия захватывала в среднем 50 квадратных километров ежедневно. Зрелый Пушкин приводит скромное высказывание Екатерины II: «Ежели б я прожила 200 лет, то бы конечно вся Европа подвержена б была Российскому скипетру».³¹

Веками жизненная энергия русской нации направлялась вовне на захват чужих земель. И в противоречие с этой исторической логикой Наполеон напал на Россию, а не наоборот. Россия испытала прелести оккупации на себе. Но вот русская армия вернулась из Европы. Раньше поездки за границу были привилегией сравнительно узкого круга лиц. Теперь сотни тысяч русских очутились в Европе, в таком же, но и отличном от России мире, с иными традициями, институтами, другой культурой.

Офицеры привозили домой целые библиотеки, распространяя таким образом на Руси западные духовные ценности. У многих происходило перерождение души от сопоставления того, что они узнали и с чем столкнулись, вернувшись назад. Это вело думающих людей к оппозиции.

Собираться «поговорить» становилось традицией, до того неизвестной. Нашупывались точки соприкосновения России с Западом, и их оказывалось много. Искались преимущества других религий. Находились православные, принимавшие католичество. Развивалось масонство с его заповедью служить человечеству, иметь братьев во всех концах Вселенной. И Пушкин, как многие другие, естественно тянулся к этим соблазнительным идеям.

В 1815 году произошло событие, суть которого стала понятна не сразу. После победы Россия выступила на Венском конгрессе с притязаниями на право решать судьбы других стран Европы, и Европа с этим мирно согласилась. Усилилась роль русской дипломатии на мировой арене, появилась реальная возможность устрашать других не только оружием, но и языком переговоров и тайных влияний. В каком-то плане лицей стал школой для подготовки дипломатической элиты, способной распространять русскую великодержавную идеологию в новых условиях.

Тогда же наступило похолодание в политике внутри страны. В течение последующего десятилетия развивается тайная полиция, сеть доносчиков, цензура, репрессии по отношению к инакомыслящим. Неназванной задачей деятельности правительственного аппарата стало тормозить социальный прогресс. Следует оговорить, однако, что в 1817 году эта политика еще не распространялась на прозападную ориентацию культуры и системы элитарного образования.

Французский язык царскосельского лицеиста Пушкина звучал лучше, чем у его сверстников. Но, как выяснилось при общении с офицерами, только что вернувшимися из Франции, выученный по книгам с помощью не очень образованных гувернеров язык оказался тяжеловатым, несколько старомодным. А реальный французский был живым, игривым. Французское воспитание и реальная русская жизнь увязывались между собой еще меньше, хотя Пушкину с бытом простых людей приходилось соприкасаться весьма мало.

Восторженные сочинения Пушкина о лицее не всегда адекватны реальной картине. В сущности, лицей был смесью монастыря с военным училищем, в котором читались некоторые европейские предметы. Учение в лицее Пушкин назвал «заточением» и жизнью «взаперти» (X.8). Барон М.А.Корф вспоминал, что свободы передвижения в лицее не было никакой. Комнаты воспитанников назывались камерами. За провинности наказывали стоянием на коленях. Пушкин стоял однажды две недели – за утренними и вечерними молитвами.³²

Говорили, что за шесть лет учения лишь двух воспитанников выпустили в Петербург по случаю тяжелой болезни родителей. Первые три или четыре года не пускали порознь даже в сад. Родители могли при посещениях находиться с воспитанниками только в общей зале или на общей прогулке. Свои книги у лицеистов отобрали сразу. Сочинять тоже было запрещено. Писали украдкой. Потом, правда, разрешили держать книги, сочинять и даже издавать самодельные журналы (апологетические, конечно), разумеется, под контролем. Запрет создает духовный дефицит, и немудрено, что, оставаясь без контроля, лицеисты набрасывались на недозволенное с полным максимализмом юности.

Но лицей был и чем-то большим, нежели помесь монастыря с военной школой. Дух западного либерализма отразился в программе, насытив ее предметами, изучение которых доставило бы наслаждение нам с вами. Закон Божий и священная история, языки, древние и новые, иностранные литературы, общая история с пристрастным вниманием к трем последним векам, нравственная философия (странно звучащее сегодня название, будто была и безнравственная философия как предмет; впрочем, теперь мы видим: через полвека именно такая появилась). А еще – логика, физика и география, статистика иностранная и отечественная (в сущности, элементы социологии), политическая экономия и финансы, право естественное (то есть права человека), право частное и публичное, право гражданское и уголовное, чистая математика и прикладная, полевая фортификация и артиллерия, наконец, фехтование.

К этому надо добавить частые посещения лучших писателей и ученых, в том числе иностранных. Двойное покровительство императора, официальное и дружеское, и опека чле-

нов царствующей семьи заменяли отсутствующих родителей. Пушкин в темном коридоре подкараулил и прижал к стене, приняв за горничную, княжну Волконскую, сердитую старую деву. По одной версии, царь сказал, что он берет на себя адвокаторство, защитив Пушкина, по другой – государь приказал Пушкина высечь. Позже юный поэт получил золотые часы с цепочкой от императрицы Марии Федоровны за сочинение оды в честь принца Оранского. Согласно легенде, Пушкин разбил часы о каблук, что, с точки зрения некоторых послеоктябрьских пушкинистов, свидетельствовало об антимонархизме и революционности его убеждений.

Клички его меняются. Француз – самая из них нейтральная, но и она после войны с французами стала ругательством.³³ Воспоминания одноклассника и впоследствии соседа Пушкина барона М.А.Корфа, откуда взяты эти сведения, опубликованы с сокращениями в 1974 году и вовсе изъяты из переиздания мемуаров барона в 1985 году. Корф будто предвидел это: «...тот, кто даже и теперь еще отважился бы раскрыть перед публикой моральную жизнь Пушкина, был бы почтен чуть ли не врагом отечества и отечественной славы».³⁴ Другая кличка Пушкина, Обезьяна, возможно, связана с его непоседливостью и специфическим выражением лица. Грибоедов потом звал его Мартышкой. Третья – Помесь обезьяны с тигром – отражала его несдержанный темперамент. Коллеги по «Арзамасу» называли его Сверчком – прозвище более пристойное для графомана и говорящее о его болтливости. «Я не умен и не красив», – шутит он в стихах и вдохновенно рисует свои профили.³⁵

В успехах Пушкину было трудно конкурировать с серьезными сверстниками, и принуждение, возможно, способствовало его образованию. Французского оказалось недостаточно, хотя по этому языку он был на втором месте. Он овладел латынью, но далеко не лучше других знал античную литературу: многие оказались эрудированней. Через год занятий Пушкин занимает лишь 28-е место (начав с четырнадцатого). Даже в стихах (часть он пишет по-французски) у него есть более удачливые соперники.

Его интересы в это время обычны для подростка: чтение, шалости и открытие волнующих прелестей прекрасного пола, которые он описывает на двух языках двумя способами: эле-

гантными литературными ассоциациями и по-русски – в лоб. «Лишь тобою занят я...» – сохранившееся его стихотворение «К Наталье» – обращено к крепостной актрисе (I.9). Игру с судьбой он начал с этого имени и закончил им. Юный стихотворец перечисляет здесь национальности, к которым он мог бы примкнуть: он арап, турок, китаец, американец, немчура, – кто угодно, только почему-то не русский. Впрочем, он пока всего лишь монах, то есть лицеист. А вокруг него монастырь, ему тесно и душно. Не потому ли участники событий, описанных в другом стихотворении («Монах»), помчались в Париж, в Ватикан, в Иерусалим? (I.14 и 22) У мальчика-автора уже скепсис:

Но ни один земли безвестный край
Защитить нас от дьявола не может (I.13).

Во второй строчке первые два слова лучше бы поменять местами, но это для юного сочинителя не существенно. Суть же не придумана им, а заимствована у западных романтиков. Делать свою жизнь он, став взрослым, мечтал по образцам двух кумиров Европы: Наполеона и Байрона. Главный для него вопрос – честолюбие. Стихотворец стремится к мировому признанию, как они. Он просит Вольтера одолжить ему лиру, чтобы стать известным всему миру. На меньшее он не согласен. Но если нужно, он охотно сочиняет оду «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году», и дядя с удовольствием пропагандирует стихи племянника.

Пушкин не терпит насилия над собой, называя себя «несчастливым царскосельским пустынноиком», которого дергает «бешеный демон бумагомарания», и жалуется: «Безбожно молодого человека держать взаперти» (X.8). Строго упрекает мальчика уже в наше время Абрам Терц (Андрей Синявский): «Блестящее и поверхностное царскосельское образование... отсутствие строгой системы, ясного мировоззрения, умственной дисциплины, всеядность и безответственность автора в отношении бытовавших в то время фундаментальных доктрин».³⁶ Оценка в каком-то смысле точна фактически, но с точки зрения психологического развития личности вряд ли заслуживает того, чтобы считаться негативной. Скорее, наоборот. Разве что у

ретивых комсомольцев в определенные периоды советского государства можно было обнаружить «ясное мировоззрение» и ответственность в отношении доктрин, да и то чаще на показ.

Разумеется, воспитывать патриотические чувства было основной официальной задачей лицея. Однокашник Пушкина Антон Дельвиг в стихотворении «Тихая жизнь» с тонкой иронией, свидетельствующей о понимании сути патриотических наставлений, идущих сверху, писал:

Блажен, кто за рубеж наследственных полей
Ногою не шагнет, мечтой не унесется...³⁷

Пушкин становился европейским человеком. Позже Туманский напишет о нем, как о человеке «столь европейском по уму, по характеру, по просвещению, по стихам, по франтовству...»³⁸

Директор лицея Егор Энгельгардт понимал, что ветер дует из-за рубежа, принося свежие идеи. Там шла богатая духовная жизнь, и подростки подхватывали крупницы ее. Лицей самым существованием своим отражал присущее всякой российской структуре противоречие формы содержанию. Форма заимствовалась с Запада, но из нее изгонялся западный дух. В лицейском саду посадили семена просвещения Западной Европы, а затем огородили сад высоким забором. Директор лицея отмечал у Пушкина в качестве недостатков французский ум и страсть к сатире. В последнее понятие он вкладывал то, что мы теперь называем словом «критиканство». К этому можно, по-видимому, прибавить и ранний скепсис.

Глава вторая

«ПЕРЕСЕЛИТЬ ЕГО... В ГЕТТИНГЕН»

Оставим наскоро Россию (I.139).

Александр Тургенев писал брату Сергею о Пушкине: «Удивительный талант и добрый малый, но и добрый повеса». ¹ Последствия лицейского образования понимали и старшие друзья его. «Я бы желал переселить его года на три, на четыре в Геттинген или в какой-нибудь другой немецкий университет. Даже Дерпт лучше Сарского Села». ² Батюшков в письме к Тургеневу, который мог бы оказать и в этом Пушкину протекцию, намекал: «Не худо бы его запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою... Как ни велик талант Сверчка, он его промотает...» ³

Геттинген окончили три брата Тургеневы и, не случайно, герой «Евгения Онегина» – Ленский. Жуковский, будучи молодым, тоже мечтал о загранице. Он раздобыл деньги и собрался в тот же Геттинген учиться, а потом жить в Париже и путешествовать по Европе. Но началась война с Францией, и поездку пришлось отложить.

Возможно, окажись тогда Пушкин настойчивей, он выехал бы учиться в Германию, которую по недостатку зрительных ощущений спутал с Англией и назвал «туманной». Но отъезда не произошло. И не только по его юношескому легкомыслию или недостатку средств у семьи. Помимо прочего,

Геттинген не соответствовал его интересам «француза». Немецкий не давался ему с детства. Он не любил его учить, хотя принимался несколько раз, каждый раз забывал и начинал с азов.

Лицейсты вышли в свет. Они проводили время вольно, вошли в кружки и компании, попали в дома к царскосельским знаменитостям. Первый среди гуляк, Пушкин веселился с гусарскими офицерами. Тут были и значительные знакомства. Например, сойдясь у Карамзиных с Петром Чаадаевым, Пушкин зачастил к нему в казарму. Золотое время, когда все впереди и все в радужных тонах, – зачем ему был нужен туманный Геттинген?

Литературную, писательскую карьеру Пушкин всерьез поначалу не рассматривал. Он просто писал стихи. Литература, журналы, вообще гуманитарные науки были довольно примитивны, и Пушкин это понял рано. Перед ним открывались два пути, обеспеченных полученным образованием: карьера военного и карьера дипломата. Оба варианта сулили относительную волю и утеху.

Еще до выпуска Пушкин просил у отца разрешения поступить в лейб-гвардии гусарский полк, но для этого требовались большие деньги. Кроме того, до Сергея Львовича доходили рассказы о гусарских распущенных нравах, и отец предпочел разрешить сыну поступить в полк гвардейской пехоты. План этот оказался несерьезным. Хороших предложений не было. Карьерой, к которой стремилось большинство лицейцев, была дипломатия. Советский пушкинист Д.Благой сформулировал суть дела так: «Утешало Пушкина и то, что дипломатическая служба несла с собой возможность «увидеть чужие страны», то есть попасть за границу, общая черта всей либерально настроенной, томившейся в путях русской «азиатчины» молодежи того времени. Эту мечту, и в пример своим военным мечтам, довольно скоро им брошенным, Пушкин питал в течение всей своей жизни, но ей также никогда не суждено было сбыться».⁴

Добавим, что именно внешняя часть дипломатической службы – заграничная жизнь, обеспеченная за казенный счет, – привлекала Пушкина, к сути же данного занятия, к повседневным обязанностям и труду служащего Министерства иностранных дел он относился весьма иронично.

Царь управлял внешней политикой единовластно и сам назначал служащих, которые будут эту политику осуществлять. Имена окончивших лицей поделили на два списка: выпущавшихся в военную службу и в гражданскую. Во втором списке вверху оказался Александр Горчаков, Кюхельбекер значился на третьем месте, Пушкин – на четырнадцатом. В зависимости от успехов в учении лицеистам была обеспечена гражданская служба с чинами от XIV до IX класса Табеля о рангах. Пушкину, окончившему лицей четвертым от конца, самим Александром I был определен X класс и звание коллежского секретаря.

Министерство иностранных дел было создано в 1802 году, но по инерции часть дел сохранялась за Коллегией, каковой Министерство было с Петровских времен. К тому моменту, когда туда пришел Пушкин, Коллегия превратилась в некий отстойник, прибежище для молодых людей, зачисленных на службы сверх штата, резерв для канцелярии министра и дипломатических миссий. В высочайшем именном указе царя от 13 июня 1817 года говорится: «Его Императорское Величество всемилостивейше соизволили из числа выпущенных из Царского лицея воспитанников: князя Александра Горчакова... Вильгельма Кюхельбекера... и Александра Пушкина... определить согласно желанию их в сию Коллегию».⁵

Со званием коллежского секретаря Пушкин вместе с другими лицеистами был взят на службу в Коллегию иностранных дел и мог начинать делать карьеру. Царь Александр Павлович распорядился выделить из казны по 10 тысяч рублей на экипировку тех лицеистов, которые победнее, и выплачивать каждому стипендию не менее 700 рублей ассигнациями, пока тот не станет работать. Жалование чиновникам по всей империи выплачивалось раз в месяц – 20-го числа. «Человек 20-числа» было синонимом слова «чиновник». Александр Пушкин перед намечавшимся выездом за границу стал человеком 20-го числа. Устно Пушкину было обещано, что жалованье повысится при поступлении на штатное место. Весьма вероятно, что штатное это место Пушкин, как остальные лицеисты, видел для себя за границей.

Все делалось бюрократически методично, без хлопот со стороны самого Пушкина. Через пять дней после окончания ли-

цея, 15 июня 1817 года, его вызвали в Министерство иностранных дел – красивое здание с колоннами на Английской набережной. Здесь он увидел своих лицейских однокашников Вильгельма Кюхельбекера и Александра Горчакова, а также недавнего знакомца и тезку Александра Сергеевича Грибоедова.

По указанию священника Сенатской церкви Никиты Полуховича каждый из четверых в присутствии свидетелей прочитал присягу на верность престолу и отечеству и «руку приложил», то есть расписался в книге. Подписавший обязывался верой и правдой служить государю императору и отечеству. Документ этот сохранился. В «Книге расписок лиц, поступающих на службу в Московский главный архив Министерства иностранных дел», есть подпись: «Читаль 10-аго класса Александръ Пушкинъ 1817 июня 15».⁶

Задержимся на остальных трех молодых чиновниках, также подписавших присягу.

Первый, Кюхельбекер, через три года будет уволен со службы по его просьбе и уедет за границу секретарем богатого вельможи Нарышкина. Он будет читать лекции в Париже и путешествовать по Европе. Станет декабристом, выстрелит в великого князя Михаила Павловича. Попытается бежать за границу, но будет схвачен в Варшаве, присужден к смертной казни, замененной заключением в крепость, и закован в кандалы. Пушкин случайно встретит арестанта, перевозимого из тюрьмы в тюрьму.

Второй, князь Горчаков, быстро продвинется в крупные дипломаты, будет работать во многих странах, станет другом Бисмарка. Ему придется заниматься сватовством членов царственной фамилии за границей. Став министром, Александр Горчаков окажет большое влияние на положение России в мире. Будучи российским государственным канцлером, князь умрет в Германии восьмидесяти пяти лет от роду.

Третий, Грибоедов, через год отправится секретарем дипломатической миссии в Персию. В сочинениях будет высказывать идеи, противоположные тем, которые осуществлял как чиновник. Будет под следствием по делу декабристов, но счастливо избежит их участи, а позже будет зарезан при разгроме русской миссии в Тегеране. По дороге на Кавказ Пушкин по-встречается с арбой, везущей в Россию тело коллеги.

Трое, принявших присягу, считались пиитами. Тогда же присягу подписали еще четверо выпускников лицея. Как стали говорить в советское время, Пушкина распределили, и распределили неплохо: в Архив Коллегии иностранных дел в качестве переводчика. В начале восьмидесятых годов уже нынешнего столетия мы отправились в это красивое двухэтажное здание, отлично отреставрированное, которое теперь занимал Московский горком комсомола. Пушкин бывал в этом здании много раз, здесь числились на службе и многие его друзья. Кстати, напротив в таком же особняке по иронии судьбы разместилось полицейское учреждение, как раз ведающее выездом за границу, – ОВИР.

Почти все бывшие лицеисты не только мечтали, но и готовились ехать «на чужбину» – служить в русских посольствах и миссиях, путешествовать, отдыхать, просто посмотреть других и показать себя. Собираясь вместе, мечтали о загранице. Карамзин описывает одну такую встречу. «Несмотря на ветер, довольно сильный, мы с женою, с детьми, с Тургеневым, Жуковским, Пушкиным (которые все у нас жили в Петергофе) сели на катер и носились по волнам Финского залива часа два или более; одна из них облила меня с головы до ног – но мы были веселы и думали о том, как бы съездить морем подальше!»⁷ Осенью 1818 года Пушкин провожает за границу Константина Батюшкова, которому составил протекцию Александр Тургенев. Батюшков говорил, что служба в Италии есть мечта всей его жизни, его сокровенное желание. Он уверял Тургенева, что в слове «Италия» для него заключаются «независимость, здоровье, стихи и проза».⁸ Весной 1817 года Батюшков поехал лечиться в Одессу, а там получил письмо Тургенева, что поэта ждет место в дипломатической миссии в Неаполе.

Перед отъездом Батюшков и Пушкин часто встречаются, о чем-то договариваются. Тургенев писал в Варшаву Вяземскому: «Вчера проводили мы Батюшкова в Италию. Во втором часу, перед обедом, К.О.Муравьева с сыном и племянницею, Жуковский, Пушкин, Гнедич, Лунин, барон Шиллинг и я отправились в Царское Село, где ожидал уже нас хороший обед и батарея шампанского. Горевали, пили, смеялись, спорили, горячились, готовы были плакать и опять пили. Пушкин написал impromptu (экспромт. — Ю.Д.), которого послать нельзя, и

в девять часов вечера усадили своего милого вояжера и с чувством долгой разлуки обняли его и надолго простились».⁹

Тургенев помог уехать многим своим знакомым и предпринимал усилия для того, чтобы Пушкин мог отправиться служить по дипломатической части. Не исключено, что направление поэта на службу в Коллегию иностранных дел произошло с его участием и для этой, следующей цели. Шансы у Александра Тургенева помочь Пушкину были весьма хорошие, и он долго этим занимался. Государь был сильно расположен к нему, подарил ему перстень с шифром. А министр Каподистриа ни в чем Тургеневу не отказывал. «Теперь остается только пристроить Пушкина», – писал он Вяземскому.¹⁰ Пушкин, по-видимому, рассчитывал на такую же синекуру, которую удалось получить Батюшкову. Не стал бы Тургенев хлопотать в верхах, не имея от Пушкина согласия. Должность в каком-нибудь посольстве давала западную свободу при возможности получать хорошее содержание из России.

Выпускники начинают разъезжаться подальше, провожая друг друга и договариваясь не забывать лица. А он только провожает и остается. Представим себе этого молодого человека, который – как бы он ни был честолюбив – не подозревает о той роли, которую ему предстоит сыграть в истории страны, где он родился.

Вот он идет по Невскому, элегантен и чуть неряшлив, в широком черном американском фраке (точнее а l'américaine) и французской шляпе. Невысок ростом, по свидетельству художника Григория Чернецова, 2 аршина 5 вершков с половиной, по-видимому, на каблуках, значит, на вид 164 сантиметра, но средний рост людей тогда был меньше, чем сейчас. Мы с вами почти точно знаем, что он говорит, встречаясь с приятелями, как оживает, увидев в проезжающем экипаже хорошенькую женщину, даже о чем думает. Его мысли, привычки, взгляды часто меняются. Но если верить Шопенгауэру, характер человека остается неизменным в течение всей жизни. Позволим себе одно добавление, важное для нашего исследования: его жизненные цели и даже методы, которыми Пушкин пытался их достичь, тоже не менялись до смерти.

Иван Тургенев указал на парадокс личности Пушкина: он получил французское воспитание, но был «самым русским че-

ловеком своего времени».¹¹ Вопрос, однако, в том, определено ли определение «самый русский»? Кто, вообще говоря, «самое» выражает русский дух: Иван Грозный? Курбский? Малюта Скуратов? Пугачев? Новиков? Достоевский? Нечаев? Савва Морозов? Бердяев? Иван Бунин? Ленин? Ежов? Сахаров? Горбачев? Не станем перечислять разнообразных наших современников. Если сузить список и рассмотреть русских людей пушкинского времени, то и в этом случае спектр окажется достаточно разбросанным: Карамзин, Александр I, Бенкендорф, Лунин, адмирал Шишков, Николай I, Чаадаев... Почему же «самый» – именно Пушкин?

Нам кажется, просто писателю Ивану Тургеневу был ближе духовно, особенно своей европейской ориентацией, именно писатель и именно Пушкин. А в действительности перечисленные выше и многие другие – все «самые русские», все, причем по-разному, выражают русский дух, и Пушкин не больше других. Официальный литературовед В.Кирпотин писал: «Пушкин – дитя европейского просвещения, выросшее на русской почве». Нам представляется, что эта оценка точнее тургеневской. В ряду наших великих писателей едва ли найдется другой столь беспокойный человек, как Пушкин, «не по-русски живой», – добавлял Кирпотин.¹² Интересно, что эта «прозападная оценка» Пушкина проскочила в пропагандистской книге накануне 1937 года.

По мнению Юрия Тынянова, русские гены в Пушкине были – легкомыслие и пустодумие. Пушкин оценил себя сам, подписав однажды письмо: «Егоза Пушкин». А ганнибальская стихия – это яростные страсти, жизнелюбие и жажда свободы.

Еще более узко сформулировал сверхзадачу жизни Пушкина современный автор журнала «Вопросы литературы»: в ранней юности у Пушкина возникает «нечто такое, что хотелось бы назвать целеустремленной свободой».¹³ Понятие «целеустремленная свобода» весьма удобно тем, что его можно трактовать по-разному в зависимости от исторической и политической ситуации. В период, о котором идет речь, воспитание, образование, принятие на службу, – все, как нам представляется, связалось воедино в жизни Пушкина. С такими предками (то есть с такой биографией), с таким знанием иностранного языка и культуры, с таким скепсисом по отношению к России,

неутоленным интересом ко всему мировому и, прибавим, с такой холодностью к семейным привязанностям, – если кому из русских и следовало уехать и жить за границей, так именно Александру Пушкину.

Есть люди, с детства предназначенные быть эмигрантами. Он же сделался государственным чиновником, как многие образованные люди в той стране, но ему нужно было больше воздуха, чем большинству. Все готовы были исполнять, он хотел – пока еще неосознанно – творить. Через несколько лет он назовет себя министром иностранных дел на Парнасе, которого отстранили от дел (X.98). Комментаторы будут добавлять одно слово: на русском Парнасе. Но Пушкин этого слова не писал. Парнас для большого поэта един, универсален, всемирен.

Чиновничья стезя, однако, его не привлекала. Так и случилось: на службе следующий чин титулярного советника он получил через 15 лет, тогда как его однокурсники становились титулярными советниками сразу после лицейя. Понимал ли он тогда, что если ехать за границу, то это нужно делать немедленно? Сознал ли, что момент благоприятный, что чиновником, да еще мелким, выехать сравнительно легко, пока числишься в законопослушных? Ответить на эти вопросы мы не можем.

Первое, что делает Пушкин, устроившись на службу, – в преддверии заграницы он берет отпуск на два с половиной месяца для приведения в порядок домашних дел и вскоре уезжает в Михайловское. Самое раннее, дошедшее до нас послелицейское стихотворение навеяно впечатлениями от дороги туда:

Есть в России город Луга,
Петербургского округа;
Хуже не было б сего
Городишки на примете,
Если б не было на свете
Новоржева моего (I.275).

Однако, не досидев до конца отпуска, Пушкин простился с Михайловским и возвратился в Петербург. Ему предстоит про- водить за границу лицейского приятеля Федора Матюшкина, отправляющегося в кругосветное путешествие на военном шлюпе «Камчатка» во главе с капитаном Головиным.

Матюшкин был родом из Германии, из семьи русского дипломата, крестили его в лютеранской церкви из-за отсутствия православной. Свой путь – морское путешествие – Матюшкин выбрал под влиянием Пушкина, который убедил его наблюдать мир и вести дневник. В лицее и сам Пушкин мечтал о морских путешествиях.¹⁴ Когда Пушкин вернулся из Михайловского, Матюшкин был уже оформлен на корабль. Капитан Головин предупредил, что если он не справится со своими обязанностями, то оставит его в Англии.

26 августа Пушкин отправился вместе с Матюшкиным по Неве из Петербурга в Кронштадт, откуда в открытое море уходили корабли. Сидя в каюте на шлюпе, ужинали, договаривались встретиться в чужих краях, как только Пушкин там окажется.¹⁵ «Ты простираю из-за моря нам руку», – вспомнит Пушкин эти разговоры через восемь лет (II.245). Матюшкин позднее дослужился до адмирала, стал сенатором. Именно он предложил поставить известный памятник поэту в Москве.

На следующий вечер после проводов, 27 августа, Пушкин и Катенин, как мы знаем, познакомились в театре. О том, что сам он собирается за границу, Пушкин сказал равнодушно, как о деле решенном («вскоре отъезжает»). Значит, прошение уже было подано, и в ближайшее время он ждал разрешения на выезд.

Встречающиеся в литературе мысли о том, что желание выехать за границу возникает у Пушкина лишь в ссылке, не соответствуют истине. Важно также, что это намерение созрело до политического конфликта, так сказать, естественно. Другое дело, надолго ли собирался он в Европу. Если служить по дипломатической части, то это зависело не столько от него, сколько от начальства. Если же путешествовать, то при его склонности к прожиганию жизни – оставаться там, пока будут средства к существованию. Тогда он вернулся бы обратно, как делало большинство людей его круга. Они возвращались налаживать дела в имениях, откуда текли доходы, проводили время в обеих столицах на балах и снова отправлялись на жительство в Европу.

Думается, однако, что мысль об отъезде навсегда на ум поэту приходила. Он ее выразил в стихотворении «Простите, верные дубравы!» и записал в альбом своей соседки по Ми-

хайловскому имению Надежде Осиповой перед тем, как отправиться в Петербург, а затем на Запад. Поэт писал:

Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас? (I.276)

В альбоме под стихами дата: 17 августа 1817 года. Они написаны за десять дней до встречи в театре с Катениным, когда Пушкин заявил, что вскоре отправляется в «чужие края». Стихи эти при жизни поэта не печатались. Пушкин прощался с соседями. Но спросив себя, навсегда ли, он отвечал в стихотворении неопределенно:

Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям...

Итак, быть может, возвращусь, а может, и не возвращусь. Ведь еще за два года до этого юный скептик нарисовал в стихотворении «Тень Фонвизина» картину возвращения на родину тени умершего четверть века назад писателя Дениса Фонвизина. Возвращается тень его из рая, и знакомая картина предстает перед великим сатириком:

Всё также люди лицемерят,
Всё те же песенки поют,
Клеветникам как прежде верят,
Как прежде все дела текут.
В окошки миллионы скачут,
Казну все крадут у царя,
Иным житье, другие плачут,
И мучат смертных лекаря... (I.139)

Несчастный Фонвизин, попав на родину, от скуки готов снова умереть. «Оставим наскоро Россию», – заключает он. Эти настроения то и дело возникают в стихах юноши Пушкина. Отъезд за границу кажется ему в августе 1817 года делом решенным.

Глава третья

НЕВЫЕЗДНОЙ

*«Помнишь ли ты, житель свободной
Англии, что есть на свете Псковская гу-
берния...»*

Пушкин – Кривцову, летом 1819 (X.13).

Пушкин, как нам представляется, беззаботно ждал ответа на свое прошение. Он был немного легкомыслен и уверен, что ходатайство будет рассмотрено положительно: ведь действовали влиятельные друзья. Тогда еще не было административной практики заставлять просителя ждать ответа долгие месяцы. Ответ, надо полагать, последовал быстро. Пушкин узнал о нем в последние дни августа или в сентябре 1817 года. В отличие от всех его соучеников, также подготовленных для службы за границей, молодого поэта, хотя он был готов отправиться в Европу, туда не пустили.

Запретительного документа не сохранилось, и, возможно, такого не существовало. Значит, отказ был устный или его не было вообще. Просто не разрешили, и никто не известил. Но факт остается фактом: Пушкин за границу собрался, объявил об этом Гнедичу и Катенину (а скорей всего, не только им, но мы этого не знаем) и, в отличие от других своих сокурсников, никуда не поехал. Нам предстоит проанализировать ситуацию, собрав косвенные объяснения причины этого невыезда.

Термин «выездное дело» – чисто советский, бюрократический. В нем – незамазанная биография, не запятнавшие себя родители, родные, друзья, преданность режиму, покорное поведение, доверие. И тем не менее ретроспективно мы, думается, можем говорить о выездном деле Пушкина, ибо все черты бюрократической процедуры имели место. Отказ в выезде за границу был тревожным симптомом, свидетельствовавшим о недоверии властей данному чиновнику. Отказ мог быть и временным, но чаще отражался на всей карьере русского человека, ибо в досье появлялась таинственная отметка о неблагонадежности. Или ничего не появлялось, но кто-то «дал указание». Восемнадцатилетний Пушкин, говоря современным языком, стал невыездным и отказником.

Возникает сразу же подозрение, не повлияла ли расписка, взятая у Пушкина при поступлении в Министерство иностранных дел, на отъезд за границу? Глядя современными глазами, подпись о неразглашении тайн можно рассматривать как форму секретности и, таким образом, как предлог для отказа в выезде. Взглянем на присягу, подписанную молодым чиновником, исторически. За ней стоит несколько документов, утвержденных в разное время.

Еще в XVII веке чиновников Посольского приказа для присяги «приводили к кресту». В указе Петра I от 1720 года и определении Коллегии иностранных дел от 5 марта 1744 года о неразглашении служебных тайн приводятся общие слова о верности и повиновении императору, «не щадя живота своего до последней капли крови», и старании предостерегать и оборонять все, что к «верной службе и пользе Государственной во всяких случаях касаться может».¹ При императрице Елизавете Петровне было повелено «всем служителям этой экспедиции и архива ни с кем из посторонних людей об этих делах не говорить, не ходить во дворы к чужестранным министрам и никакого с ними обхождения и компании не иметь».²

Документ этот был усовершенствован дважды Екатериной II, и фактически Пушкин подписывался под указом от 4 августа 1791 года. «Ея Императорское Величество высочайше указать изволила подтвердить прежде данное повеление, чтоб никто из чинов ведомства Коллегии иностранных дел... в дома иностранных послов, министров и прочих доверенных от других

держав особо не ездили и не ходили... под опасением не токмо отрешения от дел, но суда и взыскания по всей строгости закона. Подтверждает Ее Императорское Величество равным образом всем и каждому из помянутых чинов Коллегии иностранных дел, чтобы дела, каждому вверенные, сохраняемы были с надлежащею тайною... В исполнении и наблюдении чего взять со всех означенных чинов подписку, да и впредь по определении вновь канцелярских чинов ведомства моя Коллегии, каждый таковой вновь определяемы по сею подпискою руку свою приложить долженствует».³

Присягу принимали все государственные служащие. К тому же из подписавших ее все, кроме Пушкина, отправились за границу. Так называемые «государственные соображения» были и тогда, и потом ответом для тех, кого выпускать не желательно. Формально с подпиской под присягой у молодого чиновника возникал «режим», что давало основание не пускать его за границу столько, сколько власти сочтут нужным. Однако, во-первых, никакими тайнами Александр Пушкин не обладал, а подписал, так сказать, на будущее. Суть работы любого дипломата в том, что он всегда обладает государственными тайнами, которые вывозит за рубеж; при этом ему доверяют.

Пушкина приняли на работу в Архив Министерства иностранных дел согласно воле Александра I. Еще в 1766 году Сенат постановил: «В архив избирать людей трезвого жития, неподозрительных, в пороках и иных пристрастиях не примеченных». Пушкин был принят, но под эти требования он теперь не подходил. Кто персонально занимался делом Пушкина, не известно.

Министра иностранных дел в то время фактически не было. Во главе Министерства стояли два человека: сорокалетний граф Карл Роберт Васильевич Нессельроде и сорокашестилетний граф Иоанн (он же Иоаннис и Иван) Антонович Капод'Истрия (фамилию Каподистрия позже стали писать в одно слово). Многие вопросы царь решал сам и, играя на соперничестве двух руководителей, извлекал выгоду от обоих. Оба начальника Пушкина были людьми неординарными, во многом противоположных взглядов.

Нессельроде, человек прусского происхождения, родился на английском корабле, который подплывал к Лиссабону. По-

русски Нессельроде не говорил. Был он жестким, хитрым и двуличным. Грек Каподистриа являл собой либеральное начало и европейский подход к русским вопросам. Поскольку Пушкин был принят на службу графом Нессельроде, а также учитывая смягчающую роль Каподистриа после конфликта (о чем еще будет речь), можно предположить, что отказ в выезде за границу последовал из канцелярии графа Нессельроде.

Были ли основания не выпускать молодого поэта за рубеж или это был произвол? Так или иначе, с самого начала самостоятельной жизни возле уха Пушкина звякнуло ласковое, как защелка собачьей цепи, слово «запрещено».

Возможности бесконтрольного пересечения границы на Руси были ликвидированы при Иване Грозном. «Ты затворил царство русское, сиречь свободное естество человеческое, словно в адовой твердыне, — упрекал Андрей Курбский Ивана IV. — Кто поедет из твоей земли в чужую, того ты называешь изменником, а если поймают его на границе, ты казнишь его разными смертями». Дворянство было тестом, из которого государство пекло для себя преданных чиновников. «Чтобы можно было спокойно удерживать их в рабстве и боязни, никто из них... не смеет самовольно выезжать из страны и сообщать им о свободных учреждениях других стран». Так объяснял русскую ситуацию немецкий путешественник XVII века.⁴ С XV века (а может, и раньше) под изменой стали понимать, главным образом, побег или попытку побега за границу.⁵

Причин ограничений было несколько: опасение, что чужая вера проникнет внутрь страны, возникнет ересь, что, узнав о вольной жизни за границей, вернувшийся будет недоволен крепостной зависимостью на родине, наконец, весьма частое превращение путешественников в невозвращенцев: «одно лето побывает с ними (с иностранцами. — Ю.Д.) на службе, и у нас на другое лето не останется и половины русских лучших людей».⁶

Тайные побеги за границу были следствием запрета на легальный выезд. А чтобы пресечь побеги, возникла система заложничества. То была остающаяся семья, жизнь которой зависела от того, вернется посланный или нет. «А который бы человек князь или боярин, или кто-нибудь сам, или сына, или брата своего послал для какого-нибудь дела в иное государство без ведомости, не бив челом государю, и таком б человеку

за токе дело поставлено было в измену, и вотчины и поместья и животы взяты б были на царя ж, а ежели б кто сам поехал, а после его остались сродственники, и их бы пытали, не ведали ль они мысли сродственника своего ж, или б кто послал сына, или брата, или племянника, и его потому ж пытали бы, для чего он послал в иное государство, хотя государством завладети, или для какого иного воровского умышления по чьему наущению».⁷

Заметим: государство непременно предполагает в личных стремлениях человека только плохие намерения. Для того, чтобы выехать, надо унизиться, бить челом. Выезд за сто лет, прошедших от Ивана Васильевича до Алексея Михайловича, стал труднее. Хорват Крижанич, писатель, подвизавшийся при Алексее Михайловиче в Москве в 1645-1675 годах, сформулировал пять принципов власти в России, которыми регулировалась жизнь во всех ее проявлениях. Это: 1) полное самовластво, или, говоря теперешним термином, тирания; 2) закрытие рубежей, то есть железный занавес; 3) запрет жить в безделье (принудительный труд); 4) государственная монополия внешней торговли; 5) запрет проповедовать ереси, или идеологическое единомыслие, борьба с диссидентством, постоянное свидетельствование преданности власти. Добавим теперь к этому сверхзадачу, о которой Крижанич запамятовал, а именно: идею мирового господства, амбиции типа «Москва – Третий Рим».

Крижанич писал о закрытии границ: чужестранцам не разрешается свободно и просто приходить в нашу страну, и нашим людям не разрешают без важных причин скитаться за пределами. Эти два обычая – две ноги и два столпа сего королевства, и их надо свято соблюдать.⁸

При Петре Великом, прорубившем так называемое окно в Европу, для охраны границ в 1711 году была учреждена ландмилиция, то есть пограничная военная стража. Вдоль границ начали строиться оборонительные линии на юге Украины. Однако для учения, торговли и заимствования западных новшеств, особенно в военной области, поездки за рубеж при Петре расширились, прежде всего благодаря его собственному практическому интересу к Европе.

Выпуск за границу встречал противодействие в русском обществе. Зрелый Пушкин, занимаясь историей Петра, отмечал:

«За посылание молодых людей в чужие края старики роптали, что государь, отдаляя их от православия, научал их басурманскому еретичеству. Жены молодых людей, отправленных за море, недели траур...» (IX.11) Анализ причин этой неприязни увел бы нас в сторону. Важно же, что традиционное русское мышление вообще все иностранное и за границу в целом, как отмечает американский славист Д. Ранкур-Лаферрьер, соотносит с дьявольщиной, с тем местом, где, с точки зрения русского человека, дьявол обитает. За граница – это то, что находится далеко: у черта на куличках, у черта на рогах, а сами иностранцы сродни дьяволам.⁹ Об этом же свидетельствуют многочисленные источники, начиная с древней русской литературы до «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, у которого демонический Воланд все время подчеркнуто изображается иностранцем.

Таким образом, в исторически сложившемся русском сознании за граница есть нечто проклятое Богом, ад. Для Пушкина же и его единомышленников за граница – источник просвещения, культуры, вообще рай.

Проблема выезда за границу облегчилась при императоре Петре III с изданием Манифеста о вольности дворянской. Привилегированное сословие освобождалось от принуждения к службе. Неслужащий дворянин получил даже право ехать за границу и служить там. При Екатерине Великой с ростом культуры русского общества сближение с Европой еще более расширилось. Поездка за границу для учения, развлечения или расширения общей культуры, а также для лечения становилась неременной частью существования состоятельных людей. В Европу ехали художники, музыканты, сочинители. Одни из них приезжали и снова уезжали, другие оставались там навсегда. Сравнительно легко удавались и побегии. Брат писателя Василия Капниста Петр благополучно бежал от ухаживаний Екатерины II за границу, просто сев инкогнито на корабль, уходивший в Англию.

Некоторые русские, покидая отечество в конце XVIII – начале XIX века, переходили в католичество или масонство. Другие, даже живя в Петербурге, старались получить образование в нерусских учреждениях и предпочитали не иметь ничего общего с духом народа, потребностями страны и,

как пишет историк Майков, «тянули в сторону врагов родины».¹⁰

При этом Россия во многих аспектах становилась в то время подлинно европейской страной. Историографы периода, на котором мы сосредоточили внимание, утверждают, что дворянин, если он хотел выехать за границу, сделать это, как правило, мог. Писатели часто служили по дипломатической части и ездили за границу охотно. Василий Тредиаковский был чиновником в Париже и Гамбурге. Антиох Кантемир – послом в Лондоне и Париже. Бывал в Европе Фонвизин.

Карамзин выбрался, когда ему было 23 года, проехал пять стран. «Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения», – писал он в дороге.¹¹ Вернулся он через полтора года, решив стать реформатором, но впоследствии реальность немного остудила его планы.

Пожалуй, одним из первых русских писателей Карамзин сделал заключение: «Хорошо писать для россиян; еще лучше писать для всех людей».¹² Он стал думать о том, не отправиться ли в Чили, Перу, на остров Бурбон, что в Индийском океане, на Филиппины, на остров Святой Елены: «Там согласился бы я дожить до глубокой старости, разогревая холодную кровь свою теплотою лучей солнечных; а здесь боюсь и подумать о седирах шестидесятилетия», – написал он Ивану Дмитриеву.¹³ Позиция Карамзина, вернувшегося из-за границы, такая: каждый может уехать, нельзя только, выехав, ругать свою страну. Но будучи за рубежом писатель рассуждал иначе. Когда соотечественники спросили его, что происходит на родине, Карамзин пожал плечами и ответил одним словом: «Воруют».

Один за другим отправляются за границу бывшие лицеисты. Уже после отказа Пушкину уехал служить в русскую миссию в Италию Николай Корсаков, также причисленный к Коллегии иностранных дел. Корсаков, по кличке «Русский парижанец», вывез за границу рукописный лицейский журнал. В 1820 году этот молодой человек умер во Флоренции от чахотки.

В литературном обществе «Арзамас», собравшем цвет петербургской интеллигенции, том самом обществе, которое несколько напыщенно называют политическим университетом молодого Пушкина, из двадцати человек, подписавших устав общества, за границу, как показывает наш подсчет, кроме Пуш-

кина, съездили все, – кто по Европе, кто в Америку, кто в Азию. И это не случайно.

Запад являлся в «Арзамасе» эталоном свободы, где, как выразился Николай Тургенев, правительство существует для народа, а не народ для правительства, и где не власть правительства, а свобода подданного почитается неограниченной.¹⁴ В каком-то смысле понятие западной свободы идеализировалось, она существовала в качестве чистой альтернативы свободе в России, что не во всем соответствовало реальности. В арзамасском братстве помогали друг другу даже и после того, как общество распалось, и пытались помочь выехать Пушкину. А среди членов «Арзамаса» были и действующие, и будущие крупные правительственные чиновники.

Выезд за границу, хотя и контролировался, но был достаточно простым. Однако же соображение, что ездить должны меньше, плавало в воздухе, наводя на граждан разные ограничения, и поддерживалось частью общественного мнения. Писатель Орест Сомов, с которым Пушкин общался с некоторой надменностью, рассуждал (как раз в описываемые нами годы) о том, что отечественным подданным вовсе и незачем ездить за кордон: «...поэты русские, не выходя из пределы своей родины, могут перелетать от суровых и мрачных преданий Севера к роскошным и блестящим вымыслам Востока».¹⁵

В 1817 году в журнале «Северный наблюдатель» появилась басня Крылова «Пчела и мухи», начинающаяся словами: «Две Мухи собрались лететь в чужие края...» Мораль басни вполне соответствовала подходу властей:

Кто с пользою отечеству трудится,
Тот с ним легко не разлучится;
А кто полезным быть способности лишен,
Чужая сторона тому всегда приятна:
Не бывши гражданин, там мене презрен он,
И никому его там праздность не досадна.¹⁶

Применительно к Пушкину, басня объясняет его стремление в Европу тем, что он был лишен способностей, что, конечно же, забавно. В советские годы басня цитировалась в контексте борьбы с безродными космополитами. Однако послед-

ние строчки смягчают угрюмую запретительную идею, что пчелы должны трудиться только на родине. Баснописец вроде бы намекает на бóльшую свободу за границей. Важно тут, что стремление российского правительства контролировать выезд за границу находило живой отклик и одобрение (правда, тогда еще не единодушное) у сочинителей-соотечественников.

Права свободного выезда, закрепленного в законодательстве, к которому можно апеллировать в случае конфликта (а иначе к чему законы?), этого права в России первой половины XIX века не существовало. Сделав Пушкина служащим, государство сразу же продемонстрировало ему свои когти. Отказав поэту в поездке за границу, сам царь с огромной свитой вскоре отправился в очередной раз в Европу. В рукописи под стихотворением, которое написано 27 ноября 1817 года и называется «Уныние» (позже оно было опубликовано под названием «К ...» – «Не спрашивай, зачем унылой думой...» I.280), есть приписка: «Я человек несвободный».

Глава четвертая

КОНФЛИКТ УМА И СЕРДЦА

*«Петербург душен для поэта. Я
жажду краев чужих; авось полу-
денный воздух оживит мою душу».*

*Пушкин – Вяземскому,
не позднее 21 апреля 1820 (X.16).*

Загул без чувства меры, превышающий всякие физические возможности, был, нам видится, еще и в каком-то смысле реакцией восемнадцатилетнего честолюбивого и сознающего свой талант человека на запрет отправиться путешествовать. Пушкин числится в присутствии, но не служит, время, стало быть, есть, и он его прожигает со всей беспечностью, на которую способен. На одном из кутежей (а большая часть приятелей его подбирается для этого занятия) Пушкин спорит, что он выпьет бутылку рома и не потеряет рассудка. Он выигрывает, так как, напившись, ничего не сознает, но свидетели утверждают, что он сгибает и разгибает палец.

Он часто бывает в театре, у него бесконечные романы с актрисами и воспитанницами театрального училища. Он ссорится из-за денег с отцом и, как после вспомнит, бранит Россию. Он «плюет эпиграммами», по словам Александра Тургенева.¹ Он матерщинник почище Баркова – смотрите, например, его стихотворения с многочисленными отточиями, сде-

ланными цензурой (I.337-347). Повисшие рифмы не оставляют сомнений у читателя в сути выражений поэта.

Брат Александра Тургенева Николай стыдит Пушкина за то, что он берет жалованье и при этом ругает того, кто его дает. Николай Иванович усовещивает его: следует быть подержаннее в эпиграммах против правительства. Пушкин вызывает Николая Тургенева на дуэль, и, лишь одумавшись, извиняется. Недруги и друзья говорят о поэте одно и то же. Александр Тургенев: «...теперь его знают только по мелких стихам и крупным шалостям».² Он отмечает у Пушкина лень и нерадение о собственном образовании, вкус к площадному волокитству и вольнодумство, также площадное, восемнадцатого столетия.³ Директор лицея Егор Энгельгардт: «Ах, если бы этот бездельник захотел заниматься, он был бы выдающимся человеком в нашей литературе».⁴

Пушкин жег свечу своей жизни с обоих концов. Он разрушительно творил и творчески разрушал то, что было ему дано природой. Неудовлетворенность действительностью – его болезнь, как и многих других. Батюшков писал Вяземскому: «...в нашей благословенной России можно только упиваться вином и воображением».⁵ Батюшков, правда, тут почему-то забыл про женщин.

Утешением Пушкину служит роман с одной из самых необычных женщин Петербурга. Это Евдокия Голицына, она же «принцесса Ноктюрн», «небесная княгиня», которую подруги считают чудачкой. Впрочем, она предпочитает дружбу с мужчинами, благо с мужем находится, как тогда говорили, в разъезде. Она не просто великосветская дама, она западница, философ, занимается науками и черной магией, у нее в доме бывают такие же чудачки со всего света, которых она принимает по ночам, так как ночью не спит: гадалки предсказали ей смерть во сне. На деле легенду эту сочинила она сама. «Принцесса Ноктюрн» Евдокия Голицына принимала по ночам потому, что постарела, а французские светские львицы никогда не показывались днем. Дневной свет при не столь изощренной косметике, как сегодня, выявлял у немолодой женщины все ее недостатки.

По свидетельству Карамзина, Пушкин смертельно влюбился в Голицыну, хотя она вдвое старше. Позже поэт включит ее

в свой Донжуанский список, куда попали только наиболее значительные его возлюбленные. Он уезжает от нее поздно утром, чтобы выспаться дома и затем сочинять, лежа в постели. Обедать он едет в ресторан, вечер проводит в притонах или театре, а ночью снова мчит в будуар к Голицыной, если она согласна его принять. Он почти идеальный эгоцентрик: вся Вселенная вокруг него и только для него, причем данная минута важнее всей жизни.

Я говорил: в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной?
Где женщина – не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой? (I.281)

На то, чтобы подобрать другое слово вместо дважды попавшегося «пламенный», нет времени, он спешит:

Где разговор найду непринужденный,
Блистательный, веселый, просвещенный?
С кем можно быть не хладным, не пустым?

Слово «хладный» два раза – про себя и про нее. Тяжелая, державинообразная причастная рифма, висит в изящном стихотворении, как незакрепленный кирпич, над головой читателя, которого, однако, под конец ждет блистательный пассаж:

Отечество почти я ненавидел –
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.

Конфликт ума и сердца, проходящий через всю жизнь Пушкина. Как бы ни было мерзко это государство, власть, люди, – всё, что происходит вокруг, превращает поэта в равнодушного, такого же, как остальные, но если есть, в кого влюбиться, от кого потерять голову, значит, еще не все потеряно, значит, можно быть счастливым даже тогда и там, где и когда это невозможно. Вот, если хотите, одна из опорных точек (их

много) пушкинской философии, роковое триединство: я, данная женщина и всё остальное на свете. Это перпетуум-мобиле, но это же и его тормоз, который вдруг, непредсказуемо, останавливает жизнь поэта, переворачивая ее вверх дном.

Почти три послелицейских года – длинная вереница его минутных подруг: ветреных Лаис, которых он любит за «открытые желания», молодых монашек Цитеры, включая сюда известную парижскую проститутку, находящуюся в творческой командировке в Петербурге, Олю Массон, Дориду, в объездах которой он «негу пил душой», Фанни, ласки которой он обещает вспомнить «у двери гроба», Наташу, с которой он проводил время на травке, проститутку Наденьку, польку Анжелику, которая, как вспоминал лицейский друг Иван Пущин, родила от Пушкина сына, продавщицу билетов в бродячем зоосаду... Перечисляем только тех, о ком сохранились сведения в его собственных заметках. В научных комментариях к сочинениям Пушкина проститутки именуются «представительницами петербургского полусвета». Смысл эвфемизма, видимо, в том, что эти представительницы работают в полутьме.

Анненков определяет послелицейский период жизни Пушкина так: «Беззаботная растрата ума, времени и жизни на знакомства, похождения и связи всех родов, – вот что составляло основной характер жизни Пушкина, как и многих его современников».⁶

Время в чем-то несчастное, но и счастливое. Почти ежедневные ссоры и новые знакомства, отчего ценность подлинной дружбы несколько смазывается, но в суете он этого не замечает. Происходит разрыв с Карамзиным, которому бранная риторика насчет рабства представляется недостойной. Но при этом – и становление личности, лепка самого себя как поэта, разумеется, с помощью более зрелых, более терпимых, более образованных друзей, европейцев по духу.

Одна беда: умнейшему и талантливейшему молодому творцу уже тесно в пределах возможностей того литературного круга, в котором он находится. Его субъективное ощущение, что ему тесно в России вообще. Его не выпускают в Европу. Но так уж устроен человек: отказ все же оставляет живую надежду: вот-вот прорвется, выпустят и тогда... А пока –

Увы! куда ни брошу взор –
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы,
Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений... (I.283)

Говорят, это было написано в один присест в гостях у Николая Тургенева. Но стоит ли к этим словам относиться столь же серьезно, как это сделали в правительстве Александра I? «Самовластительный злодей» в оде «Вольность» относится вовсе не к русскому императору, а к французскому. Слово «свобода» в компаниях, где бывал Пушкин, произносилось тогда так же часто, как «вино» и «любовь». И вовсе не всегда имелась в виду политическая свобода. Пушкин много раз бывал в доме Лаваля, управляющего третьей экспедицией Особой канцелярии Министерства иностранных дел. Экспедиция эта просматривала зарубежную периодику, составляя рефераты для царя о положении дел в Европе. Новости врывались в салон Лаваля без цензуры и растекались по Петербургу. Читали тут и стихи.

Поэт искал себя, определялся во мнениях. Третий брат Тургеневых, Сергей, писал: «Да поспешат ему вдохнуть либеральность».⁷ Из этого утверждения следует, что политические его взгляды в этот период еще нестойкие. Экстремизм шел, возможно, не от пушкинского естества, но от среды, в которой он вращался. Ряд стихов он сочинил, чтобы стать ближе к этим своим знакомым, но для серьезных борцов он оставался милым проказником, не более того. Да и протест у Пушкина не был связан с активной деятельностью.

Симпатии и неприязнь молодого поэта возникали подчас не столько от его собственных взглядов, сколько под влиянием лиц, с которыми он сближался. Это были прежде всего братья Тургеневы и, более других, Александр Иванович. В 1817 году Александр Тургенев именовался «Ваше Превосходительство» и был управляющим департаментом Министерства духовных дел и народного просвещения, приближенным министра князя А.Н.Голицына.

Отметим, между прочим, что забавно читать у Александра Тургенева слово «советский». Без малого за сто лет до Ленина, в ноябре 1824 года, он писал брату Николаю Тургеневу за границу: «Для тебя не может быть это теперь тайной, ибо ты советский...»⁸ Имелась в виду принадлежность брата Николая к Государственному Совету. Николай был крупным государственным деятелем, членом Государственного Совета, но также и либерально мыслящим человеком. Третий брат, Сергей, был в это время в Париже. Все трое хорошо относились тогда к Пушкину, и, при наличии больших связей, имели широкие возможности, чтобы похлопотать о своих друзьях.

Еще одним петербуржцем, влияние которого на Пушкина представляется несомненным, хотя о путях этого влияния известно мало, был его тезка Александр Сергеевич Грибоедов. Они в одно время пришли служить в одно ведомство, вместе подписали присягу, хотя Грибоедов был без малого на десять лет старше. Он к этому времени уже имел озлобленный ум, по мнению современника, из-за того, что его не оценили как человека государственного. Можно предположить, что поведение Грибоедова, столь знакомое нам по Пушкину, также было результатом постоянного раздражения действительностью, — болезнью среды, как назовут состояние российского интеллигента психиатры конца XIX века.

Осенью 1817 года Грибоедов должен был стреляться из-за балерины Истоминой с корнетом Якубовичем. Дуэль отложили на год. Потом была «четверная» дуэль, во время которой Грибоедову прострелили руку. Общались они с Пушкиным недолго: Грибоедов уехал, а впоследствии за то, что был секундантом на дуэли, его отправили в Персию секретарем посольства. Впрочем, наказание Грибоедова Пушкин посчитал бы для себя удачей.

От Грибоедова о Пушкине прослышал его приятель по Московскому университету корнет Петр Чаадаев (Пушкин с его абсолютным слухом в языке писал «Чаадаев», что по-русски звучит более естественно). Восемнадцати лет отправившись воевать, Чаадаев дошел до Парижа, получил награды. Его прочили адъютантом к царю, а стал он адъютантом командующего гвардейским корпусом генерала и князя И.В.Васильчикова. Чаадаев, в отличие от Пушкина, был богат. Встретились они у Карамзина.

Будущий философ и богослов, Чаадаев, как вспоминал современник, заставлял Пушкина мыслить. Он способствовал развитию поэта больше, чем кто-либо другой. Философия, мораль, право, история – их постоянные темы. Пушкин все чаще бывает у Чаадаева, берет у него книги. Именно Чаадаев открывает ему Байрона. И – важная деталь – между ними идут переговоры о совместной поездке за границу. После Пушкин не раз будет жалеть, что их поездка не состоялась: Чаадаев уехал один. А пока Пушкин начинает учить английский, беря у Чаадаева книги. Пиетет Пушкина по отношению к Чаадаеву, как это часто у поэта бывало, сплетен с иронией, но в ней любопытная оценка: в другой стране Чаадаев был бы знаменитой личностью, а здесь, в России, он всего-навсего военный невысокого чина:

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он – офицер гусарской (I.371).

Такую подпись сочиняет Пушкин к портрету Чаадаева. Смысл ясен: талант у нас не в цене, власть в России в гениях не нуждается.

Чтобы замкнуть круг, остановимся на человеке, который также оказывал тогда большое влияние на Пушкина, но сегодня менее известен. То был чиновник того же Министерства иностранных дел Николай Иванович Кривцов. В войне 1812 года Кривцову оторвало ядром ногу выше колена. После русских побед он остался за границей, лечился. В Лондоне ему сделали пробковый протез, настолько удачный, что он мог даже танцевать. Он жил в Австрии, Швейцарии, Франции, Германии, говорил свободно на нескольких языках, водил знакомство с Гете, Гумбольдтом, Талейраном, встречался с Наполеоном, запросто бывал у многих западных знаменитостей. Когда Пушкин вышел из лицея, Кривцов возвратился из Европы. Познакомились они у братьев Тургеневых и по прошествии недолгого времени сошлись.

Кривцов вернулся большим либералом и демонстрировал Пушкину великолепный образец раздвоенного сознания рос-

сийского интеллигента. Он был исполнительным, аккуратным и преданным престолу служащим, а в узком кругу ругал русские власти и отечественные порядки, не стесняясь в выражениях и не скупясь на остроумие. Речи его звучали еще резче, чем мальчишеская терминология Пушкина. И это было воспитание другого рода, нежели влияние друзей, перечисленных выше. Кривцов вскоре получил назначение в русское посольство в Лондон, о котором, как и обо всей Европе, много и увлекательно рассказывал Пушкину. Обсуждали они, по-видимому, и возможности пушкинского отъезда.

Из-за физической и нервной перегрузки, а возможно (по взгляду современных врачей) от инфекции (грипп? воспаление легких?), Пушкин заболевает горячкой. Тогда этим словом называли любую болезнь с высокой температурой. В послелицейские годы он вообще весьма часто хворал. На этот раз он болеет долго, и доктор не гарантирует благополучного исхода. Однако через два с лишним месяца молодой организм победил, и Пушкин поднялся на ноги. Поправляясь, он сочиняет стихи Кривцову на память перед отъездом того в Лондон, дает ему с собой свою книгу. Связь не прерывается после отъезда. Александр Тургенев пишет князю Петру Вяземскому, уехавшему служить в Варшаву: «Кривцов не перестает возвращать Пушкина и прислал ему безбожные стихи из благочестивой Англии».⁹

Друзья продолжали разъезжаться. Вяземский находился в Варшаве практически без дела. Летом следующего года он подписал записку об освобождении крестьян. Это было либеральное время, и он не пострадал за вольнодумство. Настроение Вяземского, приезжавшего в Петербург, было невеселым: «...мне так всё здешнее огадилось, что мне больно было бы ужитья здесь», пишет он и вскоре уезжает обратно в Варшаву.¹⁰

Польша была, конечно, еще не Западная Европа, но уже и не Россия, Пушкин это понимал. Поэтому, встретившись летом с Вяземским, он говорит о том, что, может быть, если не удалась заграница, его пустят в Варшаву. Вяземский обещает узнать и похлопотать «оттуда». В любом случае, здесь оставаться, по мнению Вяземского, невозможно. Вскоре он опять напишет: «У нас ни в чем нет ни совести, ни благопристой-

ности. Мы пятимся в грязь, а рука правительства вбивает нас в грязь».¹¹

Пушкин не мог не знать, что выезд из Варшавы в Германию неизмеримо проще, чем из метрополии. Карамзин, отправившийся впервые за границу, подробно рассказал о своих наблюдениях, и его заметки были к тому времени неоднократно опубликованы. «На польской границе, — писал он, — осмотр был нестрогий. Я дал приставам копеек сорок; после чего они только заглянули в мой чемодан, веря, что у меня нет ничего нового».¹² Возможно, Пушкин прижился бы на какое-то время в Варшаве, лишь бы только убраться из Петербурга. Тут, в городе, который он называет мертвой областью рабов, ему плохо. Он живет в немилой ему, «сей азиатской стороне» (I.326).

Не известно, принимали ли участие в хлопотах по поводу выезда Пушкина в Варшаву братья Тургеневы или еще кто-либо, кроме Вяземского, но усилия не увенчались успехом. Да и сам Вяземский, судя по его письмам, рвется из Варшавы в Париж. Между тем гадалка уже предсказала Пушкину дальнюю дорогу, о чем он сам вспоминал двадцать лет спустя.

А времена менялись. Выступая в Варшаве, Александр Павлович обещает дать России конституцию, какую он дал Польше (что могло укрепить Пушкина в стремлении туда перебраться). В Польше появилось нечто вроде парламента. На открытии Польского Сейма Александр размышлял о законно-свободных учреждениях, которые он надеется распространить. Европа очень беспокоилась по поводу произвола, царящего в России, и Александр в беседе, которая была опубликована на Западе, говорил о том, что скоро другие народы России, вслед за Польшей, получат демократию.

Либеральные воззрения Александра преподносятся Западу, а внутри он, только что получивший звание фельдмаршала Прусской и Австрийской армий, поощряет деятельность Аракчеева. Послабления, которые начали было ощущаться, к 1819 году отменяются. Время надежд на перемены, время новых противоречивых идей уходит в прошлое. Наступает период зачинчивания гаек внутри, который всегда сопровождается опусканием железного занавеса.

Брожения в странах Европы заставляют глав государств искать пути к договорам для защиты порядка, и русское пра-

вительство, вступая в такие контакты, находит для себя двойную выгоду: под предлогом опасности ужесточать дисциплину внутри и расширять сферы своего политического и военного влияния вовне. Сильные мира сего, которых Пушкин, смеясь, два года назад назвал «всемирными глупцами» (X.10), на самом деле таковыми вовсе не были. Теперь Пушкину уже было не до смеха.

Эйфория, связанная с возвращением русской армии из Европы домой, теперь сошла на нет. Просветительские и либеральные идеи затухали на глазах. Те, кто вернулись, думали, что возврата к старому режиму быть не может, однако теперь европейские начала вытравлялись, оставались традиционные, азиатские. Оказалось, что общественное мнение, которое сложилось в кругах интеллигенции, ничего не стоит, с ним можно не считаться. В университетах началась борьба с иноземной наукой. Инстанции были озабочены укреплением подлинно русских убеждений, под которыми подразумевалась преданность престолу. Высказывать публично мнение, официально не принятое, становилось снова опасно. Общественная жизнь ушла в подполье.

Идея развития России по американскому пути с введением конституции и отменой рабства, та идея, которую в течение нескольких лет вынашивали декабристские группы, в сущности, первые зачатки партий в стране, в принципе была мало реальной. «В Африке и Америке начинают чувствовать сие беззаконие и стараются прекратить оное, а мы, россияне, христиане именем, в недрах отечества нашего имеем защитников сей постыдной, сей богопротивной власти!» – доверяет бумаге свои мысли декабрист А.Н.Муравьев в это время.¹³ За свободой надо ехать на Запад.

Николай Тургенев сообщает брату Сергею: «Мы на первой станции образованности», – сказал я недавно молодому Пушкину. «Да, – отвечал он, – мы в Черной Грязи».¹⁴ Так называлась первая станция по дороге в Петербург.

Наступало время, привычное для русских людей в возрасте и приводящее в растерянность молодых. Тридцатилетний оптимист Николай Тургенев, мечтая о журнале «Россиянин XIX века» при сотрудничестве Пушкина, записывал в своем дневнике: «Каждый вечер оканчиваю с некоторым унынием... Ввече-

ру сижу у окошка и в каждом предмете, в каждом движущемся автомате вижу бедствие моего отечества... Какое-то общее уныние тяготит Петербург и сие время... Иные ничего не понимают или, лучше сказать, ничего не знают. Другие знают, да не понимают. Иные же понимают одни только гнусные свои личные выгоды. Неужели я до конца жизни буду проводить и зимние, и летние вечера так, как проводил доселе?.. Неужели я и при последнем моем издыхании буду видеть подлость и эгоизм единственными божествами нашего Севера?»¹⁵ У многих на уме Европа. Проводив свою знакомую в Париж, Александр Тургенев пишет Вяземскому: «Спокойнее и счастливее там, где и душа, и цветы цветут».¹⁶

Либеральные идеи овладели Пушкиным, если можно так выразиться, не вовремя. Более опытные его друзья, тот же Александр Тургенев, Карамзин, Жуковский встретили очередное похолодание на теплых должностных местах. Офицеры-декабристы шли на риск. Многие уходили в кутежи. Пушкин с энергией молодости кинулся во все сферы сразу. Он пытался соединить все стили жизни, и ему, с его умом и горячностью, это вполне удавалось. Но теперь возник вопрос: готов ли он всем пожертвовать ради того, чтобы встать на рискованный путь активного протестанта, готов ли к последствиям?

По всей видимости, его планы все же более эгоистичны, и они в литературе, не в политике. Поиски правды и свободы, но не в действии. Он не борец, а лишь поклонник правды и свободы, как он сам назовет себя позже. Но и в такой роли ему нет места. Он жалуется Дельвигу:

Бывало, что ни напишу,
Все для иных не Русью пахнет... (П.32)

Переведем это в прозаический контекст: то, что он пишет, – прозаического толка, и здесь не нравится. Интересы его сосредоточены на Европе, свобода там. Тут его не понимают. За три послелицейских года Пушкин потерял много времени впустую. Бездеятельность, растрата самого себя – весьма популярная в России форма протеста, в чем-то неосознанного. Он пытался оставаться самим собой, а его подгоняли под принятые стандарты. Стихотворная стихия должна была стать основ-

ной формой его жизнедеятельности, а для того, чтобы писать стихи, желательно видеть мир непредвзятыми глазами. Пушкину же предложена другая игра, другие рамки: сделаться чиновником и в свободное от службы время пописывать стихи, да при этом в определенных тонах: для развлечения себя и других.

Русская литература пушкинского времени мало отвечала на вопросы, стоявшие перед обществом. Отечественная словесность в начале XIX века существовала, но в сравнении с западной, пожалуй, в полном смысле этого слова ни проза, ни поэзия еще не сформировались, находились в эмбриональном состоянии. Анненков, рассказывая о жизни Пушкина, назвал русскую литературу того времени «всеобщим царством скуки и пошлости».¹⁷ «Лучшими русскими писателями были Вольтер и Жан-Жак Руссо, – шутили авторы «Сатирикона». – Лучшими русскими поэтами были Вергилий и Пиндар».¹⁸ Читать по-русски было нечего, не у кого учиться молодому писателю современному литературному мастерству. «У нас еще нет ни словесности, ни книг, все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке», – скажет после Пушкин (VII.14). Даже само слово, обозначающее словесность, писалось на латинско-французский манер: «литтература». Греция давным-давно родила Гомера, Англия – Шекспира, в Германии здравствовал великий Гёте, а кого такого масштаба дала миру Россия до Пушкина? Нация должна была достичь определенной ступени развития культуры, заявить о ней в мире, чтобы вывести в этот мир свою литературную звезду.

Литература жила полной жизнью на Западе. Там работали известные миру профессиональные авторы. В России таковыми могли быть только чиновники или любители, которых презрительно называли сочинителями. Европеизм как общественное течение в среде русской интеллигенции того времени был, в сущности, свежим поветрием из окна в Европу. Власти этого поветрия боялись и поэтому подавляли любые нестандартные движения мысли.

Взамен сознание заполнялось официальной великодержавной идеологией, важную часть которой составляла целебная для души мечта о мессианском предназначении Руси. Евро-

пеист Пушкин пытался отмежеваться от угнетавшей его системы, но он жил среди этих людей, соотносился с ними, не мог их избежать, и вирус азиатства и имперского мышления проникал в его мысли, особенно, если сопутствующим обстоятельством была лесть.

Поэт в мессианской рамке – такая картина вполне обеспечила бы ему перспективу легкого и безоблачного счастья, которое ему прочили. Он сочинял по образцам французских поэтов Эвариста Парни и Жана Грекура, а ему уже готовили кресло в русском поэтическом президиуме. Формы стихов он, казалось, перенимал у своих русских старших собратьев, но ведь элегии и баллады Жуковского были немецкими, переименованными на русский манер. Поэма «Руслан и Людмила», выведшая Пушкина в лучшие русские поэты, была результатом умелого восприятия рыцарского романа итальянского поэта Лудовико Ариосто «Неистовый Роланд» («Orlando Furioso»).¹⁹ В «Руслане и Людмиле» имена напоминают также о Парни, к которому Пушкин питал особую симпатию: у Парни – Аина, у Пушкина – Наина, у Парни – Русла, у Пушкина – Руслан.

В российской литературе оставались гигантские пространства целины, и талантливый человек, овладевший мировой литературой, мог братья и разрабатывать любой жанр или все жанры сразу, что Пушкин и поэты его круга делали весьма успешно. Пушкин называл Батюшкова «наш Парни российский» (I.64), но и его самого в молодости можно так назвать. Все темы были нетронутые, всё интересно попробовать. И благосклонное одобрение наверху гарантировано при одном только условии, старом, как мир: не надо касаться некоторых щекотливых вопросов политики и права. Но Пушкину такого счастья было мало.

Неожиданно для всех (но не для него самого) он после очередного приступа «гнилой горячки» задумывает устроиться на военную службу, – новая идея на старый лад. Друзья вначале удивлены. «Я имею надежду отправить его в чужие края, но он уже и слышать не хочет о мирной службе», – говорит Александр Тургенев. А чуть позже об этом сообщается еще более твердо: «Пушкин уже на ногах и идет в военную службу». Тот же Тургенев пишет об этом Вяземскому в марте 1819 года. А еще через неделю Тургенев пишет Вяземскому, что

Пушкин собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию, и бредит войной.²⁰ Возможно, идея возникла у Пушкина в результате знакомств с грузинами в Петербурге.

По свидетельству Ивана Пущина, Пушкин ищет знакомства с Павлом Киселевым, только что назначенным начальником штаба 2-й армии. Киселев обещал содействие в определении Пушкина к себе. Сам Киселев готовился отбыть в военные поселения на юг Украины. Киселев не знал, а некоторые приятели поэта были в курсе дела: из Тульчина Пушкин, будучи принят на военную службу, сумеет пробраться в войска, расположенные на Кавказе. Там, когда начнутся военные действия, он двинется с войсками в сторону Турции.

В мае Батюшков в письме из Неаполя, не догадываясь об истинных намерениях Пушкина, сожалеет о его решении поступить на военную службу.²¹ Тургенев отмечает, что Пушкин бредит уже войною, что можно толковать как состояние возбуждения, в котором он находится. В конце мая 1819 года он со дня на день готов начать осуществление замысла. В этом состоянии его свалил новый приступ болезни.

Тургенев в письме Вяземскому замечает о Пушкине: «Он простудился, дожидаясь у дверей одной бляди, которая его не пускала в дождь к себе для того, чтобы не заразить его своей болезнью». Видимо, Пушкин все же добился приема, ибо тот же Тургенев напишет чуть позднее, что Пушкина нельзя обвинять за оду «Вольность» и за две болезни «не русского имени». А пока у Пушкина состояние опять очень тяжелое, и доктор Лейтон ни за что не ручается.

Лечение молодого и сильного организма, однако, шло успешно. Обритый наголо Пушкин покупает парик. Периодически надевая его, он, видимо, старается к нему привыкнуть. Поднявшись с постели, Пушкин стал искать связи, дабы устройство его на военную службу состоялось. Он не знает того, что стало ведомо его друзьям. Между тем Николай Тургенев, который был осведомлен о том, что происходит наверху, почувствовал, что попытки выхлопотать для Пушкина должность за границей по дипломатической части натываются на холодные отказы, впрочем, как и ходатайства насчет военной должности. 20 апреля 1819 года Николай Тургенев писал брату Сергею: «О помещении Пушкина теперь, кажется, нельзя и думать».²²

Поставим вопрос, на который не знаем ответа: что узнал Николай Иванович? Почему и в дипломатической, и в военной карьере поэту было отказано? Остается предположить, что он, в сущности, еще ничего не сотворив противу власти, уже был на крючке.

Между тем слухи о военной кампании к этому времени сошли на нет, так и не реализовавшись. К тому же генерал Орлов, приятель Пушкина, охладил его пыл, сообщив, что если поэт попадет сейчас на юг в качестве офицера, ему придется участвовать в расправе над восставшим уланским полком. Это в планы Пушкина вовсе не входило, и он подал прошение об отпуске. Отпуск по собственным делам в Михайловское переводчику Иностранной коллегии был разрешен.

Но и в Михайловском ему не сидится, он опять скачет в Петербург. «Пушкин по утрам рассказывает Жуковскому, где он всю ночь не спал; целый день делает визиты блядам, мне и кн. Голицыной, а в вечеру иногда играет в банк...» Это из отчета Тургенева Вяземскому.²³

Не способствовал улучшению душевного состояния Пушкина и вернувшийся из двухлетнего кругосветного путешествия одноклассник Федор Матюшкин. Два года, десятки стран, неведомые острова, народы, обычаи. А Пушкин за прошедшее время так и не сдвинулся с места. Матюшкин сразу стал рассказывать об Америке. Вспомнил старика Сеземова, которого встретил в Новом Альбионе, в Калифорнии. Старик и слушать не хотел о возвращении на родину: «Там солдату двадцать пять лет батюшке-царю служить надоть, а мне невтерпеж. Я, сударь, и так до смерти не успею много доделать, а вот извольте поглядеть чудеса мои да сестре пересказать, если когда свидитесь».²⁴ И старик стал показывать Матюшкину урожаи невиданные: редька весом в полтора пуда, репа 12-13 фунтов, картофель родит сам сто, притом дважды в год. Эти строки дописываются в Калифорнии, в трех часах езды от Альбиона. И хотя старик немного приврал насчет размеров редьки и репы, это действительно прекрасный уголок на берегу Тихого океана, неподалеку от другого и более известного исторического русского поселения Форт Росс.

Матюшкин захлебывался рассказами о загранице. Останавливался он и на острове Святой Елены, даже встречался с

Наполеоном. Тот был в халате, обросший, с бородой, с подозрительной трубкой в одной руке и бильярдным кием в другой. Наполеон жаловался русскому путешественнику на дурное содержание и дороговизну баранины на острове. Мы можем только догадываться, с какими чувствами слушал Пушкин эти рассказы, о чем думал.

Конец 1819 – начало 1820 года проходят у него под знаком конфликтов и скандалов. В присутствии того же Матюшкина Пушкин-отец грозил сыну пистолетом. Возможно, отец отказывался дать деньги, а сын требовал. В театре Пушкин вызывает на дуэль майора Денисовича. Ссору улаживают. В ресторане «Красный кабачок» Пушкин с компанией Нащокина участвует в драке с немцами. Затем происходит еще несколько драк. Состоялась дуэль с Кюхельбекером из-за эпиграммы – Пушкин стреляет в воздух. Екатерина Карамзина в письме в Варшаву жалуется брату, Петру Вяземскому: «Пушкин всякий день имеет дуэли; благодаря Бога, они не смертоносны, бойцы всегда остаются невредимы».²⁵ Пушкин проигрывает в карты все деньги, а затем тетрадь своих стихов, которая идет за одну тысячу рублей. В стихах его то и дело мелькают упоминания о попойках, в них он находит наибольшее удовлетворение.

Реакцию Пушкина на сорвавшуюся попытку попасть на Кавказ можно предугадать. Он затевает ссору с лицейским однокашником, а теперь соседом по дому Модестом Корфом, который побил его слугу Никиту. Пушкин вызывает Корфа на дуэль. Последний, к счастью, просто-напросто отказывается встречаться. Еще одна реакция на неудачи: Пушкин вдруг начинает бранить Запад. Друзья удивлены. Когда поэт сильно русофильствовал и громил Запад, Александр Тургенев заметил: «Да съезди, голубчик, хоть в Любек!» Это был первый иностранный порт, в котором останавливались шедшие за границу пароходы. Пушкин расхохотался.²⁶

Наконец, в Петербурге проносится слух, что поэт был вызван в секретную канцелярию Его Величества и там высечен. Узнав об этом слухе, позорящем его дворянскую честь, Пушкин готов драться с каждым, кто слух пересказывал. Распространителем слуха оказался картежник Федор Толстой по кличке Американец.

Ситуация в стране мрачнеет, образ Европы, земли обетованной, то и дело возникает в новых красках и впечатлениях. Приехал из-за границы Сергей Тургенев и уехал в Константинополь. Самые умные и предприимчивые знакомые поэта понимают, что надеяться не на что, а уж ждать и подавно, и едут или собираются ехать за границу. Те, кто остается, об этом мечтают. Кюхельбекер печатает в журналах заметки о своем воображаемом путешествии по Европе. Через полгода он туда уедет, а пока описывает Европу 26-го века – довольно примитивная фантазия. Самое любопытное в ней для нас то, что друг Пушкина пытается высказать между строк идею: Россия в будущем может стать похожей на Америку, которая для цивилизованных россиян уже служит эталоном и идеалом общественного устройства.²⁷

Словно сговорившись, многие мечтают ехать в разные страны, только бы не оставаться в России. Даже умеренный Карамзин в эти же дни строит свои планы: «Боюсь только фраз и крови. Конституция кортесов есть чистая демократия... Если они устроят государство, то обещаюсь идти пешком в Мадрид, а на дорогу возьму Дон-Кихота».²⁸ Впрочем, Пушкин после искажил мысль Карамзина, написав, что Карамзин (он называет его одним «из великих наших сограждан», но адресат прозрачен) еще раньше говорил, что «если бы у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь» (VII.139). Получается, что Карамзин хотел ехать не за свободой, а от разгула свободы, что, вообще говоря, в отдельные периоды развития некоторых стран имеет свои основания, но тогда Карамзин говорил обратное. Вяземский, сидя в Варшаве, предчувствует, что не за горами репрессии: «Власть любит генегализировать (он соединяет два языка в одном слове. — Ю.Д.) и там, где дело идет о мере частной, принимать меры общие... Я о Франции плачу, как о родной» (Б.Ак. 13.13).

28 марта 1920 года Пушкин обедал у Чаадаева, и разговор вертелся вокруг двух тем: слухов о предстоящей войне и за границе. Споры о новой военной кампании, подготовка к которой шла на Кавказе, велись на всех этажах чиновничьей иерархии. Шли перемещения офицеров. Цель не называлась, но было ясно, что речь идет о новом походе на Турцию, который все откладывается. Чаадаев думает о поездке в Европу, и

оба приятеля уже не первый раз обсуждают возможность совместного путешествия.

Раньше Пушкин вместе с Михаилом Луниным ездил в Царское Село провожать в Италию Батюшкова, а теперь он провожает Лунина. В нежном порыве поэт отрезает у Лунина на память прядь волос. Он хотел бы вслед за друзьями отправиться в Европу, он задыхается здесь. Около 21 апреля 1820 года в письме к Вяземскому Пушкин сетует: «Жалеть, кажется, нечего – а все-таки жаль. Круг поэтов делается час от часу теснее – скоро мы будем принуждены, по недостатку слушателей, читать свои стихи друг другу на ухо. – И то хорошо.» (X.16) А дальше в этом самом письме он говорит, что ему плохо, что он жаждет покинуть душный Петербург, – те слова, которые мы вынесли в эпиграф. С января по май 1820 года он написал едва ли больше пяти стихотворений, хотя начал еще несколько. Он чувствует, что теряет даром время. «Я глупею и старею не неделями, а часами», – жалуется он Вяземскому в том же письме.

И дней моих печальное начало
Наскучило, давно постыло мне!
К чему мне жизнь? (I.342)

Лунин любил повторять, что язык до Киева доведет, перо – до Шлиссельбурга. От безвыходности две мысли приходят Пушкину: покончить с собой или – убить царя. Его остановили и отговорили Чаадаев и Николай Раевский. Поэт вспомнит потом в «Руслане и Людмиле»:

Ум улетал за край земной;
И между тем грозы незримой
Сбиралась туча надо мной!..
Я погибал... (IV.80)

Что касается намерения стать террористом, о котором Пушкин сам признается через пять лет в неотправленном письме к императору Александру, то экстремизм его, как и многое в желаниях, был весь в словах, в браваре, а не в деле. Пушкин принес в театр и показывал знакомым портрет Лувеля, заколовшего наследника французского престола, со своей надписью

«Урок царям», что вряд ли стал бы делать серьезный царевубийца.

Скорей всего, ничего этого не было бы: ни драк, ни злобы, ни антиправительственных стихов, ни мальчишеских глупостей в общественных местах, ни мыслей о терроре, если бы Пушкина просто-напросто отпустили за границу. Возможно, там он решил бы, что дома все же лучше, и тихо вернулся полным впечатлений, а то и стал бы горячим защитником всего чисто русского – от царя до лаптей. Но так устроена русская система в течение столетий: борясь с недовольными, она их плодила, чтобы затем с новой силой подавлять. Энергия нации уходила в борьбу со своими согражданами, в слежку друг за другом. За Пушкиным слежка уже шла, и последующие события происходили быстро, как в кинематографе.

Добровольный осведомитель В.Н.Каразин записывает в своем дневнике мысли о «поганой армии вольнодумцев», приводит эпиграмму Пушкина и сообщает о ней управляющему Министерством внутренних дел В.П.Кочубею. Кочубей докладывает о полученном письме царю. Петербургский военный генерал-губернатор граф Михаил Милорадович приказывает полиции достать копию пушкинской оды «Вольность» и эпиграммы Пушкина, что, согласно докладу полиции, удастся «не без труда и издержек». Становится известно и о подписи к портрету, который поэт демонстрировал в театре.

Политический сыщик Фогель в отсутствие Пушкина является к нему домой, прося его слугу Козлова за 50 рублей дать почитать рукописи хозяина. Козлов ему отказывает. Пушкин, вернувшись домой, поспешно сжигает часть рукописей. На следующее утро он ждет обыска, но его приглашают на прием к Милорадовичу. За Пушкина заступился Федор Глинка, чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе. Предполагалось, что, пока будет идти беседа, полицмейстер заберет все рукописи, которые найдет у Пушкина в доме. Поэт, однако, с готовностью предложил прямо в кабинете написать все крамольные стихи, ему известные, пометив при этом, какие из них сочинены им самим. Эта открытость обезоружила генерала, и он, услышав слова раскаяния, от имени Александра Павловича объявил поэту прощение. Пушкин мог только вздохнуть, решив, что он легко отделался.

Император, однако, был не доволен чересчур быстрым раскаянием Пушкина, заподозрив, и, вероятно, не без оснований, отсутствие чистосердечия. Наказания злоумышленника требовал также военный министр Аракчеев, сообщивший царю о двух эпиграммах Пушкина. Речь пошла о ссылке в Сибирь или в Соловецкий монастырь.

Возможно, у Пушкина была слабая надежда, что с ним поступят, как с Грибоедовым, которого отправили служить за границу. Но у Грибоедова был чиновничий стаж. Боратынский в тот же год попадает в солдаты, и это считалось ссылкой, но – в Финляндию.²⁹ Именно поэтому, может быть, Пушкин эпатировал публику и был откровенен с Милорадовичем.

Мысль об отправке Пушкина в виде наказания за границу, как ни странно, у властей возникала. Обер-прокурор Священного Синода и министр народного просвещения Александр Голицын знал Пушкина по лицу и даже представлял его среди других выпускников царю Александру. В 1818 году Голицын издал инструкцию для цензоров, в которой предлагалось не допускать мысли, противные принятым твердым правилам, обнаруживать и пресекать вольнодумство, безбожие, своевольство, мечтательное философствование и пр. Теперь Голицын предложил выслать Пушкина в Испанию.³⁰

Любопытно, что это – важнейшая деталь биографии поэта, а о ней нет никаких разработок. Кому Голицын предложил эту идею? Вряд ли кому-нибудь, кроме императора. И почему предложил? Загадочный факт остается белым пятном пушкинистики. Александр Тургенев, директор департамента духовных дел и иностранных вероисповеданий, был прямым подчиненным министра Голицына. Отношения между ними были хорошими, не случайно Голицын предоставил Тургеневу квартиру в своем доме. Тургенев вполне мог обосновать такую ссылку для Пушкина, а Голицын – подать эту мысль царю. Вариант мог бы и осуществиться, если бы не революция, вспыхнувшая в Испании. Не знаем, стала ли идея такой ссылки известна поэту и какова была его реакция. Предложение не нашло одобрения, да это и понятно: отправка в Испанию вовсе не стала бы наказанием.

Между тем причины для принятия мер против вольнодумцев и смутьянов были, с позиций властей, серьезными. В Ис-

пании революция. Во Франции убит наследник престола. В Петербурге полиции известно о заседаниях нелегальных организаций, вроде Союза Благоденствия. Пушкин общается с заговорщиками, сочиняя стихи противоположительного содержания. Как и всегда в России, крамолу тогда писали многие (например, вполне лояльный Федор Тютчев). О стремлении Пушкина вырваться за Запад было известно; потакать ему в этом так, как предложил Голицын, царь не намеревался.

Филипп Вигель, член общества «Арзамас» и приятель Пушкина, сформулировал суть дела: «Когда Петербург был полон людей, велегласно проповедующих правила, которые прямо вели к истреблению монархической власти, когда ни один из них не был потревожен, надобно же было, чтобы пострадал юноша, чуждый их затеям, как последствия показали... Пушкин был первым, можно сказать, единственным тогда мучеником за веру, которой даже не исповедовал».³¹

Друзья Пушкина, которые понимали цену его дарования, переполошились. Чаадаев помчался к Карамзину, прося заступиться за друга перед вдовствующей императрицей Марией Федоровной и начальником Пушкина графом Каподистриа. Карамзин готов был содействовать, но потребовал от Пушкина обещания не писать против правительства в течение двух лет. Почему именно двух лет? Видимо, просто условный отрезок времени, чтобы успокоить страсти. Пушкин дает Карамзину такое обещание. Участь молодого поэта действительно облегчила Мария Федоровна, которая помнила, что наградила юного Пушкина за стихи золотыми часами, которые он в лихом порыве раздавил каблуком. Теперь, по просьбе Карамзина, она заступилась за молодого человека, что и смягчило гнев ее сына, царя Александра.

Заступиться за Пушкина Чаадаев просил также своего начальника князя Васильчикова. Чаадаев, по его собственному выражению, спас Пушкина от гибели. В хлопоты втянуты Александр Тургенев, просящий своих влиятельных знакомых, Жуковский, обратившийся к императрице, Гнедич, ходатайствующий перед членом Государственного Совета и статс-секретарем Олениным, директор лицея Энгельгардт. Такого натиска ходатаев Александр I, по всей видимости, не ожидал.

Граф Каподистриа, будущий президент Греческой республики, управлявший пока что русским Министерством иностранных дел, имел большое влияние на Александра и был его доверенным лицом во многих щекотливых международных делах. Хорошо образованный, либерально мыслящий, сторонник отмены крепостного права и организации Совещательного дворянского собрания (то есть адвокат идеи конституционной монархии) Каподистриа был среди почетных членов общества «Арзамас», к этому времени уже распавшегося.

Каподистриа буквально вымолил у царя согласие сменить гнев на милость, видимо, доказав тому, что доброта царя вызовет одобрение в обществе. Наставление в письме Каподистриа было составлено хитро: «...можно сделать из него прекрасного слугу государству или, по крайней мере, писателя первой величины...»³² Царь написал резолюцию: «Быть по сему». Мысль, проскальзывающая в литературе, что царь согласился на замену ссылки в Сибирь отправкой Пушкина по службе, чтобы не было шума на Западе, кажется очень соблазнительной.³³ Но это стереотип шестидесятых годов нашего века, а тогда она не возникала. Ссылку не отменили, место ссылки было определено: южные поселения колонистов.

Какие конкретно сочинения послужили поводом к ссылке Пушкина, остается неясным. И неопределенность дала возможность построить важную часть мифа, что поэт был наказан за политическую активность и, в первую очередь, за оду «Вольность». Однако еще М.А.Цявловский ставил это под сомнение. Он считал, что реальная причина была в эпиграммах на Аракчеева, а «Вольность» тут ни при чем.³⁴ Представляется, однако, что сработали все обстоятельства вместе, и возникло решение проучить молодого своевольного забияку-поэта.

Как явствует из письма Пушкина Вяземскому, Петербург ему так надоел, что он рвался уехать куда угодно, а свою ссылку-командировку на юг называл «чужими краями». 5 мая Александр Тургенев сообщал тому же Вяземскому, что Пушкин стал тих и осторожен, даже его в публике избегает. Знакомое поведение опального человека, который боится подвести друзей. А когда решилось, он утром выехал с верным дядькой Никитой и эскортом провожающих друзей в сторону Царского Села. Он ехал одетый как на маскараде весьма экстравагантно:

в красной рубахе, подпоясанной кушаком, и в сапогах. В кармане у него лежал свежий паспорт, а вернее, подорожная, которая сохранилась во Франции до наших дней. Ее подарил Пушкинскому дому коллекционер и балетмейстер парижской оперы С.Лифарь. В подорожной на ссылку Пушкина и не намекалось. Там было написано: «Отправлен по надобности службы», что было вполне почетно.

Другой бумагой в кармане ссыльного было письмо, сочиненное Каподистриа от имени Нессельроде, писанное по-французски, о том, что чиновник Пушкин направляется на службу. Письмо это было одобрено царем. В письме также, как это ни странно, не содержалось ни намека на ссылку. Фактически Пушкин получил перевод по службе и вез в Екатеринослав главному попечителю колонистов Южного края генералу Инзову приятную весть о повышении в должности: тот назначался Наместником Бессарабии. На проезд коллежский секретарь Пушкин получил из казны тысячу рублей.

В дороге у поэта было предостаточно времени, и, вполне вероятно, он перебирал в мыслях возможности уехать за границу, которые возникали после лица. За три петербургских года неприятностей у него было хоть отбавляй. А мог, как Батюшков, провести это время в Италии. Теперь его отправляли на службу против воли. Не исключено, что Пушкин размышлял о том, как продолжить путешествие за пределы империи.

Глава пятая

КУРОРТНИК ПОНЕВОЛЕ

*...Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.
Свобода! Он одной тебя
Еще искал в подлунном мире.
«Кавказский пленник» (IV.85).*

Выделенные строки были выброшены цензурой, но, по словам приятеля Пушкина Михаила Юзефовича, в рукописи, по этому ему показанной, строки эти имелись, и Юзефович их выписал.¹

В истории пушкинской ссылки, описанной в сотнях книг, остаются загадки. И первая из них – почему Пушкин, в отличие от всех ссылных до него и после, отправился в ссылку весело? Суть дела, нам кажется, объяснима: молодой поэт надеялся в ссылке получить свободу, от которой, наказав, его отлучили в Петербурге и к которой он так стремился.

Откажемся пока от предположения, что он намеревался оттуда осуществить свои давнишние планы. В подтверждение таких намерений перед отъездом его из Петербурга у нас нет доказательств. Тогда, может быть, он рад тому, что едет со слугой и самостоятельно, а не со стражниками и в кандалах? Что он счастливо избежал участи политического преступни-

ка? Конечно, ему повезло, но для веселья это еще не повод. Пушкин был пьян после шумных проводов, но и этого недостаточно, чтобы объяснить его приподнятое настроение.

Более радостными для поэта были два важных обстоятельства, которые ему сообщил на прощанье, хотя и ворчащий, но добрый Карамзин. Такая ссылка (а фактически – перевод на новую должность) была знаком прощения со стороны царя раскаявшемуся молодому и неводержанному на язык поэту, жестом монаршей доброты, последовавшей за обещанием не сочинять противоправительственных стихов.²

Более того, Карамзин шепнул (и вряд ли он это выдумал), что месяцев через пять его простят совсем. Пять месяцев, когда одна дорога туда и обратно займет месяца полтора, вот от чего также можно было веселиться.

Но имелось и еще одно радостное и немаловажное обстоятельство. Согласно общеизвестной концепции, впервые высказанной П.Бартеневым в прошлом веке, Пушкин приехал в Екатеринослав, и там ему повезло: проезжавшее мимо почтенное семейство Раевских взяло его с собой на Кавказ, а потом в Крым. Традиционно это излагается в пушкинистике как случайный подарок судьбы.

Вот что любопытно: 17 мая, в день, когда Пушкин приехал в Екатеринослав, где была резиденция нового начальства, Карамзин писал из Петербурга в Варшаву Вяземскому: Пушкин «благополучно поехал в Крым месяцев на пять». И – «если Пушкин и теперь не исправится, то будет чертом еще до отбытия своего в ад».³ Значит, Карамзин знал, что Пушкин поедет к Черному морю.

Однако интереснее другое письмо. Николай Тургенев сообщает брату в Турцию, в Константинополь, важную весть: Пушкин скоро будет недалеко. Он собирается с молодым Раевским (то есть с Николаем) в Киев и в Крым. Письмо написано 23 апреля за 14 дней до отъезда Пушкина из Петербурга в ссылку.

Вот от чего опальный Пушкин радовался: он заранее знал, что из Петербурга, который он глубоко презирал, отправляется в увеселительную поездку, что едет путешествовать, отдыхать на Кавказ и в Крым, да при этом в хорошей компании. Ничего, кроме двух тысяч долга, он не оставлял, а на дороге

был пожалован тысячей рублей из казны и обещанием друзей прислать еще. Мрачная альтернатива: Сибирские рудники или Соловецкий монастырь, которую устранили его заступники, – придавала пушкинскому веселью несколько нервический оттенок.

Почти ничего не известно о дружбе Пушкина с Николаем Раевским-младшим, с которым он сговаривался в Петербурге о поездке, ничего, кроме признания Пушкина в письме брату: «...ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня незабвенные» (X.17).

Ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка, приятель Чаадаева, Николай Раевский был на два года моложе Пушкина. Знакомы они были с лицейских лет. Раевский хорошо образован, особенно по части истории и литературы, знал языки и имел несомненное литературное чутье, что позволяло вести с ним нескончаемые дискуссии не как с дилетантом, но как с равным. Они особенно сблизились в трудные для Пушкина месяцы слезки и угрозы наказания.

Раевский оказался среди тех немногих, кто не отвернулся от Пушкина, когда у того начались неприятности. Но что же за услуги, да еще важные и незабвенные, оказал Пушкину Раевский в Петербурге? Ведь такой оценки дружеской помощи не найти больше во всей переписке Пушкина. Ответа на этот вопрос не находилось.

Может, выручил материально? Но что незабвенного в этом для Пушкина, любившего сорить деньгами? Такую услугу он не посчитал бы важной. Нам кажется, действительно незабвенным в тот период (и поэт понимал это лучше всех) было спасение от серьезного наказания и разрешение отправиться «под контролем» генерала в отпуск на юг.

Что сделал Раевский? Одновременно с Чаадаевым воздействовал на князя Васильчикова? Или же он, влиятельный сын генерала и героя прошедшей войны, да и сам признанный героем, ухитрился отыскать иные сильные связи, которые оказали давление на Александра I? Этого мы пока не знаем. Но все другие услуги были бы мелки, и Пушкин вряд ли придавал им такое значение. Не случайно проездом через Киев поэт останавливается именно у Раевских, – это тоже было заранее договорено.

Здесь маршрут усовершенствовался, – впрочем, скорей всего и это Пушкин знал заранее. Семейство Раевских собиралось сперва на Кавказ – отдыхать и лечиться, а уж затем в Крым. Договорились, что по дороге они заберут Пушкина из Екатеринослава.

Пушкин между тем формально ехал на службу сверхштатным чиновником канцелярии генерала Инзова, Главного попечителя и Председателя комитета об иностранных поселенцах южного края России. Инзов принял молодого чиновника ласково, по-отечески велел осваиваться и отдыхать. О службе и речи не шло, не было возражений и против вояжа с Раевскими на Кавказ. В Петербург от Инзова полетела депеша к графу Каподистриа, что чиновник прибыл и устроен.

Поэт, до этого не видевший ничего, кроме обеих столиц да имений родителей, жадно набирался впечатлений. Дорога шла мелкими городишками. Екатеринослав, хотя и числился губернским центром, был городок захудалый и грязный, как отмечает современник, тоже чиновник Инзовской канцелярии. «...Общество в Екатеринославе, за исключением 2-3 личностей, было весьма первобытным... Образ их жизни был самый забуддыжный. Карты, обжорство, пьянство, пустая болтовня и сплетни отнимали все их свободное время».⁴

Тут, глядя ежедневно на тюрьму и исправительную роту, Пушкин обдумывает сюжет «Братьев-разбойников»: историю в духе Шиллера, о двух скованных цепью беглецах из Екатеринославской тюрьмы, которым удастся убедить стражника переплыть вместе реку и бежать. Впоследствии Пушкин сжег поэму, но до нас дошли отдельные части, и в них – отголоски мыслей поэта. «Цепями общими гремим...» – говорит он, и его слова обретают историко-философский оттенок (IV.129). В мае 1823 года Вяземский писал Тургеневу: «Я благодарил его (Пушкина. — Ю.Д.) и за то, что он не отнимает у нас, бедных заключенных, надежду плавать и с кандалами на ногах».⁵

В Екатеринославе план путешествия на юг оказался под угрозой. Катаясь на лодке по Днепру, Пушкин выкупался в холодной воде и слег с горячкой (острое респираторное заболевание? вирусный грипп? ангина?). Когда через неделю за ним приехали Раевские, они нашли его в «жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкой оледенелого лимонада» (X.17).

Впрочем, это была единственная туча в те дни на его небо-склоне.

Кортеж из нескольких карет, колясок и возов с семейством почтенного генерала Раевского: взрослые дети, гувернантки, прислуга, после еще и телохранители, – продолжил путь с прибавившимся к ним больным Пушкиным. Через неделю, по мере приближения к югу, он уже чувствовал себя лучше. Ему грозила ссылка, а попал он на праздник.

Они направлялись в Минеральные Воды и Пятигорск, уже ставшие тогда модными курортами, пить целебные воды и принимать ванны. По дороге представители местных властей встречают известного генерала и его свиту хлебом и солью. Иногда добродушный генерал просит Пушкина: «Прочти-ка им свою оду». ⁶ Затем следуют званые обеды у местной администрации. В Таганроге они отобедали у градоначальника, в том самом доме, где позже умрет Александр I.

И чем дальше они продвигались, тем жизнь становилась более похожей на райскую. «Дольче фар ниенте» – прекрасное ничегонеделание, как говорят итальянцы, nirvana, как называют это на Востоке. «Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался». Это он напишет брату через три месяца, 20 сентября 1820 года, из Кишинева.

К этому мы можем лишь добавить, что такой жизни у Пушкина больше никогда не будет.

Он блаженствует. Он внутренне подготовился к худшему: к изгнанию, к наказанию, к отверженности, к лишениям, может, даже к голоду и холоду Соловков. А оказался в вельможной роскоши, окруженный заботой и вниманием, красивыми женщинами, умными собеседниками. Он был в семье, которая стала ему ближе родной. Нигде и никогда он не мог бы чувствовать себя аристократом (чего ему всегда хотелось) и полностью свободным (чего требовал его бойкий ум и недисциплинированный талант).

У него нет никаких обязанностей. Он свободен. Он может ни о чем не думать и ничего не делать, кроме того, что захотелось в данную минуту. «Завтра» для него не существует. Себя он называет «преданным мгновенью» (X.19). Он развлекается и потешает других. А его наблюдения во время путешествия

на Кавказ и в Крым, как не раз отмечали специалисты, были поверхностны, отрывочны, содержат ошибки.

По дороге он вписал себя в книгу учета приезжих как недоросля, за что Раевский-старший ласково журит его под звонкий смех дочерей, с которыми Пушкин всю дорогу кокетничает. Он сочиняет эпиграммы, в том числе злые, и они принимаются благосклонно. Он поигрывает в картишки, гоняет верхом в горы, переживает случайные мгновенные романы. Все планы, все заботы и все цели улетели, как ангелы, и его не тревожат. Деньги для Пушкина, полученные из Петербурга, Инзов пересылает ему на Кавказ. В Пятигорске он сходится со старшим сыном Раевского Александром, циником, при том европейски образованным, с ясным умом и точным мышлением. Пушкин, который был моложе на четыре года, попал под его влияние.

Но так ли он в действительности счастлив и беспечен, как это ему показалось с самого начала? Надолго ли он останется в этом состоянии?

Переживания, связанные с отъездом в эту сладкую ссылку, были нелегкими. Теперь обстоятельства разорвали прежние привязанности. Их место заняли другие симпатии. Сложилась новая сфера дружеских и сердечных отношений, из которой к прошлому возвращаться было незачем. «Мне вас не жаль, неверные друзья». Как всегда, его эмоции категоричны, и взгляды послушно рифмуются (II.11).

Всю жизнь Пушкин оглядывается назад и оценивает свое прошлое. Как же он оценит это время? В посвящении к поэме «Кавказский пленник» он скажет:

Я жертва клеветы и мстительных невежд;
Но, сердце укрепив свободой и терпеньем,
Я ждал беспечно лучших дней... (IV.82)

Отсюда следует, что он понимал: свободы, к которой он рвался, не удалось достичь даже и в этом временном раю. И еще – он «ждал беспечно», значит, упрекал себя, что не добился того, чего хотел. Чего же именно? Суть размышлений автора в поэме «Кавказский пленник» есть стремление героя к освобождению. Он европеец, застрявший у азиатов, задержав-

шийся из-за любви. Белинский после скажет, что Пушкин сам был этим пленником.

Мысли о загранице, по-видимому, не покидают его. К поэме он выписывает эпиграфом цитату из Ипполита Пиндемонте, а затем вычеркивает ее:

О, счастлив тот, кто никогда не ступал
За пределы своей милой родины...
(Перевод с итальянского. IV.413, 443)

Период нирваны был важным с точки зрения перехода Пушкина от беспечности к самосознанию, к ответственности перед собой за свои поступки. Но – только переходом.

С Кавказа он готовился поехать дальше, в Грузию, куда собирался еще год назад. Николай Тургенев теперь уведомлял брата, находившегося в Турции, что Пушкин двигается туда. А через полгода Пушкин напишет Гнедичу о своем сожалении, что не добрался до границ Грузии (24 марта 1821 года). Что занимало его ум – сама Грузия или ее границы?

По иронии истории через сто лет, в 1921 году тут, на Кавказе, в Батуми, окажутся рядом два других скептика: Михаил Булгаков и Осип Мандельштам. Первый из них добрался сюда с женой, пытаясь эмигрировать из Советской России в Стамбул, но опоздал на один пароход, а в ожидании другого заболел. Не успели также уехать тогда Осип и Надежда Мандельштамы. Это, как выяснилось позже, была последняя возможность. «Бежать! Бежать! – пишет Булгаков в «Записках на манжетах». – На 200 тысяч (полученных, как он сам считал, за халтурную пьесу. — Ю.Д.) можно выехать отсюда. Вперед. К морю. Через море и море, и Францию – сушу – в Париж!.. Вы, беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже! Будьте вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я!»⁷

Пушкин не попытался тогда пересечь границу. Он был вполне доволен представившейся дружбой и завязывающимся романом с Марией Раевской, младшей дочерью генерала. Снова у Пушкина *cherchez la femme*. Но было и новое обстоятельство.

Высылка поэта из Петербурга способствовала его популярности. Ко всем приятным обстоятельствам добавилось еще

одно: его имя замелькало в прессе. Осведомитель В.Н.Каразин сообщал, куда следует, о печатных органах, в которых он обнаружил намеки на высылку Пушкина из Петербурга, и требовал обратить внимание на всех авторов. Стихи Пушкина были постоянным предметом разговоров в гостиных. Никто не накладывал запрет на печатание его произведений. Сразу после отъезда поэта брат его с приятелем получили из цензуры поэму «Руслан и Людмила», и она пошла в печать. А через десять дней издатель выплатил для Пушкина гонорар.

С кавказских минеральных источников кортеж Раевских перемещается между тем к побережью Черного моря, сопровождаемый отрядом из шестидесяти казаков с пушкой для устрашения непокоренных племен. Из Керчи отплывают морем на корабле до Феодосии, там пересаживаются, чтобы плыть в Гурзуф, на военный сторожевой бриг «Мингрелия».

Ночью, плывя на корабле между берегами Крыма и Турции, он записывает строки:

Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я...(II.7)

Можно подумать, он стремится в Крым, куда идет судно. Но далее из стихотворения выясняется, что он стремится к другим берегам:

Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к берегам печальным
Туманной родины моей. (II.7)

Вот и подведены итоги счастливого времени. Не таким уж беззаботным было его пребывание с Раевскими. Он обдумывал побег. Он добровольный изгнанник в том смысле, что никто не гнал его за границу, он рвался туда сам. И рай в России – вовсе не рай. Плыть куда угодно, но только не к берегам родины. Ничего хорошего здесь не было, кроме минутных заблуждений и боли сердца. Вот почему

Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края... (II.7)

Разумеется, это лишь слова, и не стоит их понимать слишком буквально. Изгнание – традиционная тема романтической поэзии, своего рода литературный штамп. Как позже отметит Ю.Лотман, стилистика литературного поведения Пушкина шла под влиянием романтической литературы.⁸ Но поэтическое изложение вполне реальных мыслей, проблем, которые его волнуют, – неотъемлемая часть пушкинского самовыражения. И именно поэтому мысль об отторжении от печальных берегов родины, высказанная в стихотворении «Погасло дневное светило», весьма важна.

Позже к приведенному стихотворению он напишет эпиграфом слова: *Good night, my native land!* Вугон (П.355). Имя Байрона тогда то и дело упоминалось в семье Раевских. Не без их влияния Пушкин примеривал свою биографию к жизни и поступкам знаменитого англичанина.

В Крыму он флиртует, купается, обедается виноградом, гуляет и резвится, как дитя, но и снова принимается за английский. Он занимается языком не только с Екатериной, старшей дочерью Раевского, которая знала английский прекрасно и помогала поэту переводить Байрона, о чем в биографиях Пушкина говорится, но и с англичанкой мисс Маттон, о которой не упоминают. Маттон ехала в свите Раевских. Занятия с Екатериной по строгим понятиям тех лет были бы нарушением норм приличия: Екатерине было 23, а Пушкину 21. Кто бы позволил им проводить много времени вместе, да еще наедине?

Между тем вояж с Раевскими подходит к концу, и Пушкину, хочет он того или нет, предстоит объявиться на службе.

Глава шестая

КИШИНЕВ: ТРАНЗИТНЫЙ ПУНКТ

*...Забыв и лиру и покой,
Лечу за милою мечтой.
Где ж отдохну, молодой изгнанник?..
Из стихотворения, оставшегося
недописанным (II.28).*

Александр Тургенев, сидя в Петербурге, старался быть в курсе дел Пушкина. «Теперь он в Бессарабии с Инзовым, – писал он брату Сергею в Константинополь 11 сентября 1920 года, – следовательно, может быть в сношении с вами».¹ В этот день Пушкин еще был в Крыму. В Кишиневе он появился лишь через десять дней, усталый, весь в пыли, сквозь которую можно было различить крымский загар. Коляска остановилась возле убогих домишек без деревьев. В тени от стен удавалось укрыться от палящего зноя. Верный слуга Никита стал стаскивать с коляски обтрепанные чемоданы.

В сущности, выезжая из столицы, Пушкин не рассчитывал, что ему придется жить в Кишиневе. Попечительский комитет о колонистах Южного края был распоряжением сверху переведен сюда только теперь. Инзов, его начальник, уже переехал, и Пушкин явился служить ему.

Старые авторы называют вещи своими именами: Россия оккупировала эти территории дважды в XVIII веке и один раз

в XIX.² Раньше туркам и австрийцам удавалось отвоевывать их, но после Бухарестского трактата 1812 года, похоже, русские утвердились тут окончательно, получив все земли по левому берегу реки Прут. В местечке Кишала Ноу создавался административный центр управления новой колонией. Город был дотла сожжен русскими еще в предыдущую оккупацию, но за тридцать лет ожил. При других оккупациях это было святое место, принадлежавшее Иерусалимскому патриаршеству.³

Теперь начиналась русификация, в которой Пушкин как государственный чиновник должен был участвовать. Одной из причин колонизации этого края Россией, как писал историк начала нашего века, являлось то обстоятельство, что население Бессарабии при турках «было не уверено в завтрашнем дне».⁴ Центру управления колонией и предстояло вселять эту уверенность в местное население.

Направляясь сюда, Пушкин следовал как бы в бывшую границу – ведь он ехал на Запад, в страну, которая только что была «присоединена». Последнее слово есть более удобный и традиционный русский вариант иностранного слова «окупирована». Какое впечатление произвела на него эта европейская страна? Филипп Вигель, приятель Пушкина, будущий тайный советник и вице-губернатор Бессарабии, прибыв в Кишинев, написал следующее: «Обширнее, бесконечнее, безобразнее и беспорядочнее деревни я не видывал... Въезжая в нее, ровно страдают и взор и обоняние: она вся состоит в излучистых переулках, униженных лачужками, тесно друг к другу приклеенных. Помои и нечистоты стекаются сюда из всех мест, отсюда впадают в Бык и в летние жары так заражают воздух, что производят повальные лихорадки».⁵

Улицы представляли собой сплошные заборы (защита от воров), дома были с маленькими окнами под самой крышей, чтобы трудней было забраться, да еще обузданные железными решетками и потому похожие на тюрьмы и землянки. Бурные потоки в дождь вымывали со дворов нечистоты и несли их в овраги. Мы появились в Кишиневе, чтобы пройти по следам Пушкина, спустя 165 лет и, хотя фонарей в городе стало больше (при Пушкине их было тридцать три), грязь и убожество целых районов бросались в глаза повсюду.

В 1829 году путешественник сообщал: «Стоит только въехать в город, чтобы судить о неисправности полиции, и заглянуть в какое вам угодно Губернское Присутственное Место, чтобы видеть беспорядок в управлении Областью. Нет ни суда, ни правды. Губернаторов до десятка переменялось не более как в течение двух лет, двое из них заглянули только в Присутственные Места и, убоясь бездны, открывшейся пред ними, можно сказать, бежали».⁶

Население Кишинева было смесью востока и запада с преобладанием восточной публики. Там жили болгары, турки, цыгане, французы, итальянцы, греки. Немецкий путешественник И.Коль, побывавший там лет через пятнадцать после Пушкина, отмечает, что главный элемент населения, как и у большинства городов Бессарабии, не молдаване, а евреи, которых насчитывается 15000. Одна из частей города называлась турецкой. Теперь сюда из России бежали крестьяне. Одни не осев на земле, начинали заниматься разбойным промыслом, другие смешивались с местным населением по цитируемой молдавским историком поговорке: «Папа – рус, мама – рус, а Иван – молдаван».⁷

В сущности, теперь, после курортного раздолья, началась для Пушкина ссылка. Она была неприятная, но не жестокая. Судьба и люди продолжали благоприятствовать ему. Для оперативного управления новой колонией наместник ее подчинялся статс-секретарю (Каподистриа), а тот лично царю.⁸ Здесь Пушкин осознал, что отправка его Каподистриа к Инзову была жестом продуманной доброты.

Попав под начало наместника, Пушкин арендовал в городе часть небольшого домика и начал новую жизнь. Благодаря заботе Каподистриа, Инзов, его начальник, был предрасположен к опеке над молодым чиновником. Холостяк, лишенный к тому же родственных привязанностей, Инзов принялся опекать Пушкина как родного, по-отечески наказывая и прощая его. За душевную мягкость, незлобивость и нетребовательность наместника именовали не иначе как Инзушко. А ведь он получил должность председателя Верховного Совета Бессарабской области, впрочем, органа, несмотря на одиннадцать человек, его составлявших, весьма незаметного. Говорили, что Инзов – незаконнорожденный сын одного из предыдущих императоров,

и его имя означает аббревиатуру слов «Иначе Зовущийся». Пятидесятидвухлетний служака, он был скромн и мягок характером, терпим к возражениям. В войне с французами он участвовал вместе с Каподистриа, с которым между боями играл в шахматы. У него было одиннадцать орденов, множество медалей и шпага с алмазами, поднесенная ему за храбрость, но он никогда не кичился прошлыми заслугами.⁹

В литературе сообщается, что в канцелярии Инзова был единственный русский чиновник Кириенко-Волошинов.¹⁰ Если это так, то с Пушкиным их было двое. Подчиненные, среди которых было большинство местных, во всю пользовались мягкостью Инзова, чтобы проворачивать свои дела. Взятничество, коррупция, всякого рода злоупотребления процветали в канцелярии с чисто восточным размахом, несмотря на относительную близость Запада.

Вдоль всего юга России образовывались колонии для развития и освоения края: немецкие, болгарские, еврейские. Инзов по мере сил защищал колонистов от притеснений центрального правительства, стараясь не замечать неисполнения спущенных сверху постановлений. В этом была и негативная сторона. Состояние общественной сферы в Бессарабии было из рук вон плохое. Грязь в Кишиневе стояла и в сухую погоду. Когда к Инзову пришел нанятый на службу иностранец с жалобой, что дом, в котором он живет, со всех сторон окружен водой, Инзов спокойно ответил: «Ведь и Англия на острове».¹¹

Почти пять предыдущих месяцев Пушкин был счастлив, но воспоминания о прошедшем счастье не компенсировали отсутствие оногo в настоящем. Поэт сразу начал скучать. Через три дня после приезда он уже пишет брату: «Будешь ли ты со мной? скоро ли соединимся? Теперь я один в пустынной для меня Молдавии» (X.18). «В пустынях Молдавии», – скажет он и в письме Гнедичу 24 марта 1821 года, а в «Евгении Онегине» появится строка: «В глуши Молдавии печальной».

Пустыня для Пушкина – не географическое понятие, а синоним провинции, азиатчины, отсутствия интеллигентного общества, информации, светской жизни. Сравните, например, слова Пушкина о Ленском: «В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары...» (V.35) Слово «пустыня» то и дело повторяется в «Евгении Онегине», в письмах и в стихотворениях

именно в таком значении. В Кишиневе Пушкин вспоминает о тех, кого оставил в Петербурге, начинает чувствовать свой собственный ошейник, который все лето не натирал ему шею.

Он умоляет в письмах сообщать ему новости. Ничего хорошего не слышно из Петербурга. Он узнает, что запрещена книга его лицейского учителя Куницына «Право естественное», ибо само употребление слова «право» есть крамола. Слышит о том, что из университета исключено несколько профессоров. Его волнуют отъезды друзей за границу. Пушкин спрашивает, отбыл ли уже Жуковский с Ее Величеством? Узнает с завистью о том, что пока сам он добирался до Кишинева, уехал за рубеж Кюхельбекер.

Кюхельбекер думал отправиться в Дерптский университет, чтобы со своим родным немецким там преподавать. А в это время знатный вельможа А.Л.Нарышкин искал секретаря для поездки за границу. При своих связях он без труда оформил паспорта для свиты. И вот Кюхельбекер в Дрездене, затем в Вене, Риме, Париже, Лондоне. Почему же он, Пушкин, это время столь бесцельно проводит в пустыне?

Кюхельбекер выступил в Вольном обществе любителей словесности в Париже с хвалой сосланному Пушкину:

Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина, и Врана?¹²

Доносы об этом дошли до правительства.

Рассказал ли кто-нибудь из приезжих Пушкину весьма существенную весть, что царь, узнав о том, что Кюхельбекер за границей, сказал: «Не следовало пускать»?¹³ Информация очень важная и для Пушкина. Значит, Вильгельма выпустили за границу без согласования с царем – вот какой демократический расклад. И совершили ошибку, которую вряд ли захотят повторить. После смерти Кюхельбекера остался сундук с бумагами: полное собрание неопубликованных стихов, прозы, дневники, – целая гора тетрадей. Тынянов в советское время сумел купить их и написал несколько работ. Он тяжело болел и умер в Москве в 1943 году. Архив Кюхельбекера он оставил в блокадном Ленинграде. Говорят, все рукописи из бесценного чемодана сожгли в печке, потому что нечем было топить.

От приезжавших знакомых и незнакомых, из писем с okazji и без Пушкин то и дело узнавал новое о своих друзьях за границей. Без телефона, телеграфа, радио и телевидения, без самолетов и спутников связи, при тех допотопных способах передвижения, при жестокой цензуре и системе перлюстрации почты люди начала XIX века знали друг о друге и о событиях в мире больше, чем их соотечественники до начала распада советской системы.

Из Франции, милой Пушкину, Кюхельбекер писал: «Странное, дикое чувство свободы и надменности наполняло мою душу: я радовался, я был счастлив, потому что никакая человеческая власть до меня не достигала и не напоминала мне зависимости, подчиненности, всех неприятностей, неразлучных с порядком гражданского общества!»¹⁴ Кюхельбекер общался со многими западными писателями, в том числе с Гете, сокурсником которого по Лейпцигскому университету был отец Вильгельма. «Деятельная, живая жизнь пробудилась во мне», – сообщает он в письме к матери, написанном по-немецки. Поездка на Запад была, по его словам, «в высшей степени замечательною, для всей моей жизни, дар моей судьбы».¹⁵

Реальное путешествие по Европе оказалось значительно интереснее воображаемого, сочиненного Кюхельбекером пару лет назад. В Париже он так переполнен впечатлениями, что есть письма, где, захлебываясь, он не успевает рассказывать и переходит на перечисления названий, событий, имен. Он чувствовал, что впечатлений хватит на всю жизнь. Волею судьбы так и получилось.

Он решил стать российским культуртрегером, своего рода миссионером русской словесности, и начал читать лекции по истории России и русской литературе, но, надышавшись свободой, несколько забылся и увлекся критикой существующих в России порядков. Его покровитель Нарышкин рассердился, и с помощью русского посольства в течение суток Вильгельма вытолкали из Парижа и отправили в Россию. Такова версия Юрия Тынянова.¹⁶

Известный журналист Николай Греч в воспоминаниях оставил свою версию о возвращении Кюхельбекера: якобы поэт Туманский помог ему «пробраться в Россию».¹⁷ Не случайно в официальном акте об отставке Кюхельбекера фактически фи-

гурировало безумие («болезненные припадки»). Александру I стало известно, что Вильгельм собирался в Грецию, – там начиналась революция. В «Евгении Онегине» Пушкин, создавая портрет Ленского и имея в виду Кюхельбекера, сначала написал: «Он из Германии свободной привез учености плоды». А потом исправил на «туманной привез учености плоды» (V.33, 491–492). Дома друзья, опасаясь последствий, спротежировали Вильгельма чиновником по особым поручениям к генералу Ермолову, что походило на добровольную ссылку. Но наверху считали, что он удален за плохое поведение в Париже.

В то время, как Кюхельбекер в Европе вел жизнь в высшей степени замечательную и активную, Пушкин в Кишиневе, не меняя своих привычек, просыпался поздним утром. Сидя голым в постели, он стрелял в стену для тренировки, а затем холил свои неимоверно длинные ногти. В постели он завтракал, сочинял, потом вскакивал на лошадь и часами носился по лесам и полям, начинавшимся сразу позади дворов. Когда солнце клонилось к закату, он появлялся за бильярдным или карточным столом, а затем в гостях. Он волочился за чужими женами, дурачился, например, танцуя вальс под музыку мазурки, дерзил и готов был драться на пистолетах, рапирах или кулаках при любом показавшемся ему недостаточно почтительном слове. Ближе к ночи, если у него не предвиделось свидания, он с приятелями наведывался в «девичий пансион» мадам Майе. Хотя все места, где бывал Пушкин, тщательно обозначены мемориальными досками, на пансионе мадам Майе (дом ее сохранился) такой доски пока нет.

Служба его не утомляет, впрочем, говорят, переводчик Пушкин переложил на русский язык несколько законоположений старой территории, которые никому не понадобились. Весь год с него не могут взыскать двух тысяч рублей, которые он остался должен в Петербурге. Жажда наслаждений, задор, склонность к издевательству и насмешке, подчас жестокой, самолюбие и самомнение, полная бесцельность существования, – вот его облик в представлении случайных наблюдателей в Кишиневе.

А вот о чем сетует в те дни директор лицея Егор Энгельгардт в письме к бывшему сокурснику Пушкина Александру Горчакову: «Когда я думаю, чем бы этот человек мог бы стать,

образ прекрасного здания, которое рушится раньше завершения, всегда представляется моему сознанию».¹⁸ Возможно, потому Инзов, отечески его опекающий, выделяет для опального чиновника в своем двухэтажном доме две комнаты с окнами в сад на первом этаже. Пушкин охотно переезжает. В доме этом останавливался царь Александр во время визита в Бессарабию.

Круг его знакомых – люди, приехавшие из Европы и говорящие по-французски, да еще русские офицеры, среди них – члены тайных обществ, о чем Пушкин не подозревает, хотя и участвует в их политических спорах.

И все ж такое представление о поэте в Кишиневе несколько неполно. Для узкого круга лиц, которым повезло стать его друзьями, открывался другой человек, «простой Пушкин без всяких примесей», как выразился Анненков.¹⁹ Он любопытен, впечатлителен. Он столь щедро талантлив, что не нуждается в длительном времени на обдумывание, работая по принципу: пришел – увидел – сочинил. Он делает предметом поэзии все, что видит, создавая, кажется, из ничего свободный строй ассоциаций. Десять лет спустя он без сожаления напишет другу Алексею: «Пребывание мое в Бессарабии доселе не оставило никаких следов: ни поэтических, ни прозаических» (X.255). Но это чрезмерная скромность: в Кишиневе он сочинил почти сотню стихов, включая серьезные поэмы, мелочи, рифмованную матерщину и наброски. Он читает все, что попадает под руку. Липранди вспоминает, что будучи уличенным в ошибочном указании какой-то местности в Европе, он безотлагательно берется за книги по географии.²⁰

Пушкин, без сомнения, понимал, что он попал в пустынный Кишинев в очень удобный исторический момент, когда назревал очередной конфликт с Турцией. Турция не казалась ему чужой. Именно здесь, через Бессарабию, тайно, в зашторенной кибитке, ввезли в Россию трех арапчат из Турции. Один из них был Ибрагим, подаренный Петру Великому, другой – старший брат Ибрагима. Легенда о том, что Савва Рагузинский привез их в Россию морем, была выдумкой.²¹

Он рассматривал свое пребывание в ссылке как временное, на несколько месяцев. Но вот протекли полгода, а никаких изменений в его статусе не намечалось. «Изгнанник» – его любимое слово. Он чувствует себя чужим, отверженным. На-

полеона называет «изгнанником вселенной» и сочувственно размышляет о том, как тяжело было опальному императору в ссылке. Произвол бесит его. Как и в то время, когда он был в Петербурге, все его знакомые едут за границу, он остается.

Когда Пушкин соблазнил в Кишиневе жену богача Инглези цыганку Людмилу-Шекору, муж вызвал Пушкина на дуэль. Об этом донесли Инзову. Инзов посадил Пушкина на десять дней на гауптвахту (и сам навещал его, чтобы развлечь), а Инглези немедленно вручил бумаги, что ему разрешается выезд за границу вместе с женой. На другой день Инглези с Людмилой-Шекорой уехали.

Пушкин хотел съездить в Европу, только и всего. Но теперь это его желание, смешавшись с обидой, превращается в настойчивое стремление вырваться. Не поехать, а уехать – вот результат его размышлений, реакция на запреты, на рабскую зависимость от прихотей начальства. Именно здесь Пушкин начинает строить планы, чтобы вырваться из неволи.

Согласно положению, полномочный наместник Бессарабии Инзов не только лично подписывал заграничные паспорта, но лично их вручал. В Центральном государственном архиве Молдавии сохранилось несколько таких документов. Никаких бумаг для получения паспорта не требовалось. У отъезжавшего спрашивались сведения самого неопределенного свойства: «Цель выезда?» – «По торговой надобности». Но практически каждого выезжавшего знали в лицо, имели о нем сведения и знали, чем он занимается. В паспорт вписывались родственники и прислуга. В таможене с проезжавших бралась дополнительная расписка, что лошади будут возвращены в Россию.²² По поводу родственников и прислуги таких расписок не требовалось. Не давал обязательств и сам выезжающий. Короче говоря, выехать было сравнительно не трудно. Что касается Пушкина, то мог ли Инзов отпустить поднадзорного чиновника?

В стихах кишиневского периода Пушкин рисует себя в виде «добровольного изгнанника». Это, по мнению некоторых биографов, довольно традиционный литературный образ, не более. Литературный двойник Пушкина якобы утверждал, что он добровольно бежал из неволи на волю, то есть сюда на юг.²³ На самом деле никакой литературности в этом не было.

Пушкин реально хотел быть изгнанным по доброй воле, то есть, как мы теперь говорим, по собственному желанию.

Документальных подтверждений того, что Пушкин обращался к Инзову с просьбой отпустить его за границу, пока обнаружить не удалось. Но, возможно, Пушкин, когда писал, что скоро оставит эту землю и отправится в более благословенную, уже намекал на определенные шаги, им предпринятые. И по понятным причинам подробнее распространяться на эту тему не хотел, хотя и подчеркивал, что «скоро».

Другой вариант: Пушкин специально держал Инзова в неведении, чтобы легче было осуществить побег, – отпадает, ибо сперва поэт пытался выехать легально. Через пять лет в Михайловском, однако, он скажет о болезни, для лечения которой хотел выехать: «Аневризмом своим дорожил я пять лет, как последним предлогом к избавлению, *ultima ratio liberatis*» (X.140). Значит, мысль изобразить болезнь как предлог для выезда, сообщить наверх, что он смертельно болен, возникла у него в 1820 году. В Михайловском болезнь станет «последним предлогом к избавлению». По-латыни это звучит еще более весомо: последним поводом для освобождения, оставшимся не использованным ранее, т.е. на юге. Значит, перед этим выдвигались другие предлоги для отъезда, ибо не может быть последнего повода без предыдущих.

Документов не сохранилось, но логично предположить, что Пушкин верноподданнически просил отпустить его до замысла побега, а значит, до весны 1821 года, то есть вскоре после приезда в Кишинев. Также логично, что он первый раз это сделал «по инстанции», через Инзова. Если Пушкин все же просил Инзова, тот, при всей своей доброте, вынужден был отказать. По собственному душевному порыву добряк Инзов отпустить Пушкина не мог. Инзов понимал, что несет ответственность лично перед правительством, распорядившимся отправить провинившегося чиновника сюда. Он мог пообещать просить своего друга министра Каподистрии замолвить слово за Пушкина. Если Каподистрия это сделал, то в ответ, очевидно, услышал от Александра Павловича раздраженное «Нет». Царь вполне мог считать, что Пушкин будет вести себя в Париже еще хуже, чем Кюхельбекер. Зачем же его выпускать?

А Пушкин надеется. Он хотел бы быть законопослушным и избежать конфликта.

Я стал умен, я лицемерю –
Пошусь, молюсь и твердо верю,
Что Бог простит мои грехи,
Как Государь мои стихи (II.39).

Тем временем он опять принимается писать стихи по-французски, а также начинает переводить на французский Байрона, что было своего рода двуязычной практикой. Одновременно Пушкин начинает обдумывать новый для него вариант – побег. Жить «на лужице города Кишинева», как он выражается в письме, ему противно (X.19).

Первые реакции Пушкина всегда образные, и в стихах появляется образ беглеца. Пускай действие происходит на Кавказе – отнюдь не случайно это пишется именно в Кишиневе. Тут, как писал один из современников, поэт впервые реально «очутился почти в пограничном городе, что для него было очень важно».²⁴

Перебраться из Кишинева в заграничную Молдавию, казалось бы, не очень трудно. Отношение Инзова к беглецам, буде они задержаны, насколько мы можем судить по другим историям, было весьма терпимым. В конце концов Пушкин всегда мог сказать, что поехал прогуляться верхом (что он делал каждый день) и заблудился. В худшем случае он отделался бы домашним арестом на несколько дней. Вряд ли Инзов стал бы доносить об этом в Петербург.

Но и недооценивать трудность бегства из Бессарабии не следует. Как раз при Инзове было усилено наблюдение на карантинных постах и таможах, и обо всех происшествиях надлежало сообщать ему. И все же Пушкину будет после казаться, что легче бежать из Одессы, а в Одессе – что лучше это сделать в Михайловском. На деле же в Одессе это будет сделать трудней, чем в Кишиневе, а в Михайловском – трудней, чем в Одессе. Но поймет это он еще позже.

А пока он собирается это сделать в Кишиневе, обстоятельства снова идут ему навстречу. С доброго согласия Инзова Пушкин отдыхает в Каменке, под Киевом. Европа бурлит стра-

тями восстаний, а в Каменке кипят страсти за столом. Его приятели, и среди них будущие декабристы, строят планы переустройства России, о чем ему мало известно. В Каменке Пушкин опять болеет, и заботливый Инзов просит удержать его от возвращения на службу, не пускать в мороз ехать в Кишинев. Вернувшись под крыло начальства, Пушкин выясняет, что социальные волнения докатились до Бессарабии. Один шаг – и он их участник, но этот шаг еще предстоит сделать.

Глава седьмая

С ГРЕКАМИ В ГРЕЦИЮ

«Недавно приехал в Кишинев и скоро оставляю благословенную Бессарабию – есть страны благословеннее».

*Пушкин – барону Дельвигу,
23 марта 1821 (X.23).*

В Москве, а следом и в Петербурге распространились слухи о том, что сочинитель Пушкин благополучно бежал из Бессарабии в Грецию. Известно, что молодой Федор Тютчев говорил об этом с Погодиным.¹ Слухи эти приходили с юга. Больше того, Пушкин сам дал им повод. Лишь спустя сто с лишним лет профессор Одесского института народного просвещения В.И.Селинов, сопоставив все известные ему материалы, скажет: «Как мы будем видеть, *реальные* (выделено Селиновым. — Ю.Д.) намерения к отъезду из России у Пушкина впервые зародились в Кишиневе по связи с восстанием Ипсиланти...»²

Намерения к отъезду, как мы теперь знаем, возникли раньше, но сейчас речь именно о кишиневской весне 1821 года, когда Пушкин, что явствует из приведенного в эпиграфе письма Дельвигу, изложил свой план в простой и доступной даже непосвященным форме: «скоро оставлю», ибо «есть страны благословеннее». Больше того, он начал предпринимать (и в

этом Селинов точен) конкретные шаги по реализации этого плана.

В Кишиневе Пушкин сдружился с Еленой Горчаковой, сестрой своего лицейского товарища, который в это время был уже первым секретарем русского посольства в Лондоне. Пушкин был влюблен в Елену как раз в то время, когда греки, бежавшие из-под турецкого ига в Россию, готовились принять участие в войне против турок. Борьбу эту организовывала этерия, греческая община или партия, одним из вожаков которой был муж Елены Георгий Кантакузин. Среди руководителей этерии был и брат Георгия Александр и четверо братьев Ипсиланти.

В доме Георгия и Елены Кантакузиных был своеобразный центр греческой оппозиции. Собирая в Кишиневе материалы, мы разыскали, в частности, могилу Елены Кантакузиной. Она оказалась разрытой и разграбленной. Местный журналист рассказал, что он выяснил, кто это сделал. Оказалось, подростки из ближайшей школы. В этерии шла энергичная подготовка к освобождению Греции от турок, и русское правительство, в предвидении войны с Турцией, благосклонно смотрело на эти приготовления. Правительство держало их под контролем через находящихся на русской службе офицеров братьев Ипсиланти и, конечно, через статс-секретаря грека Каподистриа. Александр I даже обещал поддержку Ипсиланти, а Инзов сочувствовал грекам.

Надежды на перемены в России всегда увязывались с внешними событиями. Естественно, что тайные общества офицеров-заговорщиков, будущих декабристов, связывали революционную ситуацию в Греции с возникновением аналогичной ситуации в России. У Пушкина подобных мыслей не было, но, по мнению Ю.Лотмана, он их мог слышать от своего приятеля полковника Михаила Орлова.³ В конечном счете, Южное общество могло мечтать об освобождении и объединении всех балканских народов, разумеется, под опекой той же России.

Два слова в названии первого тайного общества декабристов: «Общество истинных и верных сынов отечества» – можно считать несовместимыми: «истинные» и «верные». В российском политическом контексте можно было быть либо истинным, либо верным. Пушкин отличался от офицеров, вхо-

дивших в общество, по меньшей мере тем, что считал себя истинным, но не верным. Позже он не раз писал, что гордится предками, но презирает отечество. В литературе можно прочитать, что в Кишиневе Пушкин стал даже более радикален, чем в Петербурге, и произошло это под влиянием декабристов. На деле же развитие поэта шло в другом направлении, и, хотя друзья всегда были лучшими философами и политиками, чем он, и всегда влияли на Пушкина, между ними оставалась дистанция непонимания.

Когда поэт вернулся из Каменки, внешние события разворачивались полным ходом и уже вышли из-под контроля Петербурга. В Кишинев со всех сторон съезжались греки. Братья Ипсиланти подняли на ноги этерию в Одессе. Оттуда морем уплыли на Родину около четырех тысяч греков. Ипсиланти появились в Кишиневе в конце февраля, и Александр с братом успешно переправились через границу.

Вскоре они издали обращение к грекам, призывающее свергнуть турецкое владычество. Георгий Кантакузин прибыл в турецкую часть Молдавии на помощь Ипсиланти с отрядом из 800 человек. Шестой корпус русской армии получил приказ начать передвижение к границе, и это было воспринято как обещанная поддержка грекам в их «справедливой борьбе за независимость», говоря казенным языком советской прессы.

Пушкин решает присоединиться к греческим добровольцам. Но как практически это сделать и где? Он спешит в Одессу, но опаздывает: добровольцы уже уплыли морем.⁴ «В Одессах, – пишет Пушкин, – я уже не застал любопытного зрелища: в лавках, на улицах, в трактирах – везде собирались толпы греков, все продавали за ничто имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты... все шли в войско счастливца Ипсиланти» (X.22).

Поэт возвращается в Кишинев. Здесь есть путь в Яссы – ближайший пункт за границей. О сборах Пушкина в Кишиневе, последовавших за сообщением о скором отъезде, мы знаем немного. Прежде всего Пушкин озаботился судьбой своего младшего брата Льва, опасаясь, что после бегства старшего брата у того будут неприятности. «Боюсь за его молодость; боюсь воспитания, которое дано будет ему обстоятельствами его жизни и им самим, – пишет он другу юности Дельвигу 23 марта. –

Люби его; я знаю, что будут стараться изгладить меня из его сердца, – в этом найдут выгоду». Это единственное из восьми сотен известных нам писем Пушкина оканчивается по-русски, коротко и недвусмысленно: «Прощай» (X.23– 24).

На следующий день Пушкин пишет письмо Гнедичу: «Не скоро увижу я вас; здешние обстоятельства пахнут долгой, долгою разлукой!» Вчерашнее письмо Пушкин вкладывает в только что написанное, и оба письма вместе отправляются в Петербург, но не по почте, конечно, а с верной оказией.

В дни, когда Пушкина не было в Кишиневе, искал путь нелегально выехать оттуда третий брат Александра Ипсиланти, Дмитрий, у которого, как и у Пушкина, не было заграничного паспорта. К Инзову пришел кишиневский купец П.Анавностопулос с ходатайством выехать в Италию «по торговой надобности». Без лишних вопросов Инзов распорядился такой паспорт выдать ему, как «жителю города Кишинева и греческому купцу Бессарабии».⁵ В паспорт, по просьбе Анавностопулоса, чиновник канцелярии вписал его приказчика. Под видом приказчика в Грецию выехал Дмитрий Ипсиланти. Писатель и пушкинист Иван Новиков описал эту ситуацию так: «Вельтман (знакомый Пушкину чиновник. — Ю.Д.) трунил, что это «только алчущие хлеба, но не жаждущие славы». Пушкин тогда сердился в ответ и жалел, что его не было в Кишиневе, когда Ипсиланти и два его брата покидали Россию. Он непременно уехал бы с ними».⁶

Готовясь к отъезду, Пушкин был в курсе всех греческих дел, следил за ходом событий, собирал сведения и аккуратно записывал в заведенный им «Журнал греческого восстания». То и дело Пушкин наведывается к оставшемуся пока в Кишиневе другому деятелю этерии Михаилу Суццо. Поэт чувствует себя греком, он одержим греческой национальной идеей, как ему кажется, больше, чем те, кто остался в Кишиневе. 2 апреля он записывает в дневник: «Говорили об А. Ипсиланти; между пятью греками я один говорил как грек... Я твердо уверен, что Греция восторжествует...» (VIII.15)

Он перестал быть эгоистом и прожигателем жизни: высокая идея освобождения другого народа, угнетаемого не своими, но чужими оккупантами, вдохнула в него новые жизненные силы.

Не случайно в эти дни Пушкин, получив письмо от Чаадаева, мысленно говорит с ним. Чаадаев всегда пытался доказать ему, что общие проблемы выше частных, что жизнь коротка, и высокие цели делают ее полной. Месяц назад Чаадаев подал в отставку и собирается покинуть Россию. Пушкин вторит Чаадаеву в стихах 6 апреля 1821 года:

Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне (II.47).

В дневнике он исповедуется Чаадаеву: «Твоя дружба мне заменила счастье, одного тебя может любить холодная душа моя» (VIII.16). В мыслях его, как мы после узнаем от него самого, был их совместный вояж за границу.

О скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки?
Когда соединим слова любви и руки? (II.48-49)

Пушкину во что бы то ни стало надо каким-то образом срочно попасть в Петербург на несколько дней. Судя по стихам, в мечтах он уже за границей, и не только с греками, но и с карбонариями в Неаполе. Но пока он еще здесь, нужно упасть как снег на голову друзьям (его выражение), договориться с Чаадаевым, добиться у отца денег. В письме Александру Тургеневу читаем: «...сперва дайте знать минутным друзьям моей минутной младости, чтоб они прислали мне денег, чем они чрезвычайно обяжут *искателя новых приключений*». Последние слова он жирно подчеркивает (X.25). В этом же письме сообщает, что ему надо в пакостный Петербург (опять его собственные слова) проститься с Карамзиными, с Тургеневым, ибо «без вас двух, да еще без некоторых избранных, соскучишься и не в Кишиневе, а вдали камина княгини Голицыной замерзнешь и под небом Италии». В том же письме он прощается с друзьями: «Верьте, что где б я ни был, душа моя, какова ни есть, принадлежит вам и тем, которых я умел любить».

Он не очень-то верит, что друзьям удастся вытребовать его через посредство каменных жителей Каменного острова, то есть через царскую семью. И поэтому Пушкин просит своего

приятеля, офицера Генерального штаба Ивана Липранди, отправляющегося в Петербург, поговорить с отцом и растолковать ему, в чем дело, – не писать же по почте.⁷ Пушкин и не подозревает, что Липранди для такого рода тайных откровений – самая неподходящая фигура.

В эти майские дни 1821 года Пушкин становится особенно энергичным потому, что исполняется годовщина, как его отправили сюда, и терпение иссякло. С надежными людьми уже послана депеша к тому, кто там, в Греции, является главнокомандующим и уполномоченным тайного правительства. Содержания письма Пушкина мы не знаем, есть только запись в дневнике от 9 мая: «Третьего дня писал я к князю Ипсиланти, с молодым французом, который отправляется в греческое войско» (VIII.16).

Даже после первых поражений греков в сражениях с турецкой армией Пушкин все еще готов туда бежать. Брату он сообщает: «Пиши ко мне, покамест я еще в Кишиневе. Я тебе буду отвечать со всевозможной болтливостью, и пиши мне по-русски, потому что, слава Богу, с моими конституционными друзьями я скоро позабуду русскую азбуку» (X.26). Но бежать он медлит, возможно, ждет ответа от Ипсиланти.

После эйфории успехов и первых побед отряды греческих волонтеров начали расправы с турками и первые казни, по жестокости соизмеримые с крутостью восточного нрава оккупантов. «Семеро турков были приведены к Ипсиланти и тотчас казнены – странная новость со стороны европейского генерала», – удивляется Пушкин (X.21-22). Кровавые расправы его возмущают: в другом месте греки перерезали сто турок.

Денег у Пушкина все еще нет, и друзья не спешат помочь. Правда, ссыльный Пушкин исправно получает правительственное жалованье. 1 мая 1821 года ему вручили 7600 рублей. Хотя долгов полно, отдавать их он не спешит. Вскоре Пушкин получает повестку уплатить долг под страхом полицейского преследования и отвечает, что не может уплатить. Все это время он пытается уговорить отца прислать денег. «Были бы деньги...» – с сожалением напишет он брату Льву два года спустя.

А тем временем общая ситуация постепенно меняется. Греческим лидерам, с которыми он в приятелях и которые могли бы помочь ему, не до него. Зато «до него» агентам тайной полиции. Один из них доносил еще в марте, что Пуш-

кин в кофейных домах публично ругает не только военное начальство, но и правительство. Реакция сверху, по-видимому, смягченная статс-секретарем Каподистриа, быстрая: «...желательно, особливо в нынешних обстоятельствах, узнать искреннее суждение Ваше, Милостивый Государь мой, о сем юноше...»⁸

Инзовская характеристика была составлена в оптимистическом тоне, что вызывало недоверие к самому Инзову, которым Александр I был недоволен: Инзов несвоевременно сообщил о подготовке восстания, хотя знал, что Александр Ипсиланти готовил его в Кишиневе. Правительственные чиновники действовали по известному принципу: «доверяй, но проверяй». Информацию, помимо бюрократических каналов, поставляли официальные и секретные агенты, в том числе специально прибывавшие из столицы.

В это время агентура сообщила Александру I из Парижа, что секретарь Нарышкина Кюхельбекер собрался ехать в Грецию сражаться за независимость греков. К тому ж третий лицейский приятель Пушкина граф Сильверий Броглио вскоре после окончания лицея уехал в Пьемонт, сделался участником освобождения Греции и погиб. Дата его смерти и место остались неустановленными. Пушкин услышал об этом, когда сам он рвался туда же, и, возможно, всерьез призадумался.

Тема нелегального перехода границы волновала Пушкина. В наброске стихотворения «Чиновник и поэт» читаем:

– Куда ж? –
«В острог – сегодня мы
Выпровожаем из тюрьмы
За молдаванскую границу
. Кирджали» (П.72).

Кирджали, как теперь выяснено, был историческим лицом. Этеристы без особого труда проходили границу и возвращались в Бессарабию после поражений. В Молдавском архиве сохранились списки, направленные Инзову из Новоселицкой таможни, в которых перечислено по пятьсот человек. Такие же сведения шли Инзову из Скулян – прикордонного пункта на дороге из Кишинева в Яссы. В Яссах был русский консул, который сообщал правительству о многочисленных побегах из

Бессарабии. Инзов вызывал к себе представителей Кишиневских властей и выговаривал им, что они способствуют тайному бегству людей за границу.⁹

Не очень ясно, в чьих интересах действовал Александр Ипсиланти, грек и русский генерал: в интересах греков, царя или своих собственных. Ипсиланти надеялся заполучить для себя небольшое королевство на Балканах. Он обсуждал разные планы кампании и не мог остановиться ни на одном. Проекты Ипсиланти получали огласку и уже поэтому становились неосуществимыми.

Турецкая армия была вдесятеро сильнее, и греки начали терпеть поражение за поражением. К этому остается добавить вспыхнувшую на турецкой территории эпидемию чумы. Теперь греки бежали опять, на этот раз в Кишинев. За два-три месяца в городе, как сообщает Вельтман, вместо 12 тысяч греков стало 50 тысяч.

Когда в Румынии началось восстание под руководством Владимиреско, Ипсиланти перебрался в Румынию. О своих планах он сообщил Александру I, прося поддержки, но царь под влиянием Меттерниха решил отмежеваться от дел этерии – общества с неясными целями. При этом Каподистриа и Нессельроде сообщили Ипсиланти тайно, что царь не гневается, но не может помочь. Ипсиланти пришлось отступить к австрийской границе, чтобы бежать, а турецкая армия уже надвигалась. Боясь измены румын, Ипсиланти решил разгромить отряды Владимиреско и тем настроил против себя румын. Греки были разбиты, Александр Ипсиланти бежал в Австрию. Там он был схвачен и посажен в тюрьму. Вышел он лишь в 1827 году и скоро умер. Результат греческого восстания печален: дунайские княжества были опустошены турками.

Надежды Пушкина на бегство к грекам теряли не только реальность, но и привлекательность. Еще недавно Пушкин называл Грецию священной (II.107). Греки, возвращаясь, становились в Кишиневе забулдыгами и алкашами. Да и сама благородная цель – ринуться освобождать Грецию, находящуюся в цепях рабства, – постепенно вывернулась для поэта наизнанку.

Позже Пушкин резко писал о полнейшем ничтожестве народа, лишённого энтузиазма и понятия о чести. Н.Лернер указывает, что суждения Пушкина стали столь негативными, что

его даже упрекали в симпатии к турецкому игу.¹⁰ Спустя три года Пушкин напишет Вяземскому: «Греция мне огадила... пакостный народ, состоящий из разбойников и лавошников...» (X.74). Это была обида.

Потом, однако, Пушкин, отстранившись от личного, стал смотреть на эти события более объективно. В «Кирджали» он вернулся к идее судьбы небольшого народа, ставшего жертвой противоборствующих держав – России и Турции. То, что не сказал Пушкин, договорил Байрон, который, в отличие от русского поэта, сперва отправил на помощь грекам за свой счет два корабля, а затем появился в Греции сам. «Так как я прибыл сюда помочь не одной какой-либо клике, а целому народу и думал иметь дело с честными людьми, а не с хищниками и казнокрадами... мне понадобится большая осмотрительность, чтобы не связать себя ни с одной из партий...»¹¹ Греки еще не отвоевали свободу, но уже боролись за власть, разделив этеристов на касты и требуя привилегий лидерам.

Анненков очень точно оценил едва ли не важнейшую черту характера Пушкина, сказав, что у него было «обычное его натуре соединение крайнего увлечения с трезвостью суждения, когда ему оставалось время подумать о своем решении».¹²

Пушкин загорелся освобождением Греции, но вот парадокс: он отправлялся из несвободной страны освобождать такую же, а может, и более свободную, чем его собственная. По крайней мере, оттуда можно было без труда выехать в любую страну, куда душе угодно, – никто на цепи не держал. Не логичнее ли было б сперва подумать о собственной стране и о своем народе, раз уж в крови горел огонь желанья сжечь себя на костре справедливости? Тем более, что возможности такого рода имелись в России даже в Кишиневе, где зрели и готовились декабристские ячейки, – чем не этерия?

Но в том-то и состояла, на наш взгляд, логика созревания Пушкина. Здесь он уже «доборолся». Он, как и его друг Чаадаев, рано понял, что здесь «вечный туман» (II.33), в России свободой и не запахнет:

Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет (II.40).

Думается, Пушкин искал свободы не для греков, но лично для себя. Он готов был выбираться «через греки в варяги». Суть официального литературоведческого мифа иная. Пушкин остался в России, а не бежал в Грецию потому, что он, как и декабристы, понял: его судьба неотделима от судьбы России. Эта гипотеза представляется патриотически эффектной, но, нам кажется, не соответствует тому, что происходило на самом деле.

Если бы это было так, отчего начинается у Пушкина в это время полоса крайнего негативизма, о котором принято умалчивать? Он раздосадован. Мятежный дух угасает в нем, не разрядившись. Самолюбие делается болезненным. Он составляет для себя особый кодекс прав и свобод привилегированной личности. Худшие черты его характера выходят на поверхность, задавив собой остальные. Он опять игрок, ловелас, дуэлянт. Дуэли вспыхивают по ничтожному поводу. Пушкин вызывает на дуэль человека за то, что тот удивился, что поэт не читал какой-то книги, хотя Пушкин ее читал. Знакомому, который отказался принять вызов, он пишет оскорбительное письмо, рисует на него карикатуру.

Он записывает на клочках бумаги имена своих обидчиков и готов хранить эти бумажки всю жизнь, пока не рассчитается с каждым сполна. Он являет собой русский вариант демократа Байрона: человек, который не ценит своей жизни и считает, что имеет право распоряжаться жизнями других. По его собственному выражению, у него был «последний либеральный бред». Он, по его собственным словам, «закаялся».

Итак, он уже не собирается освобождать греков, а в обеих столицах распространился новый слух на старый лад. Издатель Михаил Погодин 11 августа 1821 года сообщает приятелю в Петербург: «Говорят, что кишиневец печатает новую поэму «Пленник». Кстати, я слышал от верных людей, что он ускользнул к грекам».¹³ Тот же слух дошел до Федора Тютчева.¹⁴

Пушкину плохо, может быть, это депрессия. Он рвет все связи. Кажется, он готов податься куда угодно, хоть в никуда.

Глава восьмая

БЕГСТВО С ТАБОРОМ

*Почто ж, безумец, между вами
В пустынях не остался я,
Почто за прежними мечтами
Меня влекла судьба моя!*
«Цыганы», черновик (IV.384).

Так с сожалением он напишет спустя три года, дописывая поэму, начатую на юге.

О периоде этом Пушкиным написано много, большей частью в стихах, а биографических подтверждений мало, буквально крупницы. Попытаемся их собрать, тем более что это напрямую связано с исследуемой нами стороной биографии поэта.

Желание «на стороне чужой испытывать судьбу иную» не реализуется. Судьба его остается той же, и желание пересечь границу не только не ослабляется, но становится сильнее.

В литературных образах этого периода у Пушкина происходит переход от пленника к беглецу. И кавказский пленник, и разбойники, и цыгане отторжены от нормального общества. В поисках другой судьбы они разорвали предуготовленные этим обществом связи. В конце июля 1821 года Пуш-

кин исчез. Анненков утверждал, что это произошло в 1822 году, но он ошибался.¹

Исследователь бессарабского периода жизни Пушкина Кочубинский произнес речь «Черты края в произведениях Пушкина», позже опубликованную.² Подводя итоги своих поисков, Кочубинский заявил, что летом 1821 года Пушкин решил тайно покинуть Россию и для этого отправился «с цыганской экскурсией» до Измаила.

Сам Пушкин на этот раз хранил молчание. Даже потом, годы спустя, повествуя о своих замыслах, он выражал лишь общие симпатии к цыганам и особенно к цыганкам в стихах. Только близкие друзья узнали подробности его экскурсии. Несколько лет спустя он исповедовался об этом своей знакомой Александре Смирновой, да и то в полушутливой форме и не касаясь целей экскурсии. Строки о том, что поэт скрылся в таборе, были вписаны им самим лишь в экземпляре «Цыган», подаренный князю Вяземскому.

За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил.
Простую пищу их делил
И засыпал перед огнями.
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы –
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил (IV.169).

Сам Пушкин эти строки не публиковал. Теперь они весьма произвольно включены в эпилог канонического текста поэмы. В печати же стихотворение-воспоминание «Цыганы» Пушкин и через десять лет поместит для конспирации как перевод с английского. Свое участие в таборе он сделает условным, как будто не он, а кто-то другой прошел через эти приключения:

Я бы сам в иное время
Провожал сии шатры (III.200).

А в «Евгении Онегине» скажет, что это не он посетил цыганский табор, а... его муза.

И, забыв столицы дальней
И блеск, и шумные пиры
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,
И между ими одичала (V.143-144).

Такая конспирация поэта, конечно же, не случайна.

Пушкин считал цыган ветвью индийцев (он писал «индейцев»), париями, изгнанными из своей страны. Он наблюдал стремление русских отторгнуть этих инородцев, узаконив их бесправное положение. Но цыгане, благодаря своему отказу от оседлой жизни, оказались жизнеспособнее и свободнее, чем коренное население. Цыгане кочевали (и по сей день кочуют) по всей Европе, включая Англию. Правда, современные цыгане делают это более комфортабельно в так называемых караванах – автомобилях-квартирах, которые подключаются на стоянках к электричеству, канализации и телефону. Об этом на Западе существует целая литература.

В рассматриваемое нами время российские границы не были для цыган помехой. И эту дикую свободу передвижения не раз использовали лица, которые хотели пересечь границу Российской империи нелегально. Этеристы в те годы бесконтрольно ходили в Молдавское княжество, в Грецию и обратно в Бессарабию с цыганскими таборами по несколько раз в год.³

Похоже, местные власти махнули рукой на этих бродяг, не подчиняющихся приказам сверху. Путешествовали цыгане без виз, паспортов, без особых сложностей и преследований пересекали границы, минуя таможенные кордоны, и Пушкин все это хорошо знал. Раствориться в их массе, принять их вид, стать цыганом, – и все остальное произойдет само собой. Пушкин гляделся в зеркало, и сомнения во внешнем сходстве с данным племенем исчезали. Некоторые черты характера тоже были, пожалуй, сходны.

Согласно одной из версий, в цыганский табор за рекой Бык Пушкина привел чиновник той же инзовской канцелярии Дмитрий Кириенко-Волошинов, тот самый, которого в канцелярии считали единственным русским.

О человеке этом мы знаем мало, не знаем ни возраста, ни отчества, ни подробностей его жизни. Воспоминания Е.Д.Францевой, его дочери, о встречах Пушкина с Кириенко один из пушкинистов назвал мало достоверными в подробностях.⁴ Даже если принять это ограничение, то оно означает, что в основе воспоминания достоверны. Известно, что Кириенко, прожив в тех местах много лет, хорошо говорил по-цыгански. Кириенко вскоре ушел, а Пушкин остался в таборе.

По другой версии Пушкин тогда направлялся в командировку. В степи поэт встретил табор, пристал к нему и некоторое время кочевал с цыганами, спал под открытым небом у костра.⁵ Версии разнятся, притом весьма значительно. Так, Яковлев, ссылаясь на непоименованные источники, пишет, что Пушкина отправил в Буджакскую степь сам Инзов. Он не раз посылал поэта в дальние командировки в виде наказания, когда домашние аресты с чтением французских романов не помогали. Известно, что Инзов лично отправлял Пушкина в Измаил. Следование за табором, возможно, оказалось тайной стороной одной из таких поездок.

Так или иначе, связавшись с цыганами, поэт неделями не появлялся в канцелярии и подолгу не приходил к себе в квартиру в Инзовском доме. На его исчезновения никто не обращал внимания.⁶ Скорей всего, Инзову не приходило в голову, что Пушкин может сбежать за границу. Отсутствие поэта после очередного скандала в городе, затеянного Пушкиным, Инзова даже устраивало. Это успокаивало страсти.

Дополнительный штрих к ситуации дает Шимановский. По его мнению, в таборе самого Пушкина звали Алеко – сокращенное имя Александр. И в этой связи упоминается роман самого Пушкина с цыганкой.⁷

Сколько времени Пушкин провел с табором, который вскоре разобрал шатры и ушел к юго-западу, – вопрос спорный. Интересно, однако, что по мере изучения деталей этого периода биографии Пушкина срок загула увеличивается от нескольких дней до месяца. «Несколько дней», – говорит Б.Томашевский в примечаниях к собранию сочинений поэта (II.420).

Один кишиневский краевед тщательно собрал переходившие из поколения в поколение местные предания, в которых утверждается, что Пушкин находился в селе Долна и в цыганском

таборе около месяца, из них около двух недель у него был роман с цыганкой, которую он называл Земфирой.⁸ Намечены даже даты этой своеобразной и весьма таинственной отлучки: с 28 июля до 20 августа 1821 года. Есть у Трубецкого еще уточнение: табор расположился не у села Долна, а у села Барсук, в стороне от дороги Долна-Юрчены. Потом табор снялся с места и пошел к Варзарештам, и Пушкин ушел с ними.⁹ Он жил в одном шатре со своей будущей героиней, в которую был влюблен.¹⁰

Здесь, в таборе, как бы реализуется тема беглеца, скользящая по стихам Пушкина. Он будто решил примерить на себя, испытать все прелести жизни, которую проходят его герои. Это, так сказать, творческая командировка или, как пишут в газетах, «репортер меняет профессию», если не брать во внимание конечное желание человека, примкнувшего к табору: вместе с табором перейти границу. В поэме «Цыгань», написанной три года спустя, желание это уточнено. Героя «преследует закон», и он, как говорит Земфира, «готов идти за мной повсюду».

Но вот какой парадокс: Пушкин рвется к европейской цивилизации от русского дремучего варварства, а в поэме осуждает цивилизацию, как скопище нравственных пороков.

Противоречие легче объяснить, если мы предположим, что эти мысли вовсе не Пушкина, а Байрона. Это Байрон со своими героями двигается от Западной цивилизации к опрощению, и у Байрона все это логично. А у Пушкина литература становится чем-то вторичным и не имеющим логического выхода. В результате автор как бы смиряется, зайдя в тупик: «И от судеб защиты нет» (IV.169). Такова последняя фраза «Цыган», написанная, правда, после длинного ряда других столкновений с действительностью. Отметим при этом, что поэма писалась позже, когда поэт явственно ощутил тупик, в котором он находится и из которого не может найти выход.

Что реально происходило в таборе с Пушкиным? Узнаем ли мы когда-нибудь об этом? Действительно ли там имело место убийство из-за ревности или это лишь литературный домысел, сюжетный ход? Судя по тому, что Пушкин везде описывает цыганское племя как мирное и даже прощающее козни извне, мы склонны предпочесть второй вариант. Цыганка, которой он увлекся, согласно легенде, просто изменила поэту и бежала с другим, настоящим цыганом.

Остается загадкой и то, почему Пушкин не ушел с табором за границу. Табор туда не пошел или – Пушкин не пошел с табором? Первое более вероятно. Непокойное состояние за границей Бессарабии, война турков с греками, бандитизм, кровожадность обеих сторон – достаточные аргументы для вожаков табора, в котором много стариков и малых детей, чтобы кочевать по эту сторону границы, где относительно спокойно. Пребывать дальше в таборе становилось бессмысленным, хотя после, по размышлении, Пушкин пришел к выводу, что все-таки надо было остаться. Но он, «безумец», ушел.

Мы можем только гадать о состоянии Пушкина, решившего в знак протеста скрыться от всех. Выехать поэту не удалось, а оставаться было противно, и вот естественная реакция: бежать, куда глаза глядят. Но не исключено, что это была, так сказать, пристрелка на местности, репетиция побега, тренировка. Помалкивать об этом впоследствии было весьма разумно. Как всегда у поэта, доминирующую роль и тут играла женщина, которой он был в данный момент увлечен. Эту причину можно было не скрывать, а наоборот, сделать ее главной, что Пушкин и осуществил в поэме.

Важно отметить и другое обстоятельство. В данном случае пребывание в таборе было реальным поступком, в отличие от множества других, которые поэт обдумывал, обговаривал, решал и – ничего не предпринимал.

Цыганская тема как часть темы изгойства прошла через всю жизнь Пушкина и обрела симпатию у читателей его не без участия в этом легенд, которыми обросли стихи. С фактами дело сложнее, и, кажется, время их уничтожило.

Инзовский дом в Кишиневе исчез. Дом, где жил Пушкин, в середине прошлого века превратился в конюшню. Много лет уже в наше время собирались сделать музей, да все не было средств. В 1986 году, побывав в Кишиневе, мы нашли этот дом в полуразвалившемся состоянии. «Теперь на месте тех садов, где Пушкин обдумывал свою чудесную поэму «Цыганы», – писал в местной газете автор, подписавшийся инициалами М.З., – ржут лошади и раздаются руготня конюхов... Стоит ли быть у нас великим человеком?»¹¹ Эти строки таинственный М.З. опубликовал в 1880 году, и они все еще звучат актуально.

Глава девятая

НАДЕЖДА НА ВОЙНУ

*Приблизьте хоть мой гроб
к Италии прекрасной!
«К Овидию»,
26 декабря 1821 (П.63).*

В мае 1821 года Пушкин вступил в масонскую ложу. Это было таинство, но никакой оппозиции в нем не содержалось. В ложе вступали многие, если не все, повсюду, и это была мода вполне разрешенная. Инзов, наместник края, тоже был членом ложи, как и его чиновники, и офицеры, причастные к действительно тайным обществам.

Приятеля Пушкина в то время обсуждали «Проект вечного мира» французского писателя аббата Сен-Пьера. И в бумагах поэта сохранились об этом заметки. Идеи справедливости Шарля Сен-Пьера были очевидны и привлекательны, но на практике их вряд ли можно было реализовать. Аббат считал, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир на земле. Европейские правительства относились к этой идее с одобрением. Строились даже прогнозы, когда это произойдет; «...возможно, – пересказывает Пушкин идеи Сен-Пьера, – что менее чем через 100 лет не будет больше постоянных армий». Сам он относился к этой идее с нескрываемой иронией, называя Руссо, в пересказе которого узнал о сочине-

нии Сен-Пьера (самого аббата Пушкин не читал), мальчишской, идею абсурдной, а тех, кто поверит в вечный мир, глупцами (VII.363, 532).

Ритуальные атрибуты масонской ложи: треугольник, циркуль – Пушкин сохранял и позже.¹ А тогда это была для него еще одна попытка удовлетворить природное любопытство и убить время. Никакого проникновения в философию масонства и тем более следования ей не было. Не случайно в момент, о котором идет речь, только что сделавшись мирным масоном, Пушкин с сарказмом писал об идее всемирного братства народов.

20 августа 1821 года Пушкин покинул цыганский табор, а 21 августа написал письмо в Одессу Сергею Тургеневу, только что прибывшему, по ироническому замечанию поэта, из «Турции чуждой в Турцию родную» (X.27). Пушкин рвется «подышать чистым европейским воздухом», но говорит, что Инзов держит его в карантине, как зараженного «какою-то либеральною чумой». Чума была, однако, настоящая.

Сергей Тургенев направлялся из посольства в Константинополе домой в связи с неожиданным поворотом в дипломатических отношениях России с Турцией. Реакция Пушкина была немедленной. Очутиться в Греции в связи с восстанием не удалось. На просьбы добиться разрешения захватить на несколько дней в «северный Стамбул» (то есть в Питер) ответа нет. И вот новая идея. Наверное, Тургенев, как и его братья, привыкший к постоянным просьбам Пушкина, был немало удивлен этой новой его причуде. «Дело шло об моем изгнании – но если есть надежда на войну, ради Христа, оставьте меня в Бессарабии», – пишет он Сергею Тургеневу (X.27).

Слухи о предстоящей войне, носившиеся с весны и поутихшие, теперь вспыхнули с новой силой, и на этот раз у них было больше оснований. О новом походе России на Турцию заговорили все; думается, эти вести могли дойти до Пушкина, убедив его оставить забавы в степи у костра в связи с открывающейся реальной возможностью действовать немедленно, чтобы снова не опоздать, не остаться у разбитого корыта.

Вот как передает ощущения Пушкина Иван Новиков в своем романе: «Ложась спать, исполненный таких приподнятых впечатлений, Пушкин остро чувствовал близость границы, которая

вот-вот могла загореться на картах Липранди изогнутой огневой линией. «Что же, война?» – спрашивал он себя, просыпаясь. И эта мысль заставляла его внимательно приглядываться к русскому воинству, которого в Кишиневе было достаточно».²

У нас нет расхождений с Новиковым в понимании эйфорических поступков Пушкина тех дней. Мысли, впечатления, эмоции немедленно выливаются у него в рифмованные строки: наконец-свинец, чести-мести и т.д. Но попробуем обнажить мысли поэта, изложив стихотворение с немудреным названием «Война» вульгарной прозой.

Наконец-то война! – заявляет поэт. Увижу кровь и праздник мести. Сколько сильных впечатлений для меня: звук мечей, трупы солдат и командиров, песни – все это поможет разбудить мой уснувший гений. Вот бы родилась во мне жажда славы и геройства, она бы затмила все надежды юности. Вряд ли и она поможет преодолеть мою лень. Хочу скорее испытать ощущение смерти. «И все умрет со мной...» А пока героизм негде проявить, и я тут таю от скуки, потому что с войной что-то медлят.

Читателя, которого шокирует подобная трактовка, отправляем к самому стихотворению (II.31), которое не приводим ради экономии места. На наш взгляд, оно пародийное. В противном случае, если принимать эти стихи серьезно, становится не по себе.

Теперь выскажем то, о чем не упоминают Новиков и большинство других пушкинистов, но что почувствовал еще А.М.де Рибас: в стихотворении «Война» – отголоски решения Пушкина бежать.³ В отличие от Байрона, Пушкин не был активным борцом за свободу других и в данном случае использовал общественную конфликтную ситуацию для приобретения личной свободы. В написанном тогда же стихотворении «Дельвигу» даже весьма чувствительную проблему славы он истолковывает так:

К неверной славе я хладею...

Одна свобода мой кумир... (II.32)

В традиционном литературоведческом сознании над Пушкиным тяготеет образ победной русской армии, с которым он

вырос, армии, которая дошла до Парижа. Война для него – это повторение похода в Европу или хотя бы в южную Европу, возможность движения туда вместе с армией, причем вполне легально и даже героически. На деле все гораздо проще: русская армия наступает, и ты, само собой разумеется, оказываешься за рубежом. Война – это открытая граница. Война – неразбериха. Война – это когда не до ссыльного поэта. Как только он дождется начала военных действий, вопрос решится сам собой. Стихотворение «Война» вполне оправдано, ибо война для Пушкина – путь к свободе.

Вот почему поэт так ждет войны и не хочет, чтобы ссылка сейчас кончилась. Вот почему он просит приостановить хлопоты о его возвращении в Петербург, о чем он писал Сергею Тургеневу. Пушкин срочно начинает учить турецкий язык.⁴

Но это лишь намерения. Чтобы осуществиться, они должны, как минимум, совпасть с планами правительства. Когда греки двинулись на румынскую территорию, пошли слухи, что генерал Алексей Ермолов получил приказ выступить с войском на помощь грекам. Армия двинулась, но остановилась у границы как бы для ее защиты.

Статс-секретарь Иоанн Каподистриа от имени Александра I, несомненно, способствовал формированию намерений русского правительства идти на помощь Греции, что давало возможность захватить у турков новые земли на Балканах. Этерия оказалась удобной пятой колонной, и ее выгодно было поддерживать. Когда греческое вооруженное вмешательство на Балканах стало реальностью, Александр I предложил европейским монархам начать коллективные переговоры с Турцией. Это была незамысловатая хитрость, которую Англия и Австрия сразу раскусили. Державы заявили, что они против умиротворения Греции. Похоже, что война пока отодвигалась.

Турция, почувствовав нерешительность союзников, немедленно ввела войска в Румынию – навстречу греческим отрядам из Бессарабии. А в мае конгресс Священного союза закончился подписанием протокола о праве вооруженного вмешательства во внутренние дела других государств для подавления революционных волнений. Отдай Александр I приказ о военной помощи грекам, это выглядело бы как поддержка тех революционных волнений, подавлять которые он обязался. Вот

почему весной слухи о начале военных действий не подтвердились, и Пушкин об этом быстро узнал. Каподистрия, который уговаривал Александра вмешаться, был отставлен. Этот человек, делавший для Пушкина добро, еще год пробыл в России в ожидании перемен, а затем покинул ее.

Летом, однако, слухи о предстоящей войне поползли снова. Вернувшись в Россию из Европы, Александр I стал смотреть на Балканскую ситуацию иначе. Внутри страны было немало сторонников легкой экспансии, для которых и праведное дело Греции было поводом урвать кусок для России. Чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе Александр Булгаков, известный впоследствии как перлюстратор пушкинской почты, писал брату 15 марта 1821 года: «Что-то выйдет из этого, но дело святое! Постыдно, чтобы в просвещенном нашем веке терпимы были варвары в Европе и угнетали наших единоверцев и друзей. Не имей я семьи и тебя, пошел бы служить и освобождать родину свою, Царьград...»⁵

Официозный русский патриотизм носит своеобразный характер: родиной называется все то, что нужно России. Пушкин тоже, всерьез или нет, говорил, что для России «сбудется химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии» (X.17). Захват Кавказа – лишь некий промежуточный этап, устранение преграды для будущих войн. 28 июня Турции был отправлен довольно надменный ультиматум, а 8 августа русский посланник в Константинополе граф Строганов, а с ним и чиновники миссии отплыли в Одессу.

Воинственная часть русского правительства нажимала на Александра, уговаривая его не упустить удобный момент, напасть на Турцию, и Александр вначале согласился. Вот почему дошел до Пушкина слух о войне. Франции, у которой были свои интересы на Балканах, пообещали отдать часть захваченных территорий. Но Англия и Австрия оказались тверды и заявили, что конфликта такого не допустят. Александр попросту струсил и тем проявил государственную мудрость.

Итак, наверху уже было известно, что война не состоится, а Пушкин по недостатку информации еще ждал ее начала и надеялся на свободу, которую при дележе юга Европы он сможет приобрести для себя. Другими словами, интересы Пушкина и империи в данном случае совпадали, и это частично объ-

ясняет мотивы стихотворения «Война». В сущности, поэт оставался пешкой в играх других людей и мало что мог предпринять сам.

Пушкин был одним из чиновников бюрократического аппарата, укомплектованного гражданскими и военными служащими. Аппарат этот, возглавляемый генералом Инзовым, разместился на недавно оккупированных территориях и выполнял несколько задач, среди которых на первом месте стояли две. Основная – русификация захваченных территорий (насаждение русского языка, православия, установление русских порядков, правил и законов, ликвидация недовольных и т.д.) Переводя (хотя и с ленью) местные законы на русский язык, Пушкин как представитель оккупационных властей занимался именно этим.

Другой важнейшей задачей местного аппарата была тайная подготовка к дальнейшей экспансии в регионе. Для выполнения разного рода особых миссий в Бессарабию присылались уполномоченные представители из Петербурга, о деятельности которых даже Инзов многого не знал. Иногда это были обычные шпионы, иногда незаурядные личности. Пушкин, открытый для общения, жадный к свежим и умным людям, сближался с ними и, ничего не подозревая, становился пособником в их делах.

Двойные роли приходилось играть многим, находившимся на службе. Полковник Павел Пестель, глава Южного общества декабристов, впоследствии казненный, прибыл в Кишинев с секретной задачей: собирать сведения об организации, участниках и планах проведения греческого восстания, о чем он подробно доносил правительству. Сначала Пушкин напишет в дневнике о Пестеле: «Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю» (VIII.16). А спустя двенадцать лет Пушкин скажет: «Пестель обманул... и предал этерию, представя ее Александру отраслю карбонаризма» (VIII.23).

Еще более загадочную миссию выполнял другой кишиневский знакомый Пушкина Иван Липранди. «Он мне добрый приятель, – писал Пушкин Вяземскому 2 января 1822 года, – и (верная порука за честь и ум) не любим нашим правительством и, в свою очередь, не любит его». Спустя еще три года Пушкин отметил другое достоинство Липранди, добавив, что

он соединяет «ученость личную с отличными достоинствами военного человека» (VII.16). Мало таких оценок своим друзьям можно найти в бумагах Пушкина.

Опальность («не любим нашим правительством», по выражению поэта) была для Пушкина едва ли не высшим показателем значительности личности. Липранди родился в России. Его отец был уроженцем Пьемонта, а здесь ассимилировался. Подполковник Липранди был старше Пушкина на девять лет, бывал в Париже, блестяще знал европейские языки, историю и культуру.

Человек либерально мыслящий, смелый и трезвый в суждениях, Липранди был одним из первых принят в тайное общество. Пушкин близко сошелся с этим штабным офицером, делился творческими замыслами, пользовался его библиотекой. В течение четырех лет они встречались едва ли не ежедневно, и, несомненно, Пушкин ему исповедовался, как он это всегда делал с близкими по духу людьми. Как уже говорилось, Пушкин не догадывался, а когда узнал, не хотел поверить, что Липранди был секретным сотрудником тайной полиции.

Впрочем, странности Липранди отмечал еще в Кишиневе другой приятель Пушкина, Алексеев, считая Липранди загадочным, «дьявольским», не понимая, откуда тот достает огромные деньги. До Кишинева, будучи в Париже, Липранди выполнял там сыскные дела по русской армии за границей. Липранди неожиданно выехал из Кишинева в Петербург, а через четыре дня был арестован первый член тайного общества Владимир Раевский.

Липранди вышел в отставку, а после декабрьского восстания тоже был арестован, но ненадолго. Он был уверен: его скоро освободят, что и произошло. Еще через два года царь назначает его начальником только что учрежденной высшей тайной заграничной полиции. Известно, что именно Липранди подослал провокатора к петрашевцам.

О своей деятельности в области военно-политического сыска он впоследствии рассказывал сам. Свою дружбу с Бенкендорфом, Дубельтом и Видоком Липранди не скрывал. В преклонном возрасте этот великий практик доносительства стал теоретиком новой области педагогики, издав проект об учреждении при университетах особых факультетов, «чтобы упот-

реблять их (студентов. — Ю.Д.) для наблюдения за товарищами, чтобы потом давать им по службе ход и пользоваться их услугами для ознакомления с настроениями общества».⁶

Этот необыкновенный человек жил подолгу за границей и умер в довольстве и счастье, не дотянув двух месяцев до девяноста лет. Большую часть сведений о своих заслугах перед русским отечеством Липранди унес с собой в могилу. «Гениальным сыщиком» назвал его Анненков. Обширная переписка между ним и Пушкиным, продолжавшаяся несколько лет, таинственно исчезла.

В декабре 1821 года, когда слухи о предстоящей войне еще имели место (а планы Пушкина были связаны с войной), Липранди отправляется в длительную командировку по южным колониям и берет поэта с собой. Официально Липранди поручено расследовать вопрос о солдатских волнениях в 32-м егерском полку в Аккермане (теперь Белгород-Днестровский) и 31-м егерском полку в Измаиле.⁷ Оба полка расквартированы совсем недалеко от границы. К тому же в Петербурге могут предполагать, что волнения связаны с тайной деятельностью офицеров и представляют политическую опасность, так что ничего странного в самом расследовании нет. Чиновник канцелярии Пушкин едет с ним, чтобы, по мнению Инзова, быть при деле.

Но вот что любопытно: Липранди представлялся еще и как военный историк. Он действительно блестяще разбирался в военно-политических проблемах, в частности, на Балканах, и собирал информацию о Европейской Турции, которую уже планировали присоединить к южным колониям России. Липранди знал, а Пушкин мог сообразить, что колонизация и русификация уже захваченных земель, их изучение, освоение, охрана границ, строительство укреплений и военных поселений, развитие промышленности, связи и торговли были этапами, обеспечивающими завоевание следующих территорий.⁸ Липранди тратил большие суммы для вербовки осведомителей на уже захваченных и пока еще турецких территориях, куда он тайно переправлялся и возвращался снова, а также направлял личных агентов.⁹

Объезжая край, этот чиновник делал больше, чем было известно Пушкину. Последний со своей общительностью, зна-

ниями и способностями к сближению с незнакомыми людьми не мог не помогать Липранди. Видимо, и Пушкину перепала лишняя информация сверху.

Обнаружатся ли когда-нибудь секретные материалы о том, как Липранди использовал Пушкина для своих целей? Доносил ли Липранди о нем наверх и, если да, что именно? Возможно, что и не доносил – у него были другие, более важные функции. Ясно и то, что стоило Липранди захотеть, и он мог бы отправить или вывезти Пушкина за границу без особых хлопот. Мог, но не сделал. Вместе с тем, нет никаких оснований лишать Липранди человеческих симпатий и привязанностей, в которых он был вполне порядочен. Кроме того, поэт скрашивал и делал, так сказать, более respectable существование этого человека.

Пушкин взял у Липранди французский перевод римского поэта Овидия Назона, судьба которого показалась ему сходной с его собственной. Овидий был сослан императором Октавием Августом в Римские колонии на берег Черного моря, и Пушкин даже думал, что Овидий сослан был именно в места, которые они с Липранди посетили.

Как ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой – участью я равен был тебе.

(«К Овидию», II.64)

Грустно думать, что правовой уровень России XIX века был таким же, а возможно, и ниже, чем в Риме I века нашей эры.

Любимой темой отечественного литературоведения всегда было соотношение биографического и литературного в творчестве Пушкина. При этом, когда было политически выгодно, говорили, что Пушкин отражает собственные мысли и взгляды (например, в экстремистских стихах), а когда мешало (скажем, политическая индифферентность Онегина, который ни в какую не хотел стать декабристом), то объясняли, что это лишь взгляды пушкинского героя. Не вступая в длинную полемику, отметим здесь, что мало у кого из писателей была такая близость между литературной фантазией и исповедью, как у Пушкина. Мало у кого литературные ассоциации столь прозрачны.

О, други, Августу мольбы мои несите!
Карающую длань слезами отклоните,

– умоляет Овидий, прося, в случае его смерти, хоть гроб с ним отправить в Италию (II.63). Это, пожалуй, и ассоциациями не назовешь, настолько прямо написано: Август – без сомнения Александр I, Овидий – Пушкин. И рядом находится элегия «Умолкну скоро я», где высказаны мысли о смерти, о том, что веселье улетучилось из души поэта. И к стихотворению «Наполеон» он приписывает эпитафию по-латыни: «Неблагодарное отечество...», сравнивая себя на этот раз с Наполеоном.

Пушкин страдает и мечется, а тем временем в Петербурге Александр I в разговоре с великим князем Николаем Павловичем назвал нашего Овидия «повесой с большим талантом», что можно принять за похвалу.¹⁰ Но сыск идет своим чередом. Доносчик сообщает из Кишинева с полугодовым опозданием, что Пушкин вступил в масонскую ложу. Ответная депеша поставит Инзову в упрек, что не обратил внимания на таковые занятия Пушкина. «Предлагается вновь Вашему Превосходительству, – требует начальник Главного штаба князь П.М.Волконский, – иметь за поведением и деяниями его самый ближайший и строгий надзор».¹¹

Власти прекрасно знали, что масонские ложи не представляли никакой опасности. Наблюдали за ними для порядка, как за всем остальным. К этому времени руководители лож сами охотно сообщали полиции о своих членах и их занятиях. От европейского масонства русское было практически отрезано и сходило на нет.¹² И Пушкин терял к нему интерес.

Единственное, что скрашивало его существование в кишиневской пустыне, были гости из-за границы. Он с радостью мчится к каждому, надеясь «подышать чистым европейским воздухом» (X.27). Пока Липранди в командировке занимается своими делами, Пушкин знакомится с Луи Венсеном Тарданом, основателем швейцарской колонии Шабо возле Аккермана.

По-видимому, Пушкину было очень интересно понять, почему человек удрал оттуда, куда он сам мечтал отправиться. Тардан ссылался на опасность революции, но ведь она Швейцарию не задела. Поговорили они два часа и общего языка не

нашли. Оказалось, что Инзов для развития виноградной отрасли в колонии уговорил Тардана поселиться здесь, обещая содействие в развитии дела.

Теперь Луи Венсен Тардан уже называл себя Иваном Карловичем и писал соотечественникам в Швейцарию, советуя им «не искать счастья в пустынях и лесах Северной Америки, а спешить на плодоносные земли Новой России, где виноградные лозы, персики и шелковица поспевают и рано, и с большим успехом».¹³

И правда, два года спустя в Бессарабию приехали еще несколько семей из Швейцарии. Инзов принял их тепло. «Тардан» стало после маркой бессарабского вина, которое Пушкин продегустировал одним из первых, но не обнаружил в нем никаких свойств, чтобы предпочесть его французскому вину.

Война не состоялась. Официальная версия советских историков о том, почему Александр I не помог грекам, звучит так: «...оказалось невозможным совместить традиционное покровительство России угнетенным народам (sic! — Ю.Д.) с верностью принципам Священного союза».¹⁴ Вместо войны Пушкин пережил землетрясение. Дом Инзова, в котором поэт занимал комнаты внизу, пострадал, сохранилась лишь часть, где жил Пушкин, да и то по стенам пошли трещины. Инзов выехал, а Пушкин продолжал там жить некоторое время. Потом перебрался к своему приятелю Алексееву. Алексеев стал собирать все сочинения Пушкина, которые нельзя было печатать и даже опасно было держать, — первый сборник поэта в Самиздате.

Глава десятая

ХЛОПОТЫ И ОТКАЗЫ

«Говорят, что Чаадаев едет за границу – давно бы так; но мне его жаль из эгоизма – любимая моя надежда была с ним путешествовать – теперь Бог знает, когда свидимся».

Вяземскому, 5 апреля 1823 (X.49).

С сентября 1821 по апрель 1822 года в переписке Пушкина, если не считать двух писем в январе, имеется провал. При его обильной переписке со множеством корреспондентов хоть что-нибудь должно было уцелеть. Стало быть, в эти полгода Пушкин не писал, да и вообще об этих двух годах его кишиневской жизни мы знаем мало. «Денег у него ни гроша, – пишет о нем Александр Тургенев Вяземскому 30 мая 1822 года. – Он, сказывают, пропадает от тоски, скуки и нищеты».¹

В одном из двух писем, которые Пушкин написал в январе, он сообщает Вяземскому, что у него «лени много, а денег мало» (X.29), а в другом, брату Льву, вдруг вспыхивает надежда на возможность явиться в Петербург: «...я давал тебе несколько поручений самых важных в отношении ко мне – черт с ними; постараюсь сам быть у вас на несколько дней – тогда дела пойдут иначе» (X.30).

Речь идет, видимо, о просьбе к Жуковскому похлопотать о разрешении Пушкину приехать или о рискованном замысле

нарушить ссылку самовольно. Ответа на просьбу не было. Самовольно нарушить ссылку – значило рассердить царя и подвергнуться более серьезному наказанию. И вот уже снова уныние: «Пожалейте обо мне: живу меж гетов и сарматов; никто не понимает меня... не предвижу конца нашей разлуки. Здесь у нас молдованно и тошно...» (X.33). Он устал жить на биваке. Состояние неопределенности с постоянными переходами от надежды к отчаянию удручает его. Он все чаще оказывается подвержен хандре. «В эти минуты, – признается он Плетневу, – я зол на целый свет» (X.43).

Кончается второй, начинается третий год его ссылки. Ссылки бессудной и бессрочной. Право, закон в стране заменены движением указательного пальца Александра Павловича: куда направит он свой перст, туда и двигаться коллежскому секретарю Пушкину. А не пошевелит пальцем, оставаться Пушкину на месте. На сопротивление произволу и нравственные мучения, связанные с этим, а не на творческие дела, уходят силы, нервы, молодость, ум.

О Пушкине уже много пишут журналы в обеих столицах. Критика расточает похвалы, издатели просят от него новых стихов. Ссылного поэта выбирают в действительные члены Общества любителей российской словесности. В тот отрезок времени, о котором мы сейчас говорим, был напечатан портрет поэта с гравюры Е.И.Геймана в виде приложения к отдельному изданию поэмы «Кавказский пленник».

Имя Пушкина начинает появляться и в западной прессе. Первым Европу познакомил с новым именем Сергей Полторацкий, написав о нем в октябрьском номере французского журнала «Энциклопедическое обозрение» за 1821 год. Тридцать лет спустя Полторацкий признался в письме французскому писателю Ксавье Мармье, что те несколько строк «причинили много неприятностей и огорчений тому, кем они были написаны».² Полторацкого уволили со службы и выслали в деревню под надзор полиции за то, что он упомянул в журнале оду «Вольность» и стихотворение «Деревня», в которых, как он выразился, «поэт скорбит о печальных последствиях рабства и варварства».

Пресса в Англии и Франции начала публиковать переводы стихотворений Пушкина, затем на немецком языке появился

«Кавказский пленник». Рецензенты подчеркивали оппозиционность мышления Пушкина. Не остановился и Полторацкий: он продолжал нелегально пересылать на Запад свои материалы и печататься под псевдонимом R.E. Полторацкий сделался страстным собирателем рукописей, изданий и материалов о Пушкине, которые он впоследствии переправлял Герцену и Огареву для публикации того, что здесь запрещено.

Пушкину начали предлагать напечатать кое-что в Европе. Он аккуратно выписывает, что о нем пишут за границей (точнее, что ему удастся узнать об этом), и не без оснований опасается, что публикации на Западе отрицательно скажутся на всемилостивейшем разрешении побывать в столице. «Князь Александр Лобанов предлагает мне напечатать мои мелочи в Париже. Спасите ради Христа; удержите его по крайней мере до моего приезда – а я вынырну и явлюсь к вам... Как ваш Петербург поглупел! а побывать там бы нужно» (X.39).

Когда Пушкин отправлял приведенные только что строки, он уже написал ходатайство графу Нессельроде, своему высокому петербургскому шефу, с просьбой отпустить его. Мы не знаем, куда он просился – за границу или в Петербург. Но, думается, в данном случае, в Петербург. Все же больше шансов. Ни заявления, ни ответа не сохранилось. Есть только письмо, написанное еще через несколько дней, в котором не все ясно. «Я карабкаюсь, – пишет Пушкин брату в Петербург, – и, может быть, явлюсь у вас. Но не прежде будущего года. (Далее часть текста в рукописи тщательно зачеркнута писавшим; видимо, он решил, что следует быть осторожней и не дать этой информации утечь к промежуточному читателю. — Ю.Д.) Жуковскому я писал, он мне не отвечает; министру я писал – он и в ус не дует – о други, Августу мольбы мои несите! но Август смотрит сентябрем...» (X.41)

«Карабкаюсь» в этом письме можно понимать как «пытаюсь выбраться» или «предпринимаю попытки». Ходатайство подано («министру я писал»), а ответа нет («он и в ус не дует»). Впрочем, отсутствие ответа тоже можно рассматривать как отказ, что Пушкин и делает.

Откуда Пушкин знает, что в этом году не получится («не прежде будущего года»)? Не объяснение ли – такое для нас важное – вычеркнуто в письме? До конца года остается два с

небольшим месяца. Считает ли он, что просто мало времени остается, чтобы получить «добро», или кто-то ему сообщил, что ссылка окончится в следующем году? Здесь он повторяет строки из стихотворения об Овидии, на этот раз открыто имея в виду самого себя: молитесь Александра, чтобы простил. Но надежды мало, ибо «Август смотрит сентябрем». Пушкин заимствует строку из стихотворения Языкова, смысл которой – доброты от царя вряд ли дождешься.

В это время на Веронском конгрессе русское правительство находит общий язык с Францией, Пруссией и Австрией, договорившись о подавлении революции в Испании. В январе, после ультиматумов этих стран, Франция вводит в Испанию войска. Международная ситуация напряженная, и, как всегда в таких случаях, русские власти первым делом обеспечивают порядок и полное молчание внутри собственной страны.

Пушкин обращается с ходатайством к министру иностранных дел второй раз совсем некстати, наверное, не посоветовавшись даже с Инзовым: «Осмеливаюсь обратиться к Вашему превосходительству с ходатайством о предоставлении мне отпуска на два или три месяца» (подлинник по-фр. X.44). Мотив сугубо личный: увидеться с семьей, с которой расстался три года назад.

Отправив ходатайство, он, однако, и сам слабо надеется, осторожно спрашивая в письме, на месте ли царь, и просит напомнить о себе друзьям и родне, которые мало заботятся о судьбе его. Ему кажется, что можно найти каналы, чтобы замолвить о нем словцо у Августа.

Проходит месяц. Нессельроде исправно докладывает государю, последний опять отказывает.³ И нехитрый этот круг замыкается в очередной раз. «Мои надежды не сбылись, – пишет Пушкин Вяземскому, – мне нынешний год нельзя будет приехать ни в Москву, ни Петербург» (X.49). Унылые отчеты о своих мытарствах Пушкин то и дело доводит до сведения брата и друзей в письмах. Отказы ясно показывали, что легальным путем ему ничего не добиться. Его словно подталкивали к самостоятельным отчаянным решениям, направляя мысли и энергию его на то, чтобы возненавидеть отечество.

Что ни мысль у него, то афоризм, и каждый просится в эпиграф. Как трудно выбрать что-нибудь другое из его писем:

не о хандре, не брань по поводу собственной страны, не о надежде выехать, не о желании бежать. Он начинает называть Кишинев своей тюрьмой, а затем свое пребывание в нем передает в известном двенадцатистишии «Узник»: «Сижу за решеткой в темнице сырой». Поэт мечтает вместе с орлом улететь туда, где за тучей белеет гора, и где синеют морские края. Это, между прочим, написано дома, скорей всего, в постели, когда Пушкин сидел, наказанный Инзовым за хулиганство. Но он мог свободно гулять в большом Инзовском саду и принимать гостей.

Все, что он задумывает, полно романтики. Романтизм – непереносимое направление во всем написанном, своего рода литературный лабиринт, из которого предстоит найти выход. Поэт живет и творит в неких условных рамках, согласно определенной ролевой игре, как теперь говорят психологи. Он принял эту роль сам, и она наложилась на подходящие черты его темперамента, его мышления, его образа жизни.

Далекий от поэзии человек, Инзов считал странности Пушкина «маской байронизма».⁴ А поэт Павел Катенин называл его сочинения «Бейронским пением».⁵ Романтизм на Западе был связан с проявлением роли личности, ее прав, интереса к политической жизни, расширения социальных связей, а значит, свободы передвижения, сочувствия людям, лишенным этих прав. Эти основы гуманизма на Западе стали в XIX веке реальностью, а романтизм воспоминанием, иногда сентиментальным, о прошлом. Для России заимствованное это течение было открытием важным, но умозрительным, неадекватным реальности, которая не совмещалась с чужим романтизмом.

Пушкин находился под влиянием Шатобриана, и исследователями уже отмечалось немалое сходство «Ренэ» и «Цыган».⁶ Затем кумиром его стал Андре Шенье, а в описываемые годы Байрон. «...Он хотел и в качестве поэта играть роль Байрона, которому подражал не в одних своих стихотворениях», – считал Ксенофонт Полевой. Драматическая биография Байрона, частично сконструированная им самим, стала предметом обсуждения в гостиных всей Европы. Молодые люди, особенно поэты, от Лиссабона до Москвы имитировали его во всем. Это касалось и конфликта со своей родиной. И Пушкин, и Кюхельбекер, и Грибоедов подражали Байрону.

Когда русский поэт отправился в ссылку, Байрон уже четыре года жил и действовал за границей. Близко познакомившись в Крыму с английским языком и творчеством Байрона, Пушкин обрел эталон для подражания. В Кишинев он явился байроновским двойником (что заметил даже Инзов). Здесь в результате чтения и краеведческих экскурсий дорогу Байрону перебежал Овидий.

Два символа, два кумира подталкивали Пушкина сразу к двум образцам поведения, то есть к существованию в двух противоположных образах. Байрон звал поэта на борьбу, Овидий – к любимым наслаждениям. Байрон советовал эмигрировать, Овидий – возвращаться в столицу к друзьям. Байрон враждовал со всей Англией, Овидий – только с императором. Овидий казался старомодным, и его привлекательность слабела. Байрон же подталкивал Пушкина к решительности в поступках.

Но был еще и третий вариант поведения, черты характера которого заложила в Пушкина Россия. Пушкин был русским Байроном, или, точнее, Байроном на российский манер, Байроном Сергеевичем, как нежно назвал его Жуковский. А это означало физиологическую неспособность к поступкам, то, что академик И.П.Павлов назвал основной чертой русского мужика: угасший рефлекс цели. Поэт загорался, но остывал перед тем, как что-либо совершить.

Тем не менее Пушкин подражал все больше именно Байрону, хотя разница между ними возрастала по мере того, как замыслам кишиневца предстояло преобразоваться в поступки. Байрон после конфликта с обществом спокойно сел на паром и уехал из Англии, считая себя изгнанником отечества. Он мог сравнивать себя с древними римлянами, которых в наказание изгоняли к варварам. Пушкин, хотя и вел себя с вызовом, тотчас умолк, когда возник скандал, но был выгнан из провинциальной европейской столицы в еще более глухое место, хотя мечтал попасть из варварского Петербурга хоть в какую-нибудь точку Европы.

Байрон участвовал в революции в Италии, затем в Греции, отдав на это все свое состояние, а Пушкин (при всех его благих намерениях) продувал свое состояние в карты. Не столько поступки, сколько дух Байрона, его литературное мастерство

увлекало Пушкина. Он стремился сорвать плоды с веток, до которых он, будучи на цепи, дотянуться не мог.

После смерти Байрона Александр Тургенев писал князю Вяземскому: «Смерть его в виду всей возрождающейся Греции, конечно, завидная и поэтическая. Пушкин, верно, схватит момент и воспользуется случаем». Вопросы байронизма Пушкина в те времена обсуждались более подробно и открыто, чем после канонизации поэта в советское время.⁷ Но оказалось, что собственные переживания были для Пушкина важнее беды мировой литературы, и русский поэт пишет нечто чудовищное: «Тебе грустно по Байроне, – отвечает он Вяземскому, – а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии» (X.74). Не хочется думать, что здесь примешивалась еще и сальериевская зависть.

В жизненных поступках Пушкин просто не дозрел до самоотречения Байрона. На практике у него ничего не выходило, и может, это унижало его? Что же касается влияния, то немало страниц написано о байронизме Пушкина. В большинстве из них одно и то же: «подпал» – «освободился». Одна часть пушкинистов утверждает, что лишь «южный» период был у Пушкина «байроническим». Другие – что освобождение из-под влияния Байрона было результатом увлечения Гете, когда Пушкин, читая «Фауста», из мятежника превращался в философа, из романтика в реалиста. А в жизни он превращался из оптимиста в скептика.

На самом деле, нам кажется, влияние это осталось в произведениях навсегда. Байронизм Пушкина проявился не в том, что «Братья-разбойники» навеяны «Шильонским узником», а «Евгений Онегин», начатый тут, в Кишиневе, 9 мая 1823 года, – подражание шуточной повести Байрона «Беппо» и затем «Паломничеству Чайльд-Гарольда». Думается, Пушкин сперва был байронистом-романтиком, а потом стал байронистом-скептиком, так и не выйдя из-под тени великого европейца. Пушкин призывал и других поэтов писать байроническую поэзию, ибо она «мрачная, богатырская, сильная» (X.23).

Байронизм – не этап, но вся жизнь Пушкина. В заимствованиях этих нет ничего унижающего ни его как поэта, ни зеленую тогда русскую литературу. Когда писатель из отсталой страны приобщает своего читателя к достижениям бо-

лее высоких цивилизаций, это трудная и вполне благородная задача.

Хотя Пушкин и строил для себя условный мир, который позволял ему выжить в условиях ссылки, жизненные обстоятельства то и дело напоминали ему о себе. Невольно он сравнивал свою судьбу с судьбами друзей. Один за другим они отъезжали за границу, он же томился здесь. Правда, теперь к нему прибавился еще один поэт – Павел Катенин. Знали ли власти, что Катенин принадлежит к тайному Союзу Спасения, одной из ветвей организации Военного общества декабристов, готовившихся к перевороту? Похоже, что нет, ибо вызван он был к тому же генерал-губернатору Милорадовичу и выслан на десять лет «за шиканье артистке Семеновой».⁸

Катенин писал лояльные вещи, стало быть, сослан был не за стихи. А за что же? За фрондерство? Ни возвратиться из ссылки, ни выехать за границу Катенин не рвался. Он вскоре был прощен, но из собственного имени уезжать в столицы не захотел и Пушкина уговаривал не нервничать.

Впрочем, Катенин был, кажется, единственным исключением. До Пушкина то и дело доходят сведения об отъездах. Уехал историк, библиофил и писатель Александр Чертков. Пробыв два года в Австрии, Швейцарии и Италии, он собрал обширную библиотеку книг о России на многих языках. В Кишиневе подал в отставку бригадный командир Павел Пушин. Сбросив мундир с генеральскими эполетами, он собрался в Париж. «Что Вильгельм? есть ли о нем известия?» – спрашивал Пушкин о Кюхельбекере и радовался за приятеля, который набирался впечатлений, гуляя по Европе (X.35). Беспокоится Пушкин за Батюшкова, который психически заболел в Италии. И, наконец, слухи о Чаадаеве – последний удар. Как пишет Пушкин, «мне его жаль из эгоизма». Это означает, скорей всего, что он примеривает его судьбу на себя, и себя ему становится жаль. А три года спустя, вспоминая начало их дружбы, Пушкин отметит:

На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество (II.195).

И тут же добавит:

Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным.

Это стихотворение написано в 1824 году, скорей всего, уже в Михайловском. Как видим, началась дружба «на сих развалинах», а продолжение ее мыслилось посвятить «развалинам иным».

Потом Чаадаев скажет: «Пушкин гордился моею дружбой; он говорил, что я спас от гибели его и его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому...»⁹ Пушкин же в кшиневском дневнике 18 июля 1821 года записывал о нем: «Твоя дружба мне заменила счастье, одного тебя может любить холодная душа моя» (VIII.16). Это было редкое сродство душ, сохранившееся до смерти обоих писателей.

До знакомства с Пушкиным Чаадаев прошел с русскими войсками по Европе до Парижа. А в 1820 году, посланный с расследованием в Семеновский полк, где он служил раньше, Чаадаев в докладе царю сообщил о своих виноватых товарищах. За преданность ему предложили пост флигель-адъютанта императора, он, однако, отказался и вышел в отставку. Власти перехватили его письмо, в котором он писал, что в России жить невозможно.¹⁰ Чаадаев начинает распродавать свою огромную библиотеку и решает уехать из России навсегда. Выбраться ему удастся без особых усилий. Можно понять пушкинскую «жалость из эгоизма»: друзья не раз еще до ссылки Пушкина строили планы и предпринимали усилия, чтобы выехать, но теперь это удалось одному Петру Яковлевичу. Пушкин остается на привязи.

Чаадаев писал: «И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели...»¹¹

Как всегда у Пушкина, обида, унижительность положения сперва проявляются внешне: в раздражительности, злобе, то и

дело возникающей ярости, для большинства его знакомых немотивированной. Он и сам писал о себе, что он бессарабский, а потом – бес арабский. В официальном пушкиноведении причину пушкинской ярости и негативизма принято объяснять социальными причинами. Непрерывно возникающие конфликты, в которых поэт защищает свое достоинство, источники объясняют тем, что Пушкин был беден, был не офицером, а штатским с маленькой должностью коллежского секретаря. Он не мог сносно существовать, самолюбие великого поэта страдало.¹²

К сожалению, конфликты подчас провоцировал он сам. Из-за спора, какой танец исполнять, Пушкин вызывает на дуэль командира егерского полка. После примирения в ресторане Пушкин грозит вызвать на дуэль каждого, кто плохо отзовется об этом командире. В дневнике князя Павла Долгорукова читаем: Пушкин «всегда готов у наместника, на улице, на площади, всякому на свете доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России. Любимый разговор его основан на ругательствах и насмешках, и самая даже любезность стягивается в ироническую улыбку».¹³

За обедом у Инзова кто-то называет Пушкина молокососом, а Пушкин того винососом – и снова вызов на дуэль. Инзов то и дело вынужден запирать Пушкина дома. Пушкин ходит с тяжелой железной палкой, всегда готовый к драке. И если что-то не по нему, начинает драться не медля. Он спорит со всеми и готов, едва аргументы иссякнут, вцепить пощечину. В письмах его друзей то и дело мелькают сообщения о том, что Пушкин ударил в рожу одного боярина или дрался на пистолетах, рапирах, а если избить или ранить не удастся, драка или дуэль возобновляются в последующие дни. Он желчен и ненавидит весь свет.

Он всегда один против всех. Даже в общественных делах – поучает он Вяземского – лучше действовать в одиночку. Вяземский предлагал подать коллективную жалобу на цензуру, и Пушкин его отговаривает, что это почтут за бунт. Нет, сражаться с правительством он не хочет. Но обида и унижение остаются и после дуэлей, в которых он рискует жизнью. Оскорбленный ум воспринимает все более остро.

И, может быть, главный итог кишиневской жизни – приход Пушкина (как и Чаадаева) к осознанию порочности не

отдельных проявлений власти или жизни в этой стране, но страны в целом. Как всегда, это тоже происходит в крайних выражениях, с обобщениями, далеко перекрывающими непосредственный повод.

В Европе горит политический костер, а здесь вялое тление жизни, и это удручает поэта. Павел Долгоруков, кишиневский чиновник, вспоминает, что он заходил к Пушкину и тот «жалуется на болезнь, а я думаю, что его мучает одна скука. На столе много книг, но все это не заменит милую – неоцененную свободу».¹⁴ Отметим про себя это «жалуется на болезнь», хотя он вполне здоров. А пока приглядимся к его настроениям.

В письмах он старается быть сдержанным: «здесь не слышу живого слова европейского» (X.35). В разговоре срывается на крайности. За столом у Инзова говорит, что всех дворян в России надо повесить, и он сам «с удовольствием затягивал бы петли».¹⁵ В стихах также нет особого оптимизма:

Везде ярем, секира иль венец,
Везде злодей иль малодушный,
А человек везде тиран иль льстец,
Иль предрассудков раб послушный (II.110).

И уже прозой дописывает: «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой». Но и в стихах Пушкин то и дело теперь переходит на крик. Ничего он не ждет от этой земли:

Ничтожество! Пустой призрак,
Не жажду твоего покроя! (II.103)

Самые нейтральные поводы приводят его к размышлениям о глупости и ничтожности страны, в которой он вынужден жить. Он сочиняет «Песнь о вешем Олеге», легенду в стихах, а в комментарии с презрением отмечает, что это страна, в которой герб заимствован у Римской империи, где двуглавый орел знаменовал разделение ее на Западную и Восточную. «У нас же он ничего не значит» (II.346). Все нормальное в этой стране вывернуто наизнанку. Вот что автор гово-

рит цензору в своем послании, опубликовать которое нечего было и думать.

Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру пасквилом, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом (II.112).

Россия не доросла до европейской цивилизации:

Что нужно Лондону, то рано для Москвы (II.111).

Глубокое презрение к своим собратьям по перу испытывает кишиневский узник. Им свобода творчества и не нужна, они вполне довольны той, что им дадена:

У нас писатели, я знаю, каковы:
Их мыслей не теснит цензурная расправа... (II.111)

В черновом варианте вместо этих строк было размышление о том, во что вылилась бы свобода печати в России, буде она отменена, как на Западе.

Потребности ума не всюду таковы:
Сегодня разреши свободу нам тисненья,
Что завтра выдет в свет: Баркова сочиненья (II.366).

Страна настолько, по Пушкину, ненормальная, что, например, у царя рождается 40 дочерей – и все без того, что составляет главное отличие анатомии женщины. Находясь на привязи, Пушкин иронизирует над своим приятелем: «Я барахтаюсь в грязи молдавской, – пишет он Вяземскому, – черт знает когда выкарабкаюсь. Ты – барахтайся в грязи отечественной и думай:

Отечества и грязь сладка нам и приятна» (X.48).

Пушкин взял строку из Державина: «Отечества и дым нам сладок и приятен». Эту же строку (случайно ли?) выудил Грибоедов для комедии «Горе от ума». Серьезно ее произносит Чац-

кий или тоже иронизирует? Грибоедов, сидя за границей, возможно, толковал ее серьезно, а Пушкин в грязи молдавской – иронически. На полях он рисует свой автопортрет в старости: во что он превратится, если останется в этой грязи.

Он проникается почти физиологической ненавистью к городу, в котором вынужден пребывать: «О Кишинев, о темный град!» (II.52) – до чего же надоела ему эта дыра. В письмах он называет город Содом-Кишинев (X.55). Пушкин переделывает географию, утверждая, что Кишинев находится на границе с Азией. Брань в рифму обрушивается на это место:

Проклятый город Кишинев!
Тебя бранить язык устанет.
Когда-нибудь на грешный кров
Твоих запачканных домов
Небесный гром, конечно, грянет,
И – не найду твоих следов!

Ну, а какой же выход? Выход только в мечтах:

Провел бы я смиренно век
В Париже ветхого завета! (III.140)

Так ответил Пушкин стихотворным письмом на приглашение своего приятеля Филиппа Вигеля приехать погостить в Кишинев осенью того же 1823 года, когда он из Кишинева все-таки вырвался. Что это удастся, Пушкин и не подозревал. Одесса, конечно, была не за граница, но более цивилизованное место. Возможно, он узнал, что планы побега оттуда реализовать легче. И он начал бомбить просьбами (более скромными, чем раньше) своих петербургских друзей.

В апреле 1823 года Пушкин еще не знал, что переедет в Одессу, так как звал Вяземского приехать к нему в Кишинев. А в Петербурге чудачка Евдокия Голицына, бывшая его любовница, пригласила к себе в ночной салон графа Воронцова, который был уже назначен вместо Инзова наместником Новой России – Новороссийской губернии. Образование оной завершало объединение и обрусение новых земель, превращая их из колонии в исконное тело империи. Во время исполнения

романса на слова Пушкина «Черная шаль» Голицына прошептала на ухо Воронцову о таланте молодого поэта, который сохнет в Бессарабии и расцветет под чутким руководством графа в Одессе.

Вяземский просит Александра Тургенева похлопотать об этом же, а тот отвечает, что уже говорил с министром Несельроде, а также с графом Воронцовым. Брат Александра Тургенева Сергей был под началом Воронцова в оккупационных войсках во Франции. Дело прошло гладко, Воронцов обещал перевести Пушкина к себе в одесскую канцелярию. Это была удача.

Еще не ведающий об этом, но, возможно, предчувствующий перемены Пушкин в начале июля отпрашивается у Инзова в связи с ухудшившимся состоянием здоровья лечиться морскими ваннами в Одессе. Придуманная болезнь, о которой он твердил всем встречным, реально помогла. В Одессе Пушкин узнал от самого Воронцова, что переходит под его начало, тогда как сам новый губернатор собирается ехать осматривать владения.

В Кишинев Пушкин мчался, как на крыльях. Город этот был провинцией, а теперь становился задворками: столица края перемещалась в Одессу. Жить, как он писал, «в бессарабской глуши, не получая ни журналов, ни новых книг» (Х.38) – он имел в виду западные издания, так как русские он получал, – жить так было невыносимо, а тут прорезалась щель, чтобы дышать.

Инзов расстроился, что Пушкин, для которого он столько старался сделать, легко променяет его на Воронцова. «Разве отсюда не мог он ездить в Одессу, когда бы захотел, и жить в ней, сколько угодно? – жаловался Инзов приятелю Пушкина Вигелю. – А с Воронцовым, право, несдобровать ему!»¹⁶ Но байроническая модель поведения, наложенная на русский характер, являла собой вполне прагматический эгоизм. Русский байронизм строился на презрении к человечеству вообще, праве сильной личности командовать над слабыми и поступать якобы от их имени только потому, что данный байронист считает это целесообразным.

Философия эта имела далекие последствия, но в данном случае все было скромнее и проще. 26 июля 1823 года Инзов

перестал быть наместником Бессарабии, сдал должность Воронцову. Останься Пушкин в Кишиневе, он все равно подчинялся бы теперь новому наместнику, и рассчитывать на помощь Инзова в отъезде за границу Пушкин уже не мог: паспорта теперь подписывал Воронцов. Надежды на войну здесь тоже больше не было. Греческие брожения закончились. У местных властей (скорей всего, не без подсказки сверху) возникла идея выслать этеристов во внутренние губернии.¹⁷

Теперь мы знаем, что Пушкин в своих рассуждениях ошибался. Уехать он мог, и со значительной степенью вероятности можно утверждать, что это ему удалось бы без паспорта. Высылка греков не состоялась. В последующие годы около трех тысяч греков и к ним примкнувших лиц удачно бежали через границу.¹⁸

В этот период начинается перелом в настроениях и мироощущении Пушкина. 1 декабря 1823 года он пишет Тургеневу о своих политических стихах, что «это мой последний либеральный бред, я закаялся...» (X.61) Он осознает, что перемены в этой стране не близки, если вообще возможны. Он становится суеверным. Кто-то заметил, что роковое число «три» тяготеет над Пушкиным в Кишиневе: он провел здесь три года, сменил три квартиры, позже он будет три раза свататься, за жизнь его сменятся три царя и графиня в «Пиковой даме» будет владеть тайной трех карт.

Рассчитывая пробыть в изгнании полгода, Пушкин провел три, причем в основном под покровительством Инзова, незлобивого человека, терпеливого к нелояльности и сносившего все проделки ссыльного. Если не считать прошений о разрешении вернуться хотя бы ненадолго в столицу, то Пушкин трижды, как мы считаем, готовился бежать из Кишинева за границу: с греками, с армией в случае войны и с цыганским табором. Из этого ничего не получилось, но переезд в Одессу стал реальным.

22 июля 1823 года граф Воронцов, приехавший накануне, объявил Пушкину, что тот будет под его началом воспитываться в нравственном духе. «Приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково», – писал Пушкин брату (X.53). 9 или 10 августа 1823 года, скорей всего, в свите Воронцова, Пушкин отправился из Кишинева в Одессу.

Александр Тургенев писал Вяземскому в его имение Остафьево: «...тебя послали в Варшаву, откуда тебя выслали; Батюшкова – в Италию – с ума сошел; что-то будет с Пушкиным?»¹⁹ Тургенев старался быть в курсе всех планов поэта.

Если датировка пушкинских стихов, приводимая составителями его собраний сочинений, верна, в Кишиневе до отъезда в Одессу за весь 1823 год Пушкин написал одно стихотворение из восьми строк «Птичка».

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать! (II.134)

Говорили, что Пушкин действительно выпустил птицу – не свою, а из клетки Инзова. За ассоциацией ходить было недалеко. Удивительно другое: в тот же год стихотворение было напечатано в «Литературных листках», конечно же, с оговоркой для глупых цензоров, что речь идет о выкупе из тюрьмы невинных должников.

До революции «Птичка» была хрестоматийной, ее повторяли все дети, едва выучившись говорить. После революции стихи эти из учебников изъяли, потому что в них есть слово «Бог».

Спустя десять лет поэт напишет Алексееву в Бухарест: «Пребывание мое в Бессарабии доселе не оставило никаких следов, ни поэтических, ни прозаических» (X.255). А пока Пушкин летел птицей в коляске, в кортеже Воронцова, по пыльной дороге к морю. Он понимал, что свободу ему не даровали, но все же надеялся, что из Одессы до нее ближе.

Глава одиннадцатая

ОДЕССА: ЗА ЧЕРТУ ПОРТО-ФРАНКО

«Правда ли, что едет к вам Россини и итальянская опера? – Боже мой! это представители рая небесного. Умру с тоски и зависти».

*Дельвигу из Одессы в Петербург,
16 ноября 1923 (X.59).*

Об одесской жизни Пушкина написано много, а известно мало. И в этом нет противоречия. Дело в том, что документальных материалов и писем сохранилось от этой поры немного. То, что мы знаем, известно из вторых рук. Третий век назад одесский пушкинист С.Я.Боровой подсчитал, что о жизни Пушкина в Одессе опубликовано 236 работ. Скоро это число удвоится, а новых сведений найдены крупными. Гостиница «Норд» – единственное сохранившееся здание, где жил Пушкин. Даже место его квартиры не установлено. Возможно, это было правое крыло второго этажа во внутреннем флигеле. Когда мы последний раз были в Одессе в 1986 году, в здании этом, по иронии судьбы, помещалась инюрколлегия, разыскивающая наследников тех, кто уехал за границу.

Зарегистрировано, что в Одессе у поэта было 90 знакомых, друзей и врагов. Именно благодаря им и их потомкам, до нас доходят сведения, но разобраться в них непросто. Согласно

одним источникам, Пушкин считал время, проведенное в Одессе, счастливейшим периодом своей жизни.¹ Согласно другим источникам: «О подробностях своего одесского житья Пушкин не любил вспоминать».²

Кишиневские и одесские пушкинисты спорят, где Пушкину жилось лучше. Кишиневский автор считает, что лучше было в Молдавии: «В Кишиневе было гораздо больше интеллигенции, более умственно развитой...» В Одессе же «как в муравейнике кишели многочисленные чиновники и дельцы, пресмыкавшиеся перед богатством и начальством».³ Одесские авторы другого мнения: Пушкин приехал из захолустья в цивилизованный город. «Одесса – просто маленький Петербург, по крайней мере, в умственном развитии», по выражению современника.⁴ Одессу считали также русским Марселем. Что касается самого Пушкина, то и он поначалу считал, что перебрался из Азии в Европу.

Древние греки называли Черное море Эвксинским, то есть Гостеприимным, и поселение на месте Одессы существовало еще до Рождества Христова. Захватив эти территории в конце XVIII века, русские начали строить порт. Для развития в городе экономики, торговли и привлечения иностранных судов в гавань высочайшим указом здесь было введено порто-франко. Въезжающие сюда пользовались правом беспошлинного ввоза товаров. При этом первое, что было построено в порту еще до указа о порто-франко, таможня, а затем целая пограничная линия для борьбы с контрабандой. Таможенная черта отделяла Одессу от России и делала ее как бы свободным городом. Границу эту охраняли казаки. Город рос и богател очень быстро, но еще быстрее богатели таможенные чиновники.

В Одессу шли обозы с хлебом едва ли не со всей России, на экспорт. Отсюда вывозили уголь, для изготовления которого жгли леса. Русские начинали конкурировать с западными коммерсантами. В Одессу бежали крепостные, солдаты-дезертиры, бродяги, каторжники, становясь «вольными гражданами» и постепенно превращаясь в коренное население Новороссии. Здесь временно или навсегда оседали иммигранты из Европы, Азии и Африки – неудачники, безземельные крестьяне, торговцы, – надеясь разбогатеть. Им по решению правительства выдавались пособия. Их – итальянцев, французов, турок, гре-

ков, албанцев, сербов, хорватов, поляков, евреев, немцев – было больше, чем русских. Пушкин вписал бы в этот список армян, молдаван, испанцев, как он сделал это в стихах (V.175). На Армянском бульваре в Одессе русская речь слышалась реже, чем другие языки.

Итальянцы пекли хлеб, делали макароны и конфеты, пели в опере, учили детей музыке. Французы разводили сады, делали вино, содержали отели, рестораны, учебные заведения, бордели, были архитекторами, мебельщиками, поварами, парикмахерами, варили мыло и делали свечи, но часто бросали дело и уезжали обратно. Дольше других задерживались повара, так что еще и во второй половине XIX века одесская французская кухня славилась далеко за пределами города.

Немцы ремесленничали, были кузнецами, каретниками, сапожниками, столярами, портными, типографами. Среди поляков было много богатых, соривших деньгами, были адвокаты, аптекари, потом стало много ремесленников и прислуги польского происхождения. Греки разных сословий держали кофейни и игорные дома или посещали их. Те и другие крутились вокруг организации «Филике этерия», готовившей вторжение в Грецию. Их мало интересовало происходившее в самой Одессе, но осведомители, подосланные русскими властями, исправно доносили о том, что происходило в их среде.

Евреи стекались в Одессу отовсюду, от Испании до Польши, и занимались всем, постепенно откупая у иностранцев магазины и мастерские. По мере обрусения Одессы они осваивали русский язык и культуру. Во время Пушкина в городе было 35 тысяч жителей и небольшой процент евреев. К концу прошлого века, когда Одесса стала четвертым городом России (после Петербурга, Москвы и Варшавы), в ней жило 300 тысяч евреев и сто тысяч русских. Многие русские понимали идиш.⁵

Порт был действительно европейский. Когда Александр I посетил Одессу (за пять лет до Пушкина), в гавани стояло триста кораблей. Торговые, культурные и личные связи соединяли одесситов со множеством городов разных стран, куда добраться отсюда было быстрее, чем из Петербурга или Москвы. Но информация, приведенная выше, почерпнута нами из дореволюционных источников. Позже советские авторы начали утверждать, что буржуазные историки клеветали на Одессу,

называя ее европейским городом; на самом деле, Одесса всегда была городом русским и украинским.⁶ Теперь пишут также, что иностранцев в Одессе было на самом деле немного, и встретить их можно было лишь в порту и на центральных улицах.⁷

Остальная территория города была не столь уж привлекательна, по поводу чего иронизировал Пушкин, вспоминая Одессу. Поэт Туманский, приехав из Парижа, –

Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем – и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил.
Все хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом... (V.175)

Пушкин был объективнее наших научных современников. В письме к Александру Тургеневу от 1 декабря 1823 года он объяснил, что провел три года в «душном азиатском заточении» и теперь чувствует цену «и не вольного европейского воздуха» (X.61). Все поставлено на свои места. Кишиневу он уже все прощает: «мне стало жаль моих покинутых цепей» (X.53).

В идеализированной, показательной Одессе –

Там всё Европой дышит, веет,
Всё блещет югом и пестреет
Разнообразием живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой... (V.175)

Но реальная картина выглядит несколько иначе.

В Одессе пыльной, я сказал.
Я б мог сказать: в Одессе грязной –
И тут бы, право, не солгал (V.176).

Живописуя подробности жизни в «густой грязи», когда кареты вязнут, а пешеход лишь на ходулях рискует перейти улицу, Пушкин в главе «Путешествия Онегина» не жалел кра-

сок (V.176-179). Лавки вдоль улиц всюду торговали зарубежными товарами, но Марсель этот выглядел весьма на русский манер.

Так или иначе, Пушкин попал в молодой город и остановился в гостинице с видом на залив. Французские газеты поступали сюда без цензуры. Позже, между прочим, через Одессу в Россию шел тамиздат, например, «Колокол» Герцена. Здесь был магазин иностранных книг, оперный театр и газета, тоже на французском языке, печатавшая преимущественно зарубежные новости. Когда Воронцов получил разрешение издавать газету, у нее набралось 37 подписчиков. Переоценивать свободу в Одессе того времени не следует. В 1823 году здесь запретили газету, которая существовала четыре года. Причиной запрета было нарушение редактором правила, не разрешающего печатать самостоятельные статьи на политические темы. Такие статьи можно было только перепечатывать из официальных органов.

Пушкин продолжал числиться по Министерству иностранных дел в звании коллежского секретаря и поступил в дипломатическую канцелярию Новороссийского генерал-губернатора. Ссылкой все это можно было назвать с большой натяжкой.

Сорокалетний генерал-адъютант Воронцов, умный и просвещенный либерал, получивший блестящее образование на Западе, был полон энергии и планов действовать в духе герцога Ришелье, главного устроителя Одессы. О Пушкине он слышал от общих знакомых и готов ему покровительствовать. Воронцов «принимает меня очень ласково», – сообщает Пушкин брату (X.53). С собой Воронцов привез большую группу молодых чиновников из хороших семей и сделал это с вполне определенной целью. До этого Одессой управляли иностранцы. Теперь здесь формировалась русская администрация, появлялась русская интеллигенция. Русское дворянство оказывалось в центре культурной жизни города, что было полезно и с точки зрения русификации края.

Пушкину опять везло: дипломатическая канцелярия, в которой он служил, ведала внешней торговлей, изучением колебаний курса валюты и хлебных цен на рынках Европы, а также собирала сведения о политических аспектах конфликтов в Греции и Испании. Канцелярия держала связь с иностранными

ми консулами в Одессе, занималась проблемами судоходства. Особенно интересно для рассматриваемой нами темы, что канцелярия ведала также вопросами эмиграции и иммиграции.⁸ Правда, сам Пушкин был весьма далек от служебных дел и вряд ли в них вникал. Само понятие службы отвращало его даже от тех дел, которые ему лично были бы весьма полезны.

Воронцов открыл для Пушкина личный архив и огромную библиотеку, которую привез из Лондона. В гигантской этой библиотеке (после Октябрьской революции разворованной) хранилась переписка предков Воронцова с Радищевым. Перед Пушкиным открылись уникальные рукописи, политическая и философская литература всего мира, в том числе русская и о России. Жадный пушкинский ум стал развиваться без ограничений, черпать темы, сюжеты, мысли, которые впоследствии поэт использовал всю жизнь. Жене своей, Елизавете Ксавьеревне, красавице и умнице, Воронцов поручил опекать одинокого и талантливого поэта.

Он гуляет по Одессе в черном сюртуке и фуражке или черной шляпе с неизменной тяжелой железной палкой. Он такой же, как и раньше, искатель приключений и картежник. Вместе с тем он и любознательный читатель, остроумный, словоохотливый собеседник, многим добрый и сердечный приятель. Иллюзия Европы, однако, не может ему заменить саму Европу. Поэтому несмотря на обширный круг знакомых, состояние одиночества у Пушкина в Одессе не только не становится слабее, но вскоре обостряется. «У меня хандра», – жалуется он в письме к брату (X.54). «У нас скучно и холодно. Я мерзну под небом полуденным», – сообщает он Вяземскому (X.55). «Вам скучно, нам скучно: сказать ли вам сказку про белого бычка?.. скучно, моя радость! Вот припев моей жизни», – тоскует он в письме к Дельвигу (X.58). И так из письма в письмо.

Чем же он скрашивает скуку? «Недавно выдался нам денек, – исповедуется он Вигелю, – я был президентом попойки – все перепились и потом поехали по блядям» (X.57). Умеющий точно подмечать происходящее в людях, его особый приятель Липранди находит Пушкина «более и более недовольным».⁹ «Хороша и наша civilisation! – пишет между тем Пушкин Вяземскому 4 ноября 1823 года. – Грустно мне видеть, что все у нас клонится Бог знает куда...» В сочинениях

Пушкина этой фразы в письме к Вяземскому не найти (X.57). Цитата взята нами из переписки Пушкина, изданной Сайтовым. В письмах поэта под редакцией Модзалевского приводится также черновик письма, где эта фраза имеется, но в беловом тексте Пушкин эту мысль опустил.¹⁰

Происходит сие вскоре после переезда в Одессу. Состояния эйфории хватило не надолго. Перед рождеством граф Воронцов, которому не удастся привлечь Пушкина к серьезным занятиям (не в канцелярии, нет, но важным для самого поэта), осторожно просит Филиппа Вигеля, зная, что тот близкий приятель Пушкина, склонить его к тому, чтобы заняться чем-нибудь путным.

Вигель был фигурой не менее любопытной, чем Липранди, но в другом плане. Хитрый, умный и лукавый, он умел трактовать события во многих ракурсах, в зависимости от того, с каким собеседником имел дело. При этом себя всегда умел выставить в выгодном свете и делал на этой своей способности неплохую карьеру. Доносами он не гнушался. В истории стал известен доносом на Чаадаева и его философические письма. Вигель был гомосексуалистом, что Пушкин отмечал с некоторой иронией. Приятель Пушкина Соболевский написал на Вигеля следующую эпиграмму:

Счастлив дом, а с ним и флигель,
В коих свинства не любя,
Ах, Филипп Филиппыч Вигель,
В шею выгнали тебя!

Этот человек, по просьбе губернатора Воронцова, должен был положительно влиять на Пушкина.

Тем временем Пушкина издают в столицах, и, по слухам, государь император готов с ним помириться.¹¹ Публикации поэта не радуют, как прежде: «Мне грустно видеть, что со мною поступают, как с умершим, не уважая ни моей воли, ни бедной собственности» (X.64).

Пушкин встречает грека-предсказателя (по другим данным, гадалку). Тот (или та) в лунную ночь везет Пушкина в степь и, спросив день и год его рождения, что-то долго бормочет, потом произносит заклинания, обращенные к небу и, наконец,

сообщает, что Пушкин умрет от лошади или от беловолосого человека и что у поэта будут два изгнания. Не исключено, что Пушкин понимает второе изгнание, как путь на чужбину. Он начинает торопить события.

Наблюдатель с чутьем профессиональной ищейки, Липранди записал свое ощущение от встречи с Пушкиным той зимой: «Я начал замечать какой-то abandon в Пушкине...»¹² Бартенев перевел это слово как «заброшенность, ожесточение». По-английски это значит «покидать, оставлять». Пушкин страдает в «прозаической Одессе», когда на свете существует «поэтический Рим» (X.61). Батюшков, находящийся в Неаполе, назвал Одессу «русской Италией», а Пушкину теперь охота в настоящую Италию, то есть нерусскую.

И снова, как в Кишиневе, в связи с разными мыслями, все чаще посещающими его, он хочет повидаться с младшим братом: «Если б хоть брат Лев прискакал ко мне в Одессу!» (X.59) Письма его к брату шли из Одессы, минуя почту. Пушкин передавал их с отправлявшимися в Петербург чиновниками Воронцова и, значит, тоже до конца не мог быть откровенен.

Восемнадцатилетний Левушка, которого друзья с легкой руки их общего друга Соболевского звали по-английски Lion, прискакать не торопился, отвечал не очень охотно, да и часто был занят. Как писал тот же Соболевский,

Пушкин Лев Сергеич,
Истый патриот:
Тянет ерофеич
В африканский рот.¹³

Никогда еще тяга за границу не была такой сильной. Скитания в одиночестве по побережью, горькие раздумья, общая ситуация заставляли действовать. Никогда еще свобода не была столь близка: вот она – на другом берегу. Кажется, можно дотянуться рукой.

Одесса открывала перед ним морской путь через Босфор в Средиземное море. Хаджибейскую бухту заполняли паруса и флаги всех цветов. Здесь швартовались у причалов и бросали якоря на рейде корабли из Италии, Англии, Америки. Пушкинист Леонид Гроссман замечает: «Нигде план избавления от

тисков царизма не был так близок к осуществлению, как именно здесь».¹⁴ Замыслы зрели у Пушкина давно, а должны были реализоваться именно тут, в 1824 году. Вопрос был только в том, каким именно способом.

В Одессе Пушкина мало кто знал. Встречая его в порту или на побережье, на него просто не обращали внимания. Это было удобно. Он доучивался английскому, освоил здесь итальянский и даже немного испанский. Он собирается покончить со своими старыми привязанностями: «Возможно ли, чтоб я еще жалел о вашем Петербурге?» (X.62) Чего же он хочет оставить тут, какую память о себе? Он не очень-то щедр: «я желал бы оставить русскому языку некую библейскую похабность» (X.62). Вот и все, большего отечество не заслуживает.

На всякий случай он спрашивает у друзей адрес Якова Толстого, своего петербургского приятеля, который отбыл в Париж (X.64). В письме брату, посланном с оказией, которую поэт специально поджидал, Пушкин обижается на Льва, который все никак не появится, а надо бы, «иначе Бог знает, когда сойдемся». Происходящее вокруг все явственнее выводит его из себя: «Душа моя, меня тошнит с досады – на что ни взгляну, все такая гадость, такая подлость, такая глупость – долго ли этому быть?» Это большое письмо, отправленное в Петербург между 13 января и началом февраля 1824 года, миновавшее перлюстрацию и очень важное (X.65–66). За ним стоит много несказанного, недоговоренного, нам придется возвращаться к этому письму в последующих главах. А пока лишь еще два сообщения из этого послания, требующие пояснений.

«Ты знаешь, что я дважды просил Ивана Ивановича о своем отпуске чрез его министров – и два раза воспоследовал всемилоостивейший отказ».

Разные Иваны Ивановичи встречаются в письмах Пушкина. Среди них Иван Иванович Мартынов, директор департамента Министерства народного просвещения, который был куратором лицея, и даже французский классик Иван Иванович Расин. В данном же тексте – и в этом нет никакого сомнения – Иван Иванович – это Александр I. Даже и в письме, посланном не по почте, Пушкину не хочется называть царя прямо.

Значит, прошения дважды шли через министров Каподистриа и Нессельроде. Здесь имеются в виду два ходатайства Пуш-

кина о выезде за границу, на которые он получил отказы. Первым на обстоятельство, что это были прошения отпустить поэта за границу, обратил внимание М.Цявловский.¹⁵

Что же оставалось делать Пушкину? «Осталось одно, – поясняет далее Пушкин брату, – писать прямо на его имя – такому-то, в Зимнем дворце, что против Петропавловской крепости...» Иван Иванович, как мы видим, получает точный адрес.

Этого третьего прошения Пушкин посылать не стал. Предыдущие разы отказы были «всемиловитейшими», значит, мнение самого Ивана Ивановича почтительно спросили, и он не изволил разрешить. Чего же ждать в третий раз? Нет, надо самому устраивать свою судьбу, рассчитывать только на себя. И сделать это надо, не привлекая к своей персоне внимания начальства. В голове поэта вызревают планы побега.

Как раз в эти дни Пушкин едет в командировку в Бессарабию вместе с Липранди. Генерал Сабанеев, принимая гостей из канцелярии Воронцова, предлагает Пушкину повидаться с заключенным в тюрьму Тираспольской крепости кишиневским приятелем поэта Владимиром Раевским. В свое время Пушкин, услышав от Инзова, что Раевскому грозит арест, успел предупредить того, и Раевский сжег лишние бумаги. Теперь Пушкин отказывается от предложенного свидания под предлогом необходимости попасть в Одессу к определенному часу. Но какова была истинная причина? Пушкин отказался от свидания в тюрьме с Раевским, по мнению Тынянова, просто испугавшись провокации.¹⁶ Возможно, Пушкин решил, что это привлечет к его персоне внимание, а именно этого он сейчас не хотел.

Глава двенадцатая

ПУТЯМИ КОНТРАБАНДИСТОВ

*Для неба дальнего, для отдаленных стран
Оставим берега Европы обветшалой;
Ищу стихий других, земли жилец усталый;
Приветствую тебя, свободный океан.
Черновой набросок (II.139).*

Это поистине космическое желание поэт высказал в конце 1823 года.

Если весь одесский период плохо документирован, то это в еще большей степени относится к фактам, которые Пушкин намеренно скрывал от чужих глаз по причинам, не требующим объяснений. Но и биографы Пушкина были вынуждены иногда изъясняться еще туманнее, чем сам поэт, не без оснований опасавшийся перлюстрации своей почты. Например, о причине, по которой Пушкин перебрался в Одессу, в исследовании пятидесятих годов советского периода говорится так: в Одессе «он надеялся стать свободным».¹ «Стать свободным» может означать и просто окончание ссылки.

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! – взываю к ней...

Но далее следуют строки, не оставляющие сомнения в его цели. Они настолько важны для нашего анализа, что их необходимо процитировать.

Брожу над морем, жду погоды,
Маню ветрила кораблей.
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии,
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил (V.25-26).

Пушкин размышляет о побеге в стихах, в письмах и, наверное, устно. Он собирается на южное побережье Средиземного моря, планируя очутиться в Африке. Александр Тургенев, его благодетель, зовет Пушкина в письмах «африканцем», и Пушкин словно хочет оправдать это прозвище.² Африку сменяет мысль об Италии.

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас... (V.25)

«Нет» в этих строках несет полемическую нагрузку. Поэт спорит с теми, кто считает, что он Адриатическое море и реку Бренту не увидит, а может быть, и с теми, кто не хочет его выпустить. В этом «нет» звучит упрямство, настойчивость, вера в возможность выскользнуть из страны-тюрьмы.

Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле... (V.25)

Потом в письме, посланном не по почте, Пушкин говорит, что собирается в Турцию, в Константинополь (X.65). О Константинополе он размышлял, возможно, еще и потому, что от рожденья был с ним породнен. Его называли именем Александр в честь Александра, архиепископа Константинопольского, о чем писал еще Бартенев.³

Пушкин находится в наиболее удобной точке: из Одесского порта в принципе можно выбраться куда угодно. До Константинополя отсюда рукой подать. Но вдруг, придя домой и набрасывая на клочке бумаги так и не оформившиеся потом в стихотворение строки, Пушкин сообщает, что берега Европы обветшали и его не устраивают. Может, он имеет в виду Азию, но разве она не обветшала еще больше? Куда же тогда он нацеливает стопы?

Бывший генерал-губернатор Одессы Александр Ланжерон, который был почти втрое старше, становится приятелем Пушкина. Смещенный с поста в связи с изменением внешнего и внутривластного курса русского правительства и потому обиженный на Александра I, Ланжерон нашел в Пушкине сочувствие и понимание. Сближали их поначалу и литературные интересы, хотя графоманские сочинения этого человека приводили Пушкина в ужас. Это не мешало обоим быть откровенными.

Ланжерон, обрусевший француз, эмигрировал в юности в Америку и, будучи весьма левых взглядов, участвовал в борьбе за независимость США. Ко времени знакомства с Пушкиным взгляды Ланжерона стали несколько умереннее, романтический восторг молодости остался в рассказах о стране, где он провел несколько лет. Пушкин вообще легко поддавался влиянию, и, может быть, под впечатлением рассказов Ланжерона у поэта впервые возникает идея двигаться в Новый Свет, что отразилось в стихах, вынесенных нами в эпиграф.

Мысль Пушкина о бегстве Ланжерон одобрял и еще недавно, обладая реальной властью, мог бы помочь выехать. Увы, легко быть прогрессивным, когда ты уже не у дел. Вскоре Ланжерон, вроде ассимилировавшийся, уехал за границу. Память о Ланжероне сохранилась в Одессе и полтора столетия спустя. Пляж Ланжерон одесситы всегда называли настоящим именем, хотя власти переименовали его в Комсомольский. Впоследствии Ланжерон вернулся, умер от холеры в Петербурге и был похоронен в Одессе. В церкви, где его могила, в советское время был сделан спортивный зал.

Для начала Пушкину надо было искать пути не для того, чтобы добраться, а для того, чтобы выбраться. Современник вспоминает: поэт вслух жалел, что не обладает та-

кой физической силой, как Байрон, который переплывал Геллеспонт.⁴

С появлением в Одессе новой администрации, только порт с примыкавшей к нему территорией все еще оставался вольным. Уже упомянутая таможенная черта порто-франко была чем-то вроде границы, отделяющей город от империи. «Единственный уголок в России, где дышится свободно», – говорили приезжие.⁵ Действительно, солнца и иностранной валюты было много, а полицейских стеснений мало. Жизнь была беспаспортной. Вдоль моря, над гаванью, размещались здания морской таможни, казармы и карантин, построенный после эпидемии чумы 1814 года. Для карантина часть порта обнесли высокой стеной – остатки ее сохранились по сей день. В одноэтажных домиках, обслуживаемых особой прислугой, отсиживались приезжавшие из-за моря купцы, дабы не завезти в империю чуму.

Процедура выезда из Одессы в мемуарной литературе того периода описана весьма тщательно. Для того, чтобы выехать из Одессы, надо было пройти осмотр в таможне. В конце первого тома «Мертвых душ» Н.В.Гоголь, не раз путешествовавший за границу, рассказывает эпизод из биографии Чичикова, имевший место до истории с мертвыми душами. Чичиков страстно мечтал попасть на службу в таможню.

«Он видел, – пишет Гоголь, – какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: «Вот бы куда перебраться: и граница близко, и просвещенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» Надобно прибавить, что при этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам; как оно называлось, Бог ведает, но, по его предположениям, непременно находилось на границе».⁶

Таможни стояли на трех дорогах, ведущих из Одессы. В таможне взимался налог за новые иностранные вещи. Процедура досмотра была длинная. Все сундуки открывались, и в них рылись надзиратели. С ними пререкались путешественники, обычно приходя к компромиссу посредством взяток. Па-

мать современников сохранила рассказ о женщине, которая подвесила под платьем стенные часы и благополучно их пронесла бы, если бы ни полдень: часы начали бить двенадцать раз. Поэтому женщин казаки-надзиратели бесцеремонно ощупывали, при этом спрашивая: «А ще сие у вас натуральнэ, чи фальшивэ?»⁷

Надо сказать, что приемы совершенствовались обе стороны: и таможенники, и контрабандисты. Последние, обходя морскую таможню, переносили товары по воде в непромокаемых мешках. Шли они в волнах, по шею в воде, надев на голову стальной шлем, отражающий солнечный и лунный свет и потому не видимый с берега.⁸

Для выезда из Одессы морем за границу Одесский городской магистрат выдавал «Свидетельство на право выезда за границу причисляющемуся в... (название учреждения) господину... (имя) с семейством... (состав, включая слуг)».⁹ Однако часто бывали случаи, когда уезжали за границу без всякой бумажки.

Все это Пушкину было известно лучше, чем нам. Как раз в то время он налаживает знакомство с начальником Одесской портовой таможни Плаховым. Это был весьма интересный человек, в доме которого собиралось местное общество и который сам был вхож в лучшие дома. В гостиной у Плахова бывали и будущие декабристы, и лидеры этерии. Разговоры в салоне его велись самые либеральные, критиковалась политика правительства. Подробностей об этом знакомом Пушкина не сохранилось, хотя кое-что мы могли бы знать. Ведь младший брат Пушкина, Лев, позже служил в Одесской портовой таможне и застал там многих старожилов, помнивших поэта.

Для бегства нужны были связи в таможне и в порту. Пушкин сводит также знакомство с начальником Одесского таможенного округа князем Петром Трубецким и даже передает с ним письма друзьям в Москву. Он бывает в гостях у племянницы Жуковского Анны Зонтаг. Ее муж Егор Васильевич Зонтаг был капитаном «над Одесским портом». О связях с хозяином порта почти ничего не известно, а между тем это важное звено в пушкинских контактах.

Карантинная гавань, где суда отстаивались в ожидании окончания чумного карантина, отделялась от остального порта Платоновским молотом. Перестроенный, он еще сохранился в наше

время, и здесь по-прежнему разгружаются иностранные суда. В конце Платоновского мола была площадка, «пункт», куда одесская знать съезжалась дышать свежим морским воздухом и общаться. Неподалеку от «пункта» были построены купальни. К ним подъезжали в коляске. Пушкин стал чаще бывать здесь, в порту, иногда по несколько раз в день.

Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я.
Потом за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленный
Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью (X.176–177).

Вспоминая об этой жизни, поэт все свои тогдашние заботы в порту сведет к гастрономии:

Но мы, ребята без печали,
Среди заботливых купцов,
Мы только устриц ожидали
От цареградских берегов (X.177).

На самом деле тут были и знакомства, и гульба, и серьезные разговоры. Приход кораблей в порт вселял надежду: один из этих кораблей возьмет его с собой.

«Иногда он пропадал, – вспоминала княгиня Вера Вяземская, жена его друга. – Где вы были? – На кораблях. Целые трое суток пили и кутили».¹⁰ Именно там, на кораблях, устанавливались связи с деловыми людьми, которые Пушкину были нужны. Сводил поэта с этими людьми поистине легендарный человек Али, он же Морали или мавр Али (Maure Ali). Многое точно замечавший Липранди записывает, что Пушкин веселится только в обществе Али.¹¹

Это была необычная личность. Могучая фигура, косая сажень в плечах, бронзовая шея, черные большие глаза на обветренном лице, черная борода, важная походка, в осанке нечто многозначительное. От этого тридцатипятилетнего настояще-

го мужчины веяло экзотикой. «Одежда его состояла из красной рубахи, поверх которой набрасывалась красная суконная куртка, роскошно вышитая золотом. Короткие шаровары были подвязаны богатою турецкою шалью, служевшею поясом; из ее многочисленных складок выглядывали пистолеты». ¹² Ходил Али с тяжелой железной палкой на случай драки, как и поэт.

Пушкин говорил, что Морали – египтянин, «сын египетской земли» (V.175, 503), и считал, что по африканской крови они друг другу родня. По более поздним данным, Али был полунегр-полумавр из Туниса. ¹³ Они познакомились в кофейне грека Аспориди, неподалеку от оперного театра. Морали любил там сидеть на бархатном диване вишневого цвета, потягивая дымок из кальяна. По воспоминаниям Липранди, Али часто заходил в канцелярию графа Воронцова, где у него были кое-какие дела. Любил он и просто поболтать с чиновниками. ¹⁴

Одно время Али был, по легенде, шкипером коммерческого, законтракованного или своего судна, купцом, негоциантом, набобом, а теперь о занятиях его, да и о прошлом ходили самые невероятные слухи. ¹⁵ Если обратиться к легендам, то из них можно узнать, будто Али был пиратом в Средиземном море, шел на абордаж, грабил купеческие суда, а сокровища зарывал на необитаемых островах и в пещерах, в том числе, в Одесских катакомбах. «Корсар в отставке», по выражению Пушкина, фантастически богатый, он в один прекрасный момент влюбился в местную красотку, бросил рискованное ремесло и пришвартовался в Одесской гавани. Где точно жил Али, не известно; было у него в Одессе несколько домов. Поскольку великому русскому поэту не приличествует дружить с пиратами, в советской пушкинистике Али был превращен в «капитана коммерческого судна». ¹⁶

Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседель!
Спокойной пристани давно ли ты достиг –
Давно ли тишины вкусил отрадный миг?
И вновь тебя зовут заманчивые волны.
Дай руку – в нас сердца единой страстью полны (II.139).

А дальше в стихотворении идут строки, вынесенные нами в эпиграф. Говорили, что бывший корсар, которому море по колено, поддерживает старые связи и участвует в каких-то аферах, встречаясь с прибывающими ниоткуда и отбывающими в никуда сомнительными людьми. Еще болтали, что он – поставщик в гарем турецкого султана: присматривает ему подходящие кадры, прячет их в пещерах, а затем люди султана переправляют их через море. Что здесь соответствует действительности, теперь проверить невозможно.

Старейший одесский литератор и директор библиотеки де Рибас полвека спустя утверждал, что он помнит Али, ведь тот глубоким стариком бывал у них в гостях. От множества легендарных достоинств этого выдающегося человека остались три: аферист, картежник, выпивоха. Он приносил две золотые табакерки и хотел их продать за 30 тысяч.¹⁷

По сведениям другого одессита, в восьмидесятые годы, то есть в возрасте за девяносто, Морали еще жил в Одессе припеваючи. Он передал капиталы сыновьям и удачно выдал замуж дочерей.¹⁸ Последнее, что слышали одесситы, будто более умелые картежники обыграли Али в пух и прах, и он исчез из города. Скрылся ли он, уплыл ли за границу, умер или был убит, остается загадкой. Исчез Али так же таинственно, как появился.

В январе – феврале 1824 года Али становится неразлучным компаньоном Пушкина. Липранди, заходя к Пушкину домой, застаёт у него Али. Приятель и поэт Туманский отговаривал Пушкина от странной дружбы со столь сомнительным человеком: упаси Бог, наживете беду! А Пушкин привязался к нему, как ребенок, веселился, играл с ним в карты, хохотал, сидя у Али на руках, когда тот щекотал его. Пушкин называл его братом. Али водил Пушкина по самым сомнительным притонам в подвалах Греческого базара. Вместе они проводили время на кораблях, в блатных компаниях и ночных публичных местах для моряков, вместе играли в карты. Пушкин говорил с ним по-французски и, отчасти, по-итальянски и хохотал от души, когда Али пытался сказать что-нибудь по-русски: тот до неузнаваемости коверкал слова.

Но были у них и более серьезные занятия. Али свел Пушкина с греками, членами тайного общества этеристов. Заседа-

ния этого общества проходили в одном из домов, принадлежавших мавру. Али пользовался их особым доверием, снабжал отъезжающих в Грецию оружием из своих кладовых. Однажды Пушкин рассказал Туманскому, что Али водил его ночью в катакомбы, где с факелом в руках показывал склады оружия, приготовленные для этерии. Говорят, он ссужал греков деньгами, но, возможно, и наоборот: греки платили Морали за то, что он поставлял им оружие и помогал нелегально перебраться в Грецию.

Один из одесских пушкинистов сообщает, что Пушкин встречался с Морали на «пунте». Пунта – разговорное название «пункта», окончания Платоновского мола. Здесь Пушкин и заинтересованные владельцы судов обсуждали возможность бегства за границу.¹⁹ Эта версия сомнительна. Для чего было тайную операцию проводить столь демонстративно? Друзья вполне могли обговорить все заранее и не встречаться на самом видном месте города. Пушкина могли видеть с Али на пунте и в других местах порта, не обязательно в связи со столь важной аферой.

Но представляется, что дружба с Али и замыслы побега были связаны. Риск, пиратство, выяснение реальных возможностей бегства за море, способов и деталей этого предприятия могли быть откровенными темами их разговоров. Видимо, Али охотно объяснял, что бежать можно, и сделать это не трудно. В руках Али были все связи. Можно подкупить стражу в порту, подыскать надежных людей, которые переправят туда, куда нужно. Самым простым было бы бежать в Константинополь, а там уже решать в зависимости от новых конкретных обстоятельств.

И однако, наверное, Али удивлялся стремлению Пушкина. Для бывшего пирата свобода была вполне достаточна и тут, за чертой порто-франко, под опекой российской неразберихи. Тут Али мог творить, что хотел, в том числе операции, за которые в любой цивилизованной и даже восточной стране он уже давно угодил бы за решетку. Но в этом поэт и пират понять друг друга не могли, как не мог Али понять нерешительности и непредприимчивости Пушкина.

Тогдашние трудности в восьмидесятые годы нашего века могли показаться смешными: быстроходные ракетные катера,

пограничная служба на вертолетах, прожектора, ощупывающие море всю ночь, радары, стальные сети под водой для безумцев, рискнувших выбраться с аквалангами. А тогда – жалкая охрана, падкая на взятки, да пустынные берега. Можно было причалить и отчалить во многих местах.

Среди знакомых Пушкина был Карл Сикар, бывший французский консул в Одессе, а потом владелец гостиницы и ресторана «Норд», в котором обедали все одесские иностранцы. В гостинице этой одно время жил и Пушкин.²⁰ Один из старейших и уважаемых жителей Одессы, Сикар, которому здесь наскучило, уже после отъезда Пушкина решил выехать, впрочем, вполне легально. Он сел на корабль, отправлявшийся туда же, куда собирался Пушкин, в Константинополь, и исчез. Что произошло, не известно, полагают, корабль утонул.

По-видимому, Али дал Пушкину какие-то гарантии. Его приятели контрабандисты совершали подобные операции не раз и обычно успешно. Али обещал снабдить Пушкина адресами своих партнеров, живущих в портах вдоль Средиземного моря, говоря, что они помогут. Но есть одна сложность: без денег никто пальцем не пошевелит. И платить надо вперед. Если заплатить мало, перевозчики могут выдать беглеца, чтобы отомстить ему за скупость. Али сказочно богат, но, если он будет оказывать посреднические услуги бесплатно, он тоже разорится. Итак, все будет сделано, но Пушкину нужны деньги.

Глава тринадцатая

ДЕНЬГИ ДЛЯ ВЫЕЗДА

«...не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпеж. Ubi bene ibi patria. А мне bene там, где растет трын-трава, братцы. Были бы деньги, а где мне их взять?»

Брату, между 13 января и началом февраля 1824, не по почте (X.65).

«Где хорошо, там родина». Латинская поговорка, которую поэт привел в письме к брату, стала его девизом. Обратим также внимание в приведенной выше цитате из письма на слово «тихонько». Шляпа у Пушкина была. Для того, чтобы попасть на другую родину, а тем более «тихонько», необходимо ему срочно раздобыть деньги. Без денег любые планы оставались благими желаниями.

У Пушкина было до сего времени три источника дохода: собственное жалование, помощь родителей и изредка гонорары от издателей. И того, и другого, и третьего было явно недостаточно для его довольно легкомысленных повседневных расходов. Можно, конечно, возразить, что жалование ему, ссыльному, платили ни за что; он никак не старался рвением по службе заработать лучший чин и большой оклад, а про 700 получаемых им рублей говорил, что это «паек ссыльного невольника» (X.71). Это не совсем соответствовало истине.

Старший сын непрактичных родителей, всю жизнь он мало что делал, чтобы привести в порядок помещичьи дела и получать большой доход. Восемнадцатилетним юношей он во время прогулки на лодке по Неве в присутствии отца кидал в воду золотые монеты, любуясь их блеском.¹ Ничто не указывало, что в 24 года он стал в этом отношении серьезнее. Впоследствии он принял от отца управление Болдином, вел переписку, но этого было явно недостаточно, чтобы что-либо улучшить. Пушкин, если и читал Адама Смита, экономом был не более глубоким, чем его герой Евгений Онегин, и его занимал лишь конечный результат в купюрах, которые он мог тратить. Родители внимали его просьбам с осторожностью и недоверием.

Пушкин постоянно нуждался в деньгах, но теперь к обычным расходам (если не считать долгов, которые следовало отдавать) предстояло прибавить еще две статьи. Во-первых, нужна была круглая сумма в несколько тысяч, не меньше, на уплату за нелегальность операции – перевоз беглеца в трюме за пределы империи. И, во-вторых, требовалась сумма, очевидно, не меньшая, в запас, в качестве прожиточного минимума в новой стране, поскольку, как он сам гордо заметил, «ремеслу же столярному я не обучался; в учителя не могу идти...» (X.53) Упоминание в письме столярного ремесла не случайно: граф Воронцов по настоянию отца выучился столярному делу.

Здесь необходимо небольшое отступление о материальной подоплеке выезда за границу во времена Пушкина. Отъезд за рубеж представителей дворянского сословия мало что менял в их статусе. Все они оставались подданными империи, им исправно шло жалованье в твердой валюте, поскольку они занимали свою должность в Табели о рангах. Поступали также доходы от их поместий. Точнее было бы назвать тех граждан, которые не служили, не подданными, а иждивенцами империи, и в этом смысле царь вправе был рассматривать их как живую собственность. От него зависело, поручать им какие-либо миссии, в том числе шпионство и доносительство, или дать возможность вольно прожигать жизнь. Этот альянс действовал до тех пор, пока не возникало напряженности в отношениях между подданным и русским правительством.

Например, поэт и друг Пушкина по петербургскому литературному обществу «Зеленая лампа» Яков Толстой, париж-

ский адрес которого Пушкин на всякий случай только что попросил у друзей, уехал за границу для лечения, взяв отпуск. Позже там его застали события 14 декабря. Следственная комиссия вызвала его для допроса. Он благоразумно не явился и таким образом стал эмигрантом. За этим последовало увольнение его со службы, и неслужащему перестало поступать жалование. Доходов оказалось недостаточно, подданный вскоре остался без средств к существованию и, не будучи приспособлен к какому-либо труду, оказался в крайней нужде.

Разумеется, никто не лишал Якова Толстого подданства, то есть гражданства. Больше того, имея он достаточно доходов как помещик, он продолжал бы за границей исправно получать их, – никто не посягал на его собственность. Но в данном случае Яков Толстой под влиянием нужды, а также и по свойствам характера, начинает искать путь заслужить у царя прощение. Чтобы закончить отступление, не превращая его в развернутый комментарий, упомянем лишь итог: Толстой сделался тайным агентом русского правительства в Париже и впоследствии дослужился до чина действительного тайного советника.

Рассчитывать на жалование в случае нелегального бегства Пушкин не мог. В тайные агенты он не готовился. Надеяться за границей на помощь семьи не приходилось. Оставалось получить как можно больше сейчас. Вот почему из месяца в месяц весь 1823-й и 1824-й годы он бомбардирует семью одной и той же просьбой. «Изъясни моему отцу, – втолковывает он брату, – что я без денег жить не могу... Всё и все меня обманывают – на кого же, кажется, надеяться, если не на ближних и родных» (X.53-54). Отец не возмущается этими письмами, но и не помогает сыну, поэтому Пушкин жалуется: «Мне больно видеть равнодушие отца моего к моему состоянию, хоть письма его очень любезны» (X.54).

К весне 1824 года письма поэта становятся все настойчивее: «Ни ты, ни отец ни словечком не отвечаете на мои элегические отрывки – денег не шлете», – пишет он брату (X.69). Не получая субсидий от родных, он обращается к друзьям: «Прости, душа – да пришли мне денег» (Вяземскому, X.70). И опять без особой литературной изобретательности брату Левочке: «Слушай, душа моя, мне деньги нужны» (X.74).

Он надеется на третий (помимо службы и семьи) источник дохода и рассчитывает получать больше денег за литературные произведения, благо издатели их охотно публикуют. Происходит то, что позже он выразит отточенной формулой в стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом», вложив свою мысль в уста книгопродавца:

Наш век – торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет (II.178-179).

Литературная профессионализация становится для него вопросом жизни. Публикации в столицах волнуют поэта прежде всего гонораром. Даже цензура притесняет его тем, что не дает заработать: «Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре...» (X.53) Вопросы честолюбия, всегда для него болезненные, теперь отбрасываются в сторону. «Печатай скорее, – торопит он Вяземского насчет «Бахчисарайского фонтана», – не ради славы прошу, а ради Мамона» (X.63). Мамон у сирийцев – бог богатства. «Впрочем, – говорит он в другом письме о том же стихотворении, – я писал его единственно для себя, а печатаю потому, что деньги были нужны» (X.67). «Что до славы, – объясняет он брату в уже упомянутом нами письме о подготовке бегства в Константинополь, – то ею в России мудрено довольствоваться. Русская слава льстить может какому-нибудь В.Козлову, которому льстят и петербургские знакомства, а человек немного порядочный презирает и тех и других. Mais pourquoi chantais-tu? (Но почему ты пел? – фр.) На сей вопрос Ламартина отвечаю – я пел, как булочник печет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь морит – за деньги, за деньги, за деньги – таков я в наготе моего цинизма» (X.65).

Проблемы гонорара усугублялись тем, что в России, в отличие от цивилизованных стран, авторских прав не было, и это тоже усиливало антипатию поэта к родине. Пушкин пытался подойти к русскому издательскому пиратству с европейских позиций, что ему, разумеется, не удавалось. Кстати, взгляды свои на вопрос о независимости писателя Пушкин заимствовал, читая в личной библиотеке графа Воронцова труды Пьетро Аретино – итальянского борца за высокие гонорары.²

Издатели платили Пушкину от 11 до 25 рублей ассигнациями за стихотворную строку. Но количество строк, которые он мог продать, было невелико. Пушкин, как уже говорилось, написал в Одессе чуть больше тридцати стихотворений. Из них опубликовано было в 1824 году три, а при жизни поэта семь. За поэму «Кавказский пленник» Пушкин получил от книгоиздателя 500 рублей, а за «Руслана и Людмилу» ему платили частями, причем книгоиздатель вернул часть суммы в виде изданных книг. Этого, конечно, было недостаточно, чтобы собрать необходимый капитал. Трудность состояла и в том, что все договоры велись через друзей, знакомых и родных, а издатели, пользуясь путаницей, обманывали и посредников, и автора.

Пушкин печатал написанное ранее; что же касается большой новой работы, начатой еще в Кишиневе, названием которой стали просто имя и фамилия героя, то автор с самого начала знал, для чего он ее пишет. «Вроде «Дон Жуана», – объясняет он в письме Вяземскому, – о печати и думать нечего; пишу спустя рукава» (X.57). «Спустя рукава» – шифровка, встречающаяся в письмах Пушкина. Означает она вовсе не небрежность, не написанное кое-как, а написанное свободно, без внутренней цензуры, и на цензуру не рассчитанное.

Традиционный образ Пушкина-оптимиста, созданный советским литературоведением, в последние годы несколько потускнел. В научных биографиях все чаще пробиваются пессимистические ноты. При этом оговаривается, что безысходность не соотносится с творчеством, толковать которое биографическими моментами опасно. В пример приводится «Евгений Онегин», где самые жизнерадостные идиллические строфы (вторая глава) написаны в наиболее трагические дни жизни поэта в Одессе.³

Иначе считал сам Пушкин: «На досуге пишу новую поэму, «Евгений Онегин», – говорит он Александру Тургеневу, – где захлебываюсь желчью. Две песни уже готовы» (X.62). «Захлебываюсь желчью»... Если можно говорить об оптимизме Пушкина, то в период ссылки этот оптимизм проявлялся в одном – в неизменной надежде выехать за пределы русской империи. Зеркалом именно этого оптимизма и именно такого противоборствующего состояния поэта на привязи и явился роман «Евгений Онегин».

В оглавлении, составленном самим поэтом спустя семь лет, когда он дописывал роман, первой главе дано название «Хандра». Причина этой хандры – болезненная тоска по загранице. Причем тоска автора навязывается герою, по характеру ленивому домоседу, который никуда не собирается бежать. Отсюда идет постоянно ощущаемая несовместимость, отторжение авторских отступлений от основного сюжетного движения. Пушкин стал Чайльд-Гарольдом, которому, как писал Байрон, родина казалась тюрьмой, и хотел подражать Байрону, который покинул родину за четыре года до этого. Ю.Лотман, замечая, что часть первой главы посвящена замыслу побега, пишет: «Маршрут, намеченный в XLIX строфе, близок к маршруту Чайльд-Гарольда, но повторяет его в противоположном направлении».⁴

В первой главе Пушкин то и дело соскальзывает на свои любимые мысли о радости свободной жизни за границей. То и дело мелькают европейские имена, названия, тут и там – отголоски европейских будней, всегда похожих на праздник, европейской мысли, сочетающей в себе историю с современностью. Возможно, состояние это передавалось Пушкину от друзей, вернувшихся «оттуда», особенно благодаря впечатлениям сверстника и петербургского приятеля Туманского.

Поэт Василий Туманский, теперь чиновник той же канцелярии Воронцова, что и Пушкин, только что вернулся из Парижа, где два года был вольнослушателем в Коллеж де Франс. Рассказы Туманского о Европе были бесконечны, и Пушкин слушал их с завистью, скрывавшейся иронией.⁵ Лишь в тридцатые годы нашего века стало известно, что Пушкин уничтожил части первой главы «Евгения Онегина».⁶ Не исключено, что там было значительно больше информации о проблеме бегства из Одессы.

Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны;
Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разлучены (V.26).

Пушкин сообщает, что его герой собирался ехать за границу с автором. И по сюжету события эти происходили, когда автор познакомился с Онегиным в Петербурге, то есть готов-

ность эта была до ссылки, до весны 1820 года (еще одно доказательство стремления Пушкина выбраться за границу после лицея). Тогда они и строили планы совместных заграничных путешествий. Но тут Онегин получил извещение о болезни дяди, а Пушкину пришлось против воли менять маршрут и отправиться на юг.

Словно предвидя, что начало «Евгения Онегина» будет толковаться вовсе не так, Пушкин в белой рукописи добавил эпиграф на английском, который весьма многозначителен, но в печатном издании исчез: «Nothing is such an enemy to accuracy of judgment as a coarse discrimination» (V.487). Итак, «ничто столь не враждебно точности суждения, как недостаточная проницательность». Эдмунд Берк, которому принадлежит мысль, был крупным правительственным чиновником, оратором и писателем Англии XVIII века. Скорей всего, Пушкин отыскал эту цитату в личной библиотеке Воронцова.

Нет оптимизма и во второй главе «Онегина», писавшейся в Одессе и позже названной «Поэт». Она представляет собой как бы альтернативу первой, зазеркалье, прогноз того, что произойдет с поэтом, который, вырвавшись в Европу, решает вернуться обратно. Об онегинской строфе имеется большая литература, отметим лишь, что стиль строфы, выработанный с самого начала, здесь слишком легкомыслен. И вот в легком жанре рассказывается мрачная история русского интеллигентного молодого человека «с душою прямо геттингенской», который неизвестно зачем вернулся из Европы в родную деревенскую дыру и здесь был вскоре убит.

Пушкин писал роман вольно, будто не намеревался иметь дело с цензурой, но при этом надеялся на достаточную проницательность читателя. О каком же читателе он думал? «Я бы и из Онегина переслал бы что-нибудь, да нельзя: все заклеяно печатью отвержения» (X.78). Тем, кто предлагал ему попробовать опубликовать первые главы «Евгения Онегина» в столице, он запрещал даже размышлять об этом: «Об моей поэме нечего и думать – если когда-нибудь она и будет напечатана, то верно не в Москве и не в Петербурге» (X.67). Где же в таком случае он собирается издавать свою новую поэму? Остается предположить, что рукопись, которую поэт писал, готовилась для того, чтобы взять ее с собой в путешествие на Запад.

Одновременно Пушкин пытается получить из Петербурга и другую свою рукопись, которую когда-то неосмотрительно проиграл в карты приятелю Никите Всеволожскому. Вяземскому он недвусмысленно объясняет, что предисловию, которое тот написал для публикации «Бахчисарайского фонтана», тоже лучше бы увидеть свет не здесь: «Знаешь что? твой «Разговор» более написан для Европы, чем для Руси» (X.69).

Но деньги все еще продолжают держать Пушкина на старом месте, и он начинает думать о возможности подороже продать неоконченный роман в стихах издателям здесь, в России. «Теперь поговорим о деле, т.е. о деньгах, – обращается он к Вяземскому (да простит нас читатель за то, что приводим ненормативный текст классика полностью). – Слёнин предлагает мне за «Онегина», сколько хочу. Какова Русь, да она в самом деле в Европе – а я думал, что это ошибка географов. Дело стало за цензурой, а я не шучу, потому что дело идет о будущей судьбе моей, о независимости – мне необходимой. Чтоб напечатать Онегина, я в состоянии хуя, т.е. или рыбку съесть, или на хуй сесть. Дамы принимают эту поговорку в обратном смысле. Как бы то ни было, готов хоть в петлю» (X.70).

Вопрос о том, что это – лишь начатый кусок неоконченной вещи, не обсуждается. Быстро с публикацией также не выходит, хотя в принципе никто не говорит «нет», и Пушкин расстроен: время-то не ждет! «Онегин» мой растет, – сообщает он приятелю. – Да черт его напечатает – я думал, что цензура ваша («ваша», как будто он уже гражданин Франции. — Ю.Д.) поумнела при Шишкове – а вижу, что и при старом по-старому» (X.76). Ему хочется написать и продать побольше, но никто не спешит платить.

Его выводит из себя нерасторопность, неделовитость, разброд среди его знакомых в Петербурге, от которых он полностью зависим и которые вовсе не торопятся сделать то, что для него – вопрос жизни: «...мы все прокляты и рассеяны по лицу земли – между нами сношения затруднены, нет единодушия...» (X.73) Если бы не финансовая зависимость, он бы давно порвал с ними со всеми, за исключением разве что двоих: «Ты, Дельвиг и я, – говорит он брату, который вообще далек от словесности, – можем все трое плюнуть на сволочь нашей

литературы – вот тебе и весь мой совет» (X.73). Весьма типичное свойство русского интеллигента, находящегося в возбуждении: потребность к единодушию, когда все должны думать, как он, все обязаны понять и одобрить его; а если он хочет плюнуть, то и все должны плевать вместе с ним.

Его расходы все время превышают поступления, и мысль настойчиво ищет средство сразу решить проблему, неожиданно, в один присест разбогатеть. В карты он поигрывал еще в Петербурге, а в Кишиневе становится азартным игроком. Надежда вдруг выйти из-за стола с состоянием делается прямо-таки навязчивой теперь, когда деньги нужны до зарезу, срочно, и судьба просто обязана смилостивиться и помочь ему. «...Страсть к игре, – говорил он приятелю Алексею Вульффу, – есть самая сильная из страстей».⁷

Картежники скрывались в подвалах греческих кофеен, – рассказывает одесский старожил. Какие темные дела делались в этих подвалах, сказать трудно. Однажды во время игры в подвал ворвался полковник полиции. Хозяин немедленно погасил свечи. Когда свечи снова зажгли, полковника в подвале уже не было, но не было и пятнадцати тысяч рублей, лежавших на столе.⁸ В рукописи второй главы «Евгения Онегина», написанной в Одессе, появилась строфа, которую Пушкин после выкинул:

Страсть к банку! ни дары свободы,
Ни Феб, ни славы, ни пиры
Не отвлекли б в минувши годы
Меня от карточной игры;
Задумчивый, всю ночь до света
Бывал готов я в эти лета
Допрашивать судьбы завет:
Налево ляжет ли валет?
Уж раздавался звон обеден,
Среди разорванных колод
Дремал усталый банкомет.
А я, нахмурен, бодр и бледен,
Надежды полн, закрыв глаза,
Пускал на третьего туза (V.434–435).

Но много выиграть никак не удавалось, скорее наоборот, карты отнимали последнее. Ксенофонт Полевой, брат пушкинского издателя, писал об этой страсти поэта: «Известно, что он вел довольно сильную игру и чаще всего продувался в пух! Жалко бывало смотреть на этого необыкновенного человека, распаленного грубою и глупой страстью!»⁹ Играл Пушкин и в бильярд. Но тут шансы внезапно разбогатеть были еще меньше, чем в карты.

Денежные проблемы настолько захватили Пушкина весной 1824 года, что, казалось, ничего на свете более важного не существует. Любопытно, что как раз в это время начальство было им довольно. Граф Воронцов, который еще недавно просил Пушкина заняться чем-нибудь путным, теперь его хвалил. «По всему, что я узнаю на его счет, — писал Воронцов в Петербург, — и через Гурьева (градоначальника Одессы. — Ю.Д.), и через Казначеева (правителя канцелярии Воронцова. — Ю.Д.), и через полицию, он теперь очень благоразумен и сдержан».¹⁰

Никто из посторонних как будто бы не догадывался о далеко идущих планах поэта.

Глава четырнадцатая

ОТ ТУЧ ПОД ГОЛУБОЕ НЕБО

*Из края мрачного изгнания
Ты в край иной меня звала.
«Для берегов отчизны дальней» (III.193).*

Жизнь в молодой столице Новороссийского края шла своим чередом, а жизнь Пушкина своим, и ничто не предвещало неприятностей. Сто лет спустя Владислав Ходасевич, уже будучи в Берлине и Мариенбаде, первым заметил, что в сочинениях Пушкина «неблагорасположение правительства представлено в виде дурного климата». Это касается и строк «Брожу над морем, жду погоды...», и писем поэта, в которых он то и дело жалуется на обстоятельства: «Ты не приказываешь жаловаться на погоду – в августе месяце – так и быть – а ведь неприятно сидеть взаперти, когда гулять хочется!» (X.46)

По Ходасевичу, «отношения с правительством и мечты о побеге за границу... даны в терминах, так сказать, климатических и метеорологических». Дискуссии по поводу разрешения выехать или возможности бежать построены у него и его знакомых на весьма прозрачных прогнозах погоды наверху.¹

Современному русскому интеллигенту этот язык столь же близок, поэтому ситуацию в начале весны 1824 года опреде-

лим так: погода испортилась, подул ветер, над Пушкиным начинают сгущаться тучи.

Но вот что любопытно: ветер подул не с севера, откуда его можно было бы ждать, а возник в Одессе. В конце февраля – начале марта погода испортилась, и туча закрыла от Пушкина синее небо. Друзья принялись искать объяснения этим обстоятельствам еще при жизни поэта. Но и по сей день, несмотря на сотни написанных на данную тему работ, биографы расходятся во мнениях. Переводя с языка метеорологического на обычный, получаем: отношения между Пушкиным и его непосредственным начальником и покровителем графом Воронцовым неожиданным образом испортились.

О новороссийском генерал-губернаторе Михаиле Воронцове написано немало. Один его архив, который успели частично издать до революции, составляет 37 томов. В обширной библиографии можно найти ему славословия:

Благословляют Воронцова
И город тот и те края!
Монаршей воли исполнитель,
Наук, художеств покровитель,
Поборник правды, друг добра,
Сановник мудрый, храбрый воин,
Олив и лавров он достоин!²

Двадцать лет спустя, когда Воронцов был назначен губернатором на Кавказ, его пребывание в Одессе современник назвал «Золотым веком Одесской словесности».³ В советском пушкиноведении Воронцов традиционно обозначался как негативная личность, невинной жертвой которой стал гениальный поэт. Исторические факты свидетельствуют об ином.

Отец Михаила Воронцова, Семен Воронцов, был в течение двадцати лет русским послом в Англии. Он отличился в бою с турками в Бессарабии, а умер в Лондоне. Дочь Семена Воронцова была замужем за лордом Пемброком. Сын управлял землей, отвоеванной отцом, но и сам был человеком недюжинной отваги. Кутузов называл его храбрецом. На Кавказе он вынес из-под огня раненого товарища, под Бородином сам был ранен. Триста раненых солдат он разместил у себя в

имении, чтобы вылечить их. Воронцов-младший запретил телесные наказания солдатам и не раз конфликтовал с Александром I.

Жуковский обессмертил Воронцова в стихах. Лев Толстой писал об этом своем дальнем родственнике в повести «Хаджи-Мурат»: «Воронцов, Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, честолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими».⁴ При этом комментаторы советского издания А.И.Сергеенко и В.С.Мишин поправляют Толстого в примечаниях, говоря, что Воронцов был «жестокий и хитрый царедворец».⁵

Отношение Воронцова к Пушкину было крайне доброжелательным. Знаток древних литератур и книг эпохи Возрождения, Воронцов привил Пушкину интерес к истории, к архивным документам. Ничто не предвещало ссоры, ибо еще перед Новым годом Пушкин собирался с Воронцовыми в Крым на весенние каникулы. Что же изменило отношение губернатора к подчиненному?

Анненков считал, что Пушкин был плохим чиновником. Такой же точки зрения придерживался С.Т.Аксаков. Чем занимался рядовой служащий 10-го класса Пушкин в канцелярии Воронцова, безусловно, серьезного государственного деятеля, точно неизвестно. Ни единой бумаги, им подготовленной на работе, не найдено, да и много ли их было? Жалование исправно шло, но размером его Пушкин был недоволен и возмущался вслух. Уделять много внимания молодому поэту Воронцов не мог, но продолжал оставаться к нему терпимым, и этого, казалось, достаточно для сосуществования.

Воронцов строил порт, поселения, развивал экономику, создавал управленческий аппарат, поднимал культуру, и, как пишет одесский автор, покровительствовал евреям и иностранцам.⁶ Воронцов сделал Одессу богатым международным портом. Свое жалованье губернатор отдавал нуждающимся подчиненным. Пушкин в их число не входил. Пушкина нельзя было назвать бездельником на службе только потому, что там он не появлялся вообще. И все же можно ли считать, что именно это было причиной охлаждения к нему Воронцова?

Скорей всего, отношение Пушкина к службе было третьестепенной деталью на фоне других, более важных.

Симпатия Воронцова к поэту сменилась разочарованием. Хотя стихи в канцелярии губернатора сочинял не один Пушкин, в Пушкине губернатору прочили талантливое писателя, и он отнесся к рекомендациям со всей серьезностью. В первом номере журнала, издаваемого Фаддеем Булгариным, появилось весьма доброжелательное напутствие: «Гений Пушкина обещает много для России; мы бы желали, чтоб он своими гармоническими стихами прославил какой-нибудь отечественный подвиг. Это дань, которую должны платить дарования общей матери, отечеству».⁷ Пушкина откровенно призывали заняться пропагандой, и он, с его настроениями, мог только посмеяться в ответ. «У нас еще нет ни словесности, ни книг, – записывает он в черновике в это время, – все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке...» (VII.14)

Воронцов не был столь прямолинеен, как Булгарин. Никакими рамками прославления империи, царя или своей персоны он Пушкина не связывал – для этого он был достаточно умен. Он не хуже Пушкина понимал, сколь отстала русская культура от Запада, сам вносил посильный вклад в ее прогресс и вправе был рассчитывать на серьезное отношение талантливого писателя к этому важному предмету. Он ждал от поэта той самой просветительской деятельности, к которой Пушкин, вообще говоря, питал интерес и важность которой хорошо понимал. Не корысти ради ожидал Воронцов вклада, будь то в поэзии, истории, журналистике или любой другой области. А Пушкин выглядел гулякой, играл в карты и предавался прекрасному ничегонеделанию. Сочинения поэта, которые Воронцову удавалось прочитать, были, по мнению графа, вторичными, подражанием Байрону, которого Воронцов знал лучше Пушкина, причем в оригиналах, а не во французских переводах.

А.М.Горький считал, что Пушкин пытался доказать публике: писатель в иерархии государства стоит выше чиновника, но в то время над этим могли только смеяться. Однако, применительно к данной ситуации, Пушкина ставили на место по его собственной, Пушкина, вине.

«Как человек он мне не понравился, – вспоминает его одесский знакомый. – Какое-то бретерство, suffisance и желание уколоть, осмеять других».⁸ Suffisance у французов – означает тщеславие, самодовольство. Это ощущали многие, с кем он общался.

В сущности, Пушкину была обеспечена нормальная жизнь даже в том случае, если бы он не занимался ничем ни в канцелярии, ни в литературе. Но этого ему было мало. Он перессорил чиновников Воронцова, за глаза оскорблял хозяина и его гостей. Он демонстрировал свое презрение к отдельным людям, с которыми был в одном кругу и которые не сделали ему ничего дурного. Вдобавок в Одессе Пушкин попал под влияние Александра Раевского, адъютанта Воронцова. Эгоист, циник, умный и хитрый демон, Раевский еще более распаллял Пушкина из своих, корыстных соображений.

Похоже, именно характер и поведение поэта вывели Воронцова из себя: «Здесь слишком много народа и особенно людей, которые льстят его самолюбию, поощряя его гнусностями, причиняющими ему много зла. Летом будет еще многолюднее, и Пушкин, вместо того, чтобы учиться и работать, еще более собьется с пути».⁹ Речь, как видим, идет не столько о дурном влиянии Пушкина и одесского общества друг на друга, сколько об их несовместимости. Пушкин и сам чувствовал это. Впрочем, с одним человеком в Одессе совместимость Пушкина, наоборот, увеличивалась. Это была супруга графа Воронцова Елизавета Ксавьерьевна.

Пятью годами раньше, в Париже, Элиса Браницкая, богатая наследница, вышла замуж за командующего русским экспедиционным корпусом во Франции генерала Воронцова. Это очаровательное существо было старше Пушкина на семь лет, но, по мнению современников, она была молода душой и хороша наружностью. Неудивительно, что другие пушкинские увлечения в значительной мере ослабевают, а Воронцова становится центром его временной вселенной. Она этим центром в Одессе действительно была. При посещениях пышного двора генерал-губернатора дамам полагалось целовать руку его жене – удивительное сочетание англоманства с азиатчиной.

О романе Пушкина с Воронцовой написано много. Только список основной литературы состоит из трех десятков источников. Много сказано и о том, что Александр Раевский, даль-

ний ее родственник, также в нее влюбленный и столь же успешно добившийся взаимности, настраивал графа против Пушкина, будучи с обоими в прекрасных дружеских отношениях.

Основания для ревности у Воронцова были серьезные, если учесть, что вскоре Воронцова родила, и, судя по мнению нескольких биографов Пушкина, оба успешных любовника полагали ребенка своим. Поэтому считать ревность Воронцова основной причиной их ссоры принято давно. Так полагал и сам Пушкин, а позже Герцен и Огарев. Так, в сущности, считал и Вигель: «Он (Воронцов. — Ю.Д.) не унизился до ревности, но ему казалось обидным, что ссыльный канцелярский чиновник дерзает подымать глаза на ту, которая носит его имя».¹⁰

Воронцов перестал доверять Пушкину. Официальные отношения между ними оставались, но личные прекратились. Пушкин был злопамятен и мстителен, обид не забывал, не прощал и всеми своими поступками только ухудшал ситуацию.

Еще одна гипотеза, также достаточно известная в пушкинистике, утверждает, что Пушкин, хотя и был увлечен Воронцовой, в альянсе ее с Александром Раевским играл роль прикрытия. Поэт не замечал зигзагов двойной игры, в которой он был пешкой. Но позже наступило прозрение.¹¹

Отдельные авторы утверждали, что Михаил Воронцов расправлялся с поклонниками своей жены путем политических доносов. Он донес и на Пушкина, а потом отправил в ссылку, в Полтаву, Александра Раевского.

Воронцов был правительственным функционером, на своем посту автоматически выполнял все административные распоряжения, поступающие сверху, и, плюс к тому, был озабочен поддержанием порядка во вверенной ему губернии. За Пушкиным наблюдали больше, чем за другими, и Воронцов это знал.

При тогдашнем всеобщем ожидании политических перемен во всех углах Европы в одесских салонах разговоры тоже были относительно свободными, и Воронцов не был ретроградом. Крамольные высказывания и даже политические сочинения Пушкина его мало волновали. Позже выяснилось, что английский купец Томсон снабжал декабристов в Одессе либеральными газетами и брошюрами.¹² Пушкин знал Томсона, и не может быть, чтобы «контрабандная» литература не поступала также и к нему. Но такую литературу Пушкин мог просто брать в

библиотеке Воронцова: никто его в чтении не ограничивал.

Официальная пушкинистика утверждает, что власти считали Пушкина причастным к делам декабристов и именно за это начали его преследовать в Одессе. Советские исследователи отмечали, что «речь должна идти об идейных вещах», что в Пушкине видели «активного участника» политического движения, что он был «политически опасен».¹³ То же можно сказать и о рискованных прогнозах такого типа: если бы Пушкин остался в Одессе, он бы пошел на эшафот с лидерами декабристов.¹⁴ Такие утверждения не кажутся убедительными. Полагать, что Воронцов боялся политического влияния Пушкина на одесситов, несколько наивно.

Скорей всего, в соображениях Воронцова имели какое-то место все компоненты: и неудовлетворение нерадивостью Пушкина-чиновника, и разочарование в его бессистемном, с точки зрения Воронцова, таланте, и раздражение его характером, и ревность, и неприятие пушкинской политической невоздержанности. Однако, думается, все это Воронцов великодушно сносил раньше и терпел бы еще. Чтобы довести сдержанного, воспитанного в английской манере человека до возмущения, вынудить его отправить жалобу, прося избавить от мелкого чиновника, для этого, нам кажется, потребовалось весомое основание. Для внезапного возмущения необходима внезапная причина.

«Одесский вестник», фактическим редактором которого был Воронцов (почему-то его называют еще и цензором «Одесского вестника», что неправильно), охотно печатал стихи Пушкина в самый разгар их конфликта и после.¹⁵ Одесское общество смертельно надоело Пушкину, но он во многих домах оставался желанным гостем. Воронцов был терпим к ухаживаниям за своей женой и смотрел на это, так сказать, по-европейски. У него самого были адюльтеры.

Но (и здесь мы приближаемся к нашей гипотезе) появилась причина, узнав о которой новороссийский губернатор Воронцов не на шутку обеспокоился. Ему сообщили, что ссыльный чиновник Пушкин, наблюдать за поведением которого Воронцову было вменено в обязанность персонально его императорским величеством, — что этот чиновник собирается нелегально бежать за границу. Еще несколько дней — и служащий

его собственной канцелярии может оказаться за пределами империи.

Неприятные последствия подобного происшествия Воронцов при всем его либерализме оценил немедленно. Не исключено, что намерения Пушкина он мог рассматривать не только как непорядочность по отношению к себе, но и как предательство по отношению к отечеству и государю императору, который (и Воронцов это прекрасно знал) лично занимался делом опального поэта. Некоторые аспекты пушкинской активности давали губернатору повод для таких мыслей.

Кто мог сообщить Воронцову о намерениях Пушкина? Ответить на этот вопрос несложно. Генерал-губернатор, согласно административному порядку, регулярно получал детальные отчеты о поднадзорных лицах от одесского градоначальника, от полицмейстера, от правителя своей канцелярии и, конечно, от столичной полиции, которая переправляла губернаторам выписки из перлюстрированной корреспонденции с надлежащими комментариями.

О том, что почта его подвергается сыску, Пушкин знал. Одной из постоянных забот поэта было избежать утечки информации в письмах. «Пиши мне покамест, если по почте, так осторожно, а по оказии что хочешь», – предупреждал он Вяземского еще из Кишинева (X.47). А из Одессы напоминал: «Отвечай мне по extra-почте!» (X.53) Ища канал для пересылки почты с надежными людьми, чтобы прислать Вяземскому «тяжелое», Пушкин каламбурит: «Сходнее нам в Азии писать по оказии» (X.63). Вяземский не понял насчет «тяжелого», то есть рукописей, и решил, что у Пушкина нет денег, чтобы отправить посылку. И из Одессы следует терпеливое разъяснение: «Ты не понял меня, когда я говорил тебе об оказии – почтмейстер мне в долг верит, да мне не верится» (X.70). Для контроля Пушкин просит уезжающих, если не застанут адресата, привести письмо ему обратно. О том, что не все его письма доходят, он также знал.

Но и хранить письма было опасно, особенно миновавшие почту. Вот почему переписка Пушкина, Дельвига и Боратынского, по их взаимному согласию, адресатами уничтожалась. Перлюстрация достигла в стране таких размеров, что власти выпустили секретное распоряжение, запрещающее на почтах

вскрывать письма без высочайшего распоряжения о лицах, к которым «целесообразно применять перлюстрацию».¹⁶

Намеки на подготовку к бегству были, к сожалению, и в открытых письмах, как мы видим, вполне прозрачны. Но для того, чтобы узнать мысли и планы Пушкина, перлюстрация, которая проводилась формально, была не очень нужна. Достаточно послушать, подглядеть, с кем он встречается, что говорит. Видимо, имея в виду проблему бегства из Одессы, Анненков писал: «Тысячи глаз следили за его словами и поступками из одного побуждения – наблюдать явление, не подходящее к общему строю жизни».¹⁷

Пушкин не был скрытен. Открытой почты остерегался, но по оказии как раз в это время пишет брату Льву, что Синявин, адъютант графа Воронцова, «доставит тебе обо мне все сведения, которых только пожелаешь» (X.69). А в это время другой адъютант Воронцова Отто-Вильгельм Франк доносил Воронцову обо всем, что творилось вокруг, в том числе, собирал для него ходившие по рукам тексты Пушкина. Третий адъютант, Александр Раевский, любовный конкурент Пушкина, двуличность которого позже раскусил и сам поэт, разжигал антипатии своего патрона. Пушкина уже не будет в Одессе, когда наступит позднее прозрение: не Раевский ли был злым гением?

Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом... (II.182)

Вокруг Пушкина были и добровольные, и профессиональные осведомители. Добавим к имени Липранди графа Ивана Витта, начальника военных поселений Новороссии, организатора тайного сыска на южных территориях. И, конечно, женщину, в которую Пушкин влюбился по приезде в Одессу, но страсть к которой позже, как он сам отмечал, «в значительной мере ослабла» (X.56). Речь идет о Каролине Собаньской.

Собаньская притягивала Пушкина. Тот часто гулял с ней вдоль моря, и она его умело выпрашивала. Знал ли Пушкин, что она любовница хитрого генерала Витта? На этот вопрос можно ответить утвердительно. Она и Витт не скрывали своих отношений. Но Пушкин не догадывался, что Собаньская –

агент политического сыска. Информация от нее попадала в секретные отчеты генерала и шла наверх. Если она была в курсе планов Пушкина (а он любил поверять свои мысли вместе со своими чувствами), то в курсе была и полиция.

Таким образом, администратор Воронцов имел немало возможностей узнать о планах Пушкина. Похоже, именно бегство он имел в виду, говоря, что этот молодой человек «еще более собьется с пути». Воронцов начал искать оптимальный выход. Все прочие соображения вдруг собрались вместе и подкрепили необходимость срочного решения. Он решает как можно быстрее избавиться от Пушкина, пока тот еще только собирается совершить свой отчаянный поступок.

Анненков первым обратил внимание на то, что Воронцов, обладая огромной властью, мог уничтожить Пушкина, а он проявил «умеренность, сдержанность и достоинство, стоящие вне всякого сомнения».¹⁸ Деликатный подход Воронцова объясняется, однако, не только его порядочностью и стремлением выполнить обязательства, которые он на себя принял, пообещав в Петербурге опекать Пушкина, но и самими обстоятельствами. Объясни Воронцов в своих ходатайствах, что он боится, как бы поднадзорный Пушкин не сбежал, это могло бы вызвать нежелательную высочайшую реакцию: недовольство тем, что губернатор края не может обеспечить порядок в столь простом вопросе.

Решив избавиться от смутьяна, но не имея возможности сделать это самостоятельно, Воронцов крайне вежливо запросил Петербург, стараясь при этом не выносить сор из избы. Он хвалил Пушкина и лишь в разговорах с очень близкими людьми называл его мерзавцем.¹⁹

Высказывались предположения, что Михаил Воронцов уничтожил в своем архиве то, что касалось Пушкина, и даже, что часть этих документов находится в архивах «других стран».²⁰ Последнее представляется маловероятным.

В середине марта Пушкин поехал в Кишинев встретиться со своим верным другом Алексеевым. Накануне или в день его возвращения в Одессу Воронцов отправляет письмо графу Нессельроде. В письме, называя Пушкина превосходным молодым человеком и считая, что он в Одессе стал лучше, Воронцов просит, однако, переместить Пушкина в какую-нибудь

другую губернию, в менее опасную среду, где больше досуга для занятий.

Пушкин отправляется в Кишинев, пытаясь (как и полагал Воронцов) договориться с Инзовым, чтобы тот взял поэта обратно. Нежелательность этого шага Воронцов предусматривает: «он нашел бы еще между молодыми греками и болгарами много дурных примеров».²¹ Поэтому Пушкина надо отправить во внутренние губернии, предупредить его побег.

Воронцов торопится; через десять дней (то есть когда первое письмо едва достигло Петербурга) он пишет второе отношение с просьбой убрать Пушкина. Сам Воронцов с женой находится в это время в отъезде, в Белой Церкви, и на расстоянии этот вопрос тревожит его. Едва вернувшись через десять дней в Одессу, Воронцов испрашивает разрешения в начале июня прибыть в Петербург, «имея необходимую нужду по некоторым делам службы и своим собственным».²² Вопрос о Пушкине не главный, но он наверняка затронул бы его и постарался решить на высшем уровне.

Через неделю Воронцов отправляет третье письмо с той же просьбой, а в начале мая, сообщая Нессельроде «об установлении через полицию и секретных агентов наблюдения за всем, что делается среди греков и молодых людей других национальностей», опять просит избавить себя от Пушкина.²³ Он торопит события и буквально через два дня отправляет пятое письмо.

Когда Пушкин узнает о том, что делается за его спиной? Письма Воронцова готовили чиновники секретного стола. Всех их Пушкин коротко знал, любой из них мог намекнуть Пушкину о замыслах Воронцова. В мас о грозящих неприятностях прослышал в Москве Вяземский. «(Секретное.) Сделай милость, будь осторожен на язык и на перо, – уведомляет он Пушкина с оказией. – Не играй своим будущим. Теперешняя ссылка твоя лучше всякого места. Что тебе в Петербурге?» Далее Вяземский говорит, что если бы мог отделаться от своих дел на несколько лет, то бросил бы все и уехал за границу, а если не отделается, то охотно поселился бы в Одессе.²⁴

Вскоре Пушкин ощутил неудовольствие начальства на себе. Графиня Воронцова пригласила Пушкина на морскую прогулку на яхте «Утеха». Пушкин явился в порт, но чиновник,

стоящий у трапа, заявил, что, согласно приказу графа, Пушкина не велено пускать. Яхта ушла, Пушкин остался на берегу.

Кого было винить в том, что начались неприятности? Скрытность и молчание оказали бы Пушкину в жизни лучшую услугу, но это был бы другой человек. Поэту, с его общительным характером, хотелось бежать из России тайно, но так, чтобы все его знакомые собрались на берегу для прощальных поцелуев. Впрочем, Пушкину было не до шуток. Он решает ускорить события, тем более, что судьба идет ему навстречу.

С Амалией Ризнич, в девичестве Рипп, полуитальянкой-полунемкой, Пушкин познакомился еще год назад: они приблизительно в одно время появились в Одессе. Амалии едва исполнилось двадцать. Хорошенькая иностранка с греческим носом, по-русски не говорящая вообще, замужняя, но часто остающаяся одна (муж – коммерсант, бывает в длительных отъездах), Амалия привела Пушкина, по его собственному выражению, в безумное волнение и стала принадлежать ему, а скорее всего, не одному ему, что приводило Пушкина в раздражение. Стихи, посвященные ей, полны роковых страстей; жаль, что Амалия не могла их прочесть. Пушкин весьма продвинулся в это время в итальянском языке, мог сказать несколько фраз или понять, что ему говорят, понимал оперу, но для перевода стихов этого было явно недостаточно.

Муж Амалии, Джованни Ризнич, которого в Одессе называли Иваном, экспортировал на запад пшеницу и был одно время также директором оперного театра в Одессе. Весной 1824 года Джованни решает отправить жену обратно в Европу. То ли это была ревность к Пушкину, с которым он был знаком, то ли необходимость поправить здоровье жены, которая незадолго до этого родила дочь, сказать трудно. Не исключено, что никакой ревности у Ризнича не было, а напротив, когда тот собрался уезжать из Одессы за границу сухим путем через Бессарабию, они договорились, что позже в Одессу придет его корабль, капитан которого получит инструкции взять на борт Пушкина вместе с Амалией. Такая версия нам в пушкинской литературе попадалась.²⁵

В мае мысль бежать от российских туч под вечно голубое небо святой Италии Пушкин обсуждает с Амалией. Со свойственным ему даром опережения событий, он уже мечтает об

Италии, едва познакомившись с Амалией осенью предыдущего года. По крайней мере, это нашло отражение в его поэзии:

Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле,
С венецианкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви (V.25).

В мае (даты предлагаются пушкинистами разные, вплоть до начала июня) за Амалией приходит зафрахтованный Ризничем корабль и швартуется у Платоновского мола, неподалеку от пунты. Из Италии Амалия собирается на лето в Швейцарию, а оттуда к зиме вернется в Триест, к мужу. Она уверяет Пушкина, что бежать можно и без паспорта, но при существующем произволе можно получить паспорт за взятку, как делали другие.

Так поступали другие, но не Пушкин. Получить паспорт для отъезда легко любому, но не ему, находящемуся под личной опекой Воронцова. Вот и теперь Воронцову уже, по-видимому, донесли о переговорах Пушкина с четой Ризнич. Тем не менее в день отъезда Пушкин с утра у Амалии и готов с ней ехать в порт. Историк Одессы А. де Рибас записал подробности, опросив одесских старожилов, свидетелей проводов Амалии.²⁶

Корабль готов к отплытию. Паруса еще связаны. Просмоленные канаты дрожат на ветру. Ветер становится все свежее. В это время на молу собирается свита поклонников Амалии: поэт Федор Туманский, помещик Александр Собаньский, Яблоновский. Приезжает кормилица с дочкой Амалии и скрывается в каюте. Знакомые и друзья Амалии съезжаются, коляска за коляской, загородив причал. Наконец, появляются Амалия и сопровождающий ее Пушкин. Он бледен. Такого общества на причале он никак не ожидал встретить. Амалия ласкова со всеми.

Ветер усиливается, и капитан начинает торопить с отплытием. Пушкин понимает, что побег сейчас невозможен. Даже если бы удалось проскользнуть на корабль в этой толпе, — что

дальше, там? Он без денег, повисает на шее женщины, которая принадлежит другому?

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, час печальный
Я долго плакал пред тобой (III.193).

Это стихотворение он напишет через 6 лет, когда Амалии уже не будет в живых. Любопытно проследить по черновикам стихотворения за мыслью поэта. В первом варианте он написал:

Для берегов чужбины дальней
Ты покидала край родной.

На основании этого варианта, отброшенного Пушкиным, Б.Томашевский построил предположение, что «стихотворение обращено к русской, уезжавшей за границу, а не к иностранке, возвращавшейся на родину» (III.457). Нам кажется, однако, сам факт переделки Пушкиным этих строк, наоборот, свидетельствует в пользу того, что стихи посвящены иностранке и, значит, скорей всего, Амалии Ризнич. Интересно, что впервые свою собственную родину, перевоплотясь в Амалию, Пушкин, подумав, назвал «чужим краем», а за границу – «краем иным». Оба понятия поменялись местами.

Затем поэт вспоминает в стихотворении о ее и своих планах. И когда стало ясно, что Пушкин остается, они договариваются, что их разлука не будет долгой. Он к ней приедет, и они встретятся там, в Италии:

Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим» (III.193).

Текст написан быстро. Дважды близко повторяется одна рифма «лобзанья». «Соединить лобзанья» – не самое удачное выражение (можно соединить губы, но не поцелуи). В конце стихотворения, как справедливо заметил Томашевский, Пушкин в беловике допускает ошибку:

Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой –
А с ним и поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой... (III.457)

«С ним и» Томашевский исправляет на «с ними», как было у Пушкина в черновике, что, конечно же, правильно.

Амалия не целует Пушкина при этом скоплении провожающих, а бросает на него последний печальный взгляд. Она поднимается по трапу, капитан поддерживает ее. Шуршат паруса, убраны мостки, поднят якорь. Компания машет руками. Пушкина и Амалию разделяет узкая полоска воды. Эта полоса медленно расширяется. Пушкин остается.

Изложенное здесь – романтическая версия. Но версия, основанная на многих, хотя и противоречивых, показаниях свидетелей или их потомков. Версия эта помогает понять происходившее, домыслить состояние поэта в момент решительного поворота в его биографии, поворота, который не состоялся. В памяти Пушкина Амалия Ризнич остается на многие годы ангелом, который зовет его сначала в Италию, а затем, когда настроение его мрачнеет, в иной мир.

Глава пятнадцатая

«Я НОШУ С СОБОЮ СМЕРТЬ»

*«...мне наскучило, что в моем отечестве
ко мне относятся с меньшим уважением,
чем к любому юнцу-англичанину...»*

*И.А.Казначееву, начало июня 1824
(по-фр., X.598).*

Граф Михаил Воронцов торопил события, но они развивались медленнее, чем хотелось бы. Прося ускорить решение об удалении Пушкина из Одессы, он как бы снимал с себя вину за то, что могло произойти: он сигнализировал своевременно и хотел сделать это без лишнего шума, без сгущения красок и даже без сообщения истинной причины. Тем более, что эта причина была всего лишь подозрением в намерении. Как человек европейский, он понимал, что наказывать за несовершенное нельзя. В России же – можно, но тоже без самоуправства, а по указанию сверху. Произвол, идущий сверху, обретает видимость законности.

Но оказалось, что и наверху понадобились доказательства виновности Пушкина, а не просто одно желание Воронцова (если царю сообщили о ревности Воронцова, то Его Величество, возможно, и улыбнулся). 16 мая 1824 года министр иностранных дел сообщил Воронцову специальной депешей, что он доложил императору о его просьбе, но решение пока отло-

жено. Возможно, Нессельроде, готовый оказать такую услугу Воронцову, не нашел аргументов, когда был о них спрошен. Аргументы надо было подыскать.

Уликой, которую нашли, было перлюстрированное письмо Пушкина, написанное, по видимости, Кюхельбекеру. Рассказывая приятелю, чем он занимается, Пушкин, между прочим, сообщал, что он пишет «Евгения Онегина» и берет уроки «чистого афеизма»: «Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил» (X.70).

Письмо это известно в отрывке – выписке из него, сделанной при перлюстрации. Дошло ли письмо до адресата – тайна. Безбожие было по тем временам серьезным криминалом.

Англичанин Уильям Хатчинсон, которого Пушкин в только что приведенном письме называет «единственным умным», а в другом «юнцом», явившемся «щеголять среди нас своей туповатостью и своей тарабарщиной» (X.598), почему-то не привлек достаточного внимания исследователей. Этот человек был личным врачом семьи Воронцовых и приехал вместе с ними из-за границы. Можно полагать, что Хатчинсон был не менее откровенен с Воронцовым, иначе бы его не допустили в семью и не привезли в Россию. Но в таком случае уроки чистого атеизма брал у него и Воронцов. Имел ли тогда место атеизм Пушкина на самом деле?

Сам Пушкин после скажет: «Покойный император в 1824 году сослал меня в деревню за две строчки нерелигиозные – других художеств за собой не знаю» (X.153). Но он играл. Были у него и другие художества, а некоторый цинизм – не самое страшное.

Б.Томашевский осторожно писал, что издевка Пушкина над догмами христианства была приметой вольтерьянства, вышедшего из моды.¹ Пушкинские атеистические высказывания были частью его нестандартного мышления, перехваченное письмо со словом «афеизм» могло стать уликой. Однако обвинение Пушкина в атеизме, будь оно серьезным, могло повредить карьере младшего брата, Льва, который в это время служил в Департаменте иностранных вероисповеданий. Задачей департамента было укрепление православия и противодействие проникновению в Россию других религий. Но меры, принятые властями по отношению к Пушкину, брата не задели.

Взгляды Пушкина на религию до Октябрьской революции и после нее толковались по-разному. «Безверие» – так называлось стихотворение, прочитанное Пушкиным еще на выпускном экзамене в лицее. И это название давало карты в руки марксистской пушкинистике. Татьяна Цявловская называет «Безверие» «наиболее ранним из всех атеистических произведений Пушкина».²

За полвека до Цявловской пушкинист Б.А.Майков писал о том же стихотворении «Безверие» прямо противоположное: «...Пушкин старается изобразить нравственное состояние человека, утратившего веру в Творца Мира. Поэт старается убедить, что такой человек достоин сожаления, а не упреков и презрения. Вся жизнь для него является мраком и иступлением, он нигде не может найти покоя на земле... Стихотворение это имеет ту глубокую идею, что утрата веры у человека влечет за собой нарушение гармонии его духовных сил; все в глазах такого человека теряет смысл и целесообразность, и он сам становится тогда «нищим духом» и обрекается на страшные нравственные мучения».³

Серьезно ли писал Пушкин об уроках чистого атеизма в письме, которое читали сыщики и которого рука литературоведа не держала? Скорей всего, у любознательного Пушкина в Кишиневе и Одессе был не атеизм, а остатки мальчишеского нигилизма. Ведь на ту же тему писал он в «Евгении Онегине» и противоположное: «Сто раз блажен, кто предан вере».

Больше того, в рукописи странствий Онегина, относящейся к 1827–1829 годам, поэт сделал следующую запись: «Не допускать существования Бога – значит быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге».⁴

В письме Кюхельбекеру Пушкин упоминает, что Хатчинсон написал листов тысячу, чтобы доказать, что «не может быть существа разумного, творца и правителя, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души» (Половина цитаты по-французски. X.70). Слова неудачные, неточные, не пушкинские, ибо существом таким можно считать и Бога, и обыкновенного человека, про которого нельзя сказать, что его не может быть. Атеистом в отрывке, дошедшем до нас, выглядит Хатчинсон, а не Пушкин. К тому же на практике Пушкин

вряд ли мог прочитать работу такого объема по-английски, да еще рукописную. Он брал у Хатчинсона не уроки чистого атеизма, а уроки чистого английского: его собственный английский был слаб. Знающим этот язык, по воспоминаниям, доставляло немало забавы, когда Пушкин коверкал слова.

Вскоре, однако, стало известно об отъезде англичанина из Одессы. Согласно мифу, его высылали за афеизм, как и Пушкина. Фактически доктор решил уехать сам. Он писал, что болен, что ему вреден этот сухой и холодный климат. Но представим себе их диалоги: возможно, не только Хатчинсон влиял на Пушкина, но и Пушкин на врача. Смог ли поэт раскрыть собеседнику глаза на страну, в которой тот оказался?

Хатчинсон выразил твердую решимость уехать как можно скорее. В Англии он стал пастором англиканской церкви, и это, может быть, пуще прочего проясняет, какие в действительности взгляды он проповедовал Пушкину, и как, учитывая языковой барьер, Пушкин понимал, что Хатчинсон писал и говорил.⁵

Тем не менее основание для принятия мер было обнаружено и подшито к делу, в котором оно сохранилось до наших дней. Воронцов же, пока решение его просьбы наверху затягивалось, искал возможность занять Пушкина чем-то путёвым или удалить его из Одессы временно. Тут-то и происходит известная всем со школьной скамьи история командировки Пушкина на борьбу с сельскохозяйственным вредителем, после которой он якобы написал замечательные строки о том, что саранча сидела, сидела, все съела и опять улетела. Байка об этих стихах не заслуживает внимания из-за отсутствия каких бы то ни было доказательств, что Пушкин это написал, а проблема выглядела серьезной для всех, кроме самого поэта.

Несметные тучи саранчи появились на юге России еще в апреле, что угрожало полным уничтожением посевов и голодом миллионам крестьян. Естественно, что губернские власти, встревоженные опасностью, начали принимать меры. Командировки чиновников для выяснения ситуации и принятия неотложных мер шли уже в течение полутора месяцев. Людей не хватало. Никакого издевательства со стороны Воронцова, распорядившегося послать еще трех чиновников в командировки, не было. Примерно 22 мая титулярный советник Сафронов

был направлен в Екатеринославскую губернию, столоначальник 1-го стола 4-го отделения титулярный советник Северин в Таганрог, а коллежский секретарь Пушкин в Елисаветградский, Херсонский и Александровский уезды сроком на месяц. Больше того, Анненков считал, что Воронцов хотел предоставить Пушкину возможность отличиться перед петербургской администрацией.⁶

Пушкин, у которого это было первое служебное поручение, возмущен. Его, который «совершенно чужд ходу деловых бумаг», обязывают служить. В письме правителю канцелярии Казначееву, черновик которого сохранился, Пушкин гордо сообщает, что за семь лет службы службой не занимался, не написал ни одной бумаги и не был в сношении ни с одним начальником, а 700 рублей жалованья воспринимает в качестве «пайка ссылочного невольника» и от этих денег готов отказаться (X.71). Принципиальное безделье на службе было составной частью пушкинского самоуважения и его личного кодекса чести. Еще служа в Кишиневе, он заявил по-французски своему сослуживцу Павлу Долгорукову: «Я предпочел бы остаться запертым на всю жизнь, чем работать два часа над делом, в котором нужно отчитываться».⁷ Теперь, не дожидаясь, пока его выкинут, Пушкин пытается подать в отставку, что вполне логично.

Мысль об отставке, как нам кажется, обдумывалась им давно, а проявилась внезапно, в связи с возникшим поводом – предложением ехать в командировку. Пушкин надеялся, что в случае отставки степень его независимости увеличится, его оставят в покое. В худшем случае он будет обитать в Одессе, избавившись от начальника, а в лучшем – сможет даже вернуться в столицу. В размышлениях своих он шел еще дальше. Ведь именно уйдя в отставку, многие его знакомые уезжали в «чужие края».

Вышедший в отставку Кюхельбекер уехал за границу, точно так же, как Чаадаев. В апреле поспешно отправился на лечение в чужие края Николай Тургенев, а следом за ним оказался в отставке его брат Александр, который отбыл за границу годом позже. Попытку выйти в отставку Пушкин стал теперь рассматривать в качестве некоего хода конем: освободиться от службы и попытаться, сославшись на болезнь, вы-

ехать легально для лечения за границу. Рассуждение логичное, оно кажется вполне осуществимым.

Заглядывая вперед, Пушкин в уже упомянутом нами письме Казначееву об отставке ссылается на неизлечимую болезнь: «Вы, может быть, не знаете, что у меня аневризм. Вот уже 8 лет, как я ношу с собою смерть. Могу представить свидетельство какого угодно доктора. Ужели нельзя оставить меня в покое на остаток жизни, которая верно не продлится» (X.71). Первый раз жалоба на болезнь прозвучала еще в Кишиневе. Сейчас, для отставки, ссылка на заболевание не была необходима, но Пушкин готовил заранее второй шаг, а поэтому вспомнил и о таком серьезном аргументе, как неизлечимое заболевание.

Непосредственный начальник Пушкина Александр Иванович Казначеев был честным и порядочным человеком. Когда ему приносили взятки, он брал их и объявлял, что это пожертвование для бедных. Таким образом он скопил целый фонд, который канцелярия использовала для раздачи нуждающимся.⁸ Казначеев оказывал Пушкину покровительство и хотел неоднократно примирить поэта с Воронцовым. Но отменить приказ о командировке ему не удалось.

После объяснений Пушкин в состоянии обиды получает из казны деньги на месячные командировочные расходы (400 рублей; расписка в получении денег сохранилась) и выезжает, но вскоре выясняется, что до места назначения он не доехал. В канцелярском документе написано, что все три чиновника были посланы «для произведения опытов к истреблению саранчи».⁹ Трудно сказать, о каких опытах могла идти речь.

В бумагах поэта тоже сохранилась запись: «Mai 26. Voyage, Vin de Hongrie» (Май, 26. Вояж, венгерское вино). Доехав до Сасовки, Пушкин остановился погостить в семье местного помещика. В этот день уполномоченному по борьбе с саранчой, как называли бы такого чиновника теперь, исполнилось 25 лет. Гульба продолжалась и на следующий день, после чего пьяного Пушкина усадили в коляску, и он отправился обратно в Одессу.¹⁰

Отоспавшись и протрезвев, Пушкин явился в канцелярию с твердым намерением добиться отставки по состоянию здоровья. Вид поэта подтверждает, что состояние его не из луч-

ших. Между ним и Воронцовым происходит разговор, по-видимому, в резких тонах. Принимая прошение об отставке, Воронцов отправляет его в Петербург. Состояние у Пушкина задиристое. В ответ на опасения, что отставка может иметь для Пушкина дурные последствия (Казначеев знал больше, чем Пушкин), поэт в письме Казначееву заявил: «Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника...» (X. 598). Но в России критика пищеварения начальства – это бунт, своеволие, инакомыслие, критикующий должен быть готов сполна вкусить горечь расправы.

Странным диссонансом в это время оказывается полученное Пушкиным письмо Жуковского. Пушкин отправил ему из Одессы несколько писем, Жуковский получил лишь одно (тоже до нас не дошедшее). Но ответ мэтра, приближенного ко двору, звучит крайне оптимистически: «Ты создан попасть в боги – вперед. Крылья у души есть!.. дай свободу этим крыльям, и небо твое. Вот моя вера. Когда подумаю, какое можешь состряпать для себя будущее, то сердце разогреется надеждою за тебя... Быть сверчку орлом и долететь ему до солнца».¹¹

Куда же предлагает лететь Жуковский, если он прекрасно знает, что долететь до Петербурга царь не разрешит? Понятно, что Жуковский думал о поэтическом Олимпе. А Пушкин в это же самое время мечтал о месте, где можно жить независимо, и поощрение Жуковского дать свободу крыльям мог понять несколько в ином смысле.

Первая реакция на ссору с Воронцовым, подробности которой не известны, была, как всегда у Пушкина, неадекватной. Поэт был мстителен. Он гневно осуждал сплетни и пасквили, сочиненные другими, но сам их охотно сочинял, делал это быстро и широко распространял среди знакомых своей жертвы.

Вот и теперь на Воронцова посыпались эпиграммы, которые только доказывали, что зря он был терпелив:

Полугерой, полуневежда,
К тому ж еще полуподлец!..
Но тут, однако ж, есть надежда,
Что полный будет наконец (II.371).

Если называть вещи своими именами, то «полуне звезда» и «полуподлец» были бесстыдной ложью, а эпиграмма в целом клеветой – едкой, несправедливой, злобной и – от злобы – неостроумной. Были и другие тексты Пушкина такого же уровня. Одна из эпиграмм остается не расшифрованной до сих пор. Бартенев считал, что Пушкин в дальнейшем раскисался в эпиграмме «Полумилорд...», что поступками его руководил злой гений Александр Раевский, который хотел любым путем избавиться от соперника. Это он предложил Воронцову отправить Пушкина в командировку, а затем уговорил самого Пушкина туда поехать. Раевский же участвовал в сочинении письма об отставке. Но это предположения.

Пушкин явно переоценивал свои возможности, терпение местных властей и недооценивал жестокость власти центральной. Будь он чуть сдержанней, дружба с Воронцовым, который поначалу не так уж много требовал от подчиненного, постепенно открыла бы для Пушкина все двери, в том числе, может, и ту, которая была для него заветной, – дверь в Европу. Но Пушкин лез на рожон, наглел и, не будучи одернут, решил, что ему все дозволено. История с командировкой по борьбе с саранчой – прямое этому подтверждение. В результате защитить его не мог никто. «Теперь я ничего не пишу, – уведомляет он брата, – хлопоты другого рода. Неприятности всякого рода; скучно и пыльно» (X.74).

Последствия ссоры оказались хуже, чем он мог предполагать. 13 июня Вера Вяземская, приехавшая в Одессу на дачу, пишет мужу, что Пушкин – сумасшедшая голова, и у него новые проказы. Еще с декабря он готовился провести лето в Крыму и быть возле Елизаветы Воронцовой, но она стала холодна к нему после эпиграммы на мужа. 14 июня в Гурзуф отбыла яхта. На ней вместе с Воронцовой отбыли тридцать гостей, а Пушкина туда не взяли.

Вокруг него образуется вакуум. Поэт покорно ждет неприятностей: «Тиверий (так у Пушкина в письме к Вяземскому. — Ю.Д.) рад будет придраться; а европейская молва о европейском образе мыслей графа Сеяна обратит всю ответственность на меня. Покамест не говори об этом никому. А у меня голова идет кругом» (X.74). Римский император Тиверий и его приближенный – весьма прозрачный намек на импе-

ратора Александра I и своего начальника Воронцова. Вяземский в письме к жене передает Пушкину: «Скажи ему, чтобы он не дурачился, то есть не умничал, ибо в уме, или от ума у нас и бывают все глупости».¹²

В конце июня Воронцов получает успокоительное письмо от графа Нессельроде. Тот уведомляет, что государь решил дело Пушкина, который при Воронцове не останется. Ни Воронцов, ни тем более Пушкин еще не догадываются о решении, которое скоро последует. Тем временем дается секретное указание проверить состояние имения Пушкиных в Псковской губернии и их доходы.

В частном конфликте чиновника и губернатора Александр I, подойдя к делу по-государственному, усмотрел недовольство правительством. А самовольное желание отказаться от службы также должно было быть наказано. Потакать капризам ссыльного власти не намеревались. Отсюда высочайшее повеление: «вовсе» удалить коллежского секретаря Пушкина со службы в Министерстве иностранных дел «за дурное поведение», при этом выслать его подальше от моря, на континент, в имение родителей, под их надзор.

С Пушкиным обошлись подчеркнуто педагогически, как с подростком-хулиганом. Никакие болезни (ведь он переведен был в Одессу «лечиться» у моря) при вынесении решения вообще не были замечены.

Из Петербурга губернатору в Ригу следует депеша о том, что Пушкин прибудет в Псковское имение и за ним местным властям следует установить надзор. В Петербурге друзья Пушкина уже знают об этом. В течение нескольких дней разлетается слух, что Пушкин застрелился. Слух обрастает подробностями.

Объект же этих слухов ни о чем не догадывается. Он еще надеется на отставку, на то, что его оставят в покое, а может быть, и выпустят. Причина этого счастливого неведения в отсутствии Воронцова в Одессе. Из Крыма в конце июля Воронцовы разъехались: она вернулась в Одессу, а он по делам отправился в Симферополь. Указание сверху ждало в канцелярии его визы. Предписание Воронцова распорядиться насчет Пушкина не заставило себя ждать.

29 июля поэта вызвал градоначальник Одессы Гурьев. Он сообщил ему о высочайшем повелении и взял с Пушкина рас-

писку под следующим обязательством: «Нижеподписавшийся сим обязывается по данному от г-на одесского градоначальника маршруту без замедления отправиться из Одессы к месту назначения в губернский город Псков, не останавливаясь нигде на пути по своему произволу; а по прибытии в Псков явиться к г-ну гражданскому губернатору. Одесса. 29 июля 1824».

Тут же Пушкин подписал и второй документ: «По маршруту от Одессы до Пскова исчислено верст 1621. На сей путь прогонных на три лошади триста восемьдесят девять руб. четыре коп. получил коллежский секретарь Александр Пушкин». ¹³ Откажись Пушкин подписать сии бумаги, это ничего не изменило бы, но сразу ограничило бы его свободу действий. Пушкин вышел из канцелярии с ощущением полученной пощечины, за которую он не дал сдачи. На этот раз вызвать на дуэль было некого. Решение о том, что нужно бежать из этой страны, пришло само собой, заслонив все прочие заботы. Делать это надо немедленно, иначе будет поздно.

Биографы поэта отмечали, что Пушкин был занят планом побега еще с 25 июля, то есть за четыре дня до того, как ему было объявлено о выезде. Воронцова действительно привезла ему от мужа печальную новость, что он должен покинуть Одессу. Но куда предстояло выехать, графиня не знала, и это заставляло Пушкина терзаться догадками. Он мог предполагать по меньшей мере три варианта: отправку назад в Кишинев, возвращение в Петербург, а может быть, и разрешение уехать в чужие края. Вот почему нам кажется, что конкретная подготовка к побегу началась 29 июля, когда все три варианта отпали и осталась ссылка в Псков.

Глава шестнадцатая

ЧАС ПРОЩАНИЯ

Храни меня, мой талисман...

В уединенье чуждых стран (П.230).

Вера Вяземская после рассказывала Бартеневу: «Он прибежал впопыхах с дачи Воронцовых, весь растерянный, без шляпы и перчаток, так что за ними посылали человека».¹ Важно в этом рассказе, что, подписав неожиданную бумагу о выезде, Пушкин бросился к Елизавете Воронцовой, а потом к княгине Вере. При его общительности и большом количестве друзей и знакомых всех рангов в трудную минуту оказалось, что лишь эти две женщины готовы ему помочь.

Пушкин расписался в том, что должен выехать немедленно, а это значило, на следующий день, о чем градоначальник Одессы Гурьев уведомил Воронцова и псковского губернатора. Но Пушкин с места не сдвинулся. Настал час решиться. В случае, если его план удастся, на отступление от приказа наплевать, а если нет... то не станут же власти ссылать его еще дальше за такую отсрочку. А ему здесь дорог каждый час.

В маленьком французском календарике, видимо, незадолго до этого подаренном Пушкину, возле дат 29 и 30 июля им самим поставлены длинные черточки. 30-го имеется также запись: «Turco in Italia», а 31-го – «depart». Предполагается, что календарик этот подарила ему Воронцова, у которой было

множество зарубежных новинок, – для чего Пушкину покупать самому себе женский календарь? А если это так, считали пунктуальные пушкинисты М.А. и Т.Г.Цявловские, то и пометки в календаре связаны с той, которая его подарила: длинные черточки – интимные свидания с ней, «Турок в Италии» – опера, на которой он был с ней, а отъезд 31-го – тоже ее отъезд, а не его. Пушкин уехал из Одессы только 1 августа 1824 года.² Сама Цявловская и другие исследователи не раз повторяли эти доказательства.

Рискнув предположить, что Пушкин задержался на день не из-за любви, а из-за организации побега, вернем слову «depart» в записной книжке более логическое значение: Пушкин написал это не о Воронцовой, а о себе. Но не об отъезде в Михайловское, а о своем побеге в ночь с 31 июля на 1 августа. Такой подход важен еще и потому, что он отводит на второе место полемику исследователей о любви Пушкина и Раевского к Воронцовой.

Воронцова была сердита на Пушкина за мужа. Теперь она могла считать графа виновным в наказании, не адекватном вине Пушкина. Пушкин был дамским угодником высшего класса, теоретиком и практиком в одном лице, галантным льстецом с отменными манерами, отличным французским и хорошей эрудицией. К тому же талантливый поэт, остроумный собеседник с развитым чувством собственного достоинства в сочетании с лихой русской беззаботностью. Дон-Жуан, некрасивость которого можно было списать на загадочное иностранное происхождение, не мог, особенно в стрессовой ситуации, когда он был в ударе, не поразить сердце одесской леди №1. Александр Раевский уже принадлежал ей, и новый адюльтер старой связи помешать не мог.

Но Пушкин сам оказался в сетях, им расставленных. Он горел страстью. Он называл ее «принцесса Бельветрилль» за то, что она любила, глядя на море, повторять строку Жуковского: «Не белеют ли ветрила, не плывут ли корабли».³ Ей Пушкин посвятил (и перепосвятил посвященное сперва другим женщинам) не менее двенадцати стихотворений. Часть из них остались недописанными. К большинству этих стихов биографы не могут сделать никаких комментариев, кроме сообщений, что при жизни Пушкина они не печатались. На рукопи-

сях Пушкина имеется больше тридцати ее портретов, сделанных в разное время. О романе этом мы знаем очень много от многих свидетелей и очень мало от самих участников.

Дом, в котором жили Воронцовы в то время, до переезда во дворец над морем, сохранился, и мы внимательно рассматривали его много раз. Широкая лестница ведет на второй этаж, где две двери: левая половина дома принадлежала графу, правая его жене. Здесь Пушкин бывал часто, приходя официально и почти по-домашнему. Но в упомянутые дни Воронцова жила на роскошной и просторной даче, которую предоставил ей барон Жан Рено, француз, владелец отеля на углу Дерибасовской и Ришельевской, где Пушкин одно время тоже жил.

С Рено, его молодой, полной женой и сыном Осипом, числившимся чиновником Воронцова и одно время директором Оперного театра, Пушкин был в приятелях. И даже доверял им свою «extra-почту», когда они уезжали. Дача Рено была в двух верстах от города. Сюда Пушкин и раньше любил ходить пешком. Тут, с высокого, дикого и безлюдного берега, открывался дивный вид на море, ограниченный полукружьем бухты. В лунные ночи картина становилась волшебной.

Здесь, согласно легенде, гуляли Пушкин и Воронцова. Пушкина особенно занимала не видимая сверху темная пещера у самого прибрежья – место, мало кому известное, а ночью не посещаемое вообще и потому для встреч удобное.⁴ Отметим попутно, что в Одессе часто путают это место с хутором Рено – районом на Пересыпи, где фирма Рено построила завод по сборке сельскохозяйственных плугов. Но при Пушкине этого не было. Пещеры той в настоящее время уже не существует: ее срыли бульдозерами, когда готовили площадки под песчаные пляжи для культурного отдыха пролетариата.

Приют любви, он вечно полн
Прохлады сумрачной и влажной,
Там никогда стесненных волн
Не умолкает гул протяжный (II.170).

Именно та пещера была выбрана в качестве наиболее удобного места, откуда Пушкину предстояло перебраться на корабль, отплывающий за границу.

Еще в марте Пушкин зазывал к себе на летний сезон Вяземского, предлагая снять для него дачу, которую нанимают Нарышкины (последние собирались за границу). Вера Вяземская загорелась этой поездкой. Князь Вяземский, который был в опале и под тайным надзором после того, как ему запретили вернуться на службу в Варшаву, обиделся и подал прошение о снятии звания. Вяземский назвал Одессу «острогом» и, отправив туда жену с детьми, сам ехать из Москвы не спешил.

Княгиня Вера жила с начала июня с двумя детьми на даче в Ланжероне, откуда в оперный театр плавали на ялике морем и от схода поднимались вверх, в город. Она была старше поэта на девять лет и объясняла мужу, что у нее к Пушкину чисто материнское чувство. Отношения «полудружбы, полувлюбленности», как называла этот роман Цявловская.⁵ Пушкин любил играть с ее детьми: шестилетним Коленькой и двухлетней Надей.

Вяземская быстро подружилась с Пушкиным и Воронцовой. Мы знаем из писем, что они гуляли втроем у моря, ожидали девятого вала, наблюдали в бурю тонущий корабль. Проводить время на виду у публики втроем было удобно для обеих женщин и не скучно ему. Но, уверяя мужа то в материнских, то в сестринских чувствах к поэту и осуждая Пушкина («Никогда мне не приходилось встречать столько легкомыслия и склонности к злословию, как в нем...»), Вяземская сходится с Пушкиным все ближе.⁶

А он влюблен в Воронцову и называл Вяземскую доброй и милой бабой, прибавляя при этом, что мужу был бы рад больше (X.74). Будучи влюблена, княгиня Вера завидует Воронцовой, томится в одиночестве и обижена на мужа, что тот не хочет к ней приехать. Однако ситуация идет ей навстречу.

14 июня Воронцова уехала в Крым и вернулась 24 июля. Это были неприятные для Пушкина сорок дней. Зато Вяземская избавилась от конкурентки и получила Пушкина в свое полное распоряжение. Рассерженный на Воронцову и одинокий, он нашел в княгине Vere добрую подругу. Его вообще привлекали женщины старше него.

И вот княгиня Вера понимает, что не может без него жить. «Хороша я буду, если Пушкин покинет Одессу: у меня здесь, кроме него, нет никого ни для общества, ни для того, чтобы

утешить меня, ни для разговоров, прогулок, спектаклей и пр.»⁷ Что бы она ни писала в письмах и ни рассказывала впоследствии Бартеневу, Пушкин проводил у нее на даче большую часть времени, и их отношения почти не оставляют у нас сомнений. И хотя Вяземский был и оставался одним из самых верных друзей Пушкина, она под именем Вера позже была включена Пушкиным в свой Донжуанский список. Впрочем, читатель волен с нами не согласиться.

Когда Воронцова возвращается, игра становится сложнее, но продолжается втроем: каждый играет отведенную ему роль. Что в точности происходило, мы никогда не узнаем, но заметим, что Вяземский начал всерьез ревновать жену к Пушкину, когда к этому, скорей всего, уже не было оснований: роман этот произошел в жестких временных рамках, до отъезда Пушкина.

Важнее другое: теперь, когда перед Пушкиным возникает жизненно важный и безотлагательный вопрос о бегстве из страны, в обсуждение путей и средств втянуты они все трое. Все трое пришли к соглашению, что необходимо сперва выбраться в Константинополь как наиболее близкую точку за морем. А оттуда уже двигаться в Италию, Париж, Лондон. За Пушкиным, несомненно, следили, и его свобода действий была скована. Воронцова практически помочь не могла, так как уезжала на день раньше. Помогать с готовностью взялась Вера Вяземская. В общем виде об этом плане есть упоминание в литературе, например: «Июнь-июль. Планы тайного отъезда в Константинополь при содействии гр. Е.К.Воронцовой и кн. В.Ф.Вяземской».⁸ О реализации этих планов известно мало.

Несколько дней назад Пушкин кутил с моряками на кораблях в порту, и теперь Вяземская связывается с ними через всемогущего пушкинского приятеля Али, чтобы окончательно договориться, как и когда осуществить задуманный шаг. Главное, что согласовывают: как пристроить Пушкина на отходящий в Константинополь корабль. Об этом упоминает, в частности, такой серьезный исследователь, как Цявловский.⁹

Согласно договоренности, в условленное место ночью должна подойти лодка с гребцами-контрабандистами, которые доставят беглеца на корабль. Там сразу поднимут паруса и уйдут в открытое море. Место согласовано: это пещера у моря, возле

дачи Рено. Лодка может причалить у самого грота, а вход в него не виден со стороны суши. Остается решить вопрос с деньгами.

Вяземская только что получила от мужа 6 тысяч рублей, из которых она теперь дала Пушкину 1260. Часть этих денег Пушкин сразу же роздал, в том числе извозчикам, которые давно ворчали, что он ездит в кредит. В день, когда Пушкин идет в оперу, он берет у Веры еще 600 рублей, с тем, что ей после вернет карточный должник Пушкина. Долг этот, своевременно должником не выплаченный, Вяземская и потом будет отказываться принять от Пушкина. Затем она тратит еще сто рублей, покупая Пушкину вещи, необходимые в дороге.

А Пушкин в ночь на 31-е прощается с Воронцовой, которая уезжает на сутки раньше. Местом этого тайного свидания (если положиться на легенды, вошедшие в пушкинистику) выбрана та самая пещера, из которой Пушкину на следующий день предстоит бежать. Уже почти стемнело, когда появилась Воронцова.

В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран,
Внезапно ангел утешенья,
Влетев, принес мне талисман (II.290).

Она надевает ему на указательный палец золотой перстень и показывает свою руку: у нее точно такой же перстень, с восемью углами сердолик, розовато-красный и кажущийся темным в лунном свете. Позже Пушкин нарисует свою руку с этим талисманом, который и на расстоянии должен был сохранять между ними незримую связь. Откуда они к Воронцовой попали? Знала ли она историю этой пары древних перстней? Надпись на них, сделанная на иврите, как печать, зеркально, мало что объясняет: «Симха, сын почтенного раввина Иосифа-старшего, да благословенна о нем память».¹⁰ Но символ этих перстней был, безусловно, им обоим понятен.

Перстень с древнееврейской надписью на руке Пушкина, подаренный в этот прощальный час, был символом исхода. Не случайно тема рабства иудеев и бегства их из Египта не раз обращала на себя внимание Пушкина. И вот трагикомическая

ситуация: с надетым на руку иудейским перстнем, который оба они целовали, он, полурусский-полуафриканец по крови и француз по душе, взваливал на себя тяжкую судьбу беглеца. Впрочем, судьба готовила его к этому: ведь он был изгоем в собственной стране. Изгоем потому, что интеллигент в России во все времена – узник.

До конца дней Пушкин верил в таинственную силу талисмана. Если следовать ходу мысли стихотворения «Талисман», Воронцова говорила, что перстень не может помочь ему вернуться «в край родной на север с юга», но сохранит его от измены и забвенья (III.35).

Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи –
Храни меня, мой талисман (II.230).

Сестра Пушкина Ольга позже рассказывала Анненкову, что получая письма с такою же печатью, как на его пальце, Пушкин запирался в своей комнате – не выходил и не принимал никого.¹¹ И даже когда Пушкин терял веру в себя и говорил: «Прощай, надежда, спи, желанье», он при этом прибавлял: «Храни меня, мой талисман» (II.230). Снял перстень на память с мертвой руки поэта Жуковский. Перстень перешел по наследству сыну Жуковского, который подарил его писателю Ивану Тургеневу. В 1880 году Тургенев демонстрировал перстень на Московской пушкинской выставке; там обратились к московскому старшему раввину и тот перевел, хотя и не точно, надпись. Тургенев завещал перстень Полине Виардо, а Виардо подарила его Пушкинскому музею, откуда он был украден.

Кроме перстня, Воронцова принесла в пещеру на прощанье Пушкину еще один подарок: свой портрет в золотом медальоне. Судьбу этого талисмана мы не знаем.

Спустя два или три месяца Пушкин, уже уехавший из Одессы, начинает сочинять стихи о ребенке. По предположению некоторых биографов, в это время Пушкин мог получить письмо от Воронцовой, что она беременна. А через девять месяцев она родила девочку, которая, в отличие от всех детей Воронцовых, была темноволоса. Утверждение Цявловской, что Пушкин был

отцом ее ребенка, не ставилось под сомнение официальной пушкинистикой.¹² Есть свидетельство, что и граф Воронцов не считал эту девочку своей.

«Приходится начать письмо с того, что меня занимает сейчас более всего, – со ссылки и отъезда Пушкина, которого я только что проводила до верха моей огромной горы, нежно поцеловала и о котором я плакала, как о брате, потому что последние недели мы были с ним совсем как брат с сестрой».¹³ Так писала Вера Вяземская мужу по следам событий. Факт задержки Пушкина до 1 августа можно считать доказанным прежде всего потому, что в этом письме княгиня сообщила Вяземскому точную дату. И Пушкин уехал 1 августа: игнорировать или считать недостоверным это свидетельство невозможно.¹⁴ Отсюда вывод: дав подписку выехать еще два дня назад, Пушкин задержался, на самом деле не из-за любви. Причина была в намерении бежать из страны. Именно на следующую после прощания с Воронцовой ночь как раз и падает организованная им совместно с Верой Вяземской попытка устроить побег. Описание этой попытки в литературе имеется, но без указания даты.¹⁵

В ночь с 31-го на 1-е побег, как отметил Пушкин в записной книжке, должен был реализоваться. «Еще никогда, – восклицает биограф, считая, однако, датой предыдущие сутки, – Пушкин не был так близко от осуществления своей мечты!»¹⁶

Конкретно о том, что и как происходило той ночью, мы знаем мало, ибо все участники операции по понятным причинам хранили молчание не только в те дни, но и годы спустя. До нас дошли их намеки и рассказы третьих лиц, которые не могли быть очевидцами, но слышали рассказы участников. Попытаемся реконструировать события в том виде, в каком они могли происходить. Моменты, где мы будем добавлять от себя что-либо существенное, будут оговорены.

В дело вовлечен мастер такого рода операций и приятель Пушкина Али. Обещая сумму, одалживаемую Вяземской, Пушкин (при посредничестве Вяземской, гарантирующей выплату) договаривается с Али, а Али ведет переговоры с капитаном брига, который через пять дней должен уйти в Константинополь. По другой версии, корабль пойдет потом в Геную или прямо туда. При посредничестве Али происходит знакомство

Пушкина с капитаном. План побега разрабатывается совместно. Таможня следит за судном перед его отправкой. Опытный Али берется ночью проводить Пушкина в нелюдимое место на берегу. Это пещера возле дачи Рено. Все трое заговорщиков сошлись на том, что более незаметного места для подхода шлюпки с брига, стоящего на рейде, не найти. Под покровом ночи Пушкина посадят в шлюпку и доставят на борт. Предполагается, что его на пять суток спрячут в трюме. Затем бриг уйдет в открытое море. По другой версии – это произойдет сразу, как только беглеца доставят на борт.

Пушкин появился в пещере задолго до условленного часа. Среди необходимых вещей, взятых им с собой, был Коран – подробное описание истории, религии, нравов и правовых норм на мусульманской земле, куда ему предстоит прибыть. Беглец нервничал, садился, читал, опять вскакивал, принимался бродить между каменных глыб, то и дело оглядывая море и окрестный берег. Бриз переменял направление, подув в сторону моря. Под ногами хлопали о камни волны.

Неожиданно Пушкин слышит звуки музыки и веселье. Это гуляка Али позвал на проводы (а возможно, чтобы отвлечь внимание от лодки) цыган и артистов итальянской оперы, гастролирующих в Одессе. Веселье идет полным ходом, и Пушкин с Али оказываются в гуще попойки. Описание ее не входит в нашу задачу. Скорей всего, остаток этой напряженной ночи Пушкин провел с доброй Верой Вяземской, которая его утешала у себя на даче, а утром проводила часть пути.

Вернемся теперь к причинам, по которым побег не удался. Начнем по традиции с «любовного» варианта. Дело в том, что самое важное в цепи событий остается неясным. Что произошло в последний час, уже после прощания? Побег сорвался, но – почему? Кажется, ответ дает сам поэт в известном стихотворении «К морю», начатом сразу по следам пережитых событий.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег.

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я (II.180-181).

Итак, не любовь к родине, а любовь к женщине удержала поэта от эмиграции. Трудно найти русского писателя, для которого женщины вообще и каждая из них в данный момент значили бы так много, как для Пушкина. Женщины всегда оказывались у его жизненного руля, и, наконец, причиной смерти его стала женщина. На весах его судьбы всегда стояла с одной стороны женщина, с другой – весь остальной свет. Официальный же миф подменяет одну любовь – другой. «Поэт слишком любил свою страну, чтобы оставить ее даже при таких тяжелых обстоятельствах своей жизни».¹⁷ «Возможно ли усомниться в том, что «могучая страсть», о которой говорит Пушкин, – это, в сущности, его страстная любовь к России, без которой он не может быть понят?»¹⁸

Между тем Пушкин в стихотворении «Желание славы» опять говорит, что в жертву памяти любимой он принес все, в том числе и «мрак изгнания», ибо если бы не она, он был бы уже далеко и свободен.

Очевидец свидетельствовал о романе Пушкина с Воронцовой: «...с врожденным легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в этом не успевал».¹⁹ Она стремилась продлить очарование влюбленности и инстинктивно, а может, и сознавая это, помогала ему бежать, но помогала так, чтобы побег сорвался. Если она, участвуя в организации побега, обещала одно, а делала обратное, то что двигало ею – одна ли любовь? Ведь уже было известно, что его с нею не будет...

Воронцова и до этого показала, что при всей преданности святому делу любви она думает о чести и интересах мужа. И то, что ему представлялось самозабвенной страстью, могло быть и расчетом с ее стороны. Бегство опального чиновника за границу ставило под неприятности ее мужа. Да ее собственная репутация (то есть положение ее семьи и престиж ее в качестве леди №1 Новороссийского края) могла, стань что-либо из-

вестно, оказаться замаранной. Одно дело почетный и вполне принятый тогда флирт, другое – участие в антигосударственном мероприятии.

Итак, помогала Воронцова или – мешала? М.А.Цявловский считал, что обе эти возлюбленные Пушкина, и Вяземская, и Воронцова, включенные поэтом в свой Донжуанский список, готовили «побег его за границу морем».²⁰ А может, Воронцова, делала то и другое вместе? Что она говорила и что скрывала касательно Пушкина от мужа? Какие факты обсуждались в ее письмах поэту? В последующей переписке она тщательно скрывалась под псевдонимом. Перед уходом из жизни – а она умерла восьмидесяти семи лет, на четверть века пережив мужа и похоронив всех любовников, – Елизавета Ксаверьевна уничтожила свой эпистолярный архив, включавший письма поэта. Что в этом архиве было о ее помощи или вреде Пушкину в бегстве за границу, можно лишь гадать.

Точности ради заметим, что те же самые мотивы могли заставить действовать княгиню Вяземскую: помогать своему другу так, чтобы не помочь. Но применительно к Вяземской, эта гипотеза не кажется правдоподобной. Вера Федоровна получила Пушкина на время – в связи с отсутствием мужа и Воронцовой. Похоже, она всерьез способствовала его побегу.

Анализируя поступки этих двух женщин, отметим еще одно обстоятельство. Известно, что мать графини Воронцовой, которая имела 120 тысяч крепостных и была фантастически богата, была также фантастически скупа. Мы знаем, что княгиня Вера неоднократно снабжала Пушкина деньгами, несмотря на относительную ограниченность своих средств. А Воронцова, хотя для нее сумма, нужная Пушкину, была мелочью, ни разу не предложила ему помощь.

Могли быть и другие причины, по которым бегство не состоялось. Например, разбушевавшаяся морская стихия, помешавшая шлюпке с гребцами пристать к скалистому берегу. Нехватка у Пушкина денег, которые он в этих обстоятельствах от щедрости души пустил на прощальный товарищеский ужин. Может быть, контрабандисты и поэт неточно договорились. Или моряки не явились в условленное место. Или, наконец, Пушкин в последний момент струсил и сам отказался от рискованного мероприятия.

Нелепо обвинять Пушкина в нерешительности. Наши претензии понятны: нам хочется, чтобы исторические личности были более отважны, решительны и бескомпромиссны, чем мы сами. Но требовать этого сейчас, более полутора столетий спустя, немного поздно. Возможно, Пушкин, с его потрясающей способностью предчувствовать, предвидел ситуацию на ход или на два дальше своего окружения и поэтому мог раньше остановиться, не дать себя втянуть в беду.

Именно в последний час стало ясно, что степень этого риска слишком велика. Его развитое поэтическое воображение рисовало предстоящую ситуацию не в виде застывшего диапозитива, но в живом движении. Просмотрев эпизод до конца, он, возможно, убедился в том, что следует отказаться от задуманного либо потому, что это чревато плохими последствиями, либо – что это скучно, так как... уже прожито. Он как бы уже эмигрировал в душе, и лишь брэнное тело еще не перенеслось через границу.

Марина Цветаева размышляла на эту тему в записках «Мой Пушкин», которые она сочиняла в эмиграции, скучая по России и томясь неведением о происходящем там. Цветаева дает свою трактовку строкам Пушкина, нами уже цитированным: «Ты ждал, ты звал. Я был окован. Вотще рвалась душа моя. Могучей страстью очарован, У берегов остался я». «Вотще – это туда, – пишет Цветаева, – а могучей страстью – к морю, конечно. Получалось, что именно из-за такого желания туда Пушкин и остался у берегов. Почему же он не поехал? Да потому, что могучей страстью очарован, так хочет – что прирос!.. И со всем весом судьбы и отказа: «У берегов остался я».²¹

Никакой любовной страсти, как видим, Цветаева у Пушкина не отмечает. Не Воронцова, а море, берег, место, где он стоит, загипнотизировало его. Словно боясь быть непонятой, Цветаева тут же поясняет: «...то есть полный физический столбняк».

Негативная часть концепции Цветаевой понятна: никакой задержки из-за любви и в помине не было. И гипнотическая часть нам кажется достаточно аргументированной, хотя в ней преобладает лично цветаевское, а не пушкинское эмоциональное начало. Стало быть, тем паче следует в нем разобраться,

ведь Цветаева, в отличие от Пушкина, аналогичный шаг успешно осуществила. Рискнем понять с позиции Цветаевой Пушкина, у которого после эмоцио, подкрепляя или подавляя первое, наступало рацио.

Сомнение заложено в природу человека. Не сомнение ли было частью могучей страсти, очаровавшей Пушкина, частью того, что Цветаева назвала «полным физическим столбняком»? В столбняке, овладевшем поэтом, Цветаева разглядела современное субъективное постэмигрантское ностальгическое состояние и вложила его в тогдашнее состояние Пушкина. Чем окончилось для Цветаевой это разрешение от бремени ностальгии, то есть освобождение от «полного физического столбняка», известно. Но мы не уверены, что это правомочно перенести на Пушкина. Добавим, что «полный физический столбняк» – традиционная российская неспособность действовать.

Несомненно, однако, что в первоначальном варианте стихотворение «К морю» было целиком связано с побегом за границу. После, в Михайловском, Пушкин решил расширить его, сделав из семи строф пятнадцать. Печаталось оно, однако, при жизни поэта с отточиями. Теперь в академических изданиях изъятия отсутствуют. Но вставлены взятые из рукописей строфы, которые Пушкин выкинул сам. Что в точности было в одесских его рукописях, до нас не дошло. Но известно, например, что с самого начала он размышлял в стихотворении и о том, как сложится его жизнь там, куда он стремился, и это вполне понятно. От этой части стихотворения «К морю» сохранилась лишь одна выпущенная строка об океане:

Куда и на какую жизнь он вынес бы его.

Приводит эту строку Анненков, считая ее важной.²² Может быть, именно эти опасения Цветаева называла «полным физическим столбняком»? Вероятно, правда, еще одно соображение, которое остановило Пушкина. Его пересылали ближе к Западу, в Псковскую губернию, и у него могли зародиться мысли о лучших возможностях реализации планов побега оттуда. Что касается страсти, описанной в стихах, Цветаева все-таки несколько упрощает проблему. Ведь Пушкин писал именно о любви, которая его остановила. Иное дело, что в жизни это

было не совсем так. Но поэтическая модель, хотя и частично, отражала реальные события.

Поэт остался, и его роман энергично продолжался по переписке, как бы доказывая, что любовь была первопричиной, а героизм самопожертвования – ее следствием. Такая мотивировка работала на саму эту любовь. Причина звучала убедительно и требовала ответной жертвы в качестве продолжения любви в будущем. Об этом свидетельствует, например, стихотворение «Все в жертву памяти твоей», которое при жизни Пушкина не печаталось. Поэт заявляет, что в жертву было принесено все, включая «мрак изгнания» (II.252). Но это обычное литературное утрирование действительности. Сместив акценты, Пушкин ввел в заблуждение своих биографов.

В связи с запутанными обстоятельствами побега возникает вопрос, от ответа на который зависит объяснение ситуации. Знали ли власти о планах Пушкина бежать за границу; учитывалось ли его намерение нелегально покинуть империю при решении о высылке поэта в Псковскую губернию?

Как уже говорилось, причин для новой ссылки было много, но именно эта причина в прямом виде не упоминается вообще ни в деле №144 о высылке из Одессы в Псковскую губернию коллежского секретаря А.С.Пушкина, ни в обширной мемуарной литературе. Разумеется, не упоминает эту причину и сам Пушкин, когда излагает в «Воображаемом разговоре с Александром I» все мотивы в совокупности, как он видел их после. Осторожным намеком связывает побег и высылку пушкинист М.П.Алексеев: «тревожные планы побега, закончившиеся внезапным и поспешным отъездом...»²³

По-разному излагались причины высылки разными людьми в самом ходе событий и после них. Начальник Пушкина в Петербурге граф Нессельроде писал Воронцову, что правительство рассчитывало, что служба Пушкина у Инзова и Воронцова «успокоит его воображение», но этого не произошло.²⁴ Из Коллегии иностранных дел он уволен «за дурное поведение». Можно лишь предположить, что дело было в самом Пушкине, а не в его службе, и первопричина – не в личном конфликте с Воронцовым. Брат Пушкина Левушка в письме к Вяземскому тоже говорил, что слухи о мелких и частых неудовольствиях Воронцова ложные, а ссылка – жестокая и несправедливая

мера правительства.²⁵ Все эти сообщения не добавляют ничего нового к тому, что мы уже знаем.

«В этой истории несомненно есть какое-то темное место», – считает один из исследователей, но полагает, что это связано с освободительным движением на юге, к которому на деле Пушкин практически не имел отношения.²⁶ В некоторых статьях на эту тему высказывается мысль, что Пушкин был выслан не за эпиграмму, а потому, что Воронцов хотел избавиться от «неблагонадежного» поэта. Сделаем еще один шаг – и причина неблагонадежности может быть понята и доказана.

Спустя четыре месяца, когда Пушкин уже был под надзором в Михайловском, Воронцов вдруг обрушивает свое неудовольствие на жену и Веру Вяземскую. В письме своему другу А.Я.Булгакову в Москву – а Булгаков был управляющим секретной дипломатической перепиской при главнокомандующем Москвы, и его почта не подвергалась цензуре – граф Воронцов говорит: «Мы считаем, так сказать, неприличным ее затеи поддерживать попытки бегства, задуманные этим сумасшедшим шалопаем Пушкиным, когда получился приказ отправить его в Псков».²⁷ А.Я.Булгаков в письме к брату в Петербург пояснял: «Воронцов очень сердит на графиню и княгиню Вяземскую, особливо на княгиню, за Пушкина, шалуна-поэта, да и поделом. Вяземская хотела покровительствовать его побегу из Одессы, искала ему денег, гребное судно...»²⁸

Воронцов, который в момент отъезда Пушкина находился на Кавказе, вернувшись, потребовал от жены прекратить все связи с Вяземской и был сердит на нее.²⁹ Из этого следовало предположение, что Воронцов узнал о планах побега Пушкина лишь после того, как поэт уехал из Одессы. Этот момент представляется, так сказать, сознательной забывчивостью губернатора. Правительство могло понимать, что после слухов о бегстве из Кишинева, а затем из Одессы Пушкин рано или поздно окажется за границей. Следовательно, ссылка на юг была ошибкой: шуку бросили в реку. Воронцов раньше знал о намерениях Пушкина бежать и понимал: вверху будут недовольны тем, что он не сообщил о готовящемся побеге. Вверху об этом знали и без Воронцова, но вслух этого не говорилось.

Пушкин пострадал из-за Воронцова. Но и Воронцов пострадал из-за Пушкина, правда, так сказать, ретроспективно. Ис-

торически получилось так, что вина пала на Воронцова. В сущности, поэт помешал Воронцову остаться в истории во всем блеске своих действительно выдающихся государственных заслуг. Впоследствии Пушкин по отношению к Воронцову вел себя хуже, чем Воронцов по отношению к поэту. Спустя десять лет поэт не без удовольствия запишет в своем дневнике о соблазнительной связи Воронцова с Нарышкиной (VIII.34). Воронцов же после высылки Пушкина из Одессы представил бесарабского поэта Костаке Стамати к ордену святой Анны за перевод пушкинского «Кавказского пленника». Когда Пушкин умер, Воронцов нанес визит его вдове. Девятнадцатый век уравнил их, поставив в Одессе памятники обоим – Воронцову даже в полный рост. После революции 1917 года их участи разделили по классовой полезности. Дворец Воронцова в Алушке после революции стал дачей для сталинских помощников и принадлежал поочередно нескольким членам Политбюро. Книги из уникальной библиотеки разворовали и уничтожили эти временные владельцы, их охрана и прислуга.

Итак, 1 августа 1824 года Пушкин отправился из Одессы в дальний путь на север – в направлении, противоположном своему желанию. Верный дядька Никита Козлов закинул в коляску чемоданы и укрыл от пыли рогожей. Если Никита знал о замыслах барина, то он был доволен: он ехал домой. Еще бы чуть-чуть – и тащиться ему в деревню одному, а хозяина его поминай как звали. Вопрос о том, чтобы взять слугу с собой в чужие края, перед Пушкиным и не возникал: с собой – значит вдвое дороже, да и риск больше. Коляска покатила.

Когда Пушкин двигался от моря в сторону материка, в каботажной гавани грузились пшеницей три судна, отправлявшиеся в Италию: «Пеликан», «Иль-пьяченце», «Адриано». И еще одно судно «Сан-Николо» готовилось отплыть в Константинополь. Принадлежало оно Джованни Ризничу. Не его ли капитан готовился принять в трюм нелегального пассажира? Два дня – и уже Босфор.³⁰

Несколько раз Пушкин пытался организовать побег за границу из Кишинева и Одессы, а теперь ехал в ссылку в Михайловское со старыми намерениями, надеясь на новые возможности. Вот и таможенная граница – черта порто-франко. Грязные, хамоватые стражники, шлагбаум. Никто не смотрел скромные

его пожитки: по документам, хоть и невысокого ранга, а все-таки правительственный чиновник.

В то самое время, когда Пушкин ехал из Одессы в Михайловское, любимый Пушкиным баснописец Иван Крылов в Петербурге сочинил и вскоре напечатал басню «Кошка и соловей». Поймала, рассказывает в басне Крылов, Кошка Соловья и говорит ему:

Не трепещися так, не будь, мой друг, упрям;
Не бойся: не хочу совсем тебя я кушать.
Лишь спой мне что-нибудь: тебе я волю дам
И отпущу гулять...

Некуда деваться Соловью из кошачьих объятий:

Худые песни Соловью
В когтях у Кошки.³¹

Предвидение баснописца оправдалось, хотя и не сразу. Кошка съела Соловья через тринадцать лет после его путешествия из Одессы в Михайловское. Иван Крылов сам закрыл глаза умершему Соловью, которому так и не удалось вырваться на свободу, сколько он ни пел. Соловей остался в когтях у русской власти. Но тогда, в августе 1824 года, по дороге в Михайловское, он созрел для более решительных действий.

Хроника вторая

ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА



Ищи въ чужомъ краю
Здоровья и свободы,
Но северъ забывать грешно
Моя судьба: носилъ
Кавказскій кафтанъ въ

*Ищи въ чужомъ краю здоровья и свободы,
Но северъ забывать грешно...*

Автопортрет и прощальная надпись, сделанные Пушкиным в блокноте дипломата Николая Киселева, которого поэт провожал за границу 14 июня 1828 года.

Глава первая

МИХАЙЛОВСКОЕ: УГОВОР С БРАТОМ

«Мне дьявольски не нравятся петербургские толки о моем побеге. Зачем мне бежать? Здесь так хорошо!»

Брату, около 20 декабря 1824.

Пушкин рассчитывал выбраться из Одессы в Италию или Францию на корабле, но вместо этого лошади несли его через южные степи и леса средней полосы в глушь, в Михайловское, которое местные жители называли Зуево. Не станем гадать, о чем он думал. Сохранились 119 писем Пушкина из Михайловского, множество писем к нему, воспоминания, доносы агентов тайной полиции, наконец, труды исследователей. Не только мысли, доверенные бумаге, но и мелкие высказывания поэта дошли до нас, благодаря заботам его друзей и врагов.

Правительственные чиновники считали, что новая ссылка послужит творческому сосредоточению Пушкина на благо русской литературы. Позже, когда Лермонтова сошлют за стихи на смерть Пушкина, официальный писатель Николай Греч публикует в Париже книгу «Исследование по поводу сочинения г. маркиза де Кюстина, озаглавленного «Россия в 1839 г.» В ней он объяснит западной публике, что ссылка Лермонтова послужила лишь на пользу поэту и дарование его на Кавказе развернулось во всей широте. Считается, что ссылка в Михайлов-

ское оказалась благотворной для Пушкина-поэта и Пушкина-человека.¹

Но были и есть другие мнения. «Или не убийство – заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской?.. Да и постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ссылка в деревне на Руси?» – писал князь Вяземский Александру Тургеневу.² Вяземский мрачно смотрел на возможности Пушкина выбраться из глуши: «Не предвижу для него исхода из этой бездны». На деле, пишет М.Цявловский, суровая ссылка в Михайловское отрезвила Пушкина и заставила «серьезно заняться планами бегства из России».³ По-видимому, Цявловский имеет в виду несколько игривое отношение к побегу, которое имело место в Кишиневе и Одессе. Теперь Пушкин переходит от романтизма к реализму и в своей собственной жизни.

Граф Воронцов уведомил Псковского гражданского губернатора Бориса Адеркаса о прибытии стихотворца Пушкина, «распространяющего в письмах своих предосудительные и вредные мысли».⁴ Губернатор получил также предписание от Прибалтийского генерал-губернатора Паулуччи «снестись с г. Предводителем Дворянства о избрании им одного из благонадежных дворян для наблюдения за поступками и поведением Пушкина, дабы сей... находился под бдительным надзором...»⁵ К этому предписанию Паулуччи приложил копию отношения министра иностранных дел Нессельроде к Воронцову от 11 июля. Пушкин еще в Одессе пытался довольно-таки беспечно совместить подготовку к побегу с наслаждениями, переживал неприятности, в которых частично сам был виноват, а в Псковской губернии о нем уже серьезно заботились.

Поэт объявился в Михайловском 9 августа 1824 года, не заезжая, как ему было велено, в Псков. Тут он застал родителей, брата и сестру. Адеркас связался с губернским предводителем дворянства князем Львовым, и они назначили новоржевского помещика Ивана Рокотова наблюдать за поведением прибывшего.

По вызову губернатора Пушкину пришлось приехать в Псков и дать подписку «жить безотлучно в поместии родителя своего, вести себя благонаравно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями, предосудительными и вредными общественной жизни, и не распространять оных никуда».⁶

Рокотов был «юным вертопрахом», которого Пушкин недолюбливал, хотя и встречался с ним. Сославшись на свое расстроенное здоровье, Рокотов от предложения следить за поведением сына Сергею Львовичу. Отец, как принято считать, по «слабости характера» принял это предложение, приведшее к тяжелому конфликту в семье Пушкиных. Душевное состояние самого поэта оставляло желать лучшего, что отразилось в его строках:

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю где проснусь.
Всегда гоним, теперь в изгнание
Влачу закованные дни (II.172).

Пошел пятый год его высылки из Петербурга, но только теперь, в Михайловском, он почувствовал положение, как он выразился, «ссылочного невольника». Его собственное выражение «изгнанник самовольный» находит новую форму в соответствии с обстоятельствами:

Подобно птичке беззаботной,
И он, изгнанник перелетный,
Гнезда надежного не знал
И ни к чему не привыкал.
Ему везде была дорога... (IV.154)

Он вспомнил, как его прадед тосковал по Африке, сидя в России. Одесса оказалась для Пушкина подлинным окном в Европу и по реальной возможности бежать, и по колориту своей беспечной жизни. В Михайловском он ясно это ощутил.

После южного солнца, волшебной красоты моря и европейского духа, которым жила Одесса, даже любимая им северная природа первое время угнетала Пушкина. Свинцовая одежда неба, изрытые дороги, хмурые леса, чахлые перелески и убогие деревеньки – «все мрачную тоску на душу мне наводит», –

отмечает он (II.187). Плюс одиночество, которое для человека общительного горше унылых пейзажей; «скучно, вот и все!» – резюмирует он в письме (X.80). И это потому, что «царь не дает мне свободы!» Через две недели в письме к княгине Вяземской в Одессу опять: «Я провожу верхом и в поле все время, которое я не в постели. Все, что напоминает мне о море, вызывает у меня грусть, шум ручья буквально доставляет мне страдание; я думаю, что голубое небо заставило бы меня заплакать от бешенства, но слава Богу небо у нас сивое, а луна точная репка» (X.81, часть текста по-фр.). Голубое небо здесь – наверное, Одесса. А в стихах силой воображения он отправляет себя туда, где бежит Гвадалквивир. Вот поэт стоит под балконом и ждет, когда испанка молодая проденет дивную ножку сквозь чугунные перила (II.186).

Друзья советуют ему сконцентрировать силы на литературе. «Употреби получше время твоего изгнания, – наставляет Дельвиг. – Нет ничего скучнее теперешнего Петербурга. Вообрази, даже простых шалунов нет! Квартальных некому бить. Мертво и холодно...» (Б.Ак.13.110). Вяземский опасается, что Пушкин сойдет с ума.

Пушкин, похоже, внимает разумному совету и сходитя с Музой. Он возвращается к начатому в Одессе стихотворению «К морю».

Мой души предел желанный!
Как часто по берегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

Мысль о несостоявшемся побеге приобретает звучание рефрена, а само стихотворение носит характер антиностальгический.

Не удалось навек оставить
Мне скучный неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег.

Причину того, почему он не уплыл за границу, Пушкин сводит к одному – к роману с женой Воронцова:

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

Тщетность усилий и сожаление о несовершенном – вот единственные заключения из всей истории, связанной с побегом:

Мир опустел... Теперь куда же
Меня ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещение иль тиран (II.180-181).

Дважды обращается Пушкин к стихотворению, добавляя и убирая строфы. И сразу же, с помощью Вяземского, печатает его, хотя и не полностью, в альманахе «Мнемозина». Что касается побега, то он, так сказать, был предан гласности. Пушкин не раз будет удивляться: откуда слухи о побеге? А в октябре 1825 года в журнале «Мнемозина» черным по белому написано о заветном умысле сочинителя Пушкина и его стремлении навек (то есть навсегда) оставить этот брег. Поэт так и не завершил стихотворение «К морю», хотя, видимо, сам чувствовал, что оно не доработано, коль скоро возвращался к нему не раз.

Символ моря пройдет через всю последующую поэзию Пушкина. И всю свою жизнь он будет чувствовать могущество этой стихии, которая способна как перенести человека в волшебные заморские страны, так и поглотить его. Образ моря расширяется в воображении поэта, меняется в зависимости от настроения. Появляется «жизненное море», история в виде «моря минувшего», «море грядущего», «огненное море», «ужас моря», даже «адское море». Но море останется только в его воображении: живого, настоящего моря Пушкин больше не увидит.

Он не находит себе места, не знает, чем заполнить пустоту дней, ему не работается. «Бешенство скуки» – это напряжен-

ное состояние овладело им с конца октября 1824 года, после ссоры с отцом. Ведь отец взял на себя обязанность распечатывать переписку и сообщать обо всех шагах старшего сына. И приказал младшему не знаться с этим чудовищем, с этим выродком. Мы не знаем, что в точности произошло в те дни; действительно ли Александр подрался с отцом и даже, как тот утверждал, избил его. Но возникает реальная угроза обвинения в рукоприкладстве, отягощенная нарушением Заповеди: сын поднял руку на отца своего.

Пушкинисты в этом конфликте единодушны. Они приняли сторону сына и обвиняют отца в шпионстве. Нам кажется, отец боялся не за себя и не выслуживался, когда дал согласие наблюдать за сыном. Может быть, он решил, что будет лучше, если он, а не чужой человек, сделает это, раз уж необходимо? Не станет доносить, но, наоборот, покроет, если что не так. Ни сын, ни отец никогда не упоминали, что Сергей Львович вскрыл хотя бы одно письмо. Ни о чем никуда он не сообщал. Если он и читал нотации, то делал это из благого желания охранить сына от еще более страшных последствий, нежели эта ссылка под отеческое крыло. Не одним нам кажется, что Пушкин был несправедлив, обвиняя отца. Сестра Ольга в этом конфликте взяла сторону брата, а друг Дельвиг сторону отца. Жуковский и соседка из Тригорского Осипова считали, что вина делится пополам.

Разгоряченный конфликтом, Пушкин сообщал Жуковскому: «Я вне закона», умоляя спасти его. Поэт отправил поспешное прошение Псковскому губернатору Адеркасу, жалуюсь, что в доме ненормальная обстановка, и прося ходатайствовать перед императором о переводе его из Михайловского в одну из крепостей. Человек, посланный с прошением в Псков, не нашел там губернатора (может, кто-то, например, Осипова подучила не найти?). К счастью, через неделю письмо вернулось обратно, так и не получив хода.

Жуковский, пользуясь придворными связями, начал хлопоты о переводе Пушкина в Петербург, что поэта вовсе не обрадовало. В письме к брату он заявляет категорически: «не желаю быть в Петербурге, и верно нога моя дома уж не будет» (X.85). А о том, что в действительности происходит в семействе Пушкиных, он предпочитал помалкивать. И это не случайно. Пер-

вый биограф поэта Павел Анненков считал даже, что скандал и драку в доме выдумали Пушкин со своей соседкой Осиповой специально, чтобы напугать Жуковского и заставить его заняться освобождением поэта из Михайловской кабалы. Нам же кажется, дело в другом.

Именно в эти дни Пушкин начинает усиленно обсуждать с братом Львом возможности своего побега за границу. В начале ноября Лев Сергеевич отбывает из Михайловского в Петербург, увозя некий разработанный план, который они начинают осуществлять. Об этом плане чуть позже. А сейчас – о нашем предположении, что семейный конфликт произошел, возможно, из-за того, что отец узнал об этом плане и стал ему противиться. Это и вызвало неадекватную реакцию старшего сына. Замысел сыновей поверг отца в ужас непредсказуемыми последствиями для обоих детей. И тогда становится понятным приказание отца младшему брату не знаться с этим выродком, который хочет нелегально скрыться за границу.

Сергей Львович в отчаянии наблюдал, как его старший сын вдруг начал отращивать бакенбарды, чем полностью переменял свою внешность. Для уезжавшего брата Левушки Александр составил список вещей, необходимых для будущей дороги. Он периодически брал пистолеты и отправлялся к погребу, позади бани. Там он палил так, будто готовился к серьезной схватке. Тревога охватила семью. Приятель Пушкина Соболевский позже сочинил для Ольги, с которой он дружил, эпиграмму такого содержания:

Что помышляют ваши братья,
В моей башке не мог собрать я.⁷

Когда Александру I был доставлен рапорт о том, что в Петербурге появился Пушкин, царь решил, что без разрешения вернулся опальный поэт. Его величество успокоился, когда ему сообщили, что приехал младший брат ссыльного Лев.

Я зрел врага в бесстрашном судии,
Изменника в товарище, пожавшем
Мне руку на пиру (III.429).

На самом деле, если бы Пушкин посвящал в свои замыслы меньшее количество людей, шансов на реализацию плана было бы больше. То и дело у него, поднадзорного, происходила утечка информации. Вот почему вслед отъехавшему брату от поэта летит письмо с мольбой о том, чтобы просить Жуковского молчать о конфликте в семье. Брату поэт опять напоминает: «И ты, душа, держи язык на привязи» (X.84). Александр просит прислать ему калоши, спички, игральные карты, рукописную книгу, перстень и портрет Чаадаева, путешествовавшего в это время по Западной Европе. Несмотря на болтливость, особенно после шампанского, подробностей замысленного побега, а тем более своей роли в нем, Левушка не афишировал.

Никаких последствий ссора с отцом не имела, но осадок в душе сына оставила. Был даже момент, когда Пушкин стал думать о самоубийстве: упоминание об этом встречается дважды в его рукописях. «Стыжусь, – пишет Пушкин Жуковскому, – что доселе не имею духа исполнить пророческую весть, которая разнеслась недавно обо мне, и еще не застрелился. Глупо час от часу долее вязнуть в жизненной грязи» (X.509, черновик).

Отказавшись от надзора, Сергей Львович уехал в Петербург, захватив жену и дочь. Семейная туча прошла; оставшись один, Пушкин успокоился, воспрял духом. В рукописях имеется набросок большого и, можно сказать, программного стихотворения, начатого в день отъезда Левушки и оставшегося незаконченным. Но по рукописи, по сей день до конца не расшифрованной, можно понять намерения автора. Текст настолько важен, что приведем его полностью.

Презрев и голос укоризны,
И зовы сладостных надежд,
Иду в чужбине прах отчизны
С дорожных отряхнуть одежд.
Умолкни, сердца шепот сонный,
Привычки давней слабый глас,
Прости, предел неблагоклонный,
Где свет узрел я в первый раз!
Простите, сумрачные сени,
Где дни мои текли в тиши,

Исполнены страстей и лени
И снов задумчивых души.
Мой брат, в опасный день разлуки
Все думы сердца – о тебе.
В последний раз сожжем же руки
И покоримся мы судьбе.

Итак, судьба поэта в том, как объясняет он брату, чтобы добраться до заграницы и там отряхнуть прах отчизны. На Льва возложены определенные организационные функции, от него многое зависит, именно поэтому «все думы сердца» – о нем. Далее в этом стихотворении осталось недописанным следующее:

Благослови побег поэта
.....
. . . где-нибудь в волнение света
Мой глас вспомни иногда.
Умолкнет он под небом дальним
..... сне,
Один печальным
Угаснет в чуждой стороне.
Настанет час желанный,
И благосклонный славянин
К моей могиле безымянной...

В черновике имеется несколько вариантов разных строк, которые помогают постичь мысли поэта, увидеть колебания и – принятое решение.

Так! (я) решил(ся): прах отчизны
С дорожных отряхну(ть) одежд,
Презрев сердечны укоризны
И шепот сладостных надежд.

Для «сладостных надежд» имеется замена «обманчивых надежд», что более логично. В окончании стихотворения есть черновой вариант, проясняющий мысль автора, в основном тексте не очень ясную: соплеменники к его могиле под чуждым небом не придут.

Но русский . . . не посетит
Моей могилы безымянной (Б.Ак.2.349, 879-881).

Наверное, было б практичнее сначала удрать из страны, а затем сочинять прощальное стихотворение. Так мог поступить другой человек, но не Пушкин. Поэтическое расставание с родиной весьма сдержанно, без особых эмоций, жалоб и обид. Поэт простился – теперь осталось только выехать.

В Михайловском, как обычно пишут, Пушкин остался с няней Ариной Яковлевой, которую с легкой руки мемуаристов записали ему в профессора фольклора. Эта носительница народной мудрости и народного духа была добрая, заботливая, безграмотная женщина, большая любительница выпить и к тому же сводня. Она с ним дегустировала самогон и наливки, секреты приготовления которых знала, и выпивку всегда держала наготове. Она приводила к нему на ночь крепостных девушек, если барину не спалось, и спроваживала их, когда барин в их присутствии больше не нуждался. Кроме нее, Пушкина обслуживали дочь Арины Родионовны Надежда, муж Надежды Никита Козлов, так называемый дядька, преданный своему хозяину до могилы, и двадцать девять человек дворни.

В имении было много неполадок: нищета, воровство старосты, повальное пьянство. Пушкину все равно, работают люди или пьют. Он уже простился и с имением, и с этой страной. Лев в Петербурге должен уладить финансовые дела поэта с издателями, пристроить кое-что из неопубликованного, получить денег побольше, а также закупить ему журналы, книги и французскую Библию. А главное, прислать нужные в дороге вещи и адреса. Перед самым Новым годом он отправляет Льву еще один список необходимого, в нем дорожная чернильница, дорожная лампа, спички, сапожные колодки, две Библии, часы, чемодан. Этого сообщения нет в Малом академическом собрании сочинений (Б.Ак.13.133). М.А.Цявловский писал, что в рукописях имеется листок, вложенный в одно из декабрьских писем 1824 года, и комментировал: «Поэт в это время собирался нелегально уехать за границу, и в посылавшемся списке перечислялись вещи, необходимые Пушкину в дороге».⁸

Все это надо делать в строжайшей тайне. «Зачем мне бежать? Здесь так хорошо!» – он пишет, конечно, не для брата, а для промежуточного читателя его писем. Конспирации ради в ноябре Пушкин переводит свою переписку на соседей в Тригорском, прося посылать ему письма «под двойным конвертом» на имя одной из дочерей Осиповой. Вяземский должен для конспирации подписывать письма «другой рукой». А свои письма брату и сестре (видимо, посланные с оказией) он велит сжигать. Поэт требует от брата 4 декабря 1824 года: «Лев! сожги письмо мое!» И адресаты сжигали. Жгли даже те письма, которые получали по почте, а значит, они перлюстрировались. Поэтому теперь нет возможности точнее узнать, что и как происходило.

Тригорские соседки скрашивали предотъездные дни поэта и даже участвовали в его хлопотах, правда, по-разному. Прасковью Александровну Осипову Пушкин считал своим другом, доверенным в личных делах. На нее шла переписка, она была связана со столичными друзьями и знакомыми поэта. Незадолго до этого Осипова овдовела во втором браке и больше интереса стала проявлять к светскому общению. При этом была она человеком суровым. Дочери называли ее деспотичной и считали, что она исковеркала их судьбы. Скандалы в семье бывали часто, а для разрядки нервного напряжения Прасковья Александровна выходила на кухню и хлыстом секла прислугу.⁹

По приезде Пушкин быстро сошелся с Алексеем Вульфом, сыном Осиповой от первого брака, но через несколько дней тот укатил в Дерпт, где учился в университете. Пушкин коротал время с дочерьми и с племянницей Осиповой, бывая у них почти каждый день. Сестре он писал, что тригорские приятельницы «несносные дуры, кроме матери» (Х.90). Это не мешало ему волочиться за всеми одновременно и за каждой по очереди, включая мать, которая, по словам Александра Тургенева, любила его как сына.

Между тем в обеих столицах поползли слухи о том, что Пушкин собирается бежать из ссылки за границу. Хотя в стихах он говорил только о прошлых намерениях, слухи распространились – о предстоящих. Источник их был почти сорок лет неясен, пока П.И.Бартенев не опубликовал письма Осипо-

вой Жуковскому. Оказалось, 22 ноября 1824 года она, верный друг Пушкина, написала Жуковскому секретное письмо.

«Я живу в трех верстах от с. Михайловского, где теперь А.П., и он бывает у меня всякий день, — писала Осипова. — Желательно бы было, чтобы ссылка его сюда скоро кончилась; иначе я боюсь быть нескромною, но желала бы, чтобы вы, милостивый государь Василий Андреевич, меня угадали. Если Алекс. должен будет оставаться здесь долго, то прощай для нас Русских (с заглавной буквы в оригинале. — Ю.Д.) его талант, его поэтический гений, и обвинить его не можно будет. Наш Псков хуже Сибири, а здесь пылкой голове не усидеть. Он теперь так занят своим положением, что без дальнего размышления из огня вскочит в полымя; а там поздно будет размышлять о следствиях. Все здесь сказанное не пустая догадка, но прошу вас, чтоб и Лев Сергеевич не знал того, что я вам сие пишу. Если вы думаете, что воздух и солнце Франции или близлежащих к ней через Альпы земель полезен для русских орлов, и оный не будет вреден нашему, то пускай остается то, что теперь написала, вечной тайной... Когда же вы другого мнения, то подумайте, как предупредить отлет».¹⁰

Осипова писала искренне. Она просила Жуковского ничего не говорить Льву Сергеевичу только для того, чтобы через брата Льва сведения о ее заботах не вернулись в Михайловское. Больше того, 26 ноября Осипова сделала на календаре пометку для памяти: «Писала через Псков... к Жуковскому... к С.Л.Пушкину». Похоже, и отцу, с которым сын поссорился, Осипова спешила по секрету сообщить новые подробности побега. А письма внимательно читали и в Пскове, и в Петербурге. Чуть позже Осипова приехала в столицу и там, по-видимому, рассказала знакомым, что михайловский пленник собирается бежать. Пушкин об этом предательстве и не подозревал. Спустя десять лет, незадолго перед смертью, изъяснялся он Осиповой в вечной дружбе, не ведая, что она в этой дружбе играла, мягко говоря, не совсем благородную роль. Патриотический порыв Осиповой вряд ли ее оправдывает. Уж легче понять ее желание не порвать с Пушкиным отнюдь не платоническую связь.

Слухи о побеге стали опасными. Забеспокоился брат Лев. «По Москве ходят о том известия, — писал он князю Вязем-

скому, – дошедшие и к нам, которые столь же ложны, сколько могут быть для него вредны».¹¹ Лев беспокоился за себя, ведь именно в это время он выполнял поручения брата. Видимо, контакты затруднены, и приходилось слать письма открытой почтой. Они зашифрованы, но довольно прозрачно: «Когда будешь у меня, то станем трактовать *о банкире, о переписке, о месте пребывания Чаадаева* (подчеркивает Пушкин. — Ю.Д.) Вот пункты, о которых можешь уже осведомиться» (X.92).

Здесь все самое важное. «О банкире», то есть что нужно сделать, дабы получить деньги и переправить их за границу. А может, имеется в виду кто-либо из конкретных богатых друзей, кто мог встретить за границей и дать взаймы? «О переписке» – через кого и куда слать корреспонденцию, чтобы держать связь, минуя официальную почту, которая, конечно, перлюстрируется. «О Чаадаеве» – выяснить его адрес в Европе.

Петр Чаадаев (Пушкин об этом знал) в конце 1823 года, путешествуя по Европе, переехал из Лондона в Париж, оставаясь там до осени и перебрался в Швейцарию. В те дни, когда Пушкин отправил брату процитированное нами послание, Чаадаев, пребывающий за границей уже пять лет, пишет брату из Милана в Москву письмо, из которого ясно, что он ждет Пушкина, но плохо понимает, что происходит. «Может быть, кто-нибудь из моих знакомых погиб; до тебя никогда ничего не дойдет, но нельзя ли отписать к Якушкину и велеть ему мне написать, что узнает про общих наших приятелей; особенно об Пушкине (который, говорят, в Петербурге), об Тургеневе, Оленине и Муравьеве».¹²

Резиденция Чаадаева в Европе была самым подходящим местом для того, чтобы туда поступала почта и деньги для беглеца. Чаадаев все бы исполнил исправно, но нужно знать его адрес в Милане и его планы, чтобы не разминуться с ним. Сочиняя в это время «Евгения Онегина», Пушкин думает о связи с Чаадаевым: на полях черновика рисует его профиль.

Хлопотами брата издатель и друг Плетнев прислал Пушкину 500 рублей. Пушкин рассчитывался с долгами. Время приближалось к Рождеству.

Глава вторая

СЛУГА НЕПОКОРНЫЙ

*Давно б на Дерптскую дорогу
Я вышел утренней порой...
20 сентября 1824 (П.172).*

К Рождеству Пушкин с нетерпением ожидал приезда из Дерпта на зимние вакации сына Осиповой Алексея Вульфа, а из Петербурга – брата, чтобы провести решающее секретное совещание для обсуждения путей побега.

Приведенные в эпиграфе строки свидетельствуют о том, что Пушкин размышлял, как вырваться из Михайловского хотя бы на время. В упомянутом стихотворении он сожалеет, что нельзя отправиться в Дерпт, а затем добавляет: «И возвратился б оживленный...» Но поскольку поэт под надзором, лучше Вульфу с другим Дерптским студентом поэтом Николаем Языковым приехать по пьянствовать и повлюбляться сюда, где (Пушкин, однако же, не забывает прибавить) его предок думал «о дальней Африке своей».

Еще Павел Анненков писал, что «заветной мечтой Пушкина с самого приезда его в Михайловское сделалось одно: бежать из заточения деревенского, а если нужно, то и из России». ¹ Мечта эта, как мы теперь знаем, была давно. И бежать из заточения было некуда, кроме как за границу. Куда же еще? Но чтобы осуществить эту мечту теперь, следовало

осмотреться, подготовиться, наконец, сделать то, что Пушкину толком не удавалось никогда, — схитрить.

Пушкин осмотрелся, планы его вновь обретают плоть, но хитрее он не становится. Намеки в письмах весьма прозрачны. Думается, в результате этого в декабре за ним устанавливается слежка. Сосед Алексей Пещуров, отставной штабс-капитан лейб-гвардии и предводитель дворянства, берет на себя наблюдение за поведением Пушкина, о чем последний, возможно, не догадывается и не тяготится этой опекой, охотно бывая у Пещурова в гостях.

Около 15 декабря 1824 года Вульф объявился в Тригорском на Рождественские каникулы и пробыл в имении у матери около месяца. Пушкин быстро сблизился с ним и вскоре стал испытывать к нему чувство доверия, столь необходимое для нелегального дела. Лев Сергеевич все еще задерживался. «Вульф здесь, — сообщает Пушкин брату не позднее 20 декабря, — я ему ничего еще не говорил, но жду тебя — приезжай хоть с Прасковьей Александровной (Осиповой. — Ю.Д.), хоть с Дельвигом; переговорить нужно непременно» (X.91). Дельвиг упомянут, так как он тоже собирается в гости к Пушкину. Но брат не спешит появиться в Михайловском, а Вульф уже здесь. Они начинают совещаться вдвоем, хотя в дела сразу же оказываются посвященными сестры и родственницы Вульфа, за которыми ухаживают оба заговорщика.

Алексею Вульфу, как раз в день начала переговоров, 17 декабря, исполнилось девятнадцать лет. Он был на шесть лет моложе Пушкина. Истинный ловелас, влюблявшийся в деревне поочередно во всех своих кузин, не говоря о прочих, собутыльник и соперник Пушкина, Вульф часто оказывался более удачливым в достижении желаемого. Этот зеленый юнец уже второй год изучал в Дерптском университете военные науки, был неплохо образован, начитан, глубок в суждениях. «Он много знал, — писал о нем Пушкин, — чему научаются в университетах, между тем, как мы с вами выучились танцевать... Его занимали предметы, о которых я и не помышлял». Впрочем, и легкомыслия Вульфу было не занимать. Позже он и другие студенты вытащили из Домского собора в Риге скелет, назвав его предком Дельвига. Череп достался Пушкину, и тот подарил его Дельвигу со стихами.

Проблема бегства для Вульфа была игрой, а для поэта делом жизни. В этот период было два Пушкина: мрачный дома и веселый, оживленный, обаятельный в Тригорском. Вульф потом вспоминал, что ими замышлялись «различные проекты, как бы получить свободу».² «Студент Ал.Н.Вульф, сделавшийся поверенным Пушкина в его замыслах об эмиграции, сам собирався за границу, – писал Анненков. – Он предлагал Пушкину увести его с собой под видом слуги. Но сама поездка Вульфа была еще мечтой».³ Анненков первый отметил желание Пушкина эмигрировать из России, что позже ускользнуло из поля зрения пушкинистов.

Вариант Вульфа, которым оба загорелись, на первый взгляд, был сравнительно легко осуществим, и в новогодних мечтах поэт уже видел себя за границей. Профессор Дерптского университета Петухов в статье «Два года из жизни Пушкина» напишет: «А.Н.Вульф был также главным участником в разработке неудавшегося плана Пушкина бежать за границу. Пушкин, которому так и не удалось в своей жизни повидать чужие края, постоянно однако же лелеял мечту о поездке своей за границу, которая манила его воображение широтой свободной общественной жизни и своими литературными и культурными центрами».⁴

Проект, как Вульф сам рассказал после в воспоминаниях, состоял в следующем. «Пушкин, не надеясь получить в скором времени право свободного выезда с места своего заточения, измышлял различные проекты, как бы получить свободу. Между прочим, предложил я ему такой проект: я выхлопочу себе заграничный паспорт и Пушкина, в роли своего крепостного слуги, увезу с собой за границу».⁵ Приведем еще одну цитату: «Я хочу бежать из этой страны. Просьба моя к вам – взять меня с собою. Вы выдадите меня за вашего слугу. Достаточно простой приписки к вашему паспорту, чтобы облегчить мне бегство». Это из новеллы Проспера Мериме «Переулок госпожи Лукреции».⁶ Новелла была опубликована через девять лет после смерти почитаемого им русского поэта, которого он много переводил. Что это – случайное совпадение или запомнившиеся Мериме рассказы друзей Пушкина Александра Тургенева и Сергея Соболевского, с которыми французский писатель общался?

Вульффу получить заграничный паспорт было сравнительно не трудно и удобнее всего, по-видимому, на следующие каникулы, а именно летом. Пушкина он впишет в свою подорожную в качестве слуги, что также практиковалось часто. Таким образом, оба пересекают границу в коляске Вульфа. Рассказывая об этом проекте сорок лет спустя, Вульф был краток и шутлив. Он сразу оговорился, назвав план «юношеским», то есть несерьезным: «Дошло ли бы у нас дело до исполнения этого юношеского проекта, не знаю; я думаю, что все кончилось бы на словах...»⁷

Однако тогда план начал осуществляться не на словах, а весьма серьезно. Вместе с тем поездка зависела от некоторых обстоятельств: финансовых и учебных для Вульфа, а для Пушкина административных. Впрочем, дружа с Пушкиным, и Вульф наверняка попал на заметку осведомителей. Не следует также забывать, что ему было всего 19 лет, а мать его отнеслась к идее поездки сына с Пушкиным за границу отрицательно. Наконец, чем детальнее друзья обсуждали проект, тем очевиднее становился риск.

Дорога от Михайловского до Дерпта (мы ее проехали, чтобы лучше представлять реальность) сейчас длиной 294 километра, а тогда дороги петляли между болотами и оврагами. При поездке на лошадях, как писали путешественники, можно было преодолеть 150–200 верст в сутки. Значит, до Дерпта беглецам надо было добираться полтора–два дня. Дерпт, который в процессе русификации стал Юрьевым, а теперь называется Тарту, был, по существу, воротами в Западную Европу. Из Дерпта за две с половиной сотни лет до этого бежал в Литву Курбский, и Пушкин, разумеется, знал об этом, не случайно помянув сына Курбского в «Борисе Годунове». От этого города было рукой подать до Германии. Но «рукой подать» составляло до Таурогена, принадлежавшего России (сейчас Таураге, Литва), и далее до германского Тильзита (превращенного после второй мировой войны в Советск), – 488 километров, то есть еще около трех дней пути. А там уже настоящая Европа – езжай, куда хочешь.

Выезд за границу, если довериться описанию Карамзина, был весьма прост: нудной и грязной была лишь дорога до границы, особенно в плохую погоду. Паспорт Карамзин легко

справил в Московском губернском правлении, дабы ехать по суше, через Ригу и Дерпт, а в Петербурге передумал и хотел сесть на корабль, чтобы быстрее оказаться в Германии. Для этого надлежало «объявить» паспорт в адмиралтействе. Там знакомая ситуация: «надписать» паспорт отказались, так как в нем был указан путь не по воде. Пришлось следовать, как предписано, но это было единственное огорчение. На заставе майор принял путешественника учтиво и после осмотра велел пропустить.⁸

Второй раз Карамзин просто бросил стражникам 40 копеек, чтобы не рылись в его чемодане. На деле, однако, запрещение сменить маршрут было не бюрократической закорючкой, но указывало на непростую систему выезда из страны. О появлении того или иного субъекта с указанием его примет и того, что он может вывезти или ввезти недозволенного, кто с ним следует и прочее, полиция уведомляла заставу заранее спецпочтой или даже курьером. На заставе опытные сыщики беседовали с выезжающим, выясняя, тот ли он, за кого себя выдает. Так что подозрительное лицо вполне могли задержать.

Исчезновение Пушкина, которому было запрещено отлучаться из Михайловского, заметили бы сразу. Перехватить беглеца в дороге не стоило труда, тем более что проезжать надо было вблизи Пскова. И уж на границе их непременно бы задержали. В этом случае каторга грозила и Вульффу как сообщнику. Но самым рискованным пунктом плана мог стать именно гостеприимный Дерпт. Не говоря уже о том, что он кишел осведомителями, возможность встретить знакомых, едущих из Петербурга в Европу или возвращающихся обратно, была слишком большой. Появись ссыльный Пушкин в Дерпте нелегально, за этим немедленно последовали бы неприятности. Вот почему заговорщики вскоре параллельно стали обдумывать и другой план: как появиться в Дерпте на законном основании, чтобы затем найти возможность осуществить второй этап.

Трудности упирались в одно: отсутствие официального разрешения на выезд за границу, для которого нужен веский повод. Этот повод был без долгих размышлений предложен Пушкиным, поскольку он уже сочинялся им раньше в Одессе: опасная, лучше всего смертельная болезнь, вылечить которую здесь

нельзя, а значит необходимо квалифицированное (читай: заграничное) хирургическое вмешательство. Сообщение о принципиальной возможности получить разрешение, то есть о том, готовы ли друзья хлопотать за Александра в высших кругах, должен был привезти Лев, а он не ехал. Но 11 января 1825 года неожиданно в Михайловском появился лицейский друг Пушкина Иван Пущин.

Оба они не оставили ни строки относительно проблемы, которая больше всего в то время волновала поэта, хотя даже мелкие подробности их встречи, времяпрепровождения и прощания можно прочитать в воспоминаниях. Факт любопытный! Позволим себе усомниться в том, что тема эмиграции не была ими затронута.

Судья Пущин нашел Пушкина несколько серьезнее прежнего, однако сохранившим веселость. Пили они за Русь, за лицей, за отсутствующих друзей, даже, вроде бы, за революцию. Одиннадцать месяцев оставалось до выхода на площадь тех офицеров, которых стали называть декабристами. Пущин членом их тайного общества уже был, но на серьезные вопросы поэта не отвечал. Пушкин понял и не обиделся, сказав: «Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого не стою – по многим моим глупостям».⁹

У Пущина были основания для скрытности. Много лет спустя, пройдя каторгу, он спрашивает себя: что было бы с Пушкиным, привлеки он его тогда к тайному обществу? Сибирь, если бы и не иссушила его талант, то не дала бы развиваться. Пушкину, по мнению Пущина, необходимо было разнообразие, «простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были сверх того могущественнейшими вдохновениями. В нашем же тесном и душном заточении природу можно было видеть только через железную решетку, а о живых людях разве только слышать».¹⁰ Оставим в стороне вопрос о том, был ли бывший заключенный Пущин свободен от внутренней цензуры, когда писал воспоминания. Но почему у него не возникло вопроса: а предложи он Пушкину быть членом тайного общества, Пушкин согласился бы? Соответствовало ли это его планам? И, думается, отрицательный ответ на эти вопросы более отвечает истине. Для Пущина неволя была впереди, для поэта она была реальностью, от которой надо было бежать.

Пуцин был скрытен с другом, а Пушкину скрывать нечего. Наоборот, ему нужен дельный совет давнего друга. Вот почему нам кажется, что тема бегства из России висела в воздухе во время пребывания Пуцина в Михайловском. Косвенное доказательство в том, что он привез и они читали рукопись Грибоедовского «Горе от ума».

Пушкин еще раньше в письме к Вяземскому интересовался комедией Грибоедова, в которой (до Пушкина дошли слухи) выведен Чаадаев. Читая, слушая, споря, Пушкин видел перед собой автора, который презирал окружающую его реальность не меньше, чем он сам. Понимал ли Пушкин то, что позже сформулирует Грибоедов: горстка прапорщиков не перевернет Россию? Впрочем, он и сам мог высказать подобную мысль. А где же выход? Грибоедов указал его недвусмысленно: «Бегу, не оглянусь...»

Сто лет спустя Николай Бердяев определит образ русского интеллигента так: «Русский скептик есть западный в России тип». Если воздуха не хватает, для интеллигентного человека остается один выход. Литературная концепция наложилась на жизненную. Грибоедов эту ситуацию описал: «И вот та родина... Нет, в нынешний приезд, я вижу, что она мне скоро надоест». Практически Пушкин копировал Чацкого: «Карету мне, карету! Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок». Только сделать это надо было, в отличие от Чацкого, тихо.

Пушкин нуждался в помощи друзей, а ни брат, ни Дельвиг не приезжали. Пуцин же видел положение русского интеллигента в ином свете: он думал о переустройстве России и своем месте в этом процессе. Ни практических советов, ни помощи в финансировании предприятия Пуцин предложить не мог, кроме банального совета попытаться выхлопотать разрешение.

Могли они также, по-видимому, договориться, что Пуцин подаст сигнал, чтобы Пушкин тихо прикатил в Москву. Это не наша гипотеза: Анна Ахматова заметила, что задуманный как раз в это время Дон Гуан приезжает тайно в столицу, чтобы повидать друзей, и это, по ее мнению, несомненная параллель с биографическим эпизодом сочинителя. Как это часто бывает, творческое воображение поэта опережало, а иног-

да и вообще заменяло непосредственные поступки. Сам Пушкин в это время разбил руку: лошадь поскользнулась на льду, и он упал.

С легальным отъездом было не так легко, как друзья могли предполагать. Пушкин из конспирации поехал не специально к Пушкину: целью поездки было навестить сестру, Екатерину Набокову. И все-таки во время пребывания Пушкина в Михайловском явился священник Иона, дабы проверить поведение хозяина и гостя, а затем сообщить по инстанциям. В результате полиция, правда, спутав Ивана Пушкина с соседом поэта Павлом Пушциным, который хотел в то время поехать за границу, разрешения на поездку последнему не выдала. Полиция ошибалась, но следила внимательно.

Серьезно ли поэт готовился к отъезду? Пушкин подчеркивал, что относится к литературе как к явлению универсальному. Словно вспомнив детство, он написал стихотворение по-французски: может быть, готовился к творческой деятельности в новой стране? О чем эти стихи? О розе, которая отделилась от родного стебля, – вполне прозрачная аналогия. На практике же Пушкин не рвал деловые связи, он беспокоился о публикациях в Петербурге и Москве, об ошибках и пропусках, отправил к Плетневу в Петербург поправки к «Евгению Онегину». Поэт жил по возможности полной жизнью, проводил время то в Тригорском, то с Ольгой, дочерью приказчика Калашникова, и она уже забеременела от него. Калашников стал в это время нужным человеком, и Пушкин ему доверял. Он возил письма в Петербург: три дня туда и столько же обратно, и письма эти миновали, таким образом, почту. Возил он также рукописи, книги и вещи, которые Лев посылал в Михайловское.

Через три или четыре дня после приезда Пушкина Вульф должен был уехать в Дерпт на следующий семестр, а окончательное решение не приняли и даже не договорились о шифре для переписки. Одной из нерешенных загадок пушкинистики остается исчезновение всех писем Вульфа, которые он посылал Пушкину. Существует предположение, что письма эти, содержащие нежелательные для постороннего глаза сведения, Пушкин сжег вместе с другими своими бумагами, когда ждал обыска.¹¹

Простившись с Пуциным и Вульфом, поэт сидит у моря и ждет погоды, как он сам написал в письме. Брат так и не прибыл. Родители и друзья отговорили Льва Сергеевича ехать, запугав строгими карами, которым он мог подвергнуться за помощь брату в бегстве за границу. Пушкин пытается доказать Льву, что брат за брата не ответчик. «Твои опасения насчет приезда ко мне вовсе несправедливы, — пишет он в конце января или начале февраля 1825 года. — Я не в Шлиссельбурге, а при физической возможности свидания лишить одного двух братьев была бы жестокость без цели, следственно вовсе не в духе нашего времени, ни...» (X.98) Строчка осталась не оконченной, мы можем лишь гадать, что еще поэт имел в виду.

Но Лев имел основания испугаться. В дни, когда Пушкин отправляет из Михайловского это письмо, в Петербурге выходит отдельной книжкой первая глава «Евгения Онегина», написанная еще в Кишиневе и Одессе. В ней черным по белому было написано:

Когда ж начну я вольный бег?
Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии... (V.25-26)

Открывается книга посвящением помощнику в побеге брату Льву. В письмах Пушкин полон уверенности, что на русском Парнасе скоро произойдут перемены. Не очень понятно, о каких переменах идет речь. Между тем Жуковский писал Пушкину: «По данному мне полномочию предлагаю тебе *первое* (подчеркнуто Жуковским. — Ю.Д.) место на Русском Парнасе» (Б.Ак.13.120). От первого места Пушкин отказывается. Вместо этого он назначает сам себя министром иностранных дел на Парнасе, что более соответствует его интересам, а на Русском Парнасе он оставляет вместо себя Рылеева. В этой игре словами, кажется нам, тоже отразились мысли Пушкина о бегстве.

Глава третья

ЛЕГАЛЬНО, ДЛЯ ОПЕРАЦИИ

«Если бы Царь меня до излечения отпустил за границу, то это было бы благодеяние, за которое я вечно был ему и друзьям моим благодарен».

Жуковскому, между 20 и 25 апреля 1825.

Во время Рождественских каникул в разговорах с Алексеем Вульфом Пушкин то и дело возвращался к вариантам отъезда. Примерно в то же время он сочиняет несколько странное произведение, которое он никак не озаглавил, но которое названо пушкинистами «Воображаемый разговор с Александром I». Разумеется, опубликован этот набросок не был. С трудом расшифрованный текстологами черновик в сочинениях Пушкина печатается сплошным потоком, без абзацев. Между тем в нем звучит явный диалог царя с поэтом о поведении последнего.

Разговор идет дружеский и непринужденный, но строгий. Поразительно то, что поэт предвидел разговор, состоявшийся с царем, правда, с другим, полтора года спустя. В рукописи соседствуют мысли, противоречащие одна другой. Но самое интересное для нас видится в конце. Сперва Пушкин написал, что он сделал бы с поэтом на месте царя Александра: «Я бы тут отпустил А.Пушкина». Заветное желание оформилось в своего рода записанный сон: отпустить, конечно же, за грани-

цу. Затем Пушкин зачеркнул эту мысль и написал, что император бы «рассердился и сослал его в Сибирь» (Б.Ак. 11.24 и 298). Было предположение, что воображаемый разговор с царем мог быть написан Пушкиным специально для друзей. Такова мысль С.М.Бонди.¹

Трудно ответить на вопрос, насколько серьезной была альтернатива ссылки поэта в Сибирь: все-таки времена для дворянства изменились. Чтобы выбраться из России, у Пушкина каждый раз были два варианта: легальный и тайный. Каждый раз, испытав тщетность одного, он, естественно, обращался к другому. Переходы эти сопровождалась унынием, упадком сил, потерей уверенности. Подчас неверие в достижение результата приходило еще до очередной попытки. Вот и теперь, весной 1825 года, состояние у него не очень хорошее, но все же лучше, чем он описывает друзьям: «у меня хандра и нет ни единой мысли в голове моей» (Вяземскому, X.107). «Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Как быть?» (Рылееву, X.113) Пушкин сгущает краски, чтобы заставить тех друзей, на которых он возложил определенные поручения, действовать, не тянуть.

В сущности, в это время он пытается осуществить и легальный, и нелегальный способы одновременно. Настроение портит лишь растянутость ожидания, невыполняемость просьб, срыв сроков, о которых договаривались. Он спешит срочно получить три тысячи рублей за стихотворения, переизданные без его ведома. «Хотел бы я также иметь, – просит заговорщик у брата, – «Новое издание Собрания русских стихотворений», да дорого 75 р. Я и за всю Русь столько не даю» (X.101). «Писал ли я тебе о калошах? не надобно их» (X.102). В самом деле, зачем в Европу везти калоши, привезенные оттуда? Надобно также другое, и Лев в Петербурге выполняет срочные и важные поручения брата: закупает ему в больших количествах вино, ром (12 бутылок), лимбургский сыр, а кроме того, дорожный чемодан. Б.Л.Модзалевский, комментируя это письмо поэта, писал: «О дорожном чемодане просил Пушкин брата и ранее – когда деятельно собирался бежать за границу».²

Родители и друзья в Петербурге встревожены. Мать пишет письмо Осиповой в Тригорское, спрашивая о состоянии сына

(письмо это не сохранилось). Осипова немедленно отвечает, но не ей, а отцу Пушкина. Письмо Осиповой тоже неизвестно, но если оно повторяет весьма открытые намеки Жуковскому о том, что Пушкин собирается бежать за границу, в этом нет ничего хорошего. Очень обеспокоено семейство Пушкиных и особенно брат Левушка: «Приближается весна; это время года располагает его сильнее к меланхолии, – сообщает Лев Сергеевич. – Признаюсь, что я во многих отношениях опасаясь ее последствий».³ Не душевное состояние Александра волнует Льва, а «последствия», то есть поступки. Княгиня Вера Вяземская шлет Пушкину письмо, выражая беспокойство в связи с рассказом Ивана Пущина. Все они волнуются не случайно. Их тревога вызвана состоянием здоровья Пушкина, на описание которого поэт не жалеет красок.

Пушкин приступает к подготовке нового варианта выезда: царь, учитывая его здоровье, подорванное смертельной болезнью, вынужден будет уступить и дать разрешение. Свою позицию Пушкин объясняет так: «...более чем когда-нибудь обязан я уважать себя – унизиться перед правительством была бы глупость» (X.97). Предстоящие действия требуют решительности не только от самого зачинщика, но и от его окружения. Он распяет себя перед длительным сражением. Это самоушущение, убеждение самого себя в том, что он добьется цели, иначе нет смысла и начинать.

Момент вроде бы опять подходящий. С одной стороны, брань в печати: «Онегин» – грубая и бедная копия Байрона и совет автору сделаться «русским и более оригинальным».⁴ С другой – императрица Елизавета Федоровна, которой Карамзин дал «Руслана и Людмилу», получила удовольствие от чтения и благодарила Карамзина – факт этот может пригодиться для просьбы о спасении заболевшего сочинителя.

Идея пришла давно: смертельное заболевание. «Вот уж 8 лет (в других местах Пушкин пишет 5 лет и 10 лет, то есть с шестнадцатилетнего возраста. — Ю.Д.), как я ношу с собою смерть» (X.71). Сам больной (к врачам он не обращался) определяет свою болезнь как «аневризм» и «род аневризма». Согласно современным взглядам, аневризм есть выбухание ограниченного участка истонченной стенки сердца, обычно после инфаркта, или ограниченное расширение просвета артерии вследст-

вие растяжения и выпячивания ее стенки при атеросклерозе, сифилисе или повреждении. Несколько упрощенное, но так же это понималось тогда. Даль, сверстник, друг Пушкина и врач, объяснял, что аневризма – растяжение, расширение в одном месте боевой жилы (артерии). Всякого рода аневризмы были модными болезнями в то время.

Заболевание действительно редкое и серьезное. Но Пушкин жаловался на аневризм сердца (*un anévrisme de coeur* – X.142), а мать Пушкина писала, что у него «аневризм в ноге». ⁵ Потом и поэт решил жаловаться на аневризм на правой голени. Врач и пушкинист В.Вересаев писал так: «По-видимому, Пушкин действительно страдал варикозным расширением вен нижних конечностей. Но, конечно, все его жалобы на эту болезнь имели одну цель, – чтобы его отпустили для лечения за границу». ⁶ Более вероятно, однако, что от этой болезни поэт не страдал вообще. Наш современник, врач, считал, что Пушкин узнал о невозможности операции на сердце «и поэтому версию об аневризме сердца больше не развивал». ⁷ Поэт просил брата прислать ему «книгу об верховой езде – хочу жеребцов выезжать» (X.109). Оригинальное занятие для больного с тяжелой формой аневризмы! Доказательством здоровья поэта является тот простой факт, что после попыток выехать на лечение из Михайловского Пушкин с этой болезнью к врачам не обращался и просто об аневризме забыл.

Хотя болезнь, очевидно, была придумана, легенда могла показаться убедительной. Пушкин ссылался на болезнь еще будучи на юге. Ему отказывали, но можно предположить, что всякая тяжелая болезнь прогрессирует. Лечение за границей при отсталости отечественной медицины считалось вполне нормальным явлением и даже хорошим тоном. Все состоятельные люди ездили лечиться, или принимать ванны, или просто пить целебную воду на курортах Европы. Традиция не делала исключения ни для царской фамилии, ни для чиновников, ни для военных. Ездили и целыми семьями.

Выезд на лечение обычно не вызывал возражений «высшего начальства», как называл правительство Пушкин. И выдуманные болезни не были для этого препятствием, так как их легко изображали больные и не могли проверить врачи. Жена Николая Огарева вспоминала аналогичную историю, произо-

шедшую тридцать лет спустя: «Не без хлопот получили наконец паспорт на воды, по мнимой болезни Огарева, для подтверждения которой Огарев разъезжал по Петербургу, опираясь на костыль...»⁸

Сразу за границу – Пушкину было ясно – его не выпустят. Имело смысл проситься лишь в Дерпт (Тарту) и только для операции. Дерпт был небольшим и весьма провинциальным уездным городом Лифляндской губернии, зато университет в нем считался одним из старейших в Европе и лучшим из шести российских университетов. Он был либеральней других; из-за этого Дерптский университет даже разогнали, но в начале XIX века восстановили. Профессура и язык, на котором преподавали, были немецкие. В Дерпте был «профессорский институт для природных россиян», то есть институт повышения квалификации и переподготовки кадров для других учебных заведений России. «Дерптский университет, – писал известный хирург Николай Пирогов, – тем отличался от других русских университетов, что он возобновляет свои силы, заимствуя их прямо от Запада...»⁹

Вульф перед отъездом своим убедил Пушкина, что медицинское свидетельство о необходимости лечения за границей удастся получить. Имелись знакомые, а также знакомые знакомых, которые могли посодействовать, оказав протекцию. По-видимому, еще перед отъездом остановились на докторе Мойере, фигуре, идеально подходящей.

Иоганн Христиан Мойер (он же Иван Филиппович) был в то время тридцатидевятилетним профессором хирургии Дерптского университета и заведовал университетской хирургической клиникой. Он родился в немецкой семье в Ревеле (Таллинне), отец его был обер-пастором. Мойер получил богословское образование в Дерпте, где был единственный в России теологический факультет лютеранской ортодоксии. Затем поехал учиться медицине в Геттинген, Павию и Вену. Крупная и влиятельная фигура, Мойер стал позже ректором Дерптского университета. Доктор был также талантливым музыкантом и поддерживал дружеские отношения с Бетховеном.

Русское общество в Дерпте было немногочисленное. В доме Мойера собирался местный и проезжий столичный бомонд. Кого только не заносила к нему судьба из представителей ев-

ропейской культуры, рекомендованных общими знакомыми да и просто едущих мимо интересных людей! Алексей Вульф во-
дил знакомство с Мойером и бывал у него в гостях. Пушкин
не раз слышал о нем.

Великодушный, открытый, трудолюбивый, талантливый и
щедрый человек, этот обрусевший иностранец оказывал госте-
приимство многим. «Он имел влияние на самого начальника
края маркиза Паулуччи, – писал Анненков. – Дело состояло в
том, чтобы согласить Мойера взять на себя ходатайство перед
правительством о присылке к нему Пушкина в Дерпт как ин-
тересного и опасного больного, а впоследствии, может быть,
предпринять и защиту его, если Пушкину удастся пробраться
из Дерпта за границу под тем же предлогом безнадежного
состояния своего здоровья. Город Дерпт стоял тогда если не на
единственном, то на кратчайшем тракте за границу, излюблен-
ном всеми нашими туристами».¹⁰

Мойер, едва ему предложили, согласился немедленно ехать,
чтобы спасти первого для России поэта (его собственные сло-
ва). Однако приезд хирурга вовсе не входил в план михайлов-
ского заговорщика. Мыслилось наоборот: идея состояла в том,
чтобы убедить хирурга ходатайствовать о присылке Пушкина
к нему как необычного и опасно больного пациента, а затем
ни в коем случае не лечить больного, отказаться оперировать
его. А вместо этого воспользоваться своим авторитетом, влия-
нием и связями и добиться отправки пациента для излечения
из Дерпта дальше на Запад.

Для того, чтобы сноситься по почте о претворении плана в
жизнь, Вульф и Пушкин договорились вести переписку, не
вызывающую подозрений при контроле почты. Первичная пер-
люстрация писем от Пушкина и к Пушкину осуществлялась в
Пскове, а затем уже в Петербурге и Москве. Часть писем за-
держивалась. «Дельвига письма до меня не доходят», – жало-
вался поэт брату (Х.125). Пушкин старался, если не забывал,
говорить намеками, впрочем, весьма прозрачными. В данном
случае речь в письмах должна идти о коляске, будто бы взятой
Вульфом для отъезда в Дерпт. Если доктор Мойер согласится
просить Лифляндского и Курляндского генерал-губернатора
маркиза Паулуччи о больном Пушкине, Вульф напишет, что
он собирается немедленно отправить коляску назад владельцу.

Если же Пушкин прочитает в письме, что Вульф хочет оставить коляску у себя, это значит, успех в осуществлении замысла оказывается сомнительным.

Кроме того, Вульф должен был в закодированном виде сообщать Пушкину вообще всякую информацию, касающуюся данной проблемы. Ехавшие из России путешественники подолгу останавливались в Дерпте, доставляя знакомым свежие столичные новости и сплетни. Вульф должен был отбирать то, что в этих новостях касалось Пушкина. В письмах сообщения Вульфа должны были выглядеть так: тема – издание в Дерпте полного собрания сочинений Пушкина. Это проблема выезда. Слова главного цензора, касающиеся возможности издания, – это шансы поэта на выезд, то есть собранные Вульфом от приезжих слухи о настроении «высшего начальства». Заметки первого, второго и т. д. наборщиков означали мнения того или другого из представителей местных властей и проч.¹¹

Весна идет к концу, и после длительного бездорожья близится хорошее время для давно задуманного путешествия, но Вульф не торопится. Возможно, с Мойером он и не говорил. Пушкин строчит ему письмо и, взяв мать Вульфа Осипову себе в соавторши, просит ее позвать сына домой, дабы решить неотложные вопросы. К письму Пушкина, адресованному Вульфу в Дерпт, видимо, по просьбе поэта его соседкой сделана приписка о подготовке Вульфа к этой поездке. Осипова пишет весьма недвусмысленно о намерении сына ехать за границу летом: «Очень хорошо бы было, когда бы вы исполнили ваше предположение приехать сюда. Алексей, нам нужно бы было потолковать и о твоём путешествии».¹² «Нам» – имеется в виду Осиповой с Пушкиным.

Похоже, однако, что под влиянием матери, которой замысел не нравится, Вульф тоже обещает на словах помочь, но ничего не делает, тянет, чтобы побег не состоялся. Пушкин тем временем начинает действовать на другом фланге, запуская вперед уже не пешки, но фигуры. В Петербурге брат Лев получает распоряжение рассказать о болезни Пушкина Жуковскому.

Во-первых, Мойер с Жуковским родня: сводная сестра Жуковского по отцу была тещей Мойера. Мойер был женат на любимой племяннице Жуковского Марье Андреевне Протасо-

вой, которая два года назад умерла. Жуковский и сам мечтал жениться на этой женщине. Во-вторых, Жуковский был хорошо знаком с губернатором Паулуччи и виделся с ним, когда тот бывал в Петербурге. В-третьих, и это очень важно, Жуковский имел влияние на царствующую чету. Наконец, в-четвертых, в это время Жуковский сам собирался ехать в Германию через Дерт. В общем, Жуковскому и карты в руки. Не случайно, письмо Пушкина к Мойеру, посланное несколько позднее, было обнаружено исследователями в бумагах Жуковского.¹³ Значит, Мойер и Жуковский вели переговоры о болезни Пушкина.

Лев тоже не очень спешил исполнить поручение брата. Возможно, это связано и с нежеланием подвергать себя опасности на новой службе в Департаменте духовных дел иностранных исповеданий. Но Пушкин надеется, что к нему придет Дельвиг. Еще в феврале он услышал, что собирается к нему и Кюхельбекер. А вскоре приходит письмо из Москвы: Пушкин тоже подключился помогать другу. Он спрашивает, получили ли Пушкин деньги, сообщает, что из Парижа ожидается приезд их общего лицейского приятеля Сергея Ломоносова. Дипломат, уже отработавший секретарем в русском посольстве в Вашингтоне и теперь служащий в Париже, Ломоносов собирался по пути свернуть из Дерт и навестить михайловского отшельника.

Из этих троих приехал в апреле 1825 года Дельвиг. Валяясь на диване, он внимательно выслушивал поручения друзьям в Петербурге. Он все понял, он увез с собой письма. Кстати, письма Пушкина к Дельвигу, содержавшие, без сомнения, важнейшую информацию, были уничтожены сразу после смерти Дельвига во избежание прочтения полицией. Прошел месяц, на дворе май, а дело ни с места. Пушкин написал брату, что он ждет от Дельвига «писем из эгоизма и пр., из аневризма и проч.» (X.112). Смысл понятен: заполучить разрешение выехать для операции аневризмы. Ну, что же они не действуют: ни Дельвиг, ни Вульф, ни Жуковский, ни Мойер? Чего тянут?

Трудность, которую Пушкин считал несущественной, состояла на самом деле в том, что в основе этого замысла лежал подлог. Пушкин в операции не нуждался, а добросовестного врача и порядочного человека Мойера предстояло склонить к

лжесвидетельствованию. Возможно, цель в данном случае оправдывала средства, но ни Вульф, ни Дельвиг не спешили разглашать суть дела и, таким образом, вводили в заблуждение других участников. Поэтому те, кто должны были помочь Пушкину – Жуковский и сам Мойер, – приняли аферу за чистую монету.

Мать и брат не пожалели красок, чтобы напугать Жуковского. Обеспокоенный страшным заболеванием друга, Жуковский пишет Пушкину, умоляя обратить на здоровье самое серьезное внимание. Он просит написать ему подробнее, чтобы начать хлопоты о лечении. С генерал-губернатором Паулуччи уже предварительно переговорено, но сути дела Жуковский никак не может уяснить. «Причины такой таинственной любви к аневризму я не понимаю и никак не могу ее разделять с тобою, – пишет он. – Теперь это уже не тайна, и ты должен позволить друзьям твоим вступить в домашние дела твоего здоровья. Глупо и низко не уважать жизнь. Отвечай искренно и не безумно. У вас в Опочке некому хлопотать о твоём аневризме. Сюда перетащить тебя теперь невозможно. Но можно, надеюсь, сделать, чтобы ты переехал на житье и лечение в Ригу» (Б.Ак.13.164).

Несказанно удивился Пушкин, с одной стороны, непонятливости друга, а с другой – возможности перебраться в Ригу. Но если с маркизом Паулуччи Жуковский переговорил, а дело не решено, то какие еще хлопоты нужны? Куда обращаться? И ответ на вопрос напрашивался сам собой. На местном уровне дело не продвигалось и не может продвинуться. Пушкин прислан сюда под надзор по высочайшему повелению. И Жуковский, и Мойер, согласись он на это, могли просить за Пушкина. И маркиз Паулуччи был бы рад пойти им навстречу. Но он лицо официальное. Именно Паулуччи придумал гуманную форму слежки и просил помещика Пещурова поручить отцу поэта Сергею Львовичу надзор за сыном. Вряд ли можно рассчитывать, что Паулуччи отступит от установленного порядка и не испросит разрешения у тех, унижаться перед которыми Пушкин еще недавно считал глупостью. Сам маркиз Паулуччи, пробыв наместником в Прибалтике до 1829 года, отказался от царской службы и уехал в Италию.

Если хочешь выехать, понимает Пушкин, гордость надо положить в карман и нижайше просить, обещать, что ты был,

есть и будешь хорошим, послушным, преданным. Что касается аневризмы, то должен же Жуковский понять подтекст. «Вот тебе человеческий ответ: мой аневризм носил я 10 лет и с Божией помощью могу проносить еще года три. Следственно, дело не к спеху, но Михайловское душно для меня. Если бы царь меня до излечения отпустил за границу, то это было бы благодеяние, за которое я бы вечно был ему и друзьям моим благодарен» (X.111).

Нам ясно, в чем дело, но Жуковский мог не понять. Ибо «душно» может означать желание вернуться в Петербург. И как вскоре выяснится, Жуковский не понял сути просьбы или сделал вид, что не понял. Но и Пушкин не считался с реальными возможностями Жуковского, искал пути достижения своей цели. Он сочинил письмо Александру I, и Жуковский должен был сообразить, как лучше передать прошение наверх, дабы решить дело в пользу Пушкина. «Смело полагаясь на решение твое, посылаю тебе черновое самому Белому; кажется, подлости с моей стороны ни в поступке, ни в выражении нет. Пишу по-французски, потому что язык этот деловой и мне более по перу. Впрочем, да будет воля твоя: если покажется это непристойным, то можно перевести, а брат перепишет и подпишет за меня». Игривый тон смягчал важность сопровождающего письма и вряд ли настраивал Жуковского на серьезный лад. Вслед за жизненно важной просьбой шли стишки, посвященные общему приятелю, отбывающему за границу:

Веселого пути
Я Блудову желаю
Ко древнему Дунаю
И мать его ети (X.111).

В прилагаемом Пушкиным прошении на имя царя Жуковский с удивлением прочитал нечто обратное тому, что было написано в письме: «Мое здоровье было сильно расстроено в ранней юности, и до сего времени я не имел возможности лечиться. Аневризм, которым я страдаю около десяти лет, также требовал бы немедленной операции. Легко убедиться в истине моих слов». Итак, в письме к Жуковскому – насчет аневризма «дело не к спеху», а в приложенном письме на имя

императора – аневризм требовал «немедленной операции». Сомневаемся, что Жуковский легко сообразил, где истина и где враньё. Далее Пушкин переходил к сути: «Я умоляю Ваше Величество разрешить мне поехать куда-нибудь в Европу, где я не был бы лишен всякой помощи» (X.604-605, пер. с фр.).

Предложение о замене письма поэта переводом за подписью брата Льва не было странным. Друзья знали, что почерки обоих Пушкиных изумительно похожи, а подписи почти идентичны. Но, разрешая перевести свое письмо, поэт не предполагал, как это будет истолковано. Жуковский отправился к Карамзину. Не исключено, что они прощупывали почву и еще с кем-то советовались. Решили, что достичь желаемого разрешения будет легче, если к всемилостивейшему монарху обратится не сам больной ссыльный поэт, а его чувствительная мать, скорбящая от нависшей над ее чадом угрозы смертельной болезни.

Текст этого прошения долгое время был неизвестен. Черновик обнаружен М.Цявловским в Румянцевском музее подшитым в книгу писем Пушкина брату, а беловик опубликован в 1977 году в деле «О всемилостивейшем позволении уволенному от службы коллежскому секретарю Александру Пушкину... приехать в г. Псков и иметь там пребывание для лечения болезни». Дело начато 11 июня 1825 года, а закончено 3 февраля 1826. Оно находится в архиве Генштаба, куда шла вся почта к царю, когда тот был в отъезде. До этого в Генштабе пушкинских документов не искали.

«Ваше Величество! – обращается мать Пушкина к царю 6 мая 1825 года. – С исполненным тревогой материнским сердцем осмеливаюсь припасть к стопам Вашего Императорского Величества, умоляя о благодеянии для моего сына! Только моя материнская нежность, встревоженная его тяжелым состоянием, позволяет мне надеяться, что Ваше Величество соизволит простить меня за то, что я утруждаю Его мольбой о благодеянии. Ваше Величество! Речь идет о его жизни. Мой сын страдает уже около 10 лет аневризмой в ноге; болезнь эта, слишком запущенная в своей основе, стала угрозой для его жизни, особенно если учесть, что он живет в таком месте, где ему не может быть оказано никакой помощи! Ваше Величество! Не лишайте мать несчастного предмета ее любви. Соблаго-

волите разрешить моему сыну поехать в Ригу или какой-нибудь другой город, какой Ваше Величество соизволит указать, чтобы подвергнуться там операции, которая одна только дает мне еще надежду сохранить сына. Смею заверить Ваше Величество, что поведение его там будет безупречным. Милость Вашего Величества является лучшей тому гарантией. Остаюсь с глубоким уважением Вашего Императорского Величества нижайшая, преданнейшая и благодарнейшая подданная Надежда Пушкина, урожденная Ганнибал».¹⁴

Любопытно, что имя сына, которого мать просит спасти, вообще отсутствует. Начальник Генштаба генерал-фельдмаршал Иван Дибич получил письмо Надежды Осиповны и велел жандармскому полковнику Бибикову выяснить, «не мать ли того Пушкина, который пишет стихи». Запрос пошел отцу Сергею Львовичу, и тот 13 мая подтвердил, что это его сын, но на всякий случай прибавил, что он о письме не знал, и даже перепоручил отцовство царю: мол, письмо извинительно «для матери, умоляющей отца своих подданных за сына».¹⁵

Затем последовал запрос в канцелярию Государственной коллегии иностранных дел. Оттуда сообщили, что Пушкин уволен со службы «под надзор». В результате было принято гуманное решение. Генерал Дибич сообщил матери письмом от 26 июня о царской милости: в Ригу ехать не обязательно, разрешается лечиться в Пскове. Мать, получив депешу генерала Дибича в Ревеле, куда они приехали с дочерью на морские купания, ответила благодарственным письмом.

Любопытно также, что цель, которой добивался Пушкин, а именно заграница, вообще в прошении матери не названа, а упомянуто то, за что предлагал хлопотать Жуковский, – Рига или любой другой город, угодный царю. Значит, прошение сочинялось по непосредственным указаниям Жуковского. У многочисленного круга людей, знающих Пушкина, не возникало ни малейших сомнений в том, что он заболел. Не было сомнения и у высшего начальства.

Журнал «Советские архивы», публиковавший материалы из архива Генштаба, придерживался легенды, что Пушкин действительно «страдал аневризмом, варикозным расширением вен на ноге».¹⁶ В период массовой эмиграции «третьей волны» из России в семидесятые годы нашего века сказку о болезни,

сочиненную самим Пушкиным, официальной советской пушкинистике стало выгоднее принять серьезно: все-таки Пушкин ехал за границу лечиться, а не изменять родине.

Между тем Пушкин пишет письма в Москву, Одессу, Петербург. Прося одних знакомых помалкивать, другим в это время сообщает, что хочет «полечиться на свободе».¹⁷ О том, что происходит в Петербурге, Пушкин не знает, и в состоянии сдержанного оптимизма проходит два месяца. Он бывает в Тригорском и вместе с барышнями строит планы, полные надежд. Он даже договаривается ехать в Дерпт и Ригу вместе с Осиповой и Вульфом. Он узнает приятную новость: туда же собирается на лето Вяземский. В альбом Осиповой вписывается стихотворение, в котором поэт прощается с обитателями Тригорского.

Быть может, уж недолго мне
В изгнание мирном оставаться,
Вздыхать о милой старине
И сельской музе в тишине
Душой беспечной предаваться.
Но и вдали, в краю чужом,
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду, под сенью лип домашней.
Когда померкнет ясный день,
Одна из глубины могильной
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный (II.229).

У него предчувствие, что скоро мечта попасть в чужие края сбудется. Он утверждает, что вернется сюда только мысленно, а реально никогда, как невозможно вернуться из глубины могильной. Предчувствие обманывает Пушкина. 25 июня он записал в альбом эти стихи, а 26 июня 1825 года (поэт еще не подозревает об этом) в Пскове получено высочайшее распоряжение ехать лечиться в Псков. Зная Пушкин об этом, стихотворение об отъезде в дальние края он бы тогда, наверное, не написал.

В связи с прошением матери 21 июня поступил запрос начальнику канцелярии Главного штаба от канцелярии Коллегии иностранных дел, а 22 июня (никакой бюрократии) дан ответ.¹⁸ 23 июня отправлены два секретных предписания. Лифляндский гражданский губернатор О.О.Дюгамель и Псковский губернатор Б.А.Адеркас извещены, что Пушкин может приехать в Псков и пребывать там до излечения от болезни, с тем, чтобы Псковский гражданский губернатор имел «наблюдение как за поведением, так и за разговорами г. Пушкина».¹⁹ 26 июня 1825 года эта депеша была получена.

Все столь грандиозно задуманное мероприятие свелось к тому, что Пушкин мог давно сделать сам: просто съездить в Псков к врачу. Узнав о милости начальства, Пушкин пришел в бешенство. А в это время в Петербурге знаменитый баснописец и друг Пушкина Крылов написал басню «Соловьи», которая вскоре была опубликована в новой его книге:

А мой бедняжка Соловей,
Чем пел приятней и нежней,
Тем стерегли его плотней.²⁰

Глава четвертая

ЗАГОВОР С ТИРАНСТВОМ

*«...жду, чтоб Некто повернул сверху
кран... у нас холодно и грязно – жду
разрешения моей участи».*

Вяземскому, начало июля 1825.

«Что же ты, голубчик, невесело поешь?» – спрашивал его Вяземский (Б.Ак.13.181). Не в первый раз мучительное желание Пушкина выехать встречало непонимание близких людей. В очередной неудаче, в провале плана, казалось, столь простого и подошедшего к осуществлению, Пушкин обвиняет прежде всего родных и друзей, в руках которых была его судьба. В первую голову виноват был брат Левушка. Если раньше Пушкин писал в стихотворении, что тот самоотверженно «забыл для брата о себе» (чего никогда не бывало, но хотелось, чтобы было), то теперь Лев осложняет поэту жизнь: «Он знал мои обстоятельства и самовольно затрудняет их. У меня нет ни копейки денег в минуту нужную, я не знаю, когда и как получу их» (X.122).

У Льва, которого друзья звали Лайеном, была отличная память, он помнил даже то, что лучше бы забыть при его невоздержанности на язык. Он выполнял второстепенные просьбы брата, а жизненно важные оттягивал. Выучив наизусть поэму «Цыганы», он читал ее в салонах. Он охотно отвечал за-

тем на многочисленные вопросы слушателей, болтая при этом лишнее. Константин Сербинович, чиновник особых поручений при министре народного просвещения, в это время записал в своем дневнике, что Лев давал ему почитать письма Александра. И не ему одному. Пушкин словно чувствовал это, когда приказывал брату, чтобы Вяземский вторую главу «Евгения Онегина» «никому не показывал, да и сам (то есть ты, Лев. — Ю.Д.) не пакости» (X.110).

Получив тетрадь стихотворений для быстреего издания и соответственно выплаты денег, Лев за четыре месяца не удосужился переписать тексты для представления в цензуру. При этом он читал эти стихи в гостях, охотно записывал в альбомы приятельницам, а деньги, полученные для Александра, в том числе и для уплаты его старых долгов, проматывал. Соболевский писал о Льве Сергеевиче:

Наш приятель Пушкин Лёв
Не лишен рассудка,
Но с шампанским жирный плов
И с груздями утка
Нам докажут лучше слов,
Что он более здоров
Силою желудка.

Разболтал Лев приятелям и о планах брата бежать за границу, а те распространили весть среди своих знакомых. Остается удивляться, как в этой атмосфере Александр I принял болезнь Пушкина всерьез. Или, может, сделал вид, что принял? По воспоминаниям друга Пушкина Нащокина, государь приказал сказать ему только, что от этой болезни можно вылечиться и в России.¹

Много людей узнало о тайных планах побега поэта. «Тут об тебе, Бог весть, какие слухи...» — пишет Кондратий Рылеев Пушкину (Б.Ак.13.241). Однако в связи со слухами небезынтересно оглядеть круг людей, которым намерения поэта были известны. Разделим их, несколько, впрочем, искусственно, на две группы: соучастники и посвященные.

К соучастникам отнесем тех лиц, коих сам Пушкин втянул в свои замыслы, кто так или иначе, советом или делом учас-

твовал в подготовке его выезда за границу. Некоторые из них, возможно, и не собирались на деле помогать ему. К просто посвященным отнесем тех, кто проник в тайну. Одни, узнав, молчали, другие спешили проинформировать знакомых. Не станем утомлять читателя составлением списков и просто отметим: соучастников было около двух десятков человек; посвященных – как минимум сотня. И это число продолжало увеличиваться. Пушкин прозрачно намекал в письмах как о том, что собирается бежать, так и о том, что вовсе не собирается.

В начале лета, когда обсуждался приезд Мойера и Пушкин старался избежать операции в Пскове, среди соучастников появилась новая женщина. Да какая! «Гений чистой красоты», как напишет о ней поэт вскоре. К сожалению, в отличие от одесской ситуации, когда женщины старались ему помочь, в этой, так сказать, деловой части романа почти ничего не ясно. То есть сама генеральша Анна Керн (а речь, разумеется, о ней) известна даже больше, чем это необходимо для биографии поэта. А об участии ее в бегстве Пушкина за границу ни она сама, ни мемуаристы сведений не оставили. Мы можем лишь попытаться выстроить вереницу догадок.

Хотя Пушкин встречался однажды с Керн раньше, время увлечения ею падает на середину июня – середину июля 1825 года, когда Анна Петровна приезжала в Тригорское к своей тетке Осиповой. Оставленному на это время ею мужу-генералу было 60, ей 25, не так уж мало по тем временам. Да и вообще, как считает Вересаев, тогда в Михайловском до интима не дошло, поскольку у Керн были в разгаре два других романа: с Алексеем Вульфом и соседом-помещиком Рокотовым.² Через год после того, как они с Пушкиным расстались, Керн родила третью дочь, значит, ребенок этот был не от Пушкина.

Анна Керн была внучкой губернатора Орловской губернии и дочерью предводителя дворянства Лубны в Украине, женщиной умной и приятной в общении. Что же касается ее небесной красоты, которая стала легендой и в каком-то смысле одним из связанных с Пушкиным мифов, то, возможно, с годами это было несколько преувеличено. На единственном сохранившемся документированном портрете она выглядит слишком простодушно, чтобы привлечь внимание поэта – выдающегося светского волокиты, действовавшего в конкурентной

борьбе со своими приятелями. Соболевский отмечал, что у нее были некрасивые ноги. Впрочем, в глуши и вне конкуренции женщина вправе рассчитывать на более высокую оценку ее достоинств. Но полно, мы занимаемся злопыхательством. Красавица эта до Пушкина выдержала не один экзамен в свете. В нее были влюблены отец Пушкина, который потом влюбился и в ее дочь, брат Лев Пушкин, поэт Веневитинов, критик, профессор и цензор Никитенко. Одним из ее успешных поклонников был Александр I. Дельвиг называл Анну Керн «женой №2». После смерти генерала Керна она вышла замуж за чело- века на двадцать лет моложе себя – еще одно доказательство ее привлекательности.

Роман этот был, в сущности, подготовлен в письмах. Керн писала, что она «истлевала от наслаждений», однако получала наслаждения тогда от других, а не от михайловского затворника. Разгорелась пылкая любовная афера с тайными записками, интригами (большей частью выдуманнными для пушского эффекта), романтическими прогулками в лесу, стремительным натиском, ревностью к другу Вульф, никогда не пропускавшему своего случая, и всем прочим ее мужчинам. Всё, по выражению поэта, было «и вдоль, и поперек, и по диагонали». Любовь эта многократно описана и обросла легендами. Для нас важнее другое.

В записках, оставленных Керн, нет и намек на то, что она была в курсе его планов. Но дом в Тригорском жил обсуждением деталей пушкинского побега. Хозяйка Тригорского Осипова непосредственно в нем участвовала. Близкая многим друзьям поэта и обожаемая им, могла ли Анна Керн остаться в неведении относительно того, что волновало его в этот период? Мог ли Вульф не нашептать ей о планах бегства? И – была ли она лишь посвященной или же – соучастницей?

Позже Керн писала: «...нахожу, что он был так опрометчив и самонадеян, что, несмотря на всю его гениальность – всем светом признанную и неоспоримую, – он точно не всегда был благоразумен, а иногда даже не умен...»³ Самое известное в русской лирике стихотворение «Я помню чудное мгновение» он подарил ей. Пускай слова «гений чистой красоты» придумал не он, а Жуковский в стихотворениях «Я музу юную бывало» и «Лалла рук», остальное сочинено в Михайловском. Он

дурачится, он подписывает письмо к ней «Яблочный Пирог». Он неблагоразумен, это точно, а вот насчет не умен...

Над Пушкиным, обиженным на весь белый свет, довлеет между тем разрешение отправляться для операции аневризмы в Псков, и он не знает, как из этой ситуации выкрутиться. Письмо его к Жуковскому полно сарказма: «Неожиданная милость Его Величества тронула меня несказанно, тем более, что здешний Губернатор предлагал уже иметь жительство во Пскове; но я строго придерживался повеления высшего начальства... Боюсь, чтоб медленность мою пользоваться Монаршею милостью не почли за небрежение или возмутительное упрямство. Но можно ли в человеческом сердце предполагать такую адскую неблагодарность? Дело в том, что 10 лет не думав о своем аневризме, не вижу причины вдруг о нем расхлопотаться» (X.119).

Намерение Пушкина не ехать в Псков вызвало недоумение друзей в Петербурге. Он просил, они хлопотали, царь дал добро, и такая неблагодарность. Сам не знает, чего хочет. Петр Плетнев, который, скорей всего, от Льва Сергеевича услышал о замысле Пушкина бежать из России, утешает поэта, что не все потеряно. «Дело об отпуске твоём еще не совсем решилось, — объясняет Плетнев. — Очень вероятно, что при докладе (императору. — Ю.Д.) сделана ошибка. Позволено тебе не только съездить, но, если хочешь, и жить в Пскове. Из этого видно, что просьбу об отпуске для излечения болезни поняли и представили как предлог для некоторого рассеяния, в котором ты, вероятно, имеешь нужду». Плетнев тут же добавляет: «А то известно, что в Пскове операции сделать некому. Итак, на этих днях будут передокладывать, что ты не для рассеяния хочешь выехать из Михайловского, но для операции действительной» (Б.Ак.13.188). Между тем пятнадцать тысяч рублей на пути от Плетнева к поэту (деньги, столь срочно ему необходимые в дорогу) задержались у Льва.

Сам Пушкин считал, что исход был бы положительным, пусть друзья по инстанциям наверх его собственное прошение. «Зачем было заменять мое письмо, дельное и благоразумное, письмом моей матери? — пишет он Дельвигу. — Не полагаясь ли на чувствительность... (Тут многоточие; очевидно, поэт не решился назвать царя. — Ю.Д.) Ошибка важная! В пер-

вом случае я бы поступил прямодушно, во втором могли только подозревать мою хитрость и неуклончивость» (X.123). Думается, однако, что результат был предопределен, и ни автор прошения, ни его тон значения попросту не имели.

Те, кто ему пытался помочь, все еще не понимали суть дела. Игра была с высшим начальством. В письмах всё вертится вокруг да около, за несколько месяцев Пушкин не передал им толкового объяснения, что реальная болезнь отсутствует. Даже в письме, отправленном Жуковскому с оказией (адрес на конверте: Н.А.Ж.), Пушкин продолжает недоговаривать. Возможно, он их берег: будучи обманутыми, друзья в глазах властей не становились соучастниками подготовки его побега.

«И для нас, тебя знающих, есть какая-то таинственность, несообразность в упорстве не ехать в Псков, – гадал Вяземский, – что же должно быть в уме тех, которые ни времени, ни охоты не имеют ломать голову себе над разгадыванием твоих своенравных и сумасбродных логогрифов. Они удовольствуются первою разгадкой, что ты – человек неугомонный, с которым ничто не берет, который из охоты идет наперекор власти, друзей, родных и которого вернее и спокойнее держать на привязи подалее» (Б.Ак.13.220). А Пушкин не без основания опасается, что ему предпишут жительство в Пскове, под постоянным надзором платных и добровольных агентов, и бежать будет еще трудней. К тому же там обман быстрее обнаружится – примитивный детский обман. Да кого! Самого Его Величества и еще с такой преступной целью.

Пушкин писал: «Друзья мои за меня хлопотали против воли моей и, кажется, только испортили мою участь» (X.130). Но друзей ли то была вина, когда он толком не объяснил свою волю? В письме к сестре Ольге Пушкин подводит итоги своего поражения в прошедшей кампании.

«Я очень огорчен тем, что со мной произошло, но я это предсказывал, а это весьма утешительно, сама знаешь. Я не жалею на мать, напротив, я признателен ей, она думала сделать мне лучше, она горячо взялась за это, не ее вина, если она обманулась. Но вот мои друзья – те сделали именно то, что я заклинал их не делать. Что за страсть – принимать меня за дурака и повергать меня в беду, которую я предвидел, на кото-

рую я же им указывал? Раздражают Его Величество, удлиняют мою ссылку, издеваются над моим существованием, а когда дивишься всем этим нелепостям, – хвалят мои прекрасные стихи и отправляются ужинать. Естественно, я огорчен и обескуражен, – мысль переехать в Псков представляется мне до последней степени смешной; но так как кое-кому доставит большое удовольствие мой отъезд из Михайловского, я жду, что мне предпишут это. Все это отзывается легкомыслием, жестокостью невообразимой. Прибавлю еще: здоровье мое требует перемены климата, об этом не сказали ни слова Его Величеству. Его ли вина, что он ничего не знает об этом? Мне говорят, что общество возмущено; я тоже – беззаботностью и легкомыслием тех, кто вмешивается в мои дела. О Господи, освободи меня от моих друзей!» (X.612-613. Пер. с фр.)

Получив письмо, сестра целый день проплакала. Пушкин оскорблен, с ним поступили как с непослушным ребенком, подменив его деловую просьбу «каким-то патетическим письмом к императору», по выражению Анненкова.⁴ Поэт несправедливо упрекает друзей, что не упомянули вредный для него климат: ведь он сам ничего об этом не писал и не просил. Он сообразил выдвинуть эту «климатическую» причину только теперь.

Жуковский продолжает действовать, и его настойчивая забота вызывает уважение. Он пишет Мойеру, прося его приехать в Псков прооперировать Пушкина, о чем по-деловому сообщает и в Михайловское: «Оператор готов» (Б.Ак.13.203). Надо только нанять в Пскове квартиру с горницей для доктора, где можно будет произвести операцию. Плетнев тоже сообщает в Михайловское о докторе: «Когда он услышал, что у тебя аневризм, то сказал: Я готов всем пожертвовать, чтобы спасти первого для России поэта. Это мне сказывала Воейкова, которая к нему о тебе писала...» (Б.Ак.13.202)

Добросовестный доктор Мойер немедленно идет к попечителю Дерптского учебного округа Карлу Ливену испросить разрешения на перерыв в занятиях со студентами для отъезда с целью операции. Получив разрешение, он пакует хирургические инструменты и готовится отправиться в Псков. Это сравнительно недалеко – 179 километров, но все равно – день езды с восхода до заката, а то и полтора дня.

Узнав об этом, Пушкин строчит Мойеру письмо, умоляя ради Бога не приезжать и не беспокоиться. «Операция, требуемая аневризмом, слишком маловажна, чтобы отвлечь человека знаменитого от его занятий и местопребывания», — объясняет поэт врачу (X.125). Другим Пушкин будет отвечать, что у него нет денег на хирурга. Третьим — что он может прооперироваться на месте у любого врача. Четвертым — что он обойдется пока без операции вообще. Несколько лет спустя Пушкин, Жуковский и Мойер встретились и, представляется нам, наверняка затронули в разговоре это происшествие, которое в 1825 году свело их заочно. Но никаких свидетельств их разговора не осталось.

Мысль, что Жуковский все еще совсем не понимает, куда клонит Пушкин, не соответствует истине. В начале августа Жуковский получил письмо от своей племянницы Александры Воейковой. «Милый друг! — пишет она. — Плетнев поручил мне отдать тебе это и сказать, что он думает, что Пушкин хочет иметь 15 тысяч, чтоб иметь способы бежать (выделено Воейковой. — Ю.Д.) с ними в Америку или Грецию. Следовательно не надо их доставлять ему. Он просит тебя, как Единственного человека, который может на него иметь влияние, написать к Пушкину и доказать ему, что не нужно терять верные 40 тысяч — с терпением».⁵

Как Воейкова оказалась в курсе намерений поэта? Незадолго до этого Лев Сергеевич собственноручно вписывал ей в альбом стихи брата и вполне мог сообщить интригующие сведения, разумеется, под клятву молчать. Слово «Америка» нет, пожалуй, оснований воспринимать серьезно. Но, с другой стороны, Воейкова могла слышать это слово от Льва.

19 июля 1825 года, как записала в календаре Осипова, она сама, ее дочери и Анна Керн отправились в Ригу. Поехали, естественно, через Дерпт, где Керн жила раньше и где ее лучшим другом был хирург Мойер. В Риге ее ждал муж — генерал и комендант города. «Достойнейший человек этот г-н Керн, почтенный, разумный и т. д.; у него только один недостаток — то, что он ваш муж» (X.612, по-фр.). Не туда ли, на берег Балтики, поэт стремится, продолжая флирт в письмах? Письмо, отправленное Анне, кокетливо: «Покинуть родину? удавиться? жениться? Все это очень хлопотливо и не привлекает меня» (X.615).

Неправда, привлекает! Именно в это время привлекает и именно Рига. От Михайловского до Риги сейчас 399 километров. Тогда можно было добраться за два, максимум за три дня. Оттуда в Европу уплыть морем. В Риге у Осиповых-Вульффов была родня. В каком-то плане это была бы попытка повторить одесский вариант: договориться попасть на судно тайком. Но у Керн там муж, которого Пушкин давно уговаривает бросить – всерьез ли? Пушкин рвется к ней, объясняя, что у него «ненависть к преградам, сильно развитый орган полета...» (X.614).

Пушкин рассчитывает на хлопоты Осиповой и Керн в Риге у лиц, связанных с губернатором, – маркизом Паулуччи. Помочь мог и генерал Керн. Поэт надеялся, что в Риге найдут влиятельного, а главное, «своего» доктора, готового на компромисс, и удастся обойтись без чересчур честного Мойера. Такого доктора они действительно нашли, и мы о нем кое-что разузнали. Впрочем, теперь, когда потенциальный жених Пушкин предпочел замужнюю Керн потенциальным невестам – дочерям Осиповой, не говоря уж о ней самой, ненадежность хозяйки Тригорского, возможно, стала более явной.

Иное дело – жена генерала Керна. Сильная любовь в напряженный момент жизни. Влюбленность быстро прошла. Чуть позже Пушкин напишет Вульффу с легкой издевкой: «Что делает Вавилонская блудница Анна Петровна?» – зная об их отношениях (X.160). Вересаев доказывает, что любовь Пушкина реализовалась через три года, в Москве, когда страсть уже прошла, о чем Пушкин, добавив мы, не замедлил похвастаться приятелю своему Соболевскому вульгарной прозой (извините за неблагообразную цитату): «Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе должных, а пишешь мне о M-me Керн, которую с помощью Божьей я на днях выеб» (X.189). Через десять лет в письме к жене Пушкин назовет Анну Керн дурой и пошлет к черту (X.428). Отчего же столь грубо? Вересаев пытался объяснить это так: «Был какой-нибудь один короткий миг, когда пикантная, легко доступная барынька вдруг была воспринята душою поэта как гений чистой красоты, – и поэт художественно оправдан».⁶ В советское время на могилу любовницы поэта в Путне, когда мы там побывали в середине восьмидесятых, привозили после загса молодые пары клясться в нерушимости брачных уз.

А тогда Анна Петровна, по-видимому, искренне собиралась помочь поэту бежать через Ригу. Перед отъездом Вульфа из Тригорского в Дерпт в конце июля они с Пушкиным проговорили четыре часа подряд, обсуждая варианты выезда. Бесильная обида у Пушкина долго не проходит, но брезжит слабая надежда: вдруг передоложат Его Величеству, и тот разрешит отправиться «рассеяться». Пушкин пишет Осиповой в Ригу, что принятое решение насчет Пскова, возможно, недоразумение, но опасается монаршего раздражения. «Друзья мои так обо мне хлопочут, что в конце концов меня посадят в Шлиссельбургскую крепость...» Пушкин просит Осипову ничего не сообщать его матери, «потому что решение мое неизменно» (X.608, фр.). Несообразительность друзей бесила, ибо только дружба и была его опорой в этом мире. Тогда же Пушкин сообщает Осиповой в Ригу: «Мои петербургские друзья были уверены, что я поеду вместе с вами» (X.608). А через три дня он в отчаянии пишет брату: «...мне деньги нужны или удавиться. Ты знал это, ты обещал мне капитал прежде году – а я на тебя полагался» (X.125). В Ригу Пушкин отправляет письмо за письмом.

То, что происходило с поэтом, находило отражение не только в его деловой переписке, но всегда так или иначе перетекало в его творчество, становилось мыслями и поступками его героев. В июле 1825 года, между требованием ехать в Псков и отъездом Вульфа, Пушкин придумывает сцену «Корчма на Литовской границе» для «Бориса Годунова», сцену, которой не было в первоначальном замысле. Пушкин тщательно описывает эпизод, как Гришка Отрепьев бежит из России и пытается нелегально перебраться через границу. Отрепьев предполагает, что за ним идет погоня. Прочитаем знакомый текст пристрастно, увязывая его с мыслями, волновавшими Пушкина.

Мисаил. Что ж закручинился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой так хотелось тебе добратся.

Григорий. Пока не буду в Литве, до тех пор не буду спокоен.

Варлаам. Что тебе Литва так слюбилась?.. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли: всё нам равно, было бы вино...»

Поглядим, как дальше развиваются диалоги в корчме. Любопытно, что никого из биографов Пушкина, упоминавших о намерении поэта бежать из Михайловского, связь с темой этой в «Борисе Годунове» не заинтересовала.

«Григорий (хозяйке). Куда ведет эта дорога?

Хозяйка. В Литву, мой кормилец, к Луёвым горам.

Григорий. А далече ли до Луёвых гор?

Хозяйка. Недалече, к вечеру можно бы туда поспеть, кабы не заставы царские да сторожевые приставы.

Григорий. Как, заставы! что это значит?

Хозяйка. Кто-то бежал из Москвы, а велено всех задерживать да осматривать.

Григорий (про себя). Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... Да кого ж им надобно? Кто бежал из Москвы?

Хозяйка. А Господь его ведает, вор ли разбойник – только здесь и добрым людям нынче прохода нет (sic! — Ю.Д.) – а что из того будет? ничего; ни лысого беса не поймают: будто в Литву нет и другого пути, как столбовая дорога!»

Хозяйка корчмы успокаивает беглеца со знанием дела. «Вот хоть отсюда свороти влево, – советует она, – да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут уж всякий мальчишка доведет до Луёвых гор».

Когда в корчме появляются приставы, из зачитываемого царского указа выясняется, что ловят они человека, который «впал в ересь и дерзнул, наученный диаволом, возмущать святую братию всякими соблазнами и беззакониями. А по справкам (следует понимать «по доносам». — Ю.Д.) оказалось, отбежал он, окаянный Гришка, к границе литовской... и царь повелел изловить его» (V.210–217). Между прочим, замечено, что место в сцене на границе, где беглец искажает свое описание, когда пристав заставляяет его читать вслух указ, заимствовано из оперы Россини «Сорока-воровка», каковую Пушкин мог видеть в Петербурге.⁷

Самозванец не только благополучно удирает за границу на глазах у приставов, но и впоследствии возвращается. И по воле Пушкина, который озабочен проблемой побега, мы с удивлением читаем в «Борисе Годунове» подробности перехода границы, весьма интересные, но имеющие косвенное отношение к сути исторической пьесы. Поистине удивительные ассоциации рождались в голове поэта, который «впал в ересь».

Пушкин любил и мог ходить пешком. С дворовыми собаками он ходил из Михайловского в Тригорское и обратно.

Пройтись тридцать верст от Петербурга до Царского Села ему было нипочем. Нередко и в дальних разъездах он от станции до станции проходил пешком, отправив вперед лошадей. Перейти границу лесами в том месте, где она охранялась плохо и лениво, было вполне реально, хотя и весьма рискованно. Стерegli границу тогда в большей степени не солдаты, а стукачи. О появлении чужого человека в пограничной зоне сообщали завербованные и добровольные информаторы. Спустя полвека большевики без особого труда проносили в Россию подпольные издания, деньги, оружие, бежали за границу из сибирской ссылки. Лишь после революции система усовершенствовалась до бесчеловечности. Практически одна часть населения стала стеречь другую. Мертвые зоны, огороженные колючей проволокой, охраняемые собаками, электронной аппаратурой и автоматически стреляющим оружием, протянулись на тысячи верст вдоль границ. А лагеря были полны беглецами, которые пытались вырваться на свободу по воздуху, под водой и даже под землей, проявляя при этом чудеса изобретательности и отваги.

Вульф обещал действовать, и Пушкин, дождавшись его возвращения из Риги в Дерпт к началу занятий, напоминает ему, что ждет информации о том, удалось ли уговорить Мойера не ехать, но помочь Пушкину другим способом, выписав больного к себе. Пушкин всеми силами оттягивает свою поездку в Псков. «Я не успел благодарить Вас за дружеское старание о проклятых моих сочинениях, — пишет он Вульфу. — Черт с ними, и с Цензором, и с наборщиком, и с tutti quanti (всеми прочими. — Ю.Д.) — дело теперь не о том. Друзья и родители вечно со мной проказят. Теперь послали мою коляску к Мойеру с тем, чтоб он в ней ко мне приехал и опять уехал и опять прислал назад эту бедную коляску. Вразумите его. Дайте ему от меня честное слово, что я не хочу этой операции, хотя бы и очень рад был с ним познакомиться. А об коляске, сделайте милость, напишите мне два слова, что она? где она? etc.» (X.139).

Задание конкретное: не надо хирурга, а пора бежать. Если бы Вульф и захотел ударить палец о палец, что конкретно ему делать? Можно ли раскрыть Мойеру всю подноготную? Чего просить? И Вульф, даже будь он более серьезным, видимо, не знал, что именно он должен сделать, и поэтому не делал ничего.

В связи с планами побега через Дерпт мы не выяснили роль еще одного приятеля Пушкина – Николая Языкова. Пушкин, будучи в Одессе, относился к молодому поэту (Языков был на четыре года моложе) с симпатией. Появившись в Михайловском и сойдясь с Вульфом, Пушкин хочет поближе свести дружбу и с Языковым. Он отправляет ему в Дерпт стихотворное послание, сам и через семейство Осиповых зазывает к себе.

Языков жил в Дерпте у профессора Борга, который переводил на немецкий русских поэтов. У Борга были обширные литературные связи в Европе. Частым гостем стал Языков и в доме Мойера. Здесь он влюбился в очаровательную младшую сестру его жены Александру Воейкову, ту самую, которая сообщила Жуковскому, что Пушкин собирается бежать в Америку. Взгляды Воейковой можно, пожалуй, объяснить тем, что она была женой редактора «Русского инвалида» А.Ф.Воейкова, человека болезненной патриотичности. Вдобавок к тому, что Воейкова была женой другого, Языков оказался до крайности стеснителен. Оба, и Вульф, и Пушкин, были в этом отношении противоположностью Языкову: шумны, активны и решительны по амурной части.

Несмотря на приглашения, Языков долго не приезжал в Тригорское и Михайловское, не желая принимать участия в гульбищах, а возможно, и опасаясь, как бы общение с опальным поэтом не повредило его собственной репутации. Пушкин зовет Языкова приехать, а тот пишет брату: «Ведь с ними вязаться, лишь грех один, суета».⁸

Сам Языков в это время тоже мечтает поехать за границу, пишет о Женевском озере:

Туда, сердечной жажды полны,
Мои возвышенные сны;
Туда надежд и мыслей волны,
Игривы, чисты и звучны.⁹

Но понять то же стремление в Пушкине Языков оказался неспособен. «Вот тебе анекдот про Пушкина, – пишет Языков брату 9 августа 1825 года. – Ты, верно, слышал, что он болен аневризмом; его не пускают лечиться дальше Пскова, почему

Жуковский и просил здешнего известного оператора Мойера туда к нему съездить и сделать операцию; Мойер, разумеется, согласился и собрался уже в дорогу, как вдруг получил письмо от Пушкина, в котором сей просит его не приезжать и не беспокоиться о его здоровье. Письмо написано очень учтиво и сверкает блесками самолюбия. Я не понимаю этого поступка Пушкина! Впрочем, едва ли можно объяснить его правилами здорового разума!»¹⁰

Информированность Языкова вызывает сомнения. Хотя на следующий год Языков все-таки появился в Тригорском и Михайловском, хотя много времени было проведено в дружбе, гуляньях, пирушках и откровенных беседах, он оставался чужим. Накануне отъезда Пушкина из Михайловского (по совпадению) он напишет брату: «У меня завелась переписка с Пушкиным – дело очень любопытное. Дай Бог только, чтобы земская полиция в него не вмешалась!»¹¹ Пушкин считает Языкова близким по союзу поэтов, а Языков, тремя годами позже провожая приятеля в Германию, советует собрать там сокровища веков, –

И посвятить их православно
Богам родимых берегов!

Он и сам решил спрятаться в имени на Волге и, как он выразился, посвятить себя патриотизму. Заболев, Языков поехал лечиться за границу, но там ему не понравилось, и он вернулся на Волгу.

Лето подходило к концу, а с ним приближалась распутица. Ситуация продолжала оставаться неопределенной, и Пушкину надо было на что-то решаться. Тригорские друзья и друзья их друзей были милы в компании, и весело было с ними проводить время, но теперь они разъехались и напрочь забыли о Михайловском затворнике до следующих вакаций.

Петербургские друзья продолжали требовать: отправляйся на операцию в Псков. Вяземский находился в Ревеле (Таллинне), куда выехал на летний отдых. Там же отдыхали родители Пушкина и его сестра. Вяземский, поддерживая контакт с родителями Пушкина, одновременно внушал ему, что поездка в Псков необходима «во-первых, для здоровья, а во-вторых, для

будущего». «Для будущего» надо поступить, как разрешено, нежелание ехать сочтут за неповиновение, и ошейник могут еще туже затянуть: «Право, образумься, и вспомни собаку Хемницера, которую каждый раз короче привязывали, есть еще и такая привязь, что разом угомонит дыхание; у султанов она называется почетным снурком, а у нас этот пояс называется Уральским хребтом».

Друзья уговаривают: смирись и терпи, ибо всем плохо, даже и в Европе. «Ты ли один терпишь, – взывал Вяземский, – и на тебе ли одном обрушилось бремя невзгод, сопряженных с настоящим положением не только нашим, но и вообще европейским». Вяземский удерживал Пушкина от побега. Альтернативой был все тот же Псков. «Соскучишься в городе – никто тебе не запретит возвратиться в Михайловское: все и в тюрьме лучше иметь две комнаты; а главное то, что выпуск в другую комнату есть уже некоторый задаток свободы». И дальше в том же письме Вяземского: «Будем беспристрастны: не сам ли ты частью виноват в своем положении?»

Как это знакомо! Всем плохо, почему же ты хочешь, чтобы тебе было лучше? Не дают выехать? Но ты же сам виноват в том положении, в котором оказался. Вот оно: сам виноват. А в чем виноват русский поэт? Вяземский так формулирует вину: «Ты сажал цветы, не сообразясь с климатом». И совет: «Отдохни! Попробуй плыть по воде: ты довольно боролся с течением».

Блестящая, неустаревающая формула; лучше пока не сказал никто. Вяземский недвусмысленно объясняет другу, что инакомыслие в этой стране нецелесообразно. Положение гонимого в русских условиях не прибавляет популярности в глазах русской публики. «Хоть будь в кандалах, – пишет Вяземский, – то одни и те же друзья, которые теперь о тебе жалеют и пекутся, одна сестра, которая и теперь о тебе плачет, понесут на сердце своем твой железа, но их звук не разбудит ни одной новой мысли в толпе, в народе, который у нас мало чуток!» Вяземский несправедливо обвинял Пушкина в донкихотстве: «Оппозиция – у нас бесплодное и пустое ремесло во всех отношениях: она может быть домашним рукоделием про себя и в честь своих пенатов, если набожная душа отречься от нее не может, но промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа...»

Анализируя ситуацию, Вяземский просто называл вещи своими именами. «Пушкин как блестящий пример превратностей различных ничтожен в русском народе: за выкуп его никто не даст алтына, хотя по шести рублей и платится каждая его стихотворческая отрывка. Мне все кажется, *que vous comptez sans votre hôte* (что ты строишь расчеты без хозяина. — Ю.Д.), и что ты служишь чему-то, чего у нас нет» (Б.Ак.13.222). Даже близкие друзья осуждали Пушкина за то, в чем он не был виноват. Он служил тому, чего здесь нет, потому что ему не давали служить этому там.

Вяземский просит сестру Пушкина Ольгу уговорить брата помириться с отцом, ведь известие о ссоре вредит поэту в глазах Александра I.¹² Друзья не помогают не потому, что они плохие друзья, они не могут помочь, они такие же собаки Хемницера, только поводок подлинней. Вяземский из них – самый догадливый, самый терпимый, но и он призывает к смирению. Уговаривая смириться, Вяземский тем самым в письме доказывает, что в России Пушкину жизни нет и быть не может. И Пушкин прямо пишет ему, что его болезнь – лишь предлог: «Аневризмом своим дорожил я пять лет как последним предлогом к избавлению, *ultima ratio libertatis* – и вдруг последняя моя надежда разрушена проклятым дозволением ехать лечиться в ссылку» (X.140). Латинские слова переводятся в разных изданиях как «последним доводом за освобождение» (Б.Ак.13.548) или «последним доводом в пользу освобождения» (X.616), – но там и там довод, а у Пушкина суть черным по белому предлог. Эту разнопонимаемость Пушкин выразил в каламбуре: «...друзья хлопчут о моей жиле, а я об жилье. Каково?» (X.141).

При этом он не делает попытки объяснить друзьям, что с ним происходит, и снова сообщает Жуковскому, что он болен аневризмом вот уже пять лет (два месяца назад он писал тому же Жуковскому, что болен десять лет). «Вам легко на досуге укорять в неблагодарности, – отвечает Пушкин Вяземскому, – а были бы вы (чего Боже упаси) на моем месте, так может быть и пуще моего взбеленились... Они заботятся о жизни моей; благодарю – но черт ли в эдакой жизни?.. Нет, дружба входит в заговор с тиранством, сама берется оправдать его, отворотить негодование; выписывают мне Мойера, который, ко-

нечно, может совершить операцию и в сибирском руднике... Я знаю, что право жаловаться ничтожно, как и все прочее, но оно есть в природе вещей. Погоди. Не демонствуй, Асмодей: мысли твои об общем мнении, о суете гонения и страдальчества (положим) справедливы, – но помилуй... Это моя религия; я уже не фанатик, но все еще набожен. Не отнимай у схимника надежду рая и страх ада» (X.140-141).

Надежда рая... Жуковскому Пушкин писал: «Вижу по газетам, что Перовский у вас. Счастливец! он видел и Рим, и Везувий» (X.135). Письма В.А.Перовского с восторгами об увиденном в Италии были опубликованы незадолго до этого в «Северных цветах». А Жуковский советовал Пушкину не только прооперироваться, но и делать быстрее «Годунова». При наличии «правильной» пьесы легче-де будет помочь автору.

Пушкин мечется. Он хочет всем доверять и не может никому. «На свете нет ничего более верного и отрадного, нежели дружба и свобода, – пишет он Осиповой. – Вы научили меня ценить всю прелесть первой» (X.128, по-фр.). И в то же время:

Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор (II.251).

Он за и против, он левый и правый, он конформист и диссидент, одним словом, он Пушкин, и они его не понимают. Он устал. Современник, встречавший его в это время, говорит: «...на нем был виден отпечаток грусти...»¹³ Поэзия Пушкину надоела: «...на все мои стихи я гляжу довольно равнодушно, как на старые проказы». Он пишет Анне Керн в конце сентября: «Пусть сама судьба распоряжается моей жизнью; я ни во что не хочу вмешиваться» (X.143). Между тем это лишь поза, игра, кокетство. Он спешит успокоить знакомых в Петербурге, что они не зря за него хлопотали: быть по сему, осенью он съездит в Псков. В голове его созревает компромиссный вариант, следующая попытка. Но прежде чем перейти к новому замыслу Пушкина выбраться за границу, скажем еще об одной встрече со старым приятелем, которая состоялась неподалеку от Михайловского.

Помещик Пещуров, взявший на себя негласное наблюдение за поэтом, сообщил своему племяннику в Париж, что общается с Пушкиным. Племянник собирался навестить дядю по дороге из-за границы домой. Это был лицейский товарищ и тезка поэта Александр Горчаков, дипломат, ставший впоследствии министром иностранных дел Российской империи, канцлером. Однокашников многое разделяло, но и объединяло многое. Они общались не раз в Петербурге во время приездов Горчакова из-за границы, хотя особой близости и доверия у Пушкина к нему не было.

Как Пущин и Дельвиг, Горчаков не побоялся увидиться с опальным приятелем, хотя многие это делать опасались. Знающий общую ситуацию Александр Тургенев, близкий Пушкину человек, уговаривал Пущина не ехать в Михайловское, ибо это может ему повредить. А потом советовал Вяземскому прекратить переписку с Пушкиным, чтобы не повредить ему и себе. Сам Тургенев вполне следовал в это время своему правилу. Горчаков же, хотя и не заехал в Михайловское, сославшись на простуду, встретился с Пушкиным, несмотря на предупреждение своего дяди о том, что поэт находится под надзором.

Встреча с Горчаковым могла бы стать, как нам кажется, переломным моментом в жизни Пушкина. Горчаков уже был влиятельной фигурой в Министерстве иностранных дел и вообще в русской дипломатии. Он находился в Вене, когда туда приехал царь и при нем Бенкендорф. Горчаков отказался выслушивать назидания Бенкендорфа, и скоро в его досье появилась запись: «Князь Горчаков не без способностей, но не любит Россию».¹⁴ Не опасайся его Пушкин, обсуди с ним жизненно важную проблему, – не исключено, что Горчаков бы помог. Но Пушкин вел с ним разговоры, не касаясь больной темы, читал ему отрывки из «Бориса Годунова». Вспоминали общих друзей.

Видимо, сказалось и настроение поэта, который отнесся к заезжему чиновнику холодно: «Он ужасно высох – впрочем, так и должно; зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гнием; первое все-таки лучше» (X.144). Из этого следует, что Пушкин считал: он сам здесь гниет. По настроению своему Пушкин и Горчакова сделал жертвой российского климата, хотя тот больше жил за границей. Расстались они без энту-

зиазма. А четыре месяца спустя, сразу после восстания декабристов, Горчаков тайно явился на квартиру Ивана Пушкина и предложил тому заграничный паспорт. Бежать можно было сразу. От паспорта Пушкин отказался, решил разделить участь товарищей. Стоит ли говорить, какому риску подвергал себя Горчаков?

Пушкин об этой истории не узнал. Пушкин рассказал ее уже после смерти поэта. И так, помочь Пушкину бежать Горчаков мог. Иван Новиков выстраивает следующий весьма откровенный диалог между Пушкиным и Горчаковым:

«— А ты не взял бы меня за границу? Мне нужен паспорт.

— Ежели б ты был в Петербурге, я думаю, это было б нетрудно. Но ведь не властен же я отвезти тебя в Петербург.

— Шутки в сторону: а ежели б был в Петербурге, хотя б непрощенный, и мне надо было бы тайно покинуть Россию?

Горчаков деловито подумал, взвешивая что-то в себе. Холодные глаза его чуть посветлели, и он негромко сказал:

— Я это сделал бы для любого лицейского товарища». ¹⁵

Как видим, этот вымышленный диалог целиком основан на последующей истории с Пушкиным в Петербурге: он перенесен Новиковым на встречу с Пушкиным в деревне. Конечно, роман, хотя и документальный, все же не документ, но важно, что серьезный пушкинист, каким был Новиков, считал возможным подобное развитие событий. Обратился ли поэт с такой просьбой или Горчаков с таким предложением в августе 1825 года, когда они встретились? На этот вопрос мы никогда не получим ответа. Возможно, Новиков в своем допущении ошибся. Пушкин, так доверчиво относившийся к лицейским друзьям, сделал тут тактический промах. Существует и другая версия, что Горчаков ездил в Псков просить за Пушкина, поручился за него губернатору. Версия эта сомнительна: кто-то, а Горчаков не мог не понимать, что дело Пушкина решается не в Пскове.

Глава пятая

ПРОШЕНИЕ ЗА ПРОШЕНИЕМ

«Я все жду от человеколюбивого сердца императора, авось-либо позволит он мне со временем искать стороны мне по сердцу и लेकर по доверчивости собственного рассудка, а не по приказанию высшего начальства».

Жуковскому, начало июля 1825.

Анна Керн из Риги (и не она одна) уговаривает Пушкина подать прошение царю. Он благодарит за совет, но отвечает, что не хочет этого делать. На самом же деле именно лояльное прошение он вновь собирается написать. По-видимому, уже готов черновик, только теперь он – часть целой серии действий, с учетом прошлых ошибок и неудач.

Глядя издали, мы можем восхищаться многоплановостью дел поэта-отшельника в Михайловском – от решения глобальных вопросов мироздания до флирта с молодыми соседками. Он жалуется на одиночество и управляет на расстоянии поступками множества людей. Он – органист, играющий одновременно на пяти клавиатурах, и каждая клавиша управляет на расстоянии его знакомыми, вызывает ответный звук. Он

прям и двуличен, простодушен и скрытен, благороден и хитер. Помыслы его подчинены тому, чтобы оказаться в Европе любым путем.

Приняты во внимание все советы друзей, самолюбие положено в карман. Он готов бить себя в грудь, признавать даже те проступки, которые не совершал, только бы царь сжалился, простил, отпустил. Период неверия в себя и упадка сил закончился. Пушкин опять бодр. Из замысла отправиться в Ригу созревает новый проект, который мы назовем Балтийским.

Пушкин нигде не написал, что он хочет бежать из Риги. После Одессы он стал осторожней. Есть свидетельства, что в Ригу поехать он хотел, но для чего? Ответ не вызывает сомнения: чтобы лечиться. Но – лечить болезнь, которой не было и которую он выдумал, чтобы с ее помощью очутиться на Западе. А теперь повторим вопрос: для чего он хотел поехать в Ригу после неудачных попыток поехать в Дерпт? Ответ не оставляет альтернативы: для выезда из Риги за границу.

Новый вариант прояснился, когда из Риги в Тригорское вернулась Осипова. Она привезла важную новость, о которой Пушкин тотчас поведал в письме Жуковскому. «П.А.Осипова, будучи в Риге, со всею заботливостью дружбы говорила обо мне оператору Руланду; операция не штука, сказал он, но следствия могут быть важны: больной должен лежать несколько недель неподвижно etc. Воля твоя, мой милый, – ни во Пскове, ни в Михайловском я на то не соглашусь...» (Х.144)

Итак, военный хирург Руланд, с которым Осипову свел, скорей всего, генерал Ермолай Федорович Керн, отнесся к будущему пациенту серьезно и согласился делать операцию. Два новых участника оказались втянутыми в Балтийский проект Пушкина: хирург Руланд и генерал Керн. Причем оба понятия не имели об истинных намерениях поэта. Ни о роли первого из них, ни о роли второго в планах Пушкина бежать из России материалов не имеется. В справочнике «Пушкин и его окружение» Руланд не упоминается. В примечаниях к письмам Пушкина Руланду отведено шесть строк.¹ Попытаемся восполнить этот пробел.

В архиве Музея истории медицины в Риге нам удалось найти несколько документов, касающихся Руланда. Справочник «Врачи Лифляндии», изданный по-немецки в Латвии (Митава,

позже названная Елгавой), хотя и ссылается на академический альбом, но биография Руланда несколько отличается в деталях.²

Хайнрих Христов Матиас Руланд (Модзалевский называет его Генрих Христиан-Матвей) родился в Беддингене под Брауншвейгом (по Модзалевскому Брауншвейг) 17 марта 1784 года. Он был сыном специалиста по ранам, то есть хирурга. Руланд-младший принадлежал к тем иностранцам, которые по приглашению русской власти приехали в Вильнюс, чтобы изучать медицину за казенный счет («за счет короны», говорится в издании «Врачи Лифляндии»). Оттуда студент Руланд был направлен в январе 1811 года в Дерптский университет, где продолжал штудировать медицину.

В декабре 1812 года Руланд окончил медицинский факультет и получил должность штаб-лекаря в Рижском военном госпитале. Через несколько лет у него появилась частная практика. Хайнрих Руланд умер в один год и следом за Пушкиным – 13 марта 1837 года. В некрологе по случаю его смерти, который нам удалось разыскать, Руланд назван рыцарем. Данные некролога, составленные сразу после смерти Руланда, видимо, следует считать наиболее точными.³ Таким образом, в тот год, когда Пушкин собирался с ним увидеться (или только использовать его приглашение для выезда в Ригу, а затем и дальше), Руланду исполнился 41 год. Будучи на пятнадцать лет старше Пушкина, он уже был опытным врачом с тринадцатилетней практикой.

Сложнее обстояло дело с протекцией генерал-лейтенанта Керна, поскольку за три месяца до этого у Пушкина был роман с его женой. Боясь, что этот роман разрушит семью, опытная соседка Пушкина и родственница Анны Керн Осипова увезла ее в Ригу мириться с мужем, обещая при этом Пушкину найти ему там врача. Плетя любовную интригу, Пушкин, судя по сохранившимся письмам, сперва издевался над Керном как только мог. Можно себе представить, какими словами он говорил о нем устно. Между тем Ермолай Федорович Керн, участник войны с французами, хотя и был старше своей жены на тридцать пять лет, сохранял хорошее здоровье и был не только крупным военным, но интересным светским человеком. Брак этот не был ее счастьем, но с его стороны был не по

расчету, хотя, говорят, постарев, он подсовывал жене молодых людей, чтобы держать ее утети под контролем. Повторяя без комментария только иронические замечания Пушкина, литературоведение необъективно по отношению к генералу Керну. В середине восьмидесятых годов в Риге мы пытались найти дом Кернов. Он был на месте бывшей Рижской цитадели, рядом с церковью Петра и Павла. На этом месте стояло здание, в котором находилось вполне советское учреждение Госагропром.

В начале октября 1825 года Керны приехали навестить родню в Тригорском, и генерал познакомился с Пушкиным. Зная свою хорошенькую и кокетливую жену, Керн мог в чем-то ее подозревать. «Он очень не поладил с мужем», – признавалась впоследствии Анна Керн Анненкову.⁴ Пушкин же в письме приятелю Алексею Вульффу об этом самом эпизоде писал совершенно противоположное: «Муж ее очень милый человек, мы познакомились и подружились» (X.145-146). Как объяснить это противоречие?

Раньше Пушкину нужна была жена Керна, и он насмеялся над ним. Анна Петровна, принадлежа им обоим и многим другим, исходила из простой логики, как должны складываться отношения между обманутым мужем и любовниками. Пушкин же, думается, предвидел, что комендант Риги генерал Керн, когда поэту удастся там оказаться, сможет реально помочь. И во время пребывания Кернов в Псковской губернии Пушкин старался произвести на генерала хорошее впечатление. Он великолепно умел это делать, и, как ему казалось, это удалось. Думается, гарнизонного врача Руланда предложил Пушкину именно Керн, хозяин гарнизона. Когда конфликт в семье Кернов усугубился, Пушкин из этих соображений попытался примирить супругов: «Постарайтесь же хотя мало-мальски наладить отношения с этим проклятым г-ном Керном» (X.614). Формула «тяжело больной поэт» в глазах всех участников этой истории отодвигала на второй план любовную аферу с Анной Петровной.

Теперь предстояло отыскать подтверждения, что в Пскове такая операция невозможна и Пушкину по жизненным показаниям необходимо поехать в Ригу. Конечной целью проекта был, по всей вероятности, побег через Балтийское море на

Запад. Врачу в Пскове предстояло удостоверить несуществующую болезнь и тот факт, что в Пскове лечить эту болезнь отказываются, но при этом с операцией можно подождать. Таким образом, поэт проявит послушность и выпутается из сложившейся ситуации. Затем можно добиваться ходатайства местных властей, которое пойдет по бюрократическим каналам в столицу.

Хирургом в Пскове был штаб-лекарь Василий Сокольский, но Пушкин по понятным причинам не хотел попасть на осмотр к серьезному врачу. Он предпочел того, о котором слышал раньше, а потом познакомился у Пещурова, – «некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученном свете по своей книге об лечении лошадей» (X.119). Это письмо Пушкина Жуковскому не имеет адреса и даже полного имени адресата, значит оно было отправлено не по почте. В письме Вяземскому Пушкин также сообщал, что ему «рекомендуют Всеволожского, очень искусного коновала» (X.120). Пушкин забыл или сознательно изменил фамилию врача Всеволода Всеволодова, который действительно был ветеринаром и даже переводчиком трудов по лечению «заразительных болезней домашних животных». Известно, что он (возможно, будучи пьяным) избил своего фельдшера. Позже Всеволодов стал профессором Петербургской медико-хирургической академии.⁵

Около середины августа 1825 года Пушкин встретился с Всеволодовым в неофициальной обстановке, надо думать, за обедом, что было очень важно для установления доверия. «На днях виделся я у Пещурова с каким-то доктором-аматёром: он пуще успокоил меня – только здесь мне кюхельбекерно...» (X.135) Л.Черейский пишет о Всеволодове: «Встречался с Пушкиным в Пскове летом 1826».⁶ Однако для получения фиктивного документа Пушкин встречался с Всеволодовым за год до этого и, по нашему предположению, не один раз. Грустный юмор видится в звании «доктор-аматёр», ибо пушкинский термин означает «врач-любитель». Пушкин писал «пуще успокоил», чем хотел, видимо, подчеркнуть: Мойеру приезжать не надо.

Шагом в осуществлении Балтийского проекта становится поездка в Псков. Не такая, какой от него добивались, но все

же в Псков. И вот поэт, по его словам, «увидя в окошко осень» (X.144), сел в тележку и прискакал туда. Между прочим, поразительно мало изменилось в русских порядках и через три четверти века после смерти Пушкина. В 1898 году Ян Райнис, выдающийся латышский поэт, будет отправлен царским правительством из Рижской тюрьмы в ссылку, туда же, откуда мечтал вырваться Пушкин, – в тот же Псков.⁷

В Пскове Пушкин нанес три визита и из них первый – врачу. Поэт говорил «с каким-то доктором-аматёром», но он прекрасно знал, с каким. Не ведаем, разыгрывал ли Пушкин тяжело больного или просто щедро заплатил Всеволодову. Скорее всего, имело место и то, и другое. Врач подтвердил серьезность болезни настолько, что предписал пациенту не двигаться не только после, как об этом предупредил Руланд, но и до операции. А главное, Всеволодов согласился с пациентом: болезнь теперь настолько осложнилась, что операция невозможна в Пскове, хотя об этом и было высочайше повелено.

Второй визит Пушкина был к архиепископу Псковскому Евгению Казанцеву. Ссылный поэт догадывался, что слезка идет и по этой линии. В связи с предстоящей аферой он решил явиться засвидетельствовать почтение и доказать благонравность мыслей на тот случай, если у начальства возникнут подозрения. Ему хотелось усыпить бдительность Казанцева, и, как Пушкину показалось, это удалось.

Наконец, третий и самый важный визит был к гражданскому губернатору Псковской губернии Борису фон Адеркасу, осуществлявшему надзор за поэтом по указанию губернатора Паулуччи и графа Нессельроде. Ссылаясь теперь не на свое самочувствие и желание, а на официальное лицо (псковского штаб-лекаря, что можно легко проверить), Пушкин объяснил Адеркасу: болезнь его осложнилась настолько, что ему грозит полная прикованность к постели, а затем и смерть.

Губернатор, по мнению Пушкина, оказался «весьма милостив» (X.146), внимательно выслушал, посочувствовал и обещал выяснить мнение наверху, то есть в Петербурге. Губернатор предложил, кроме того, переправить в столицу стихи Пушкина, что тоже было, по мнению поэта, хорошим знаком (мы в этом сомневаемся). «...Итак погодим, – написал Пушкин Жуковскому, – авось ли царь что-нибудь решит в мою пользу»

(X.145). Тут же в Пскове Пушкин написал письмо Вяземскому, но сжег его. Скорей всего, в письме содержались подробности визитов и чересчур откровенные комментарии к тому, с какой целью эти визиты были сделаны. Он решил не рисковать.

Вернувшись к себе в имение в оптимистическом настроении и с надеждой на царскую доброту, Пушкин сочиняет прошение Александру I, которое можно считать вторым шагом в его Балтийском проекте. От прошения сохранился лишь черновик. Вняв просьбам друзей смирить гордыню и каяться, Пушкин стал вспоминать в письме, как началась его опала. Она была результатом необдуманных обмолвок и сочинения сатирических стихов. В Петербурге разнесся слух, что молодой поэт был высечен в Тайной канцелярии. Этот позор толкнул его на отчаянные поступки: дуэли, мысли о самоубийстве и, может быть, даже на мысль о покушении. Далее в письме стоит буква V и волнистая черта. Некоторые исследователи полагают, что Пушкин имел ввиду *Votre Majesté* – Ваше Величество. Разумеется, писал Пушкин, все это было лишь в воображении, великодушие и либерализм власти спасли его честь. С тех пор, добавлял он, «я смело утверждаю, что всегда, на словах и с пером в руках уважал особу Вашего Величества».

Объяснив царю, что он пишет ему с откровенностью, которая была бы невозможна по отношению ко всякому другому властителю в мире, Пушкин просил о великодушии: «Жизнь в Пскове, городе, который мне назначен, не может принести мне никакой помощи. Я умоляю Ваше Величество разрешить мне пребывание в одной из наших столиц или же назначить мне какую-нибудь местность в Европе, где я мог бы позаботиться о своем здоровье» (X.617, по-фр.). Поэт стремился разжалобить государя, поставить его в такие условия, чтобы тот не мог отказать в столь простой просьбе. Назначить местность в Европе – звучало великолепно. В Петербурге мать и влиятельные друзья, как он надеется, снова просят царя. Дирижер этого оркестра находится в Михайловском.

Он между тем передумал и это свое письмо царю не отправил. Еще недавно Пушкин считал прошение матери ошибкой, полагая, что государь может в этом усмотреть хитрость, уклончивость, упрямство нераскаявшегося преступника. Да и у болезни не было врачебных подтверждений. Ныне Пушкин

хочет показать, что он раскаялся. К тому же болезнь грозит скорой смертью. Вот почему теперь уместно и матери обратиться к царю. На полях черновика письма Надежды Осиповны рукой приятеля Пушкина Соболевского сделана пометка: «Вероятно, сочинено А.Пушкиным». Это, однако, не доказано и не опровергнуто. Но поскольку сын был крайне недоволен предыдущим письмом матери, скорее всего, новое письмо Александру I могло быть отправлено только с его согласия.

«Ваше Величество! – пишет Надежда Осиповна Пушкина 27 ноября 1825 года. – Несчастливая мать, проникнутая сознанием доброты и милосердия Вашего Величества, осмеливается еще раз припасть к стопам Своего Августейшего Монарха, повторяя свою покорнейшую просьбу. По сведениям, которые я только что получила, болезнь моего сына быстро развивается, псковские доктора отказались сделать необходимую ему операцию, и он вернулся в деревню, где находится без всякой помощи и где общее состояние его очень худо. Сблагovolите, Ваше Величество, разрешить ему выехать в другое место, где он смог бы найти более опытного врача, и простите матери, дрожащей за жизнь своего сына, что она вторично осмеливается взывать к Вашему милосердию. Только на груди отца своих подданных несчастная мать может выплакать свое горе, только от своего Государя, от безграничной его доброты смеет она ожидать избавления от своих тревог. С глубочайшим уважением остаюсь Вашего Императорского Величества нижайшая, покорнейшая и благодарнейшая из подданных Надежда Пушкина, урожденная Ганнибал».⁸

Идея этого ходатайства долго обсуждалась друзьями поэта. Вяземский еще 11 июля 1825 года писал жене из Ревеля, где общался с отдохавшим там у моря семейством Пушкиных: «Мать, кажется, еще просила государя, чтобы отпустили его в Ригу, где есть хороший доктор».⁹ Для того, чтобы письмо вернее дошло по назначению, мать написала другое письмо – начальнику Главного штаба генерал-фельдмаршалу Дибичу.

«Ваше Превосходительство! Сочувствие, которое Вы соблагволили проявить ко мне, а также письмо, которым Вы почтили меня, дают мне смелость представить Вам мое нижайшее прошение Его Императорскому Величеству и умолять Ваше Превосходительство еще раз представительствовать за меня.

Моему несчастному сыну не было оказано никакой помощи в Пскове; врачи решили, что болезнь его слишком запущена для того, чтобы они могли взять на себя сделать операцию. Я не хочу распространяться, сердце мое переполнено, но поверьте, генерал, что благодарность матери больше всего того, что можно выразить, и эту благодарность Вам я сохраню на всю жизнь и буду счастлива выразить ее Вам лично, так же как и чувство почтительного уважения, с которым имею честь оставаться. Вашего Превосходительства нижайшая и преданнейшая Надежда Пушкина».¹⁰

Однако, отправляя эти письма из Москвы, мать не знала, что царя уже в живых не было.

Между тем, как бы в дополнение ко всем этим прошениям, Пушкин подготовил свою литературную работу. Жуковский не раз призывал его доказать свою лояльность творчеством и тем завоевать расположение императора. Теперь Пушкин спешно заканчивал «Бориса Годунова». К началу ноября драма была готова. Пьеса, мог думать Пушкин, покажет царю, что от легкомысленности поэта не осталось и следа, он стал серьезным писателем, к тому же историческим, а значит, неопасным для власти, и его можно спокойно отпустить за границу. Друзьям станет легче хлопотать за него, когда можно будет сослаться на созданное поэтом для пользы отечества: «пусть трагедия испулит меня» (X.145).

Кстати, у Пушкина мог быть еще один предлог проситься в Прибалтику, и значительно более достоверный. Предок его Абрам Ганнибал после смерти Петра Великого много лет прослужил обер-комендантом города Ревеля. Пушкин писал, что хочет добраться до ганнибаловских бумаг. Он мог бы присовокупить ходатайство о разрешении собирать там исторические материалы.

Наиболее влиятельным друзьям в этом новом сражении за выезд Пушкин отводил роль тяжелой артиллерии. Используя связи с крупными должностными лицами, они могли привести в действие прошение поэта, а теперь драматурга и историографа доромановского правления (в котором, с точки зрения сегодняшней царствующей фамилии, могли быть упомянуты и слабости). Пушкин надеялся не только на друзей, но и на человечность царя, что немедленно отразилось в его стихах.

Ура, наш царь! так! выпьем за царя...
Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей.
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал Лицей (II.247).

Против царю преследование, он надеется получить ответное прощение. Остается ждать да учить английский. «Мне нужен английский язык – и вот одна из невыгод моей ссылки: не имею способов учиться, пока пора. Грех гонителям моим!» – пишет он Вяземскому (X.147).

Верит ли Пушкин в возможность того, что его выпустят официально? По-видимому, он надеется, хотя и сомневается, ибо параллельно с официальным вариантом продолжается протупывание возможностей бегства. В переписке с Алексеем Вульфом, находящимся в Дрездте, Пушкин снова переходит на условный зашифрованный язык и просит ускорить выяснение вопросов, о которых они договаривались: «О коляске моей осмеливаюсь принести вам нижайшую просьбу. Если (что может случиться) деньги у вас есть, то прикажите, наняв лошадей, отправить ее в Опочку, если же (что также случается) денег нет – то напишите, сколько их будет нужно. – На всякий случай поспешим, пока дороги не испортились» (X.145). Не все ясно в этой тайнописи, но главные пункты таковы: надо ехать (коляска, которую Пушкин будто бы посылал за Мойером); сколько денег нужно для того, чтобы организовать побег, просьба ускорить дело.

Он живет напряженным ожиданием весь ноябрь, не ведая, что 19 числа в Таганроге умер Александр I. Такого оборота событий Пушкин никак не ждал. В Петербурге известие было получено 27 ноября. Пушкин услышал о смерти царя еще через три дня. В это время до Парижа дошла весть о том, что Пушкину позволили съездить в Псков для лечения. Об этом Николай Тургенев написал в Дрезден Чаадаеву, который рассчитывал встретить Пушкина в Европе, чтобы вместе путешествовать.

Глава шестая

«ЧТО МНЕ В РОССИИ ДЕЛАТЬ?»

«Если брать, так брать – не то, что и совести марасть – ради Бога, не просить у царя позволения мне жить в Опочке или в Риге; черт ли в них? а просить или о въезде в столицу, или о чужих краях. В столицу хочется мне для вас, друзья мои, – хочется с вами еще перед смертью поврать; но, конечно, благоразумнее бы отправиться за море. Что мне в России делать?»

Плетневу, 4-6 декабря 1825.

Надежды рухнули – надежды возникли. Едва услышав, что какой-то солдат, приехавший из Петербурга, рассказывал в Новоржеве о смерти Александра I, для проверки слуха Пушкин немедленно посылает в Новоржев кучера Петра. Петр вернулся на следующий день, подтвердив слухи и даже привезя новость: присягу принял новый царь Константин Павлович. Первая мысль Пушкина была о том, что проблемы его решались сами собой. Коронация значила амнистию почти автоматически. Старые планы теряли свой смысл. Желание ехать в Петербург возникло у него немедленно, и мы имеем соответствующий архивный документ.

Билет

Сей дан села Тригорского людям: Алексею Хохлову росту 2 аршина 4 вершка, волосы темно-русые, глаза голубые, бороду брет, лет 29, да Архипу Курочкину росту 2 аршина 3 1/2 вершка, волосы светло-русые, брови густые, глазом крив, ряб, лет 45, в удостоверение, что они точно посланы от меня в С.-Петербург по собственным моим надобностям и потому прошу господ командующих на заставах чинить им свободный пропуск.

Сего 1825 года, Ноября 29 дня, село Тригорское, что в Опоческом уезде.

Статская советница Прасковья Осипова.

Текст этой фиктивной подорожной написан самим Пушкиным, подпись Осиповой подделана им же, поставлена его печать. Сочинив бумагу, поэт отправился в Тригорское, собираясь либо уговорить соседку изготовить подлинник по образцу, либо предупредить на всякий случай.

Крепостной Алексей Хохлов – это он сам, только возраст себе прибавил для конспирации. Кстати, из трех известных нам указаний на рост поэта (брат Лев говорил, что 2 аршина, 5 вершков с небольшим, а художник Чернецов – 2 аршина и 5 1/2 вершков) рост, указанный самим Пушкиным, думается, наиболее точный: рост был для жандармов первым фактором установления личности. Таким образом, рост Пушкина был 159,8 сантиметра (считая на этот раз без каблуков, в лаптях), – небольшой, но и не карликовый, если учесть, что люди тогда были ниже ростом вообще. Годы он себе прибавил, считая, что выглядит старше. Второе лицо, упомянутое в подорожной, садовник Архип Курочкин.

Пушкин хотел, воспользовавшись неразберихой, появиться в Петербурге ненадолго – поговорить с друзьями с глазу на глаз, выяснить обстановку и использовать перемену власти для обретения свободы.

Дата в документе (возможно, чтобы спешка не показалась подозрительной) сдвинута Пушкиным назад: похоже, выехали они 1 или 2 декабря. По другим данным, он выехал 10 декабря. И.А.Новиков в уже упомянутом сочинении полагает: Пушкин рассчитывал на обещание Горчакова нелегально достать

ему заграничный паспорт, если поэт окажется в Петербурге. «Так все пути к отступлению были отрезаны, – пишет Новиков. – Он волновался не только близким свиданием с Керн. Он вспоминал и Горчакова: мог бы не говорить, но если сказал, так и сделает. Но он ясно представил, что покидает Россию – как будто привычная мысль, – и все же холодок пробежал по спине».¹ Архип уложил в дорожный чемодан барина мужицкий наряд.

Пушкин ехал в Петербург, выбрав не основную дорогу. И чем дальше ехал, тем авантюрней, бессмысленней и опасней казался ему собственный замысел. Если трудно было скрыться в Дерпте, то уж в Петербурге его всякая собака узнает.

А завтра же до короля дойдет,
Что Дон Гуан из ссылки самовольно
В Мадрит явился, – что тогда, скажите,
Он с вами сделает? (V.317)

Это ведь Пушкин писал о себе, только позже.

Военные, гвардия, охрана, спецслужбы – все сейчас начеку в связи с переменой власти, дабы не возникли беспорядки. В Пскове тоже сразу хватятся. Да и как смогут приятели помочь, когда еще ничего не ясно? Словом, там только себе навредишь. После такого самоуправства опять по-хорошему за границу не отпустят. А вполне вероятно, что это в скором времени удастся само собой.

Примерно так, нам кажется, думал Пушкин, не ведая, что в Петербурге хаос и не до михайловского ссыльного: не ясно, какому царю присягать, переписка между Николаем и Константином, междуцарствие. Не отъехав далеко, поэт вдруг велел Курочкину поворачивать назад. Потом уже несколько человек, наверно, рассказывали, что Пушкин вернулся, так как дорогу им перебежал заяц, а это была дурная примета. Кроме того, навстречу шел священник. Детали приводятся разные, но Пушкин вернулся не из-за плохих примет, хотя приметам верил, а по логическому рассуждению и удивительной способности предвидеть опасности – дару, который его не раз выручал.

В нашем рассуждении повторены соображения биографа Пушкина Анненкова, который считал, что основную роль в решении возвратиться сыграли не приметы, а осмотритель-

ность поэта. По меткому замечанию Ю.Айхенвальда, в Пушкине всегда был «голос осторожности».² То, что он возвратился в Михайловское, его спасло: до восстания декабристов оставались считанные дни, и ссыльный поэт оказался бы в самом пекле.

Судя по воспоминаниям Соболевского, Пушкин, не подозревая о попытке переворота, собирался приехать и спрятаться на квартире Рылеева, который светской жизни не вел. Но окажется Пушкин в доме одного из основных заговорщиков, да еще нелегально, его бы наверняка посадили в Петропавловскую крепость и подвергли изнурительным допросам. Так что не известно, чем бы все кончилось.³

За несколько часов до того, как Пушкин узнал о смерти Александра Павловича, он писал А.Бестужеву: «...надоела мне печать... поэмы мои скоро выйдут. И они мне надоели...» (X.148). Теперь происходившее могло настроить его на сдержанный оптимизм. Не случайно Анненков жизнь Пушкина до 1826 года называет Александровским периодом. Пушкин понимал, что со смертью Александра закончилась целая историческая эпоха. Поэт вполне мог рассчитывать на изменение всего политического курса империи.

Новая эпоха началась с чеканки новых серебряных рублей с изображением императора Константина. Тот еще не вззошел на престол, но уже возникли иллюзии. Вернувшись в свою берлогу, Пушкин сразу пишет Катенину в Москву: «...как поэт, радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма... К тому же он умен, а с умными людьми всё как-то лучше; словом, я надеюсь от него много хорошего» (X.150). Не исключено, что эти верноподданнические строки написаны в расчете на перлюстрацию письма – прием старый, как сама перлюстрация.

В деревне Пушкину не сидится, и его можно понять. Письмо за письмом уходят в Петербург и Москву каждый почтовый день: «Если я друзей моих не слишком отучил от ходатайства, вероятно, они вспомнят обо мне», – намекает он Плетневу и далее говорит о том, что в России поэту делать нечего (см. эпиграф). Мысль о «самоосвобождении» оставлена, зато все усилия сконцентрированы на легальных хлопотах перед царем Константином.

Письма поэта исчезают без отзвука, в глухоту. Он зря хитрил, хваля Константина: через несколько дней тот отрекся от престола в пользу младшего брата. Пушкин надеется на высочайшее снисхождение вступившего на царствие Николая. Но из Петербурга в ответ – мрачные вести о бунте выведенных на Сенатскую площадь полков. Скоро Пушкин узнает подробности о том, что в ночь на 14 декабря великий князь Николай Павлович зачитал манифест о своем вступлении на престол, и войска отказались присягнуть новому императору. Военный губернатор Милорадович, занимавшийся делом Пушкина до ссылки поэта на юг, смертельно ранен на площади Каховским. Войска рассеяны артиллерийским огнем. В Петербурге обыски и аресты.

Первая реакция Пушкина – страх; он решает сжечь свои рукописи. В то время для ареста из-за политических причин (в отличие от советского времени) властям нужны были улики. Чтобы их уничтожить, поэт сжигает свои тетради, где находились и автобиографические записки, над которыми работал четыре года. Позже он говорил, что сделал это, боясь, что записки могут замешать многие имена и умножить число жертв. Но, конечно, боялся и за себя, что вполне естественно.

В архиве Пушкина этого периода не сохранилось писем брата Льва, князя Вяземского и некоторых других корреспондентов. Все эти письма тоже ушли в огонь. Пушкин сжег важную часть своего архива и после не жалел об этом; он вообще редко жалел о прошлом. Впрочем, если бы не первый импульс, мог бы и не сжигать. Допустим, он не мог сесть на лошадь да отвезти друзьям в Тригорское: друзья могли разболтать. Не хотел доверить Арине Родионовне – прислугу бы допросили. Но мог ведь спрятать в лесу – имение-то большое. Когда в Москве в начале восьмидесятых начала писаться эта книга, для поиска спрятанных рукописей органы привозили взвод солдат и велели срывать на дачном участке весь слой земли глубиной в метр. Одна группа солдат копает, у другой – отдых; через час они меняются. Тому, кто найдет – премия: увольнительная домой на несколько дней. И рыли солдатики за надежду увидеть маму, не задумываясь, что рыли могилу иннакомыслящему писателю и его рукописям. Но даже и в та-

ком случае не под силу им было бы скрыть Михайловское имение в поисках запретных мыслей.

А что, если Пушкин и в самом деле спрятал или отдал кому-то на хранение бесценные рукописи свои и только сказал, что сжег, чтобы не искали? Маловероятное предположение, а все ж пока нельзя его отвергнуть начисто. Вяземский, например, принял на хранение портфель с рукописями декабристов и возвратил его в сохранности Пушкину, когда тот вернулся с каторги.⁴ Интересно бы узнать, что писал Пушкин в своих автобиографических заметках о намерениях отправиться за границу. Впрочем, и без того много сохранилось, не упустить бы важное из имеющихся материалов. Его герой тех дней – граф Нулин, «русский парижанец»,

Святую Русь бранит, дивится,
Как можно жить в ее снегах,
Жалует о Париже страх (IV.241).

Принято считать, что восстание на Сенатской площади многое переменяло в судьбе Пушкина. За ним действительно последовал ряд важных для него событий, но связанных не с восстанием непосредственно, а со сменой царя.

Уничтожив, как ему казалось, улики, Пушкин составил список своих проступков: в Кишиневе был дружен с тремя декабристами, состоял в масонской ложе, которая была запрещена, был знаком с большей частью заговорщиков, покойный царь упрекнул его в безверии. Вот и всё. Послав этот список Жуковскому с просьбой сжечь письмо, Пушкин резюмировал: «Кажется, можно сказать царю: Ваше Величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?» (X.154)

Правительство, однако, объявило опалу и тем лицам, которые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не объявили о том полиции. Этот упрек Пушкин отводил: кто ж, кроме полиции и правительства, не знал о заговоре?

О своей невиновности (а точнее, о том, что надо донести наверх о его невиновности) сообщает он вскоре и Дельвигу: «...никогда я не проповедовал ни возмущений, ни революции – напротив... я желал бы *вполне и искренно* помириться с прави-

тельством... Твердо надеюсь на великодушные молодого нашего царя» (выделено Пушкиным. X.155). Объяснение причин этого нетерпения находим в письме, посланном Плетневу. Пушкин ждет милости, надеясь, что сбудется его желание уехать: «Ужели молодой наш царь не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее?» (X.153) И – «пускай позволят мне бросить проклятое Михайловское. Вопрос: невинен я или нет? но в обоих случаях давно бы надлежало мне быть в Петербурге» (X.157).

Письмо за письмом, и в них то же: «Батюшки, помогите» (X.157). Но при этом он оставляет себе что-то, ту малость, ниже которой интеллигентный человек опуститься не может. Убеждения в этой части земного шара иметь можно, нельзя их лишь высказывать, и Пушкин это понимает: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» (X.158). Он готов к компромиссу, только выпустите.

На Рождественские каникулы в Тригорское приехал из Дерпта Вульф. Обсуждают неувязки старых планов, которые отменились сами собой в связи с тем, что вскоре все будет решено новым царем. Пили за него. Всю ночь напролет Пушкин читал Вульфу «Бориса Годунова». Накануне Нового 1826 года вышел том стихотворений гигантским тиражом 1200 экземпляров – доказательство недюжинной либеральности прессы в те времена. Однотомник этот рекламировали широко, и деньги за него Пушкину поступили немалые. Помещик Пещуров отказался от наблюдения за поэтом. На Новый год пили за надежды, которые теперь-то уж обязательно должны осуществиться: и русская зима имеет свой конец.

А в Петербурге кипит работа в созданном Тайном комитете для следствия по делу о декабристах. Во многих делах фигурировали стихи и слова Пушкина. Павел Бестужев на допросе показал, что причина его вольномыслия – стихи Пушкина. Михаил Бестужев-Рюмин заявил, что вольнодумные стихи Пушкина распространялись по всей армии. Пушкина упоминали на допросах А.Бестужев, барон Штейнгель, мичман В.Дивов, капитан А.Майборода.

Протоколы допросов следственной комиссии сохранили для потомков весьма мрачную картину показаний офицеров друг

на друга и на самих себя, хотя никто не вымогал этих показаний под пытками или угрозами. Не упомянул поэта на допросе Пущин, а на прямо поставленный вопрос отвел его вину, сказав, что Пушкин был всегда противником тайных обществ.⁵

Для оптимизма, которым жил теперь Пушкин, оставалось все меньше оснований. Допросы шли полным ходом, по всей стране производились обыски и аресты. Пушкин знал, что исчез Вильгельм Кюхельбекер и, согласно официальной версии, погиб в день бунта. А Кюхельбекер оказался среди тех немногих участников восстания, которые решили немедленно бежать за границу.

В городе, бывшем фактически на осадном положении, где кругом солдаты, сыщики и добровольные доносчики, Кюхельбекер благополучно пробрался домой и затем столь же благополучно выехал. Он сумел раздобыть подложный паспорт. Он знал, как и куда двигаться. Он допустил лишь одну оплошность: не запасся деньгами. Сравнительно легко добрался он до границы, и здесь его свели с тремя парнями, которые согласились переправить его за границу. Плата за это – две тысячи рублей. У Вильгельма оставалось только двести, и он решил ехать сам.

Пока он добирался до границы с Польшей, выбирая круглые пути, прошло около полутора месяцев. Его искали, уже распространили его приметы, которые сообщил полиции бывший его друг Булгарин. В пограничных местностях бдительность установлена была особая. Кюхельбекер подделал дату в своем виде на жительство и благополучно добрался до Варшавы. Три года назад он возвращался этой дорогой из-за границы и помнил эти места. У беженца в кармане было два адреса верных людей, но он не успел их навестить: его опознали на улице. 28 января в Петербурге стало известно о его аресте.

Мы не знаем источника, из которого Тынянов почерпнул подробности бегства, скорее всего, то были воспоминания, которые находились в архиве Кюхельбекера, доставшемся Тынянову, а после исчезнувшем. Учитывая время написания, то есть сталинские годы, Тынянов нарисовал эту сцену удивительно смело. Смысл ее прозрачен: спасение только на Западе; в полицейской России со всеобщим доносительством деться некуда.⁶

Пушкин и Кюхельбекер были близкими друзьями с детства. Как знаток западной философии Кюхельбекер влиял на взгляды Пушкина. В письме, полученном от Дельвига, Пушкин прочитал: «Наш сумасшедший Кюхля нашелся, как ты знаешь по газетам, в Варшаве». «Как ты знаешь по газетам...» – это написано для третьего читателя, для перлюстратора. Дельвиг сперва начал писать «пой», т. е. «пойман», но одумался, зачеркнул и написал «нашелся» (Б.Ак.13.260).

У нас нет свидетельств реакции Пушкина на это «нашелся», то есть на арест беглеца Кюхельбекера. Вряд ли Пушкина сильно удивил факт, что Кюхельбекер попытался осуществить то же, что сам поэт, – удрать за границу. Но, без всякого сомнения, Пушкина потрясло, что друг его был схвачен неподалеку от цели. Думается, именно этот арест умерил планы поэта бежать тайно. А ведь не знал он, что, кроме Кюхельбекера, арестован и Грибоедов. Было от чего потерять и сон, и аппетит, и жажду развлечений. Узел затягивался вокруг той самой троицы, которая в 1817-м принесла клятву служить верой и правдой русской дипломатии: двое за решеткой, очередь за Пушкиным.

Кюхельбекер был недалеко от свободы, но, отсидев десять лет в Шлиссельбургской и Динабургской крепостях и еще десять лет в Сибирской ссылке, больной чахоткой, ослепший, он перед смертью просил Жуковского добиться царской милости, напечатать самые невинные литературные произведения: «...право, сердце кровью заливается, если подумаешь, что все мною созданное, вместе со мной погибнет, как звук пустой, как ничтожный отголосок!»⁷

Другой декабрист, Михаил Бестужев, в ночь после восстания также обдумывал пути бегства за границу, советуясь с коллегой К.П.Торсоном. Вот диалог Торсона с Бестужевым из воспоминаний самого Бестужева.

« – Итак, ты думаешь бежать за границу? Но какими путями, как? Ты знаешь, как это трудно исполнить в России, и притом зимою?

– Согласен с тобою – трудно, но не совсем невозможно. Главное я уже обдумал, а о подробностях подумаю после. Слушай: я переоденусь в костюм русского мужика и буду играть роль приказчика, которому вверяют обоз, каждодневно прихо-

дящий из Архангельска в Питер. Мне этот приказчик знаком и сделает для меня все, чтобы спасти меня. В бытность мою в Архангельске я это испытал. Он меня возьмет как помощника. Надо только достать паспорт. Ну да об этом похлопочет Борецкий, к которому я теперь отправляюсь. Делопроизводитель в квартале у него в руках... Он же достанет мне бороду, парик и прочие принадлежности костюма... Лишь бы мне выбраться за заставу, а тогда я безопасно достигну Архангельска. Там до открытия навигации буду скрываться на островах между лоцманами, между которыми есть задушевные мои приятели, которые помогут мне на английском или французском корабле высадиться в Англию или во Францию».⁸

Затея Бестужева не удалась. Улицы были полны патрулей. У своего родственника актера Борецкого он переделался в мужика, приклеил бороду. Через знакомого Борецкий достал беглецу паспорт человека, незадолго до этого умершего в больнице. Но выяснилось, что паспорта уже недостаточно для проезда заставы. Надо еще личную записку коменданта. Так что удрать невозможно. Дом Бестужева был окружен шпионами и сыщиками тайной полиции. Бестужев сдался жандармам добровольно.

Другой участник бунта, морской офицер Николай Бестужев, решил бежать в Швецию. Из Петербурга он добрался незамеченным до Толбухина маяка. Там караульные матросы знали его как помощника директора маяков Спафарьева. Бестужев остановился обогреться, но в это время жена одного матроса, узнав его, донесла властям, и беглеца вскоре догнали.⁹

Пушкин мог благополучно объявиться в Германии, а мог попасться на глаза первому же доносчику, которыми кишели пограничные районы, быть схваченным стражей и отправиться в кандалах в Сибирь коротать годы. Друзья советуют Пушкину обратиться к новому царю с просьбой о прощении, а не о загранице. «Самому тебе не желать возврата в Петербург странно! – удивлялся Павел Катенин. – Где же лучше?» (Б.Ак.13.259) А немного позднее Катенин советует писать «почтительную просьбу в благородном тоне» прямо новому царю. В конце февраля Плетнев сообщает Пушкину поручение Жуковского: надо написать покаянное письмо. В начале марта письмо сочинено и приложено к ответному письму Плетневу. Сам Пушкин, чтобы не упоминать императора, прибавляет: «При сем

письмо к Жуковскому в треугольной шляпе и в башмаках. Не смею надеяться, но мне бы сладко было получить свободу от Жуковского, а не от другого...» (X.158)

Пушкин рассчитывал, что друзья поймут и письмо достигнет царя: куда же, как не на прием, надевает Жуковский треугольную шляпу? Поэт снова напоминает о своей болезни (теперь уже не аневризм, но нечто более неопределенное, «род аневризма», требующий немедленного лечения). «Вступление на престол государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, Его Величеству угодно будет переменить мою судьбу» (X.158).

Месяц ушел у Жуковского на размышления, а ответ обдал Пушкина ушатом холодной воды. «В теперешних обстоятельствах, – отвечает ему Жуковский, подчеркивая важные места, – нет никакой возможности ничего сделать в твою пользу. Всего благоразумнее для тебя остаться покойно в деревне, не напоминать о себе и писать, *но писать для славы*. Дай пройти несчастному этому времени. Я никак не умею изъяснить, для чего ты написал мне последнее письмо свое. Есть ли оно *только ко мне*, то оно странно. Есть ли ж для того, чтобы его *показать*, то безрассудно. Ты ни в чем не замешан – это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством» (выделено Жуковским. Б.Ак.13.271).

Многое мог сделать Жуковский (и, добавим, делал), но в тот момент ему было не до Пушкина. Он сам весной отправлялся за границу – на лечение и отдых на все лето, до сентября. А Пушкину Жуковский советовал сидеть тихо в Михайловском и вести себя благонамеренно: «Еще не время. Пиши Годунова и подобное: они отворят дверь свободы». «Борис Годунов» уже был написан, и кое-какие надежды на пьесу Пушкин возлагал. Он хотел посоветоваться с Жуковским с глазу на глаз и поэтому спрашивал Вульфа: не через Дерпт ли едет Жуковский в Карлсбад? Конечно, ехал он через Дерпт, но почему-то не заглянул в михайловскую глушь, наверное, спешил в Европу.

В Петербурге оставался старик Карамзин, не раз выручавший из беды, но он занемог. Да и отношения их в последнее время не были теплыми. Карамзин считал писания Пушкина

живыми, но недостаточно зрелыми. Что касается влияния Карамзина на покойного императора, то это влияние в конце ослабло. С Николаем I отношения у Карамзина были лучше, но время не очень подходило для просвещенных советов царю. Впрочем, Карамзин замолвил все-таки слово за Пушкина и, может быть, отвратил худшие последствия. Но это был последний жест доброй воли шестидесятилетнего писателя.

Карамзин сам смертельно болен и, в отличие от Пушкина, не притворяется. Ему самому, чтобы выжить (воспаление легких, кашель с кровью), как полагают врачи, остается последний шанс: целебный климат Италии. Карамзин просит дать ему должность русского резидента во Флоренции, обещая в чужой земле беспрестанно заниматься Россией. Царь остроумно отвечает, что российскому историографу не нужно такого предложения, чтобы выехать: Карамзин может там жить свободно, занимаясь своим делом, которое важнее дипломатической корреспонденции, особенно флорентийской. Николай Павлович назначает историографу и его семье огромную пенсию 50 тысяч рублей годовых (прежний царь платил 2 тысячи) и обещает даже дать ему специальный фрегат. Уже пакуются чемоданы для Италии, но окружающие понимают, что писатель кончается. 22 мая 1826 года, не успев отправиться лечиться в Италию, Карамзин умер. В глуши, оставаясь в неведении, Пушкин еще некоторое время надеялся, что Карамзин поможет, а великий историограф был уже мертв.

Неожиданно за границу ускакал и другой его заступник, Александр Тургенев. Поспешил он в Дрезден к брату Сергею, который там заболел. Этой поездке не помешало то чрезвычайное обстоятельство, что третий брат Николай отказался вернуться в Россию после восстания декабристов и был приговорен к смертной казни заочно. Новый царь не препятствовал отъезду Александра Тургенева за границу. С него лишь взяли подписку, что не будет там встречаться с осужденным братом.

Не мог помочь и князь Вяземский, не до того ему было. Несчастье обрушилось на его семью: в мае в Москве умер трехлетний сын, из пятерых детей остался один. Пушкин в конце апреля уже просил Вяземского об одолжении. Он отправил к нему крепостную Ольгу Калашникову, «которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил» (X.159). Пушкин про-

сил пристроить ее в имени и позаботиться о малютке. 1 июля у Пушкина родился сын Павел, которого записали сыном крепостного Якова Иванова, – такова была обычная практика. Вересаев предполагал даже, что речь шла сразу о двух беременных, которым должен был помочь Вяземский.¹⁰ Теперь Вяземские уехали из столицы в Ревель вместе с вдовой и детьми Карамзина.

Все разъехались, а Пушкин сидел на том же месте. Помогать ему было некому.

Наступило тревожное затишье и в общественной, и литературной жизни. Как выразился поэт Николай Языков, «перевоз тела в бозе почившего монарха поглотил все чувства литературные; ничего нового не является в публику».¹¹ Предполагали, что лед вот-вот тронется, но этого не происходило. «Дождись коронации, – утешал Пушкина Дельвиг, – тогда можно будет просить Царя, тогда можно от него ждать для тебя новой жизни» (Б.Ак.13.271). Сам Дельвиг только что женился, был счастлив и увлечен новыми обязанностями. Заниматься хлопотами, связанными с Пушкиным, к тому же весьма неопределенного свойства, ему был недосуг, да и не по силам. Пушкину ничего не оставалось, кроме как ждать.

Глава седьмая

НА ПРИВЯЗИ

*«Ты, который не на привязи,
как можешь ты оставаться в Рос-
сии? Если Царь даст мне слободу,
то я месяца не останусь».*

Вяземскому, 27 мая 1826.

Обдумаем эти слова, написанные Пушкиным в письме из Михайловского, посланном, разумеется, не по почте, а с okazji в начале лета того тревожного и очень важного года в жизни поэта. Он не только не хочет сам оставаться в России, но удивляется другу, у которого есть возможность уехать, а тот ее не реализует. Слово «слобода» четко написано Пушкиным в ласковом просторечном звучании, но исправлено на «свобода» в Малом академическом собрании сочинений (X.161). Пушкин многозначительно подчеркивает это слово «слобода». Он рассчитывает, что новый царь отпустит его. Поэт указывает срок (и этот срок, как видим, меньше месяца), который ему нужен, чтобы уладить все дела и отбыть.

Подтолкнули его к очередному шагу извне. Согласно рескрипту Николая I на имя управляющего Министерства внутренних дел Ланского от 21 апреля 1826 года от всех находящихся в службе и отставных чиновников, а также от неслужащих дворян должна быть взята подписка о непринадлежности

к тайным обществам в прошлом и обязательство к таковым не принадлежать в будущем. Форма это была придумана не столько для проверки лояльности власть имущего слоя (абсолютное большинство помещиков едва знали, о чем идет речь), сколько для порядка: всем застегнули на шее поводок.

Пушкину тоже пришлось поехать в Псков и подписать в присутственном месте бумагу, что он ни к каким тайным обществам не принадлежал и никогда не знал о них. В связи с этой подпиской Пушкин, видимо, посоветовавшись с чиновниками в Пскове, а также учтя давление друзей (кайся! кайся!!), написал прошение все милостивейшему государю. Он обращается «с надеждой на великодушие Вашего Императорского Величества, с истинным раскаянием и твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом)» (X.162).

Он по-прежнему озабочен медицинским подтверждением своей липовой болезни: «Я теперь во Пскове, – сообщает он Вяземскому, – и молодой доктор спьяна сказал мне, что без операции я не дотяну до 30 лет. Незабавно умереть в Опоческом уезде» (X.161). Пили они вместе с доктором или ветеринар был уже пьян, когда Пушкин к нему явился, а может, взятка помогла, факт остается фактом: Всеволодова удалось провести.

Как явствует из письма, Пушкин почему-то уверовал, что его на этот раз выпустят за границу. В мыслях он уже уехал, он уже там. «Мы живем в печальном веке, – пишет он Вяземскому, – но когда воображаю Лондон, чугунные мосты, паровые корабли, Английские журналы или Парижские театры и бордели – то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-й песне «Онегина» я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем дарование приметно – услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится – ай-да умница. Прощай» (X.161).

Слово «бордели» печаталось в ранних советских изданиях писем Пушкина, но позже было заменено прочерком, а в словах «Английские» и «Парижские» заглавные буквы, написанные поэтом, исправлены на строчные. Уже после смерти Пушкина друг его Павел Нащокин вспомнит: «Ни наших университетов, ни наших театров Пушкин не любил». Пушкинист

Гроссман к этим словам добавляет: «Так оно, по-видимому, и было к концу жизни поэта».¹ Но отсутствие интереса к русской Терпсихоре – и, добавим мы, к русской культуре вообще – Гроссман отмечает у Пушкина именно в связи с цитированным нами выше письмом 1826 года Вяземскому.

Обратим внимание на два важных заявления в этом письме: Пушкин все еще готовится выехать нелегально («удрать»); и для тех потомков, кто будет доказывать, что патриот Пушкин хотел лишь съездить за границу, сам поэт заявляет, что он «никогда в проклятую Русь не воротится». И беглец сам себя хвалит за это решение. Весьма прямой намек на желание уехать навсегда мы можем также обнаружить даже в официальном пушкинском прошении Николаю I. «Здоровье мое, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю свидетельство медиков: осмелюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего в Москву, или в Петербург, или в чужие края» (X.162). Как видим, поэт просит отпустить его для «постоянного лечения» (X.162).

Настроение скорого отъезда поддержал в Пушкине друг Дельвиг. В письме, присланном Осиповой в Тригорское, говорится: «Пушкина верно пустят на все четыре стороны; но надо сперва кончиться суду».² Имеется в виду идущий полным ходом процесс над декабристами.

В Тригорское на летние каникулы приехал Алексей Вульф и привез Николая Языкова, который поселился в бане. Тут и Пушкин остается ночевать, когда гуляние идет за полночь. Ему весело с друзьями и подругами. Оптимизма, однако, хватило ненадолго. Когда опять пришло письмо Вяземского с советом написать покаянное письмо и просить дозволения ехать лечиться, Пушкин отвечает: «Твой совет кажется мне хорош – я уже написал царю, тотчас по окончании следствия... Жду ответа, но плохо надеюсь» (X.163). Следствие по декабристскому *coup d'état* и Пушкину грозило дорогой в противоположную сторону.

В столице его судьба давно обсуждалась, о чем он почти ничего не знал. Еще в феврале М.Я.фон Фоку, тогда управляющему Особой канцелярией при Министерстве внутренних дел, доставлено донесение, что Пушкин и ныне проповедует

безбожие и неповиновение властям.³ В то же время жандармский полковник Бибиков положил на стол своему шефу и родственнику Бенкендорфу соображения по поводу обращения с вольнодумцами. Ссылка, по мнению Бибикова, делает таких людей, как Пушкин, лишь более желчными. Полковник предлагал похвалить тщеславию этих мудрецов, и они изменяют свое мнение.

В это время власти тщательно прослеживали контакты Пушкина. Еще в апреле Петербургский генерал-губернатор Голевищев-Кутузов на секретной записке начальника Главного штаба Дибича о Петре Плетневе отметил, что хотя он поведения примерного, следует организовать надзор за ним, поскольку он является комиссионером Пушкина. Плетнева пригласили и сделали ему выговор за переписку с михайловским отказником. Плетнев подчинился, и в кругу поэта еще на одного верного человека стало меньше.

Бенкендорфу поступил донос в связи с перехваченным письмом Михаила Погодина, где тот приглашал Пушкина сотрудничать в новом журнале «Московский вестник». В доносе предлагалась мера наказания, проливающая некоторый свет на проблему, которая волновала и Пушкина. «Запретить Погодину издавать журнал, без сомнения, невозможно уже теперь. Но он хотел ехать за границу на казенный счет, хотел вступить в службу – вот как можно зажать его», – предлагал правительству Булгарин.⁴ Бенкендорф ознакомил с запиской государя. Другой тайный агент в донесении сообщал: «Все чрезвычайно удивлены, что знаменитый Пушкин, который всегда был известен своим образом мыслей, не привлечен к делу заговорщиков».⁵

Нет, время было не самое лучшее, чтобы надеяться на прощение. Николай I делает распоряжение Следственной комиссии: «Из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи». Глава русского государства приравнял поэзию к чуме. В архиве сохранился лист с показаниями декабриста Громницкого. На обороте текст густо зачеркнут и написано: «С-высочайшего соизволения помарал военный комиссар Татищев». Это было стихотворение Пушкина «Кинжал».⁶

В Петербурге опубликовали список заговорщиков, привлеченных к суду. Теперь князь Голицын, типичный иезуит и при-

рожденный следователь-сыщик, по выражению Н.О.Лернера, мог считать свою миссию в качестве главы Следственной комиссии по делу о 14 декабря полностью выполненной. До казни оставался месяц, брезжили кое-какие иллюзии на помилование, но этого не произошло. Больше того, в промежутке между приговором и повешением видоизменилась структура государственного сыска.

В свое время покойный император Александр I официально уничтожил Тайную канцелярию и даже запретил упоминать ее название. Секретные дела, направленные против государства, стали рассматриваться в обычных присутственных местах и присылались на так называемое «обревизование» в первый департамент Сената, откуда, может быть, пошло советское название «первый отдел».

Летом 1826 года, перед казнью декабристов, сорокатрехлетний начальник первой Кирасирской дивизии генерал-адъютант Александр Бенкендорф, активный член Следственной комиссии, был назначен шефом жандармов и командующим Главной императорской квартирой, а затем стал начальником Третьего отделения Собственной Его Величества канцелярии, которую почтительно стали называть Высшей полицией. Реорганизовали ее из двух особых канцелярий – Министерства полиции и Министерства внутренних дел.

Третьему отделению был придан корпус жандармов (в качестве исполнительной части). Империю разделили на восемь жандармских округов во главе с генералами и штатом офицеров, в задачи которых входило тайное наблюдение и слежка за деятельностью и личной жизнью чиновников и всех обывателей. Система тайных агентов, шпионаж, подкуп, доноительство – все это вместе стало неперемennым элементом существования страны. Еще в первый день Рождества, после разгона восставших, генерал Александр Бенкендорф получил от императора орден Святого Александра. Генерал-адъютант от кавалерии, на которого поколения пушкинистов не жалели черной краски, был на самом деле неординарной личностью.

Сын эстляндского гражданского губернатора из Риги, он в молодости увлекался либеральными идеями. Мать его была близкой подругой императрицы Марии Федоровны. Брат его Константин написал книгу «Краткая история лейб-гвардии гу-

сарского Его Величества полка».⁷ Можно представить себе, каким бестселлером могла бы стать книга самого главы Третьего отделения, будь она написана.

Пятнадцать лет этот человек попал во флигель-адъютанты императора Павла. Бенкендорф был хорошо образован, умен, отважен и, как ни странно, порядочен. При огромной и тайной власти, которой он располагал, он не использовал служебного положения для корысти, не организовывал ложных дел, чтобы выслужиться, не сочинял напрасных обвинений, не преследовал личных врагов и презирал людей, доносивших ложь. Тынянов утверждал, что старательность Бенкендорфа раздражала Александра и тот не любил генерала. Тынянов добавлял, что Бенкендорф был бабником, но не говорил того же о Пушкине, в сравнении с которым шеф жандармов был образцовым семьянином.

В 1826 году Бенкендорфу исполнилось 43 года. Николай, который был моложе на 13 лет, видел в генерале одного из самых близких себе людей, доверял ему наиболее деликатные поручения, огласки которых не хотел. Преданность главы Третьего отделения была безупречная, и Николай Павлович мог на него рассчитывать, когда впоследствии говорил шведскому послу: «Если явилась бы необходимость, я приказал бы арестовать половину нации ради того, чтобы другая половина осталась незараженной».⁸ Из Министерства внутренних дел в Третье отделение был переведен управляющим М.Я.фон Фок, возглавивший тайный политический сыск. Стихи Пушкина и доносы о нем теперь стали собираться в одном месте.

Пушкин в напряжении ждал приговора декабристам с февраля, а сообщение о казни дошло до него 24 июля. Жестокость приговора (руководителей – к четвертованию, многих – к отсечению головы, остальных – к политической смерти в ссылке) потрясла цивилизованный мир. Когда в результате пересмотра осталось пятеро, приговоренных к смерти, это уже настроения не изменило. С.И.Муравьев-Апостол, у которого во время повешения оборвалась веревка, крикнул: «Проклятая страна, где не умеют ни составлять заговоры, ни судить, ни вешать!»⁹

Вяземский, который был «не на привязи», писал жене: «Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне в ней душно,

нестерпимо... не хочу жить спокойно на лобном месте, на сцене казни!» Он уехал в Ревель, чтобы не присутствовать на коронации. Пушкин же в это время, еще не зная о происходящем в Петербурге и получив весточку о предстоящей коронации, решил попытаться счастья и подать документы на выезд, чтобы они пошли по инстанции.

Он опять отправился в Псков. Очевидно, сперва посетил губернатора, и тот потребовал официальное медицинское заключение. Пушкин прошел медицинское обследование во врачебной управе у врача, который был к этому подготовлен еще в прошлом году, и можно было сказать, что болезнь прогрессирует. К письму поэта императору Николаю Павловичу от 11 мая 1826 года приложено медицинское свидетельство врачебной управы от 19 июля 1826 года за подписью Всеволодова. Очевидно, письмо было написано заранее, а потом подкреплено справкой.

В свидетельстве, выданном управой, говорится, что «по предложении гражданского губернатора за №5497, ею освидетельствован был коллежский секретарь А.С.Пушкин, и оказалось, что он действительно имеет на нижних конечностях, а в особенности на правой голени повсеместное расширение крововозвратных жил (*Varicositas totius cruris dextri*), от чего г. коллежский секретарь Пушкин затруднен в движении вообще. В удостоверение сего и дано сие свидетельство из Псковской Врачебной Управы за подлежащим подписом и с приложением печати... Инспектор врачебной Управы В.Всеволодов».¹⁰ Со ссылкой на злополучный «род аневризма» Пушкин обратился с прошением спасти его жизнь и разрешить лечиться там, где его могут вылечить. Имелась в виду заграница. Отметим попутно, что в прошениях Пушкина это было последнее упоминание каких-либо болезней, с помощью которых он надеялся выехать за границу.

Время казалось идеальным для выезда: близилась коронация, а значит, амнистия для тех, кто был в опале при прежнем царе. Пушкин официально отрекся от всего, что связывало его с декабристами, дав подписку. Его болезнь была документально подтверждена. Л.Гроссман сформулировал все более современным языком еще в сталинские годы: платой Пушкина за освобождение был отказ «от антиправительственной пропа-

ганды».¹¹ Пушкин надеялся, что он при этом сохранит личную независимость и свои убеждения. Ложь и самоунижение явились необходимыми элементами этого компромисса, и он на них пошел.

Псковский губернатор Адеркас отправил в Ригу Прибалтийскому губернатору маркизу Паулуччи бумагу на Высочайшее Имя с приложением прошения Пушкина, медицинского освидетельствования и подписки о непринадлежности к тайным обществам.

Снизу вверх шло прошение, а сверху вниз в то же самое время двигалось особое расследование о поведении в Псковской губернии стихотворца Пушкина. В Новоржев выехал специальный агент, посланный на основе словесного приказа генерал-лейтенанта Ивана Витта. Задачей агента А.Бошняка было тайное расследование поведения известного стихотворца Пушкина, подозреваемого в возбуждении крестьян. С Бошняком был послан фельдъегерь Блинков на тот случай, если Пушкин окажется действительно виновным, чтобы арестовать его. У Бошняка был солидный опыт оперативной работы, поскольку до этого в Одессе он служил провокатором в Южном обществе декабристов. Для ареста Пушкина Бошняк имел при себе открытый (то есть незаполненный) документ.

На другое утро Бошняк отправился собирать компромат. Он беседовал о Пушкине в гостиницах, в доме уездного судьи, навестил соседей-помещиков, игумена Иону. Бошняк объехал округу, и везде слышал, что Пушкин ведет себя уединенно, скромно, тихо, крестьянские бунты и тайные заговоры не организует. По-видимому, в тот момент кое-что зависело от агента Бошняка. Другой припугнул бы допрашиваемых, добавил от себя, и дело сшито: можно арестовать поэта и получить за это повышение в чине. Бошняк этого не сделал. Опытный службист, он понимал, куда дует ветер: Пушкина хотели освободить. Поэт в эти дни был в Пскове, и его даже не потревожили. Через пять дней Бошняк отпустил Блинкова в Петербург, поскольку для ареста Пушкина не оказалось оснований, а чуть позже отбыл туда же и сам.

Ничего не знал Пушкин и о другом событии: из-за границы вернулся Чаадаев. А декабрист Иван Якушкин, абсолютно уверенный, что Чаадаев за границей и недосыгаем, назвал его

членом тайного общества. Специальные агенты в Варшаве, досматривая чаадаевский багаж, перерыли все его бумаги и среди них нашли стихи. Великий князь Константин Павлович, полгода назад отказавшийся стать царем, шлет об этих стихах рапорт в столицу. В Брест-Литовске Чаадаева арестовывают и допрашивают по поводу найденных у него рукописей. Выпускают его под надзор Московского губернатора. Чаадаев (тексты допросов сохранились) назвал автором ряда рукописей Пушкина и перечислил всех лиц, от которых он эти рукописи получал, а также всех, кому давал стихи эти читать.¹²

Бежать опасно. Пушкин знал, что длинная рука Петербурга действовала и за границей. Князь Иван Гагарин, бросивший дипломатическую службу и перешедший во Франции в католичество, говорил, что у него была идея обратиться в католичество всю Россию, а первым – Бенкендорфа. Русский консул в Марселе получил секретное указание при первом же удобном случае схватить Гагарина, посадить на военный корабль и отправить в Россию. Гагарин старался вовсе не ходить в гавань, если там стоял русский корабль.

До Пушкина дошел слух, что заочно приговоренный к смертной казни по делу декабристов Николай Тургенев выдан в Лондоне русскому правительству и привезен в кандалах на корабле в Петербург для расправы. Слух этот не способствовал подъему настроения, и Пушкин написал Вяземскому тревожное письмо. История оказалась выдумкой; ученый и публицист Николай Тургенев остался политическим невозвращенцем. Через сто лет, уже при советской власти, был издан его дневник за те годы. Он входил в седьмой выпуск «Архива братьев Тургеневых», но тираж крамольной книги был уничтожен. Имеются два оставшихся экземпляра этого уникального издания.¹³

Пушкин живет надеждой, что его вот-вот по-хорошему выпустят из неволи. Отправляя прошение по инстанциям, губернатор Адеркас говорил поэту комплименты и обещал содействие. Не знал Пушкин, что 30 июля из Риги его всеподданнейшее прошение препровождено в канцелярию Министра иностранных дел графа Нессельроде с письмом губернатора маркиза Паулуччи. В письме подтверждается, что Пушкин ведет себя хорошо и, находясь в «болезненном состоянии», «про-

сит дозволения ехать в Москву, или С.-Петербург, или же в чужие края для излечения болезни». Однако Паулуччи полагает «мнением не позволять Пушкину выезда за границу».¹⁴ Николай I в этой подсказке не нуждался. Однако вопрос: почему губернатор высказал такое мнение, – возникает. Нам кажется, некоторые мысли верховного начальства витали в воздухе. И маркиз Паулуччи угадывал эти мысли. Такое единомыслие впоследствии засчитывалось в плюс губернатору.

В Москве состоялась коронация нового царя. Среди длинного списка дел, которые он намеревался решить лично, было дело и «стихотворца Пушкина, известного в обществе». Официальное пушкиноведение обычно указывало на огромное беспокойство царя по поводу влияния Пушкина. Этим объяснялось, почему Николай занялся делом поэта. Не менее важным, однако, было желание властей использовать поэта для работы на пользу царя и отечества. К тому же Пушкин сам просил помилования.

Ходатайство об освобождении двигалось в бюрократическом аппарате параллельно с расследованием дела об антиправительственных стихах. Оба дела сошлись, и надо было принять решение. Этого никто не мог сделать, кроме царя. 28 августа 1826 года, через шесть дней после коронации, начальник Главного штаба барон Иоганн-Антон (он же Иван Иванович) Дибич записал резолюцию, продиктованную ему Николаем: «Высочайше повелено Пушкина призвать сюда. Для сопровождения его командировать фельдъегеря. Пушкину дозволяется ехать в своем экипаже свободно, под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта. Пушкину прибыть прямо ко мне. Писать о сем губернатору».

Депеша губернатору была составлена. По прибытии фельдъегеря Вальша в Псков губернатор Адеркас отправил Пушкину письмо с предложением явиться немедленно. Адеркас приложил к своему письму копию секретного предписания начальника Главного штаба барона Дибича. В ночь с 3 на 4 сентября офицер с этими бумагами явился в Михайловское. Пушкин сказал, что не поедет без пистолетов, поскольку всегда их возит с собой. Тотчас послали садовника Архипа в Тригорское. Когда тот привез пистолеты, был пятый час утра. Захватил с собой Пушкин и рукопись «Бориса Годунова» в подтвержде-

ние лояльности и таланта, служащего во благо России. В Пскове ему вручили другое, более любезное письмо Дибича, и поэт, сопровождаемый фельдъегерем не в виде арестанта, несколько успокоился. «Свободно, под надзором», – указано в высочайшем повелении. Такое типично русское словосочетание, мы бы даже сказали, что обе части – почти синонимы. Вечером того же дня они выехали в Москву.

Ничего не зная обо всем происходящем, мать Пушкина опять послала на высочайшее имя прошение, сочиненное от ее имени князем Вяземским, умоляя пощадить сына и отпустить лечиться за границу. Вяземский не жалел красок, описывая от имени матери, как ветреные поступки по молодости вовлекли сына ее в несчастье заслужить гнев покойного государя, и он третий год живет в деревне, страдая аневризмом, без всякой помощи. Но ныне, сознавая ошибки свои, сын желает заглавить оные, а она как мать просит даровать ему прощение. Прощение это было доведено до высочайшего сведения лишь в январе 1827 года, когда Пушкин находился в Москве. Николай поставил условный знак карандашом, а статс-секретарь написал: «Высочайшего соизволения не последовало». Бумажная машина работала в своем порядке, не зависимом от людей и даже от царя.

Государь пожелал, чтобы Пушкин просил прощения у него лично. И лошади везли Пушкин не на Запад, куда он рвался, а в противоположную сторону – в Москву. Более чем шестилетняя ссылка кончилась. Пушкин провел ее в трех местах: Кишиневе, Одессе и Михайловском; из каждого пункта он по несколько раз пытался легально выехать или бежать за границу.

Глава восьмая

МОСКВА: «ВОТ ВАМ НОВЫЙ ПУШКИН»

«Путь мой скучен...» (П. 309).

После шести с лишним лет ссылки (точнее 2312 дней, считая день отъезда и день приезда за один день) Пушкина привезли в Москву к дежурному генералу Главного штаба А.Н.Потапову, и тот, не дав ему стряхнуть дорожную пыль, доставил усталого поэта в Чудов монастырь, прямо на встречу с царем. Чудов монастырь, располагавшийся возле Манежа, поистине чудо шестисотлетней давности, снесли в тридцатые годы, построив на его месте школу красных командиров. Там потом расположился Президиум Верховного Совета.

Николай I, как вспоминал барон Корф, говорил ему: Пушкина «привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного и покрытого ранами – от известной болезни». В первом издании книги «Пушкин в воспоминаниях современников» изъяты слова «от известной болезни». При переиздании книги Вересаева «Пушкин в жизни» дополнительно изъято также выражение «и покрытого ранами». Во втором издании «Пушкин в воспоминаниях современников» воспоминания Корфа изъяты целиком.¹ По-видимому, царь намекал на венерическую болезнь Пушкина, которой на самом деле тогда не было: Пушкин, судя по сохранившемуся рецепту, болел гонореей и лечился год спустя во время поездки в Михайловское. Но в

любом случае, «покрытого ранами» сказано Его Величеством для красного словца.

Императорская аудиенция продолжалась около часа. Настроение обоих участников встречи (царь после коронации и поэт, возвращенный из ссылки) было приподнятым и устремленным в будущее. Ситуация парадоксальная, почти невероятная: Пушкин был сослан на шесть лет без суда и доказанной вины. А когда вина злоумышленников, реально покушавшихся на власть, и причастность стихов Пушкина к делам экстремистов доказаны, – поэт освобожден.

Впрочем, с другой стороны, он ведь сам писал царю, умоляя о великодушии, клялся словом дворянина отныне быть верноподданным. В документе с отметкой «секретно» прямо сказано, что его освобождают по высочайшему повелению, последовавшему по всеподданнейшей просьбе. Если какие-то круги и представляли Пушкина как жертву режима, поэта, которого власти преследуют и держат в ссылке, – вот вам демонстрация нашего либерализма.

Марина Цветаева после сравнит: допрос Пугачевым Гринева в «Капитанской дочке» есть внутренняя аналогия царского допроса поэта. Только Пугачев благороднее царя: «Ступай себе на все четыре стороны и делай, что хочешь». «И, продолжая параллель, – пишет Цветаева, – Самозванец – врага – за правду – отпустил. Самодержец – поэта – за правду – приковал».² Цветаева объясняет дело так: были или не были заданы вопросы, ответ Пушкин получил. Думается, вопрос о границе стал во время аудиенции второстепенным и задан не был. Анализ исторической обстановки помогает понять ситуацию, даже если слов на эту тему вообще не было произнесено.

Официальный взгляд на деятельность Николая I, выраженный историком, приближенным к тайной полиции, звучал так: «Гений (Петр Великий. Выделено автором цитаты. — Ю.Д.) положил фундамент; Великая (Екатерина) соорудила здание; Благословенный (Александр I) распространил; а Мудрый украшает это здание, с которым не мог бы равняться даже Рим во всем блеске своего величия».³

Несмотря на все прелести отечественного «здания», Европа казалась русским землей обетованной. Члены царствующей фамилии часто проводили время за границей. Старшая сестра

обоих последних царей Мария постоянно жила там. Николай до воцарения провел в походах за границей два года. Его европейские связи были обширны, он понимал значение прогресса, однако над царем тяготело несколько обстоятельств, которые он обязан был учитывать.

Завинчивание гаек в последние годы предшествовавшего правления привело к нестабильности власти в стране. Новый царь хотел создать прочные основы для своего правления на десятилетия вперед, а для стабильности необходимо было выровнять баланс между политическими силами, действовавшими до сего времени на разрыв. Николай понимал неизбежность реформ, но находился между более либеральной частью дворянства, признававшей необходимость отмены крепостного права, и консервативной частью, которая не хотела ничего менять. Во всем: в российском государственном механизме, в системе средневекового крепостного права, в юридическом устройстве и цензурном уставе, – права человека игнорировались, и Пушкин это понимал.

Для управления государством создается такой бюрократический аппарат, которого мир доселе не видывал. Делается это Николаем Павловичем с лучшими намерениями: для проведения реформ и проектов. Но, будучи создан, всё труднее управляемый этот аппарат начинает всячески сопротивляться реформам и постепенно все больше влияет на самого Николая, сводя замыслы к нулю. Царь, на которого взваливают всю историческую ответственность, сам постепенно становится частью бюрократического механизма.

А все ж вначале нового царя отличало прямодушие и искреннее желание исправить застойные ошибки предыдущего правления. Николай устранил от власти Аракчеева, пообещал полную гласность процесса над декабристами, предложил представить проекты реформ, говорил о необходимости ускорения прогресса. Официальные обещания в процессе реализации померкли. Готовность русского правительства предоставить Западу полную информацию о событиях декабря 1825 года свелась к версии о бунте пьяных в Петербурге. Правда, и реакция Запада не была энергичной. Европейцы призвали к милосердию, а в американской прессе вообще не было сообщений о казни декабристов, хотя на процедуре присутствовали иностран-

ные дипломаты. По утверждениям мемуаристов, палачей для исполнения казни привезли из Швеции или Финляндии.⁴

Создавая надежный аппарат для защиты власти от поползновений «пьяных офицеров», Николай I в то же время делал шаги, способствующие его популярности. Он обеспечил вдову казненного декабриста Рылеева, который на допросе стоял перед ним на коленях и в раскаянии рыдал. Повесив его, царь позаботился об образовании его дочери и внучки. Он вернул из ссылки Пушкина, чем привлек на свою сторону образованную часть петербургского и московского общества.

Оба участника аудиенции и их современники свидетельствовали, что разговор для обеих сторон был непростой и достаточно откровенный.⁵ В дореволюционных источниках всячески преувеличивалась роль Николая: «благожелательность и великодушие», «положено прочное начало весьма близких отношений».⁶ В советское время преувеличивалась независимость суждений Пушкина: царь России беседует с царем поэзии, а не с подданным, которого император одним жестом может сгноить в Сибири. Преувеличивается прежде всего откровенность и прямота Пушкина и преуменьшается его желание показать свою преданность.

Скорей всего, во время аудиенции были затронуты темы, которые Николай считал нужным затронуть, и не более. Главный смысл встречи состоял в приручении. Полагать, что беседа была в форме предложения поэту определенных условий, типа «если – то», кажется несколько наивным. Если будешь вести себя хорошо, не станешь высказываться против правительства, то лично я буду тебе покровительствовать. Если будешь одобрять и не будешь критиканствовать, то займешь подобающее твоему таланту место. Беседа часто толкуется в пушкинистике в такой форме, то есть со стороны царя имеет место сделка с подданным.

Николай снизошел до Пушкина, чтобы указать ему на некоторые государственные проблемы, дабы вовлечь писателя в серьезные дела и заставить позабыть мальчишеское ёрничество. В беседе возникли темы предстоящих реформ, образования для народа, судеб осужденных заговорщиков. За раскаяние и проявленную готовность сотрудничать с новой администрацией Пушкин получил льготу: личную цензуру императо-

ра. Это означало, что надо стать придворным поэтом. Компромисс (а не сделка) был взаимовыгодным: монаршая милость в обмен на лояльность. Николай польстил Пушкину: через третьих лиц поэт узнал, что царь назвал его умнейшим человеком в России, и это окрылило Пушкина.

Возникает вопрос: почему поэт не попросил царя, воспользовавшись уникальным шансом, отпустить его за границу? Не возникло в разговоре такой возможности? Посчитал неуместным? Ни Пушкин, ни мемуаристы – а значит, свидетели устных рассказов и поэта, и царя про аудиенцию – об этом не упоминают. Думается, к моменту разговора Пушкин понимал, что проситься за границу лечиться, ссылаясь на липовую болезнь, нелепо. В Москве болезнь может удостоверить не ветеринар, а настоящий врач, да и лгать в лицо государю труднее, чем в официальных прошениях. А главное, на аудиенции ему показалось, что он обретает полноправный статус. То, что вчера казалось невозможным, сегодня, под покровительством императора, становилось само собой разумеющимся. На этом фоне поездка за границу делалась реальной. Пушкин теперь свободен и просто поедет когда и куда захочет, как делают другие. Это был день возрожденных юношеских иллюзий.

В это время поэт создает одно из самых известных своих стихотворений – «Пророк». Стихи легко прошли цензуру и были опубликованы. Многие биографы указывали, что стихи написаны до встречи с царем – по дороге в Москву. Еще Сергей Соболевский отмечал: «Пророк» приехал в Москву в бумажнике Пушкина». ⁷ М.Цявловский датировал «Пророка» неопределенно: 24 июля – 3 сентября 1826 (Б.Ак.3.1130). Б.Томашевский не связывал стихотворения с данным событием, однако датировал стихи 8 сентября 1826 года, то есть днем аудиенции (II.384).

Распространено толкование, что у «Пророка» было революционное окончание и Пушкин намеревался дерзко вручить его царю в случае конфликта. ⁸ Это маловероятно. В комментариях о конце стихотворения говорится: «Возможно, что здесь должны были следовать нецензурные стихи политического содержания» (Б.Ак.3.578). Если принять эту легенду, то поэт подготовил два варианта одного текста, так сказать, «за» и «против», смотря по ситуации. Легенда устойчивая, но вполне не-

правдоподобная, делающая из Пушкина некоего лихого полемиста с фигой в кармане. Принято также считать, что в основе стихотворения лежит библейский сюжет: поэты, как когда-то пророки, должны быть народными вождями и провидцами исторической народной судьбы.⁹ Против этого возражал о. Сергей Булгаков: «Для пушкинского «Пророка» нет прямого оригинала в Библии».¹⁰

Нам представляется, что стихотворение «Пророк» и верховная аудиенция связаны не только временем написания, но и внутренне. В содержании «Пророка» видится намек на то, что Пушкин написал его после пяти вечера, то есть после аудиенции, когда он вышел из Чудова монастыря окрыленным. Только тогда, получив благословение государя, он почувствовал себя свободным и, добавим, благодарным. В стихотворении всего тридцать строк, но для ясности перескажем их убогой прозой с небольшим комментарием.

Автору, томимому духовной жаждой в пустыне (а пустыня у Пушкина – частый заместитель слов «глушь», «провинция», «ссылка», «отсталая страна»), является шестикрылый Серафим – представитель высшей небесной иерархии, приближенный к Богу и имеющий человеческий образ. Согласно Библии, Серафим коснулся уст пророка Исаяи, сказав ему: «И беззаконие удалено от тебя, и грех твой очищен». Вряд ли такая аналогия могла прийти поэту до беседы. Пушкин от себя вводит уточнения. Серафим коснулся его глаз и ушей – и поэт увидел и услышал, что происходит в мире (возврат к светской жизни). Серафим вырвал его грешный язык (может быть, поставил крест на крамольных стихах, написанных ранее?) и вложил в уста жало змеи – символ мудрости. Сердце он заменил поэту на уголь, пылающий огнем. Автор услышал голос свыше: ступай и – «глаголом жги сердца людей» (II.304).

Мысли этого стихотворения противоречат другим взглядам Пушкина, например, «Ты царь: живи один» (III.165). В традиционных толкованиях стихотворения пророк у Пушкина – лидер, но в тексте он послушный исполнитель чужой воли («исполнись волею моею»). Согласно воспоминаниям, после беседы царь вывел Пушкина к царедворцам и сказал: «Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем».¹¹ Поразительно, что в ряде исследований, посвященных этому стихотворению,

важнейшее событие в жизни поэта: проблемный разговор с императором – вообще не упоминается.¹²

Для придания необходимой одической монументальности стихи написаны тяжелым архаическим языком, который еще недавно раздражал Пушкина в придворном поэте Державине. «Этот чудак, – писал Пушкин Дельвигу, – не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка... Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо... Ей-богу, его гений думал по-татарски – а русской грамоты не знал за недосугом» (X.116). Всего год прошел с тех пор, как Пушкин написал это о Державине. И вот сам обратился к державинскому стилю. Как заметит Достоевский, дьявол борется с Богом, а место борьбы – человеческое сердце. И все же в одной строке «Пророка» проскальзывает больная личная нота. Бог призывает автора жить, «обходя моря и земли». Именно такой была мечта Пушкина, которая пока что не осуществилась.

Глава девятая

ПОХМЕЛЬЕ ПОСЛЕ СЛАВЫ

«Здесь тоска по-прежнему... частный пристав Соболевский бранится и дерется по-прежнему, шпионы, драгуны, бляди и пьяницы толкуются у нас с утра до вечера».

Каверину, 18 февраля 1827.

Поэт вернулся в Москву, но положение его оставалось нестабильным. Частично это было связано с неясностью политической линии самого Николая. Курс правительства только складывался. Ни перед, ни после аудиенции Пушкин не мог посоветоваться с ближайшими старшими друзьями, как делал это всегда, даже на расстоянии. Жуковский путешествовал за границей и не мог дать наставления, как разумнее себя вести. Александр Тургенев – в Дрездене. Вяземский провел лето в Ревеле с семьей умершего Карамзина. Вера Вяземская была в Москве, к ней Пушкин наведлся после аудиенции, в дорожной пыли. Добрая и умная, даже, может, все еще влюбленная в него, – что она могла посоветовать?

Пушкин поселился у приятеля своего, Сергея Соболевского. Поэт пребывает в центре внимания московского общества. В Большом театре публика смотрит на него, а не на сцену. Приятели и приятельницы рады ему, а он им. Он освобожден,

он почти счастлив. Соболевский вспоминал об их бесшабашной жизни на Собачьей площадке возле Арбата: «Вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно!»¹ Собачью площадку на Арбате без надобности уничтожили, а позже возвели на этом месте еще один похожий на многие другие памятник Пушкину.

О поэте много судачат, и мнения о нем различные. «Я познакомился с поэтом Пушкиным, – писал московский почт-директор А.Я.Булгаков брату. – Рожа, ничего не обещающая». Близкие друзья смущены цензурной привилегией, данной Пушкину царем: «Если цензура плоха, надо ее отменить, а если законна и целесообразна, как можно разрешать кому-либо миновать ее?» – пишет князь Вяземский Тургеневу и Жуковскому 29 сентября 1826 года.² Они не понимают реального положения Пушкина. Спустя много лет Жуковский отметит, что «Государь хотел своим особенным покровительством остепенить Пушкина и в то же время дать его гению полное его развитие», но что Бенкендорф покровительство царя превратил в надзор.³

Сам же Пушкин раньше других почувствовал, что он свободен, но под наблюдением. Обласканный государем, поэт тем не менее не имел свободы передвижения даже внутри империи. Едва Пушкин захотел поехать в Петербург, Бенкендорф сообщает ему: «Государь Император не только не запрещает приезда Вам в Столицу, но предоставляет совершенно на Вашу волю с тем только, что предварительно испрашивали разрешение чрез письмо».⁴ Узнавать от самого поэта о его передвижениях Бенкендорфу, разумеется, не было надобности: для этого существовали осведомители. Но важно, чтобы Пушкин добровольно сообщал тайной полиции о самом себе, что он и вынужден был делать.

После чтения без разрешения друзьям «Бориса Годунова» ответ Пушкина недовольному Бенкендорфу полон извинений и послушания, но мы не знаем, о чем думал поэт, сочиняя покаянное письмо.

Каково вообще было бунтарство Пушкина, а отсюда – так сказать, теоретическая основа его желания покинуть Россию? Лишь спустя четверть века после смерти поэта, когда появились послабления в цензуре, рассуждения о его политических взглядах стали появляться в печати. Большинство же воспо-

минаний о нем написано до этого, и политических тем мемуаристы старались избегать.

Существуют две точки зрения на взгляды Пушкина, приехавшего в Москву после ссылки: его взгляды не изменились и – взгляды его изменились. Среди сторонников второй точки зрения мы насчитали больше авторов, но не большее количество аргументов.⁵

Свою политическую платформу молодой Пушкин недвусмысленно изложил в письме к П.Б.Мансурову в октябре 1819 года, сказав «ненавижу деспотизм» (X.14). В письме этом скабрёзные шутки перемешаны с матерщиной. Похоже, двадцатилетний молодой человек заявляет, что ему ненавистна всяческая дисциплина, только и всего. Деспотизм неприятен большинству людей; из этого, однако, не следует, что все они – диссиденты.

Экстремистские ноты звучат в голосе молодого Пушкина, террор вызвал восторг, браваду. Его минутный кумир – Занд, немецкий студент, заколовший кинжалом секретного агента русского правительства в Германии. В театре соседям он демонстрирует портрет Лувеля, убийцы герцога Беррийского. Он называет это тираноубийством, но, нашими словами, это обычное политическое убийство. Таким же максималистом и тоже, к счастью, только на словах, был в молодые годы Катенин – страстный республиканец с манерами французского маркиза. Остепенился он еще раньше, чем Пушкин. Но и для Пушкина все это оказалось наносным; «под старость нашей молодости», как он выразился в письме (X.23), от этого не осталось и помина.

Объясняя причины радикализма поэта, Анненков высказал мнение, что Пушкин в своих памфлетах не столько изливал собственный гнев и возмущение по поводу политической ситуации в России, сколько следовал настроению эпохи, правда, с избыточной горячностью.⁶ Но дело не только в этом. Однажды на упреки семьи в распущенности Пушкин сказал: «Без шума никто не выходит из толпы».⁷ Значит, честолюбие (самореклама, как мы теперь говорим), а не убеждения двигали его к политическим крайностям. Через эпатаж публики можно было приобрести известность. Крайняя левизна давала больше шансов на успех, чем туповатая крайняя правизна, не говоря уж о тоскливой умеренности.

В семнадцать лет поэт требует святой свободы. Вяземский отмечал поверхностность либерализма молодого Пушкина.⁸ По мнению Д.Благого, раз Пушкин вышел из лица «либералистом», это означало, что он созрел для вступления в тайное общество.⁹ Впрочем, из сталинского периода пушкинистики можно извлечь и еще более категоричные суждения. «Пушкин... всю душою хотел участвовать в революционной организации», считал литературную деятельность революционной и патриотической. «Нет сомнения в том, что, как и декабристы, Пушкин верил в успех «военной революции», ждал ее, готовил своей политической лирикой».¹⁰ Ода «Вольность» написана под прямым влиянием Николая Тургенева и непосредственно в его присутствии. Не анархии, а лишь следования существующим в стране законам желал поэт от власти, то есть осуществления прокламируемого права:

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье (I.283-284).

Разумеется, для России утверждение метафизической сущности закона, стоящего выше царя, уже есть крамола. За попытку сопоставить слово и дело властей, за то, что частное лицо смеет открыто сказать о нарушении закона, наказывали без проволочек. Идея улучшить социальное и политическое положение общества носилась в российском воздухе, и Пушкин ее впитывал. Идея эта была не нова и не в России рождена. С Запада пришли и радикализм, и либерализм, и многое другое, но в сравнительно неразвитой политической атмосфере России начала XIX века оппозиция все еще видела только два пути: смиренных прошений и бунта. Правительство в совершенствовании системы, как это происходит на Западе, мало участвовало, но даже прошения, если они заходили в своих целях далеко, рассматривало как подкоп под устои.

Когда Пушкин вернулся из ссылки, времена изменились. «Пушкин был вообще простодушен, – вспоминал впоследствии Вяземский, – уживчив и снисходителен, даже иногда с излишеством...»¹¹ Вот Пушкин уже и верит, что преобразова-

ния пойдут сверху, что Николай I – это Петр I на новом этапе. Начни теперь Пушкин делать политическую карьеру, как он собирался после лицея (что, впрочем, для бывшего ссыльного вряд ли возможно), он стал бы либеральным консерватором, а не «разрушающим» либералом, – таково мнение Вяземского.¹² А все ж либерализм Александровской эпохи, сформировавший Пушкина, был чем-то большим, нежели просто общественной тенденцией. Окутанный флером романтики, надежды и молодости, он и для зрелого Пушкина являл собой некую точку отсчета, оставался отголоском периода, который поэт успел застать.

В новой атмосфере Пушкин соприкоснулся с несколькими явлениями политической жизни, искры которых опалили его. Степень ожога трактуется по-разному. Для Радищева, к которому Пушкин относился с большим почтением, идеалом борцов за свободу были американские лидеры. «Твой вождь, свобода, Вашингтон», – писал Радищев.¹³ Восхищается он Франклином, а русских борцов за свободу, вроде Пугачева, не упоминает вообще.

Либерализм американского образца был эталоном и для многих декабристов, хотя ни один из них не был в Америке. Элементы политического устройства США прослеживаются по документам декабристов, что отразилось и в названиях тайных обществ. Было Общество Соединенных Славян и даже просто Соединенные Штаты – название, данное Н.А.Бестужевым Кяхтинскому кружку. Декабристы распространяли свои симпатии к Америке среди интеллигенции Сибири.¹⁴ Позже, как вспоминает декабрист А.Е.Розен, правительство отправило в Читинский инженерного штаб-офицера с помощниками, чтобы выстроить там огромную тюрьму по образцу американских исправительных домов. Декабристы стремились заимствовать у Америки конституцию, а власти – конструкции тюрем.

Мысль о непонимании, о беспросветности жизни в России владела Пушкиным, но – иначе, чем декабристами.

Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов (V.315).

Презренная польза деятельности была ему чужда. Ему негде было расправить плечи тут, на задворках Европы. В Москве и Петербурге все были родней, знакомыми: и диссиденты, и доносчики, и обыватели, и царедворцы, – тонюсенький слой нарождающейся российской интеллигенции.

Всеобщее кровное родство охватывало всех. Поэты Пушкин и Веневитинов были четвероюродными братьями. Пушкин и Грибоедов – родней: бабка Хомякова, с которой по женской линии состоял в родстве Пушкин, была урожденная Грибоедова, а сам Грибоедов – двоюродным братом декабриста А.И.Одоевского. По матери Пушкин являлся родственником Чаадаева. Родственные связи соединяли Пушкина с декабристами Чернышевым, Муравьевым, Луниным. Жена Карамзина Екатерина была единокровной сестрой князя Вяземского. Жуковский состоял в родстве с братьями Киреевскими. Знакомые Пушкина Раевские значились родственниками Ломоносова, их родней были также Денис Давыдов и возлюбленная Пушкина Елизавета Воронцова. Брат жены А.П.Алексеева, кишиневского приятеля Пушкина, женился на Ольге, сестре Пушкина. Другой приятель, граф Федор Толстой, по прозвищу Американец, был двоюродным племянником Льва Толстого, а сам Лев Толстой оказался четвероюродным внучатым племянником Пушкина. Список можно продолжить; семейное родство уходило за границу.

«Обществом» в то время стали называть узкий круг интеллигенции, который во времена Пушкина составлял по всей России едва ли несколько тысяч. Часть лиц этого круга были служилыми, часть независимыми, но все лучше или хуже знали всех. В то время со всеми образованными людьми большого города можно было встретиться в течение нескольких дней. В Москве достаточно было назвать фамилию приятеля, и извозчик довозил к дому, даже если этот приятель недавно сменил квартиру.

Офицеры составляли часть элиты, немногие из них были членами тайных обществ. Историки нашего времени насчитали 337 человек, которые замыслили заговор с целью произвести военный переворот. Отдаленность декабристов от народа, которую с легкой руки Ленина внушали поколениям советских студентов, никакого значения не имела. Свободы хотела

небольшая группа людей, а под свободой они разумели свободу духа для себя и послабления для производителей, занятых в общественном труде, чтобы те могли больше производить. Наиболее сознательные дворяне, в том числе братья Тургеневы и Новороссийский губернатор Воронцов пытались освободить своих собственных крепостных без конфликта, не только из гуманизма, но и из выгоды, понимаемой по-европейски, ибо рабский труд непроизводителен. Освободить не то что крепостных, годовой труд которых Пушкин проматывал за ночь за ломберным столом, но хотя бы одну Арину Родионовну (не важно, хотела она того или нет) в голову поэту не приходило.

Политические перевороты удавались в России и раньше, и позже. Декабристов раздавили не потому, что они не имели популярности, а потому, что они недостаточно точно спланировали захват власти, а также не подготовили заранее сильную и популярную личность для замены царю. Захвати они власть, это была бы диктатура покруче николаевского абсолютизма. Стань главой государства, скажем, полковник Пестель, Пушкин играл бы при нем ту же придворную роль, а возможно, идеологические рамки и цензура стали бы еще жестче, чем при Николае. Поэта, пожалуй, пустили бы за границу, но и требовали стихов, воспевающих Великую Декабрьскую революцию 1825 года и ее мудрых лидеров.

На практике система госбезопасности, которую Пестель предлагал в «Русской Правде» для будущего устройства государства, была бы вовсе не американского образца, а скорее образца эпохи Ивана Грозного. Рылеев грозил Булгарину, что когда они придут к власти, они отрубят ему голову, подложив под нее «Северную пчелу». Значительной части офицерства был свойствен шовинизм, и декабристы его принимали. О демократии в западном понимании подчас говорились наивные слова. Нам кажется, захвати Наполеон Россию полностью, он отменил бы крепостничество и дал интеллигенции прав и свобод больше, чем о том мечталось самым либеральным из декабристов.

Даже умнейшие из них (Николай Тургенев, Михаил Орлов, Никита Муравьев) рассматривали литературу как средство пропаганды своих идей. В стихотворениях «Деревня» и «Вольность» поэт выполнял их социальный заказ, не совсем ведая, что тво-

рит. Для достижения своих целей Николай Тургенев рекомендовал Пушкину не бранить правительство (то есть не высываться, чтобы не испортить дело), а служить. Поэт, по молодой запальчивости, спорил и даже вызвал Тургенева на дуэль.

Взрослый Пушкин понимал, а возможно, и предвидел опасность. Так образовалась дистанция между ним и декабристами, которую советское пушкиноведение из понятных соображений стремилось сократить, а их значение поднять. Здоровые ориентиры терялись. «Пушкин считал русское дворянство (не как замкнутую касту, а как культурную силу) могучим источником общественного прогресса и даже резервом революционного движения», – писал Лотман.¹⁵ Скорей всего, поэт понял, что дух новой свободы пахнет кастовостью, что к власти придут те, кто ее добивается, и свобода творчества останется недосягаемой мечтой. Или, может быть, он стремился избежать нелитературных занятий, непременно для члена подпольной организации? Не был Пушкин и «декабристом без декабря», как его иногда называют.

Да, его имя фигурировало в протоколах допросов. Но в отличие от Байрона, который действовал, сражался, помогал греческой революции, Пушкин был в стороне. Иван Пущин говорил, что Пушкин «совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь на него смотрит с этой точки зрения».¹⁶

Однако, когда власти разобрались с реальными виновниками, опала распространилась на тех, кто знал о заговоре и не донес. Пушкину приписали чисто русскую вину: дружеские отношения с арестованными. Он это понял. «Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда, – писал он Вяземскому, – но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков» (Х.163). Пушкина подозревали не без оснований. Но ему не на кого было доносить, кроме самого себя, а о нем все было известно.

Поэта вернули из ссылки; подозрения, казалось, списали в архив. Пушкин, менявшийся легко, пережил свое прошлое. Ода «Вольность» казалась ему детской. Период волнений, связанных с декабристами, этот «узел русской жизни» (выражение Льва Толстого, которое Солженицын, возможно, заимствовал для сегментации романа «Красное колесо») миновал. Пуш-

кин глядит в будущее, предпочитая отодвинуться на солидное расстояние от кровавого финала: «...взглянем на трагедию взглядом Шекспира» (X.155).

Для многих такой подход звучал кощунственно. Сдержанный Вяземский кипел гневом: «И после того ты дивишься, что я сострадаю жертвам и гнушаюсь даже помышлением быть соучастником их палачей? Как не быть у нас потрясениям и порывам бешенства, когда держат нас в таких тисках... Я охотно верю, что ужаснейшие злодейства, безрассуднейшие замыслы должны рождаться в головах людей, насильственно и мучительно задержанных. Разве наше положение не насильственное? Разве не согнуты мы в крюк? Откройте не безграничное, но просторное поприще для деятельности ума, и ему не нужно будет бросаться в заговоры, чтобы восстановить в себе свободное кровообращение, без коего делаются в нем судороги...»¹⁷

А Пушкин уже завязывает новый «узел» своей жизни. Еще недавно он всерьез обсуждал мысль, пустить ли Онегина в декабристы. Он сделал бы, наверное, декабристский роман, одержи декабристы победу, – ведь грибоедовский Чацкий и пушкинский Онегин рождались почти одновременно. Грибоедов назвал комедией то, что было национальной бедой. Пушкин ушел в иронию, а «декабристские» главы сжег, и это тоже доказывает суть его отношения к декабристам. Теперь, когда наступило время политической апатии и скрытого недовольства интеллигентной части дворянства, Онегин волей автора стал обыкновенным конформистом, в котором не очень нуждается страна, да и самому Евгению в ней скучно. Может быть, колебания, кем сделать героя и куда его отправить путешествовать, говорят о взглядах русского поэта больше, чем сами его высказывания.

В Москве середины двадцатых годов, в которую Пушкин вернулся, был популярен Шеллинг и немецкая философия. Своих философов Россия еще не имела. Чаадаев только готовился в мыслители. Человек необычайного ума и таланта, Пушкин рвался все изведать и постичь, он задыхался от однообразия и тупости, такова была его натура. «Служенье муз не терпит суеты», – философствовал он, а на практике следовал как раз обратному. Филипп Вигель говорил, что Пушкина «сама судьба всегда совала в среду недовольных».¹⁸ Но не судьба, а

он сам стремился туда, куда нельзя, он рвался к запретным плодам.

Пушкин был истинным интеллигентом, а в этом всегда есть диссидентство. Сам он в философской, политической и литературной борьбе чаще всего оставался беспартийным и призывал к терпимости. Первым на это обратил внимание Тынянов.¹⁹ По воспоминаниям Полевого, Пушкин считал идеалом Шекспира, который «просто, без всяких умствований говорил, что у него было на душе, не стесняясь никаких теорий».²⁰

Возможно, именно благодаря терпимости Пушкин не был и противником трона. Он выступал лишь против преследования за незлобные рассуждения о свободе, заимствованные большей частью из французской литературы и из Байрона. Рассуждения эти были лишь литературными темами. Проживи Пушкин на два десятилетия дольше – все это он смог бы излагать почти свободно, как то делали Некрасов, Добролюбов, Щедрин; мог и уехать куда угодно, и вернуться. Позже тоже сажали – но уже не за литературу, а за попытки свержения власти посредством террора.

Пушкин становился с возрастом скептиком – чем старше, тем больше, и это сближает его с двадцатым веком. Он походил на западного человека, случайно оказавшегося в Тмударакани. Друзей декабристов понимал и жалел, в успех их дела серьезно не верил и не хотел здесь жить. Вспомним строки из «Андрея Шенье»:

Что делать было мне,
Мне, верному любви, стихам и тишине,
На низком поприще с презренными бойцами? (II.234)

В его задачу не входило переустройство власти в России. Политической свободы жаждала его душа для творчества. Патриотизм его носил, так сказать, ностальгический характер – будто поэт уже уехал. Взгляды его менялись, но эта позиция оставалась в нем стойкой. Позже он скажет: «Не приведи, Господи, увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» В 1916 году лидер партии кадетов Павел Милюков приведет эти слова в Государственной Думе как предупреждение, что революция уничтожит зачатки русского парламентаризма.²¹

Иное дело – распространять идеи западного просвещения. Тут он был миссионером. Свой просветительский историзм он заимствовал безо всяких изменений у Вольтера. Взгляды поэта сложились под влиянием Баранта, Гизо, Тьерри и других западных историков, по которым он мерил Карамзина, себя, всех и всё, что происходило в России. В «Путешествии из Москвы в Петербург» поэт подчеркивал, что человек должен быть свободен «в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом». «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, – говорит он там же, – которые происходят от одного улучшения нравов без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» (VII.200 и 207). В «Капитанской дочке» в уста Гринёва Пушкин вложит почти дословно эти слова (VI.301).

Просвещенная монархия – опять европейское заимствование, идеал, до которого, он понимал, России далеко, но путь к этому логичный, естественный. «Свобода – неминуемое следствие просвещения», – говорил Пушкин. Отсюда и должность, придуманная им для себя: «Свободы сеятель пустынный», который трудился зря. В советской пушкинистике это объяснялось тем, что у Пушкина имелись «глубокие сомнения в идеях безнародной революции». ²² Видимо, поэт проштудировал Ленина и понял, что декабристы были страшно далеки от народа. Между тем пушкинское понимание сущности народа было куда более реальным и куда менее лицемерным, чем у последующих поколений политиков, которые манипулировали не только понятием «народ», но и самим народом.

Под словом «народ» поэт понимал «простонародье», то есть крестьян и мещанство. Хотя в произведениях Пушкина достаточно простого люда и крестьян и видно доброе отношение к ним автора, народ не был основным героем пушкинских произведений. Чернь («двуногих тварей миллионы» – V.42) раздражала Пушкина всю жизнь. Чернь у него противная, тупая, малодушная, коварная, бесстыдная, злая, неблагодарная, развратная, глупая, безумная. Чернь – это сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, гнездилище всех пороков и т. п. Оскорбления льются, как из рога изобилия. Черни, то есть быдлу, говоря сегодняшним языком, – высшая его доза презрения. Однако же, так относиться к людям великий поэт не должен, и вот

адресат пушкинского презрения сужен и утвержден в инстанциях: чернь, оказывается, – это лишь великосветское общество. Стало быть, носители всех упомянутых пороков – элита страны: русское дворянство, интеллигенция; а поскольку только они и были грамотными в России, – это читатели Пушкина, друзья, родня и знакомые его, а значит, и он сам.

Неприятие Пушкиным черни традиционно объясняют тем, что свет травил поэта. Но сам он, по утверждению современников, был склонен к слишком частым посещениям знати.²³ Пушкин действительно презирал пьяную и жеманную публику, которая в театре хлопает «из приличия» (VII.8), являясь из казарм в первые ряды. Своих критиков и издателей он называл божьими коровками, злыми пауками, российскими жуками, черными мурашками и мелкими букашками. Собратьев писателей он именует «нашей литературной Санкт-Петербургской сволочью» (X.110). Даже у своего учителя Державина Пушкин предлагал восемь од оставить, а все прочее сжечь. Нелестно отзывался и о читателях: «пусть покупают и врут, что хотят» (X.69).

Но не только и не столько обывательская часть верхушки общества являлась чернью для Пушкина. Чернь – это масса, которая по-французски не говорит и по-русски плохо понимает. Черни нужен кнут. С Пушкиным согласен барон Егор Розен, который писал ему: «Чернь наша сходит с ума – растерзала двух врачей и бушует на площадях – ее унять бы картечью!» (Б.Ак.14.621). Не только Пушкин, даже декабрист Кюхельбекер боялся волнений черни.²⁴ Чернь, по Пушкину, – необразованная толпа, холодная, ничтожная, эгоистическая, бессмысленная, презренная, подлая. Такова впечатляющая коллекция эпитетов из текстов поэта.

Не царь, а толпа требовала, чтобы вешать смутьянов за ноги, дабы дольше умирали и зрелище было эффектнее. Чернь и толпа у Пушкина – синонимы. Не ласковы и характеристики народа: он бессмысленный, жалкий, поденщик, раб нужды, вообще рабский народ, стадо. Сколько многозначительного написано об одной фразе Пушкина в «Борисе Годунове»: «Народ безмолвствует». А он просто безмолвствует, и более ничего. Он безмолвствует, потому что это темная, забитая масса, тов, что по-английски одновременно означает толпу, сборище, чернь, стадо и воровскую шайку. Народ безмолвствует не потому, что

у него особое мнение, а просто потому, что у него никакого мнения нет.

Через три года после «Бориса Годунова» Пушкин напишет и легко опубликует стихотворение «Чернь», в котором более определенно выскажется о роли народа: «Молчи, бессмысленный народ» (III.85). Стихотворение высокомерное, злое и скучное; для собрания стихов Пушкин дал ему новое название «Поэт и толпа», что сути не изменило. Это стихи о поэте, Божьем избраннике, рожденном для звуков сладких и молитв, которому народ мешают творить. Позже Пушкин еще точнее отшлифовал формулу рабской зависимости:

Зависеть от царя, зависеть от народа –
Не все ли нам равно? (III. 336)

Обе части тут равноценны и одинаково тяготили поэта всю жизнь. Чем же он, аристократ, зависел от народа? И ответ, по-видимому: зависимость физическая, даже, может быть, генетическая. В широком смысле в России существуют как бы два народа. Один «начинавший ходить», как говорил Гоголь, народ, придуманный интеллигенцией, а затем большевиками. Народ этот отождествлялся с той самой интеллигенцией: «цивилизация в первый раз ощутилась нами как жизнь, а не как прихотливый прививок», по выражению Достоевского. Он прибавляет: «Мы в недоумении стояли тогда перед европейской дорогой нашей, чувствовали, что не могли сойти с нее как от истины».²⁵ Другой, реальный народ был настолько искалечен веками рабства, страха, что свобода и ценности цивилизации не могли ему быть понятны. А если и требовались, то не в виде свободы слова и чтения, а в виде еды и сапог. Такой народ не только не нуждался в свободе, но готов был топтать все, что создавалось другими народами, свидетелями чего мы и оказались в двадцатом веке.

Стадам не нужен дар свободы,
Их должно резать или стричь (II.143).

Взгляды Пушкина на многие явления менялись, но отношение к народу оставалось двойственным. Было вокруг поэта

множество людей, в том числе из простых, к которым он чувствовал приязнь. Впрочем, не так уж часто общался Пушкин с народом, если не считать прислугу, извозчиков и станционных смотрителей. Брата в письме Пушкин инструктировал вполне цинично: «С самого начала думай о них (людях. — Ю.Д.) все самое плохое, что только можно вообразить: ты не слишком ошибешься» (X.593, по-фр.). В письме к Давыдову Пушкин более конкретен: «...люди по большей части самолюбивы, беспонятны, легкомысленны, невежественны, упрямы...» (X.78)

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей... (V.24)

Там же, в «Евгении Онегине», поэт размышляет о злобе. Она, по Пушкину, существует в двух ипостасях: злоба слепой фортуны и злоба людская. От окружающей его злобы он страдал, сам становился злым. Лирический герой пушкинской поэзии (то есть сам поэт) не был мизантропом. Достаточно вспомнить щедрое «дай вам Бог любимой быть другим» или «чувства добрые я лирой пробуждал». При этом мечтая бежать за границу, Пушкин скептически оглядывал даже прекрасную половину империи:

...вряд
Найдете вы в России целой
Три пары стройных женских ног (V.19).

Читайте: и это лучше только за границей. Но утешал себя тем, что и остальное человечество – отнюдь не ангелы:

...в наш гнусный век
На всех стихиях человек –
Тиран, предатель или узник (II.298).

Две крайности: одни тираны, другие узники, а между ними прослойка доносчиков – очевидно, для поддержания контроля одних над другими. Но если существует только три категории людей, значит, каждого человека, включая и самого поэта,

придется отнести только к одной из этих категорий. Пушкин был, несомненно, в роли узника. В такой социальной структуре оценка народа и отдельных его представителей логически вытекала из того простого факта, что в отличие, например, от французов или американцев, русский народ (декабристы не в счет) не предпринимал усилий к переменам: «человеческая природа ленива (русская природа в особенности)» (X.464).

Поэта раздражала «пошлость русского человека». К простым людям Пушкин относился сочувственно, но считал: если «крестьяне узнают, что правительство или помещики намерены их кормить, то они не станут работать» (VIII.26). Крестьяне в самом Михайловском и без того не работали. Павлицев, муж Ольги, сестры Пушкина, позднее сообщал поэту: «Рожь (за прошлый год): умолот самый жалкий, часть утаена, часть украдена. Жито: против других очень плохое, пополам с мякиной, часть украдена. Овес: урожай плохой, растрата, убыток половина. Греча: собрали четверть посеянного, и это съедено управителем, в доме ни зерна. Горох: есть да неважный. Лен: что посеяно, то собрано, половина украдена. Сено: перевезено (по книге) 8695 пудов. Недостача 7195 пудов. Масло: половина украдена, скот паршивый. Птицы: худы и во вшах. Для себя купил на стороне. Нет ни крупы, ни соломы, ни картофеля, сена ни клока, придется голодать. Управитель вор, украл 3500 руб. Страшные порубки в лесах, жалкое состояние строений, нерадивость, плутовство, лень, невежество».

Ни у Пушкина, ни у единомышленников его не было ни грана русофобии. Напротив, многие черты народа почитали они имеющими универсальный характер. Так, Пушкин совместно с Кюхельбекером делали выписки из книги Вейсса «Основания или существенные правила философии, политики и нравственности», вышедшей в Петербурге в 1807 году. И среди выписок было такое: «Токмо шесть главных побудительных причин возбуждают страсти простого народа: страх, ненависть, своеволие, скупость, чувственность и фанатизм...»²⁶ Ко времени послесылочной жизни в Москве социологические изыски Пушкина упростились. Он не строил моделей русской политической системы, а просто объяснял в письме к другу Дельвигу: «...люди – сиречь дрянь, говно. Плюнь на них да и квит» (X.176).

Жизнь Пушкина в Москве оказалась совсем не такой, о которой он мечтал в деревне. Эйфория, связанная с амнистией и прощением, миновала, уступив место рассудку, отрезвлению, пониманию того, что ошейник как был, так и остался, и что всё, с чем он сталкивается здесь, ему чуждо. Все старые проблемы не разрешились, висели тяжкими заботами, выхода не видно было, и формой выражения недовольства его теперь становится скука. Скука оборачивалась меланхолией, меланхолия – тоской. Тупиковое состояние усиливало ненависть ко всему окружающему. Ощущение непонимания, одиночество в толпе оставляло чувство безысходности. Это состояние его в конце 1826 года отмечают все знакомые, старые и новые, а прежде всего, он сам. «Злой рок преследует меня во всем том, чего мне хочется», – пишет он приятелю Зубкову меньше чем через два месяца после возвращения в Москву (X.621, по-фр.). «Я устал и болен» (X.173).

Разрядкой его, кроме попок, как всегда становятся карты и женщины, колесо ежедневной, еженощной гульбы. Выигрыши, чаще проигрыши, случайные связи, тяжкие похмелья. Издатель Михаил Погодин с грустью отмечает в дневнике: «Досадно, что свинья Соболевский свинствует при всех. Досадно, что Пушкин в развращенном виде пришел при Волкове».²⁷ А.А.Волков, начальник корпуса жандармов, обо всем доносил по службе Бенкендорфу, и едва ли не в каждом сообщении упоминался беспорядочный образ жизни Пушкина.

Ему 27, и, вроде бы, надо остепениться, устроить свою жизнь. В октябре Пушкин сошелся с Зубковым, приятелем Ивана Пущина, и стал бывать у него. Там встретил Софи Пушкину, сестру жены Зубкова, свою однофамилицу. После двух встреч в обществе он неожиданно для всех (и для себя самого) делает предложение. У Софи есть жених, да и вообще она не воспринимает серьезно столь стремительную атаку. Пушкину отказано, и он бежит в Михайловское. «Еду похоронить себя в деревне», «уезжаю со смертью в сердце» (X.621, по-фр.), – вот лексикон писем тех дней.

Он умоляет Зубкова уговорить Софи, упросить ее, уломать, настращать скверным женихом и женить на ней его, Пушкина. Но возникает ощущение, что женитьба на Софи не есть ни заветная цель его, ни мыслимое им счастье. Это ближайшая

пристань, к которой одинокий парусник нацелился причалить в плохую погоду. Желание, несмотря на все словеса о влюбленности и даже страсти, не от сердца, как у него обычно, а от усталости, от головы. Получив отказ, он остыл так же быстро, как вскипел.

Глава десятая

НОВАЯ СТАРАЯ СТРАТЕГИЯ

*«Из Петербурга поеду или в чужие края,
т.е. в Европу, или восвояси, т.е. во Псков,
но вероятнее в Грузию...»*

Брату Льву, 18 мая 1827, не по почте.

Эйфория, следствием которой явились пылкие, благодарные рифмы о покровителе-серафиме, дала свои плоды. Реакция сверху была благосклонной, и Пушкин вполне логично рассчитывал на дальнейшее улучшение своего положения. Поэт, кажется нам, искренне поверил императору, хотя постепенно осознал, что им управляют. Несмотря на то, что он стал более трезво относиться к предписаниям начальства, он сознательно стремился заслужить доверие Николая Павловича, даже расположить его к себе.

Это можно толковать как своего рода стратегию: надувательство благонамеренностью и патриотизмом тех лиц, которых не удалось надуть другим путем. Если славословить его величество, то можно получить компенсацию, например, в виде большей свободы или, скажем, заграничного паспорта. Иными словами, убедившись на горьком опыте своих друзей, что непокорные сгорают, не успев достичь цели, а сервилисты преуспевают и кое-чего добиваются, он начинает играть роль сервиста. Для этого требовались определенные актерские данные,

и они у поэта были. Метод, знакомый большинству российских интеллигентов. Основы принципа беспринципности (необходимого, впрочем, чтобы выжить) тогда уже вполне сложились. Осуждать этот принцип легко тому, кто никогда не жил при тирании. Но вот у Байрона неожиданно читаем:

Во мне всегда, насколько мог постичь я,
Две-три души живут в одном обличье.¹

У Байрона такое состояние было добровольным, оно являло собой богатство души и противоречивость ума. Для Пушкина это была необходимость молчать, о чем думаешь, соглашаться с тем, с чем не согласен. «Горе стране, где все согласны», – писал Никита Муравьев. Но горе и отдельной личности, которая выскажется не так, как надо. И чтобы выжить, личность хитрит. А кто не хитрит, тот жертва, и Пушкин уже испытал это на самом себе.

Ничего сверхъестественного в таком положении поэта в России не было. Стихотворец по самой своей сути предназначался именно для воспевания сильных мира, и все предшественники Пушкина почитали это за норму. Историк и писатель Иван Лажечников рассказывал Пушкину: «...Когда Третьяковский с своими одами являлся во дворец, то он всегда по приказанию Бирона, из самых сеней, через все комнаты дворцовые, полз на коленях, держа обеими руками свои стихи на голове, и таким образом доползая до Бирона и императрицы, делал ей земные поклоны. Бирон всегда дурачил его и надседался со смеху» (Б.Ак.16.64).

С тех времен нравы изменились. Но в отличие от других Пушкин надевал шутовской колпак, которого раньше побаивался, не ради чинов или денег, а токмо ради свободы. Может быть, ему, холерику, человеку очень темпераментному и очень вздорному, подчиненному порыву, осуществить новый метод было легче, чем кому-нибудь другому. «Как поэт, как человек минуты Пушкин не отличался полною определенностью убеждений», – мягко писал Бартенев.²

Не будем забывать, что во времена Пушкина пишущему человеку продаваться было не так противно, как в советское время. Трудовые процессы еще не назывались сражениями,

жатва – битвой за урожай, беседа иностранного гостя – идеологической диверсией, поездка в деревню – десантом, литература и искусство – передовым фронтом, а гусиное перо – оружием поэта, приравненным к штыку. В этом отношении психика общества еще не была изуродована. Переходы от одной крайности к другой Пушкин совершал сравнительно легко, хотя и жаловался на свою судьбу. «Я имею несчастье быть человеком публичным, а вы знаете, что это хуже, чем быть публичной женщиной», – сказал он Владимиру Соллогубу.³

Вяземский как-то отметил, что Пушкин никогда не писал картин по размеру рам, изготовленных заранее, другими словами, не подгонял себя под шаблон и был переменчив. В одно время сочиняются послание во глубину сибирских руд к декабристам, где звучат отголоски старых призывов к свободе, и стихи, где восхваляются карательные меры против борцов за эту свободу и царская забота о благе государства.

В «Стансах» Пушкин в первых же строках объявляет, что именно он хочет получить взамен за создаваемый им для нового царя исторический пьедестал:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни... (П.307)

Далее в тексте воссоздается грандиозная фигура Петра Великого, который сперва покарал мятежников, но быстро привлек сердца правдой, укротил наукой нравы и смело сеял просвещение, а сам при этом был простым и скромным тружеником. В стихотворении – призыв к царю быть неутомимым и твердым, как его прапрадед (Пушкин не мог не понимать, что значили в тот момент слова «быть твердым»).

Итак, поэт в художественной форме возвеличивает императора, изображая преемственность великих деяний царской фамилии. А царь жалует поэту за его усердие покровительство и прекращение преследования. Логично поэтому, что стихотворение заканчивается весьма прозрачным пожеланием Николаю Павловичу: быть таким же незлобным памятью, как Петр, забыть прошлое, гирей висящее на его нынешней свободе. Советский пушкинист сделал заключение, что «Пушкин рассматривал это стихотворение как план прогрессивной по-

литики, на которую он пытался направить Николая I».⁴ Нам же кажется, что если Пушкин и рассчитывал направить политику правительства, то, прежде всего, в своих интересах, что, тем не менее, никак нельзя ставить поэту в вину. И все же, как ни неприятно это произнести, налицо попытка типично отечественного «ты мне, я тебе».

Не таких, однако, стихов ждали от вернувшегося из ссылки кумира его друзья и почитатели. Они возмутились тем, что независимый, самолюбивый Пушкин нашел себе столь холуйское занятие. За неприкрытую лесть Пушкина осудили даже те, кто сам был не без греха, а многие из знакомых от него отвернулись. Но что были их недоумения и разочарования по сравнению с игрой далекого прицела, которую он затевал? На фоне его цели некоторые мелкие неудобства: гордость, независимость, мнение окружающих, – можно просто сбросить со счетов.

Он сравнительно легко забыл неприятности прошлого и свою обиду в преддверии новых возможностей. Но сделал он это преждевременно. «Пушкин-автор в Москве, – рапортовал генерал Бенкендорф императору, – и всюду говорит о Вашем Величестве с благодарностью и глубокой преданностью; за ним все-таки следят внимательно». Если бы дело было только в слежке, на это можно было бы махнуть рукой, – ведь следили за многими. Шагать в ногу со всеми, как он задумал, то и дело не получалось, он сбивался. Записка «О народном воспитании», при том, что у автора ее было «одно желание усердием и искренностью оправдать высочайшие милости, мною не заслуженные» (VII.35), не произвела должного эффекта, хотя отдельные мысли в записке могли понравиться. Например, о том, что «влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества» (VII.31) и что надо развивать доноительство в учебных заведениях. И мракобесы такое писать прямо не всегда решались.

Следующий шаг не в ногу – стихи во глубину сибирских руд. Бенкендорфу наверняка донесли о том, что он виделся с княгиней Волконской перед ее отъездом в Сибирь, что отправил стихи сосланным приятелям. По возвращении Пушкин был вроде бы прощен, но «хвост» оставался, а значит, и дверь за границу была все еще для него закрыта. И уже надвинулись новые, а точнее обновленные неприятности.

Хотя декабристы были осуждены и наказаны, Третье отделение продолжало поиски распространителей антиправительственных сочинений весь 1826 год. Выяснили, что прапорщик Молчанов переписал у штабс-капитана Алексева стихотворение Пушкина, в котором, между прочим, были и такие строки:

Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари (II.232).

Крутые строки... Стихи эти увидел «русский учитель», а точнее кандидат словесных наук Московского университета Андрей Леопольдов и выпросил списать. Он поставил заголовок «На 14 декабря» и дал почитать своему приятелю калужскому помещику Коноплеву. Коноплев оказался осведомителем Третьего отделения. Так начал формироваться новый политический процесс. Молчанова и Алексева посадили за недонесение.

Леопольдов узнал, что на него донесли, и настроил письмо непосредственно Бенкендорфу, представляя себя в качестве разоблачителя врагов правительства: «Всегда гнушаясь тайным и презрительным скопищем отечественных злодеев, я радуюсь, что ныне учинился орудием, хотя и посредственным, к открытию злонамеренных людей, которые, вероятно, самому правительству доселе не были известны». Далее Леопольдов требовал смертельного наказания Пушкину, «чтобы он не избег строгости законов». Письмо это было обнаружено в архиве Третьего отделения уже в наше время.⁵

Бенкендорф лично беседовал с Леопольдовым. Он устроил его на службу и, видимо, хотел использовать, но император рассудил иначе. Дело по высочайшему повелению приказано было довести до финала. Беднягу судили на том основании, что он донес не сразу, а лишь когда узнал, что Коноплев – агент. Леопольдова отправили в солдаты, затем дело его пересмотрели и «за подпись» посадили на срок «более года».

Оба эти осведомителя ничего нового не сообщили. Стихотворение «Андрей Шень» уже находилось в делах осужденных декабристов.⁶ Но тот факт, что стихи продолжали цирку-

лизовать, явился основанием привлечь к делу сочинителя. Комиссия военного суда потребовала получить показания Пушкина: когда, с какой целью стихи сочинены, кому переданы. Раздувалось дело, которое теперь было бы умнее положить на полку.

От возвращения из ссылки до нового преследования прошло четыре месяца. Легко сказать, что Пушкин вел себя не лучшим образом: он вел себя как мог. Вызванный к московскому обер-полицмейстеру, он сперва отрицал свое авторство: отрывок был неопубликованный и написанный не его рукой. Затем Пушкин отрицал связь стихотворения с событиями 14 декабря, поскольку стихи написаны о французской революции. Наконец, признав, что стихи эти его, заявил, что они опубликованы. Но ведь напечатаны они были с купюрой, каковой и являлись показанные ему стихи. Пусть это говорит французский поэт Шенье, но это написано Александром Пушкиным незадолго до бунта:

И час придет... и он уж недалек:
Падешь, тиран! Негодованье
Воспрянет, наконец. Отечества рыданье
Разбудит утомленный рок (II.235).

Стихи в запечатанном конверте были вскрыты обер-полицмейстером, предъявлены Пушкину и снова запечатаны как сверхсекретные. В течение 1827 года Пушкин был допрошен четыре раза по делу о стихотворении «Андрей Шенье». Следствие тянулось полтора года и затем было передано в Сенат. В процессе дознаний Пушкин отступил еще на шаг и признал, что стихотворение было «известно вполне гораздо раньше его напечатания». За Пушкиным учреждается секретный надзор.

Вслед за быстро улетучившейся эйфорией слабела уверенность, что обрести независимость удастся. Он все отчетливее ощущал себя в кольце надзора. Дворянина, находящегося под следствием, никуда не выпустят. Успешно начавшая выполняться стратегия увядала, не сумев расцвести. Как будет ясно из дальнейшего, с несколькими людьми Пушкин обсуждал возможности отправиться за границу, обсуждал на этот раз, не торопясь, намереваясь тщательно все организовать.

Весной 1827 года два связанных между собой события занимали его внимание. В результате длительных трений между Россией, Англией и Турцией была провозглашена независимость Греции, в ней появилась конституция и президент. Но война продолжалась, значительная часть территории Греции была захвачена турками. Это был хороший предлог для России продвинуться вперед, начав войну с Турцией. Препятствовала Англия, влияние которой в Греции и на Балканах увеличивалось. Пушкин мог рассматривать как хороший знак для себя, что президентом Греции был избран Иоанн Каподистриа, его покровитель, даже спаситель, который с тех пор, как поссорился с Александром I, жил в Женеве. Итак, Каподистриа мог вот-вот объявиться в Греции, и вот-вот русские войска могли двинуться туда.

Характер у Каподистриа был независимый, и хотя на Западе его считали агентом русского царя, это был не только дипломат и политический деятель, но человек с принципами и Богом в сердце. В России друзья Пушкина были и его друзьями. За границей Каподистриа охотно помогал приезжавшим русским, о чем с восторгом писал Батюшков своей тетке в Россию.⁷

Другой опорной точкой, на которую хотел бы рассчитывать Пушкин, был брат Левушка. В январе 1827 года Лев Сергеевич, не без протекции друзей старшего брата, определился юнкером в Нижегородский драгунский полк, который перебросили в Грузию. Войска расквартировали в Кахетии, готовя их к будущей войне. Это был, так сказать, второй фронт, направленный против Персии и Турции; по стратегическому замыслу обе стрелки, обогнув Черное море, должны были сойтись в Босфоре. В каком-то смысле пушкинский замысел совпадал с правительственным, только поэт не решил, с какой стороны ему сподручнее огибать Черное море.

Пушкин понимал, что на помощь младшего брата надеяться не приходилось: Лев пьянствовал больше прежнего и постоянно был в долгах. Тем не менее, получив разрешение Бенкендорфа отправиться по семейным обстоятельствам в Петербург, Пушкин тотчас, с подвернувшейся оказией, извещает Левушку (часть этого письма мы вынесли в эпиграф): «Завтра еду в Петербург увидаться с дражайшими родителями, compte

on dit (как говорится – фр.), и устроить свои денежные дела. Из Петербурга поеду или в чужие края, т.е. в Европу, или восвоюси, т.е. во Псков, но вероятнее в Грузию, не для твоих прекрасных глаз, а для Раевского. Письмо мое доставит тебе М.И.Корсакова, чрезвычайно милая представительница Москвы. Приезжай на Кавказ и познакомься с нею – да прошу не влюбиться в дочь» (X.177-178).

Николай Раевский-младший, упоминаемый Пушкиным, был в это время на Кавказе командиром Нижегородского драгунского полка. Ранее письмо это относили к 1829 году. Уточненная датировка (18 мая 1827) позволяет нам проникнуть в замыслы Пушкина, связанные с Европой и Кавказом, возникшие не внезапно, а вполне продуманно, за два года до реализации. Лев должен был спуститься за письмом, привезенным для него, с гор к минеральным источникам. Несомненно, отправившаяся к Кавказским минеральным водам общая знакомая Римская-Корсакова, с семьей которой поэт был дружен в то время, присовокупила к письму устные комментарии старшего брата. И в Москве, и в Петербурге Пушкин принимает меры конспирации, прося, чтобы и Лев, и Раевский писали ему то на адрес сестры, то на адрес отца.

На этот раз серьезную ставку Пушкин делал на договоренность с лучшим «из минутных друзей моей минутной молодости» Никитой Всеволожским (X.76). Сын петербургского богача, Всеволожский начинал службу вместе с Пушкиным в Министерстве иностранных дел актуариусом, то есть регистратором почты. Это была низшая чиновничья должность. А закончил камергером и действительным статским советником. В молодости у них были совместные театральные и амурные интересы, а также посещения общества «Зеленая лампа». Фат, философ, гуляка, игрок и моралист, Всеволожский к описываемому времени женился на дочери любовницы своего отца княжне Хованской. Вместе с братом Всеволожский был связан делами с французским коммерсантом Этье и теперь готовился к открытию больших коммерческих предприятий в Грузии и Персии. Война мешала этой деятельности, но не отменяла ее.

Пушкина коммерция не очень занимала, но шанс отправиться в путешествие на Кавказ вместе с Всеволожским привлек

его внимание.⁸ Ближайший друг Никиты Всеволожского генерал Сипягин стал Тифлисским военным губернатором со всеми вытекающими отсюда полномочиями, что для Пушкина было очень важно. Всеволожские уехали одни, отправившись сперва в свои обширные поместья в Астрахани, а затем оказались на Кавказе. Когда русские войска осаждали Эривань, Всеволожские остановились в Тифлисе, и вскоре камер-юнкер Никита Всеволожский был назначен генералом Сипягиным к себе в канцелярию на службу.⁹

А в Москве шли бесконечные переговоры с Сергеем Соболевским, у которого Пушкин квартировал. Соболевский был соучеником Льва Пушкина по университетскому Благородному пансиону. В молодости Пушкин при посредничестве Александра Тургенева спас Соболевского от исключения из пансиона. Теперь приятель отплачивал Пушкину заботой, то и дело выручая из неприятностей. Соболевский был великим гастрономом (Одоевский звал его за эту привязанность Животом, Пушкин – Калибаном, диким героем шекспировской «Бури», а также Фальстафом, Животным и Обжорой). Гурман и жуир, Соболевский кормил и поил Пушкина, улаживал его финансовые дела, за отсутствием денег для отдачи карточных долгов давал Пушкину для заклада свои вещи, мирил его с дуэльными противниками.

Говорили, что беспутный Соболевский сбивает поэта с пути истинного.¹⁰ Но посвященный во все дела склонного к такой же жизни Пушкина, Соболевский был человеком благородным, к тому же сильного характера и воли. Пушкин нуждался в советах приятеля, способного молчать. Близость простилакала также из общности интересов. Библиоман, библиограф, пародист, Соболевский скопил замечательную библиотеку, особенно по географии и путешествиям, едва ли не лучшую в России, и она была целиком в распоряжении Пушкина. Вкусы, взгляды, чувство юмора у них во многом совпадали.

Идет обоз с Парнаса,
Везет навоз Пегаса,

– острил Соболевский.¹¹ Иногда его эпиграммы приписывали Пушкину. Соболевский был долгое время не только собутыль-

ником, но первым помощником поэта в литературных и издательских делах. Влияние его на Пушкина было настолько сильным, что к Соболевскому ревновала Наталья Николаевна. Принято считать, что будь Соболевский не за границей, он бы не дал состояться дуэли с Дантесом.

Спустя сорок лет, уже вернувшись из Европы второй раз, он вспоминал об их совместном житье-бытье на Собачьей площадке, в том доме, где была надпись «Продажа вина и проч.» Соболевский поинтересовался у кабатчика, слышал ли тот о Пушкине. Торговец что-то промямлил. Соболевский комментировал: «В другой стране, у бусурманов, и на дверях сделали бы надпись: «Здесь жил Пушкин». И в углу бы написали: «Здесь спал Пушкин!»¹²

Он пережил Пушкина почти на четверть века. Мужская дружба была так важна для Соболевского еще и потому, что он всю жизнь оставался одиноким, хотя, по собственному его признанию, в постели у него перебывало около пятисот женщин. В 1870 году слуга обнаружил его за письменным столом уже холодным. После смерти Соболевского библиотека и архив его пошли с молотка, но бумаги и письма купил коллекционер С.Д.Шереметев, и они сохранились до наших дней. Имеется 28 рукописных томов, принадлежавших Соболевскому, – четыре тысячи переплетенных писем. Есть там и «Путевые заметки во время путешествий по Западной Европе (1828–1833)». Сохранилось даже шесть его заграничных паспортов, кажется, все, кроме первого (если он вообще существовал).¹³ Могила Соболевского в Донском монастыре, отысканная нами, оказалась неподалеку от могилы Чаадаева и была не ухожена, но, в отличие от многих соседних могил, не разорена. Этот человек мог бы пролить свет на многие тайны поэта. Но «чтобы не пересказать лишнего или недосказать нужного, каждый друг Пушкина должен молчать», – категорически заявил он через 20 лет после смерти поэта.¹⁴

В стратегии лести, осуществлявшейся Пушкиным, был один просчет. Реакцией власти было встречное неперемненное, хотя и неназойливое, приглашение к сотрудничеству, которое Пушкин еще не улавливал. Сплетни усилили желание скорей отправиться в Петербург. Но шестеренки механизма уже зацепились одна за другую. Царь (несомненно, по рекомендации Бен-

кендорфа) не возражал. Шеф Третьего отделения заметил лишь, что «не сомневается в том, что данное русским дворянином Государю своему честное слово: вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано».¹⁵ От себя Бенкендорф добавлял в письме, как нам видится, с улыбкой, что ему приятно будет увидеться с Пушкиным.

19 мая 1827 года на даче Соболевского в Петровском парке, неподалеку от Петровского замка – путевого дворца русских царей по дороге из Москвы в Петербург, – собрались близкие друзья проводить Пушкина в столицу. Место это стало тогда модным. Вокруг замка, в котором останавливался Наполеон, решили разбить парк. В тот год под командованием генерала Башилова на территории работали солдаты и крестьяне. В восьмидесятых годах нашего века мы попытались заглянуть внутрь Петровского замка. Там была Военно-воздушная академия, и у всех входов стояла вооруженная охрана. Перед отъездом в Петербург Пушкин хотел окончательно договориться с Соболевским, который собирался отправиться за границу как бы совершенно независимо от Пушкина. При этом Соболевский, как намечалось, должен ждать Пушкина в Париже.

Смена Москвы на Петербург принесла мало перемен, поскольку для Пушкина «пошлость и глупость обеих наших столиц равны, хотя и различны» (X.623, фр.). Разве что сменились женщины. Он возобновляет роман с принцессой Ноктюрн – Евдокией Голицыной, которой теперь 47 лет, и начинает встречи с дочерью фельдмаршала Кутузова Елизаветой Хитрово, которой 44. Намерения жениться как будто позабыты. Дельвиг пишет Осиповой в июне 1827 года, что он в Ревеле и ждет Пушкина, который обещал приехать. Мы не знаем, просился ли поэт на берег Балтийского моря в этот раз, но он вместо Ревеля очутился в Петербурге.

Он настойчиво ищет общения с генералом Бенкендорфом, является даже к нему домой, но либо не застает, либо прислуге было велено Пушкину отказать. Сам Бенкендорф этой встречи вовсе не искал: агентура исправно сообщала ему все, что нужно. Наконец, Пушкин написал письмо, прося «дозволить мне к Вам явиться, где и когда будет угодно Вашему превосходительству» (X.179). На сохранившемся этом прошении имеется резолюция царя карандашом: «Пригласить его в среду в 2 часа в

Петербурге». В Петербурге потому, что Бенкендорф ездил в Царское Село обсудить вопрос с императором, и император велел Бенкендорфу принять Пушкина. Идея создать учреждение для писателей, литературный департамент, так сказать, прообраз Союза писателей, возникла, между прочим, у поэта и чиновника Ивана Дмитриева еще в царствование Екатерины Великой, но тогда не реализовалась. Теперь Третье отделение выполняло функции наблюдения за писателями и издателями.

Разговор состоялся дома у генерала. Он был вполне благонамеренным со стороны поэта (в соответствии с осуществляемой им программой) и ласково-покровительственным со стороны Бенкендорфа. У главы Третьего отделения были новые планы в отношении поэта, согласованные с царем, и желание Пушкина поддержать контакты укрепляло мысль, что замысел правилен. Но осуществлять эти планы глава Третьего отделения отнюдь не спешил.

Пушкин договаривался с Соболевским, у которого внезапно умерла мать. Горе и хлопоты могут заставить позабыть намерение собираться за границу. 15 июля 1827 года Пушкин посылает Соболевскому деньги, только что выигранные в карты – всю свою наличность, – и напоминает об уговоре: «Приезжай в Петербург, если можешь. Мне бы хотелось с тобою свидеться да переговорить о будущем» (X.179).

Оба приятеля озабочены деньгами. Пушкин старается опубликовать как можно больше в Петербурге. «Торговлю стихистую» (X.185) наладить не просто, идет она не очень хорошо. Для защиты авторских прав Пушкин обращается к тому же Бенкендорфу, воюет с цензурой, запугивая ее своей привилегией апеллировать непосредственно к царю. Что касается высочайшей цензуры, то Бенкендорф сообщает: все предложенные Пушкиным стихотворения одобрены. Издатель Плетнев собирается их печатать по согласованию с Третьим отделением с пометкой «С дозволения правительства».

Часть переписки Пушкина с Соболевским, особенно посланной по почте, до нас не дошла. Между тем намерения друзей стали известны властям задолго до осуществления. «Поэт Пушкин здесь, – писал фон Фок в донесении Бенкендорфу. – Он редко бывает дома. Известный Соболевский возит его по трактам, кормит и поит на свой счет. Соболевского прозвали

брюхом Пушкина. Впрочем сей последний ведет себя весьма благоразумно в отношении политическом». ¹⁶ Об осуществлении замысла мы узнаём из доноса секретного сотрудника. 23 августа 1827 года агент Третьего отделения (по мнению Б.Л.Модзалевского, Булгарин) доносил: «Известный Соболевский (молодой человек из московской либеральной шайки) едет в деревню к поэту Пушкину и хочет уговорить его ехать с ним за границу. Было бы жаль. Пушкина надобно беречь, как дитя. Он поэт, живет воображением, и его легко увлечь. Партия, к которой принадлежит Соболевский, проникнута дурным духом. Атаманы – князь Вяземский и Полевой; приятели: Титов, Шевырев, Рожалин и другие москвичи». ¹⁷

Соболевский действительно собрался в дорогу. «...Еду завтра в Псков к Пушкину, – писал он общему с Пушкиным приятелю Николаю Рожалину 20 сентября, – уславливаться с ним письменно и в этом деле буду поступать пьяно – т.е. рiано». ¹⁸

«Пьяно» – значит «тихо». Так тихо, что мы и по сей день не знаем подробностей, но замысел, обнаруженный доносчиком, налицо. Письмо Рожалину тоже не случайно, Соболевский, как мы знаем, не болтлив. Николай Рожалин (известно о нем немного) входил в Москве в круг приятелей, наиболее близких Пушкину, Соболевскому и особенно Веневитинову. Знаток греческой, латинской и немецкой культур, философ-идеалист, поклонник Шеллинга, переводчик, критик, а главное – единомышленник по части бегства из России. Рожалин, «памятный умом и ученостью», готовился эмигрировать. Перед его отъездом Пушкин передал ему несколько своих рукописей.

Недоумений, однако, возникает несколько. Пушкин вроде бы не собирался снова пытаться бежать из Михайловского через Дерпт – это был пройденный этап. Сказанное в ресторане или клубе слово могло быть без труда подхвачено заинтересованным лицом. Как и что конкретно узнал осведомитель Бенкендорфа? Ездил ли Соболевский в Михайловское, и если да, то зачем? Скорей всего, в Псков и Михайловское к Пушкину он так и не поехал. Что значит «уславливаться с ним письменно», если он едет лично увидеться? Пушкин летом 1827 года Бенкендорфа о выезде не просил. Значит, в данном случае речь могла идти только о побеге или о способе тайной переписки в случае отъезда Соболевского.

Чаадаев спрашивал в письме С.П.Жихарева, московского губернского прокурора, в доме которого Пушкин бывал в это время: «...не знаете ли, каким манером Александр Пушкин пустился в чужие края?»¹⁹ Любопытны в этом письме осторожные слова «каким манером», означающие, скорей всего, «как и куда». Чаадаев не стал бы спрашивать, если бы способ был обычным. Значит, суть этих слов: как невыезднему Пушкину удалось провести бдительность власти? Слух до Чаадаева дошел ложный. Пушкин еще ни в какие чужие края не пустился.

Глава одиннадцатая

НЕОТМЕЧЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ

*На море жизненном, где бури так жестоко
Преследуют во мгле мой парус одинокий,
Как он, без отзыва утешно я пою
И тайные стихи обдумывать люблю.*

17 сентября 1827 (III.24).

«Он» в стихотворении «Близ мест, где царствует Венеция золотая», из которого выше приведены строки, – это итальянец, гребец, плывущий на гондоле.

...поет он для забавы
Без дальних умыслов; не ведает ни славы,
Ни страха, ни надежд, и тихой музыки полн... (III.24)

В поэтическом плане сравнение себя с покоющим гондольером великолепно. Но, кажется, какая-то внутренняя нелогичность лежит в глубине стихов этих. «Как он... я пою...» Но разве Пушкин поет для забавы и без дальних умыслов? Разве он не ведает славы, страха, даже, все еще, надежд? И поет он, ища отзыв друзей, и почитателей, и сильных мира сего, а не только для себя. Образ поэта в стихотворении далек от жизненных реалий, да и итальянский гондольер идеализирован. Дело в том, что поэт в стихотворении – не Пушкин, это перевод из

Шенье. Но стихи очень точно отражают пушкинское настроение дня: затишье между конфликтами, желание тихо сосредоточиться на себе после бессмысленной столичной суеты.

Осень Пушкин встретил в Михайловском. Десять лет назад, в конце августа или в сентябре 1817 года, он сказал в театре поэту Павлу Катенину, что скоро отъезжает «в чужие края». Пролетело десять лет в бесплодных попытках увидеть за границу. Юбилей этот он никак не отметил. Как видим, его стихи и его мечты опять об Италии. Не имея возможности увидеть Европу, он смотрит на Италию глазами чтимого им французского поэта.

Следствие по стихам Шенье только-только утихло. Пушкин искал аналогий, хотя трудно было сопоставить биографии русского поэта с французским. Юношей Шенье, как и Пушкин, стал дипломатом. Но в отличие от русского поэта в поисках впечатлений отправился в Италию и Швейцарию, а затем работал во французском посольстве в Лондоне. Он вернулся в Париж, чтобы кончить жизнь на эшафоте, когда ему было 32. За мысли Шенье приходилось теперь расплачиваться Пушкину.

Пушкину 28. У него появилась лысина, которую он компенсировал большими баками. Современник отмечает, что «страшные черные бакенбарды придали лицу его какое-то чертовское выражение; впрочем, он все тот же...»¹ Хотя Пушкин писал: «Каков я прежде был, таков и ныне я», – во многом он изменился, и не только внешне. «Он был весел, – вспоминает Анна Керн, – но чего-то ему недоставало».

Поэты всех стран, по Пушкину, – родня по вдохновению. Первый поэт России никогда не видел ни Байрона, ни Гете. Он запоминал их портреты и, мысленно беседуя с ними, рисовал их по памяти. С представителями западной культуры он общался через посредников, через своих друзей Карамзина, Кюхельбекера, Тургенева, Жуковского. А в рукописях Пушкина мы находим его автопортреты рядом с теми, с кем он увидеться не мог.

Творческие силы человека, который с молодых лет обнаружил в себе гения, расходовались в значительной степени на сочинение бюрократических документов. Прошения, объяснения, жалобы, унижительные показания для полиции, тщетные

попытки доказать свою невиновность, бесконечные подобострастные письма покорнейшего слуги изучаем мы вместо стихов и прозы, которые могли быть написаны на той же бумаге. Десять лет самостоятельной, взрослой жизни, из них шесть в ссылке, а остальные под контролем, слежкой, с перлюстрацией почты, при закулисных решениях, бесправии, под угрозами более тяжкого наказания.

Легко живущий молодой человек, каким мы видели его в Петербурге после лица, помрачнел, стал нервным. У него постоянное состояние стресса. «Он всегда был не в духе...»² Одесский друг и коллега Василий Туманский упрекает Пушкина в том, что не получил ответа на два письма: «Эта лень имеет в себе нечто азиатское и потому непростительное в человеке, столь европейском по уму, по характеру, по просвещению, по стихам...»³ Составные части формулы Туманского верны, но вывод Пушкина, недоступный пониманию приятеля, мог быть обратным: если столь европейский человек насильно содержится в Азии, то его лень не только прощительна, считает он, но оправдана. «Счастливого лени верный сын» называет он себя.

Пустое его времяпрепровождение породило легенды о поэте-эпикурейце, легкомысленном прожигателе жизни. Он неприменимый участник пирушек, застолий, балов, постоянный посетитель притонов, борделей, кабаков. Осуждая в других пристрастие к картам, он сам играл, но теперь не для денег. Пушкин говорил Алексею Вульффу, что страсть к карточной игре есть самая сильная из страстей. Он ложится под утро, отсыпается, потом пишет, не вылезая из-под одеяла. Кажется, он единственный российский писатель, собрание сочинений которого было создано в постели.

Негативизм поэта был естественной реакцией, следствием запретов, невозможности порвать с этим обществом, с этой системой. Прожигание жизни – хорошо знакомая черта русского человека. Он пьет от отчаяния, гуляет, чтобы сжечь время, которое он не может реализовать так, как хочет, и становится равнодушным лентяем, потому что в нем угасают рефлексы цели. Пушкин постепенно терял веру: сперва в окружающих, потом в самого себя. Оставалось верить в чудо, в судьбу, которая внезапно все перевернет.

В михайловской тишине у Пушкина было достаточно времени обдумать свои стремления, проанализировать провалы. Почему с периодической настойчивостью рвался он эти десять лет за пределы империи? В лицее Пушкин писал стихи, но среди его воспитателей нашлись люди, которые советовали образовать Пушкина в прозе. Сильные мира хотели, чтобы он стоял подле них с одой. Прочитав «Бориса Годунова», царь предложил переделать драму в роман наподобие Вальтера Скотта. Многие хотели Пушкина переиначить, приспособить, использовать, принудить, заставить. Насилие и неуважение к личности настигало его на каждом шагу жизни.

Существует устойчивое мнение, что Пушкин хотел покинуть Россию в ссылке, но оставил эту идею, вернувшись в столицы. На деле, чем зрелее он становился, тем упорнее было его желание вырваться из этой страны. Пушкина урезали духовно, ущемляли чувства, мысли, его произведения оставались неопубликованными. При страсти к новым впечатлениям, любви к путешествиям и уникальной возможности стать мировым поэтом ему надо было увидеть, потрогать, ощутить цивилизованный мир.

Запрет создает духовный дефицит. Он хотел поехать; если бы его спокойно выпустили, спокойно вернулся и ездил много раз. Представим себе отказниками его кумиров: Руссо, Байрона, Шенье, Гете. Отказ писателю в праве видеть мир есть, по сути, такая же акция, как выколоть глаза архитектору Барме, строителю Покровского собора на Красной площади, чтобы не мог творить за пределами Московии.

Возможно, Европа умерила бы его русские крайности. В знак протеста он называет своим небо Африки, а родину любит столько же, сколько презирает. Впрочем, вопрос о том, любил ли Пушкин родину, столь педалируемый, в действительности не должен быть так уж важен ни для кого, кроме него самого. Это вопрос сугубо интимный. Много ли пишется о любви Шекспира к Англии? Создав для Пушкина невозможные условия, одним из этих условий сделали невозможность выезда. Таков русский гуманизм. Но почему вот уже десять лет не выпускали его за границу, несмотря на все его прошения и хлопоты его влиятельных друзей?

При Николае I система въезда и выезда из страны стала более жесткой. Были введены более строгие порядки выдачи

паспортов. Контроль и придирки полиции к мелким нарушениям режима жизни стали постоянным явлением обыденной жизни. На границах внедрена запретительная система таможенных пошлин и пограничная цензура. На заграничные поездки дворянам предоставлялись разрешения сроком не более пяти лет, а остальным русским подданным до трех лет. Распространенное раньше в дворянских домах воспитание детей иностранцами было ограничено, как и отправка молодых людей учиться в западные университеты. Фактически это приводило к еще большей изоляции России от остальной Европы.

Паспорта выдавались разными учреждениями тем, кто ехал по служебной надобности. Частные лица обращались с ходатайством к губернаторам. Полицейский надзор означал невозможность получить паспорт. Уже существовали централизованно распространяемые по всей стране жандармерией списки лиц, на которых накладывались определенные ограничения. Важнее всего для властей было наличие того, что называлось «благонадежностью» или, реже, «благонамеренностью» и «благомыслием». «Благонадежность» означает уверенность тайной полиции в отсутствии у данного лица тайных умыслов супротив властей. У Бенкендорфа не было полного доверия к Пушкину. Но полного доверия у главы тайной полиции не может быть ни к кому в принципе, а между тем многих выпускали за границу. Конечно, в разрешении поехать за рубеж был также элемент случайности или просто удачи. Пушкин оказался историческим исключением, трудно объяснимым.

Рассмотрение выездного дела Пушкина не было только формальным. Обо всех его прошениях докладывалось лично государю. Для поэта царь заменял собой все инстанции. По-видимому, отказы Пушкин получал, так как вот уже десять лет находился под слежкой, а после возвращения из ссылки – еще и под новым следствием.

Были периоды, когда Пушкин просто мешал. Его влияние на публику было отрицательным, и его выезд разом облегчил бы заботы нескольких ведомств, включая аппарат главы государства. Высылка за границу практиковалась в других государствах. Во Франции кумир Пушкина Руссо был приговорен судом к высылке из страны за клевету на своих коллег (что так и осталось недоказанным). Мысль выслать Пушкина в Испа-

нию возникала, как мы помним, в 1820 году, но была отвергнута, и не случайно. Поездка за границу уже тогда рассматривалась как награда, подачка, монаршая милость. Ни о каких законных правах речь в России не шла никогда. Эмигрантка Марина Цветаева, например, считала, что живи Пушкин при Петре I, царь выпустил бы его на волю.

Плыви – ни об чем не печалься!
Чай, есть в паруса кому дуть!
Соскучишься – так ворочайся,
А нет – хошь и дверь позабуди!⁴

Отпустить Пушкина Николай I считал вредным для отечества. О первой причине держания поэта взаперти царь сам открыто заявил иностранным дипломатам в общем виде: «Революционный дух, внесенный в Россию горстью людей, заразившихся в чужих краях новыми теориями... внушил нескольким злодеям и безумцам мечту о возможности революции, для которой, благодаря Бога, в России нет данных».⁵ Позволить привезти и распространять новые идеи, которых Пушкин обязательно нахватался бы в Европе, – этого царь допустить не хотел.

Второй причиной держания поэта на привязи был тот же язык Пушкина. Выпусти этого шалопая, по выражению Бенкендорфа, и он начнет направо и налево высказывать в Европе все злое и ложное о России и правительстве, что только придет ему на ум. Впрочем, в-третьих, взгляд мог быть и более серьезным. Николай назвал Пушкина умнейшим человеком в России. Зачем же выпускать умнейшего человека, давать ему волю? Здесь, под опекой, он говорит то, что нужно, а там?

И все ж в рассуждениях Бенкендорфа и Николая I видится определенный просчет. Пушкин всегда шел на компромиссы, и чем спокойнее власти относились к его отклонениям от предписанного, тем меньше он нарушал эти предписания. Зажатый до предела, лишенный всех степеней свободы (даже цензура персональная, даже передвижения внутри страны лишь с разрешения), Пушкин начинал ненавидеть и то, к чему в нормальных условиях относился бы спокойнее. Его появление на Западе свидетельствовало бы, что у русских есть не только

истинная культура и литература, но и человеческое, европейское лицо. По возвращении степень его умеренности несомненно выросла бы, как и его благонадежность, как и благодарность за исполнение заветного желания. «Мне стало жаль моих покинутых цепей», – сказал Пушкин о другом, но в этом он весь.

Такова природа отечественной власти: многое она делает себе во вред. Презрение к человеку и его достоинству, тирания мелочной опеки и политический обскурантизм – ее непеременимые составные части. Как в заморских странах существует прирожденное право, так у нас – прирожденное бесправие. Князь Вяземский в записной книжке обращал внимание на то, как работает эта «запретительная система: прежде чем выпустить свой товар, свою мысль, справляться с тарифом; везде заставы и таможи».⁶ Когда писатель Иван Дмитриев заметил, что название Московский английский клуб весьма странное, Пушкин возразил ему, что у нас встречаются названия еще более неподходящие, например, Императорское человеколюбивое общество.⁷

Если Пушкин так стремился выехать, а его не выпускали, то почему он в течение десяти лет не реализовал ни одной из попыток бежать нелегально? Ю.Н.Тынянов сказал однажды: «Если бы Пушкин знал о себе столько, сколько мы знаем о нем сейчас, он вел бы себя иначе».⁸ Да, Пушкин не всегда и не во всем был последователен, однако он всерьез обдумывал свои просчеты и делал выводы. Поведение его было подчас нелогичным. Но не он чаще всего был в этом виноват: он был, в сущности, белкой в колесе. И выбор его узок: метаться в колесе или остановить его и сидеть в клетке. Третьего не дано. К тому же он поддавался увещаниям друзей, а их советы были противоречивы, подчас противоположны. Дельвиг любил повторять мудрость из Талмуда: если скажут тебе, что ты пьян, то ложись спать. Для бегства за границу Пушкину надо было быть чуть решительнее, чуть предприимчивее и чуть хитрее.

Теперь, обдумывая одесские и михайловские ошибки, он понимал, что бегство на корабле, в коляске, под видом слуги или с фальшивым паспортом – способы чересчур рискованные. Для реализации плана бегства нужны были особые обстоятельства: политическая неразбериха, бунт или война. Возможно, именно таких особых обстоятельств поэт теперь ожи-

дал. А за границу собирался... его собственный портрет, написанный «русским ван-Дейком» Орестом Кипренским. Всю лучшую часть своей жизни Кипренский провел в Германии, Швейцарии и Италии; ненадолго приехав в Петербург, он собирался снова в Италию, намереваясь там жениться. С собой Кипренский хотел взять портрет Пушкина, писанный им с натуры, дабы демонстрировать его на выставках. Пушкин считал настоящими художниками только англичан и французов, но для итализированного Кипренского сделал исключение. Теперь Пушкин честолюбиво размышлял о том, как к его портрету отнесутся на Западе:

Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит:
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид (III.21).

Это он написал Кипренскому и был рад путешествию хотя б в таком виде. В Россию Кипренский не вернулся. Портрет, сделанный им, после находился у Дельвига до его смерти, выкуплен Пушкиным за тысячу рублей у вдовы Дельвига и через сына Пушкина уже в нашем веке попал в Третьяковскую галерею.

Для тех людей во всем мире (в том числе и в России, среди знакомых Пушкина), кто может выезжать за границу, Пушкин-отказник как социальное явление не понимаем и, уж наверняка, не трагичен. Во времена Пушкина слова «отказник» не было, но практика, как видим, была. Пушкин, кажется нам, и тут был первым: первым настоящим, широко известным отказником в России. Правительство считало, что отказ увеличивал власть над подданным и тем укреплял государство. Однако существует оборотная сторона медали: закрытая на замок граница – лучший способ воспитать вместо любви ненависть к своей родине.

Статус отказника есть рефлекторное выражение состояния государства. Как массовые репрессии порождали класс заключенных, возродив в XX веке в СССР и Германии рабовладение,

так массовые отказы создали новый социальный слой отвергнутых властью и обществом, насильно прикованных к государству. Отказ – чисто отечественное изобретение, некое наказание, срок которого колеблется от нескольких дней, как за мелкое хулиганство, до пожизненного. Кто решает, наказать или освободить такого гражданина, не всегда понятно. «Держать и не пущать!» – это и был фундаментальный вклад Российской державы в права человека. Но, хотя отказ – российское явление, он приносит вред всему миру, лишая людей возможности участвовать в деятельности человечества. И все же, по сравнению с советским периодом, во времена Пушкина, если не считать самого поэта, в вопросах выезда был относительный либерализм.

Его не выпускали, но и не унижали сложными бюрократическими процедурами. Для рассмотрения дела достаточно было прошения, то есть просто короткого письма. Явись Пушкин в советский ОВИР восьмидесятых годов нашего века, от него потребовали бы вызов от родственников из Африки для того, чтобы съездить в Европу. Не пришла тогда еще в голову Бенкендорфу иезуитская анкета, разрешения родителей, справки от братьев и сестер – согласны ли они на выезд их родственника. «Я не лишен прав гражданства и могу быть цензурован», – грустно шутил поэт (X.186). Не имея должности при переездах, он предъявлял свой лицейский аттестат, где значился «воспитанником Царскосельского лицея», и это вполне удовлетворяло жандармов.⁹ Иногда Пушкин показывал вместо проездного документа свои стихи, и по неграмотности полиции даже это сходило. На вопрос, где он служит, Пушкин однажды отвечал: «Я числюсь по России».¹⁰ Обычно пишут, что Пушкин этой фразой выражал свою национальную гордость. Нам же кажется, что тут звучит и вечная бездомность, от которой он страдал.

Пушкина называли первым штатским в русской литературе. В самом деле, Державин – тайный советник, Батюшков – офицер и дипломат, Жуковский – придворный учитель, Карамзин – придворный историограф, многие поэты были офицерами. А Пушкин был в эту пору простым сочинителем. Он на всю жизнь остался лицеистом, который больше всего на свете ценит крохи своей независимости.

Ничего не изменилось в литературных делах его, когда он стал отказником. Издатели хорошо платили Пушкину за сочинения. «У меня доход постоянный с тридцати шести букв русской азбуки», – гордился он.¹¹ Царь лично читал то, что он писал. Но цензура эта была подчас формальной. Много стихов Пушкин печатал и без представления царю или пользуясь знакомством с цензорами, и это сходило с рук. А если он и проходил цензуру, то цензоры, бывало, извинялись за беспокойство и объясняли, что делают это просто для проформы. Критик и цензор А.В.Никитенко называл цензуру «тяжкой политического механизма с искусством». Вяземский вместо слова «цензура» говорил «цендура».¹² С 1827 года в обеих столицах охотно печатали прозу Рылеева, Одоевского, Бестужева, Кюхельбекера, правда, с инициалами вместо подписи или вообще без подписи автора. Такова была тогда свобода печати. Книги Пушкина выходили с его именем и даже портретами, когда он был в ссылке. На двенадцати подводах бывший ссылочный невольник вез свою библиотеку из Михайловского в Петербург.

Пушкин вхож в высшее общество, беседует с царем, его принимают крупнейшие сановники государства, с ним не боятся общаться ни друзья, ни крупные чиновники. Никто не отнимает у него доступ к читателю и право на заслуженное место в литературе. Репрессивность аппарата царской власти была относительно ограниченной. А вот за границу именно Пушкина не пускали. В стихах «Сводня грустно за столом...» даже содержательница небезызвестного публичного дома Софья Астафьева хочет бежать за границу вместе со своими девицами, ибо тут с Петрова дня по субботу у них не было работы (III.42).

В октябре 1827 года Пушкин решил закончить свое добровольное заточение в Михайловском и выехал в Петербург, захватив с собой рукописи. По дороге на станции, когда ему меняли лошадей, он проиграл проезжему 1600 рублей, а затем заметил человека, который был окружен жандармами и казался ему крайне неприятен. В дневнике Пушкин писал, что «неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие; я повернулся им спиной, подумав, что он был потребован в Петербург для доносов или объяснений» (VIII.18). Но еще через мгновение оба бросились друг другу в объятия. Это был Вильгельм Кюхельбе-

кер, друг юности и неудачливый беглец с Сенатской площади за границу.

Кюхельбекера везли из Шлиссельбургской крепости в крепость Динабург. Жандармы друзей растащили, а о встрече этой фельдъегерь донес по начальству. Два лицеиста, два поэта, две судьбы, два пути. Один вернулся из-за границы, чтобы сгнить в Сибири, другой избежал Сибири, но не мог попасть за границу. Оба не сумели туда удрать. Образно говоря, оба были в кандалах: один физически, другой в своем воображении. Больше в этой жизни они не увиделись.

Глава двенадцатая

В АРМИЮ ИЛИ В ПАРИЖ

«Жизнь эта, признаться, довольно пустая, и я горю желанием так или иначе изменить ее. Не знаю, приеду ли я еще в Михайловское».

Осиповой, 24 января 1828, по-фр.

Пушкин появился в Петербурге среди друзей, но состояние одиночества, в котором он пребывал, от этого не изменилось. Литератор и друг Боратынского Николай Путята, сблизившийся с Пушкиным в эту пору, отмечает в нем грустное беспокойство, неравенство духа, пишет, что поэт «чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили».¹

Об этом порыве куда-то мы встречаем намеки, а то и прямые высказывания поэта. Внешние события опять подталкивали его. Над ним висело обвинение Новгородского уездного суда в «небрежном хранении рукописей».² Легко переводимо на иностранный язык это выражение, смысл которого, однако, объяснить западному читателю нелегко. Пушкина снова допрашивали по делу о стихотворении «Андрей Шень».

Поэт пускается в загул, чтобы разрядиться и хоть на время позабыть неприятности. Судьба сводит его с самыми страстны-

ми женщинами. У него роман со сверстницей, Аграфеной Закревской, которая была к тому же любовницей Боратынского и Вяземского. У него, похоже, возобновляется роман с Елизаветой Воронцовой, которая только что вернулась с мужем из-за границы и остановилась в Петербурге. Для тайной корреспонденции Воронцова придумала себе псевдоним Е. Вибельман – отражение пушкинского к ней обращения «принцесса бель ветрил».

Порыв куда-то отражается в текстах. В стихах снова ожидают образы Италии, удрать в которую ему не помог талисман, подаренный Воронцовой в Одессе. Поэт начинает и бросает писать стихи о крае, где редко падают снега и где блещет безоблачно солнце. А в стихотворении, посвященном вернувшейся из Италии Марии Мусиной-Пушкиной, он осыпает читателя целым каскадом неумеренных восторгов по поводу мест, в которых он никогда не бывал: это «волшебный край», «страна высоких вдохновений», «древний рай», «пророческие сени», «роскошные воды», «чудеса немых искусств» (III.53). «Не знаю, приеду ли я еще в Михайловское», – сообщает он соседке из Тригорского Осиповой. Не появиться никогда в собственном Михайловском, которое он любил, могло означать только один вариант его судьбы: выезд за границу.

От знакомых Пушкина не ускользнуло, что он серьезно, как никогда раньше, принялся вновь за изучение английского. Один из современников отмечал, что это единственное, чем он теперь серьезно занимается: «Пушкин учится английскому языку, а остальное время проводит на дачах».³ М.П.Алексеев писал, что и весь следующий, 1828 год Пушкин основательно занимался английским языком и стал достаточно свободно читать и переводить.⁴ По-английски Пушкин произносил слова, как по-латыни, то есть по буквам, чем потешал знающих английский язык, но переводил хорошо. В это время у поэта появляется еще один специальный интерес: к восточной религии и морали. Он достает перевод Корана, начинает его изучать. Что касается стратегии, то Пушкин осуществляет ее с еще большей энергией, рассчитывая вскоре пожать плоды. Для того, чтобы потрафить власти, нет лучше способа, чем выказать свой патриотизм.

В конце 1827 года сочиняется одно из самых, на наш взгляд, неуместных стихотворений Пушкина «Рефутация г-на Беранже-

ра». Прием, использованный в этих стихах, – обвинение иностранцев во всех смертных грехах и восхваление «наших». Иностранцы – нехристи, живодеры, блохи. Бить, стрелять и вешать их – подлинное наслаждение, и автор издевается над побежденными когда-то французами:

Ты помнишь ли, как были мы в Париже,
Где наш казак иль полковой наш поп
Морочил вас, к винцу подсев поближе,
И ваших жен похваливал да ёб? (III.45)

Может быть, это просто пародия? Нет, содержание стихотворения оставляет мало возможностей для такого прочтения. Нам кажется, это часть холодно рассчитанной стратегии верно-подданничества. Из-за обилия матерщины нечего было и думать о напечатании стихотворения, но в устном распространении оно вызывало улыбку. А для воспитания патриотических чувств накануне войны все средства хороши. Время поправило Пушкина: он считал автором французской песни Беранже, но сочинил ее на самом деле Дебро.

Следом за «Рефутацией» пишутся стихи «Друзьям», которые автор немедленно поспешил представить на высочайшую цензуру. На упреки знакомых в подхалимстве царю (которые, конечно, дошли до Николая Павловича и могли испортить дело) Пушкин пытается убедить всех в своей искренней любви к императору:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю (III.47).

Далее следует перечисление достоинств хозяина государства, восхваление его за честность, доброту, милости, заботу о России и даже за то, что «освободил он мысль мою». Стихотворение это – уже не восторги после возвращения из ссылки. Это поэтическое лизание того, что Владимир Даль называет в своем словаре местом, по которому у французов запрещено телесное наказание. Пушкин стремится опутать императора

такой паутиной лести, высказаться столь пылко, чтобы Его Величество в состоянии дурмана, поморщившись, разрешил поэту ехать, куда он хочет.

Пушкин перестарался. Предложение опубликовать это сочинение смутило царя, который, однако, не возражал против его распространения, так сказать, в Самиздате, о чем Пушкину сообщил Бенкендорф. Не ожидал поэт и столь резкой реакции друзей. Павел Катенин при свидетелях обвинил Пушкина в прямой лести, и между старыми друзьями произошла ссора. Николай Языков писал еще более резко: «Стихи Пушкина «Друзьям» – просто дрянь».⁵ Пушкин между тем, как нам кажется, надеется, что лесть даст свои плоды. Какие-то намеки на счет заграницы действительно сделаны: позже князь Вяземский скажет, что были «долгие обещания».⁶ Обещания властей были «вытягивающими», то есть провоцирующими, и без всяких гарантий. Но иначе и быть не может, риск, как говорится, благородное дело. Ради достижения цели поэт все более рисковал своей репутацией.

В начале января 1828 года Пушкин неожиданно сочиняет для Третьего отделения странную бумагу. В наше время, когда тайная полиция хочет привлечь писателя к сотрудничеству, один из банальных способов – это предложить написать психологический портрет другого писателя, который в данный момент по тем или иным соображениям интересуется тайную полицию. Именно такую характеристику на своего доброго знакомого Адама Мицкевича пишет Пушкин для Бенкендорфа (Х.496,588,699). Он намекает на желание Мицкевича вернуться в Польшу, и это дает нам слабую надежду предположить, что Пушкин, возможно, писал бумагу с ведома Мицкевича. Но и скромная роль посредника или ходатая между опальным польским поэтом и русской тайной полицией не украсила Пушкина, однако была прочитана Бенкендорфом весьма определенно. А поэт перебирал любые возможные варианты, включая сотрудничество, чтобы ослабить ошейник. Его увертки, зигзаги, нравственная позиция в данный момент объясняются именно поисками выхода.

Еще осенью в Михайловском возобновились контакты Пушкина с Алексеем Вульфом. Последний закончил университет в Дерпте (откуда они с Пушкиным собирались бежать за грани-

цу два года назад) и стал гусарским офицером. Вульфу предстояло участвовать в русско-турецкой войне, и разговоры их вертелись вокруг этой темы (если не считать женщин). Встречи продолжают то в имени Вульфов Малинниках, куда Пушкин заезжает погостить на несколько недель, то в Петербурге, где Вульф служил до самого отбытия в действующую армию. После этого у Пушкина появилась на Европейском театре войны, на Дунае, еще одна опорная точка на тот случай, если поэт вдруг туда попадет.

Возможность оказаться за пределами русского магнетизма стала вдруг ощутимо реальной, когда в Петербурге появился окутанный славой Александр Грибоедов. Жизнь этого удивительного человека словно демонстрировала русскую поговорку «Судьба – индейка, а жизнь – копейка». Крупный дипломат, писатель, диссидент и конспиратор, озабоченный подпольными планами переустройства всей России, друг декабристов, арестованный после попытки переворота, Грибоедов весьма удачно выкарабкался на поверхность. Генерал Ермолов, получивший приказ арестовать его и с рукописями доставить к императору, предупредил Грибоедова, дав ему возможность сжечь опасные бумаги.

Грибоедов был сторонником разжигания турецко-персидского конфликта, который способствовал подъему греческого восстания. Теперь он считал, что хорошие отношения Петербурга с Лондоном и Парижем удержат Англию и Францию в нейтральном положении. Это даст возможность русским воевать против турок без сопротивления европейских держав, а заодно поддерживать и Грецию, усиливая свое влияние и на Балканах. Позже, когда Россия оккупировала земли до Дуная, Адрианопольский мир подтвердил, что Грибоедов прав. Посланный Паскевичем Грибоедов привез императору Туркманчайский мирный договор, который узаконил оккупацию Армении и Нахичевани. Каспийское море стало русской собственностью.

В Петербурге по случаю победы громыхали пушечные салюты. Николай наградил Грибоедова новым чином, алмазным крестом и деньгами. Было много толков о том, что таких денег (40 тысяч золотом) никто не получал со времен Бородинского сражения, за которое Кутузову было пожаловано 100 тысяч. По традиции к фамилии прибавили победу и стали

называть его Грибоедов-Персидский. А Грибоедов удивил знакомых тем, что большую часть денег передал Булгарину на издание своей комедии «Горе от ума».

Принято считать, что Пушкин и Грибоедов не были близкими людьми, хотя познакомились давно и вместе давали присягу на службе. Вот что писал им в общем послании тот, кто третьим расписался под той же присягой, а теперь оказался на каторге, — Кюхельбекер: «Любезные друзья и братья поэты Александры. Пишу к вам вместе: с тем, чтобы вас друг другу сосводничать».⁷ Оба поэта были не только Александры, но и Сергеевичи, и родня. И круг у них был один, и общих знакомых хоть отбавляй. Кишиневский друг Пушкина Алексеев сопровождал Грибоедова во время вояжа в Персию. Грибоедов был другом Катенина, с которым Пушкин, хотя и поссорился сейчас, но был в приятелях много лет.

Прибыв в Петербург, полысевший и рано состарившийся, как и Пушкин, Грибоедов поселился в той же гостинице Демута, и около трех месяцев они виделись почти каждый день. Царь сказал о Пушкине, что это один из самых умных людей в России, а Пушкин говорил буквально то же самое о Грибоедове. Выходит, два самых умных русских человека жили теперь рядом. Встречались они и в гостях у общих друзей: у Всеволожского, у французского эмигранта графа Лавалья. По мнению грузинского пушкиниста И.Ениколопова, оба были откровенны в своем страстном желании вырваться на свободу из чиновничьего Петербурга, из-под унижительной опеки.

Но дело не только в их общих взглядах. Еще до попытки декабрьского переворота Грибоедов связывался с приехавшим из Соединенных Штатов Дмитрием Завалишиным, который подбирал в России опытных земледельцев с семьями для эмиграции в Калифорнию. Согласных ехать Завалишин обещал выкупить из крепостного состояния.⁸ Теперь эта идея приняла русский колониальный оттенок: Грибоедов, а с ним и Пушкин, размышляли о переселении крестьянских семей в Закавказье. У Ермолова уже был опыт выписки колонистов из Германии, теперь христиан завлекали в Армению из Персии.

Грибоедов, его приятель, муж сестры Всеволожского, тифлисский гражданский губернатор Николай Сипягин и будущий губернатор Петр Завилейский, а с ними и Всеволожский

обсуждали вопрос о том, как на основе прогрессивной экономической теории Адама Смита улучшить состояние и богатства захваченных Россией земель. Все участники проекта были людьми не только умными, но и практичными. Политика огня и меча не давала результатов. По Смиуту, государство вообще не должно вмешиваться в экономику. Грибоедов размышлял о системе свободного предпринимательства западного образца, которая потеснит русский деспотизм.

Подражая Северо-Американским компаниям, Грибоедов и его единомышленники выдвинули проект Российско-Закавказской компании, которая будет осуществлять внедрение вольнонаемного труда, развивать транспорт, торговлю с Западом и просвещение. Новый трест для развития экономики края встретил поддержку ряда влиятельных лиц в правительстве. Участники предвидели от предприятий большие доходы. По-видимому, Пушкин был неизменным участником дискуссий и загорелся новой идеей. Уже цитированный нами Ениколопов, много работавший в грузинских архивах в поисках документов Российско-Закавказской компании, пишет об участии Пушкина в этом проекте даже так: «Отныне все помыслы поэта сосредоточиваются на нем».⁹

Скорей всего, в этом экономическом проекте Пушкина занимала финансовая сторона дела, а главное – открывающаяся возможность прямой связи компании с границей. В «Записке об учреждении Российской Закавказской компании» Грибоедов планировал захват русскими порта Батуми.¹⁰ Несколько раз весной 1828 года Пушкин с Грибоедовым, Вяземским и Крыловым собираются вместе, чтобы обсудить возможность совместной поездки за границу. К ним присоединяется князь Вяземский, который описал их планы: «...смерть хочется, приехав, с вами поздороваться и распрощаться, возвратиться в июне в Петербург и отправиться в Лондон на пироскафе. Из Лондона недели на три в Париж, а в августе месяце быть снова у твоих саратовских прекрасных ножек (имеются в виду ножки жены Веры. — Ю.Д.)... Вчера были мы у Жуковского и сговорились пуститься на этот европейский набег: Пушкин, Крылов, Грибоедов и я. Мы можем показываться в городах как жирафы: не шутка видеть четырех русских литераторов. Журналы, верно, говорили бы об нас. Приехав домой, издали

бы мы свои путевые записки: вот опять золотая руда. Право, можно из одной спекуляции пуститься на это странствие. Продать заранее написанный манускрипт своего путешествия, которому-нибудь книгопродавцу или, например, Полевому, деньги верные...»¹¹

Вяземский мечтал поехать вместе с Грибоедовым в Персию, но говорил, что теперь ему и проситься нельзя. Д.Д.Благой, комментируя встречу четырех писателей, отмечает стремление всех четырех «хотя бы на время вырваться».¹²

Между тем Никиту Всеволожского из Министерства иностранных дел в Петербурге переводят на Кавказ. Туда же собирается втянутый в проект компании приятель и в прошлом коллега Пушкина по Министерству иностранных дел дипломат Федор Хомяков, только что приехавший из Парижа и теперь направляемый графом Нессельроде в распоряжение кавказского главнокомандующего Паскевича. Паскевич был женат на двоюродной сестре Грибоедова. Возвращавшийся в Персию в должности министра-резидента Грибоедов встретился с Паскевичем и говорил с ним о том, что до этого обсуждал с Пушкиным в Петербурге. Речь шла не только о новой компании для развития края, но, по-видимому, и о самом поэте, который мог очутиться на Кавказе. А Пушкин в Петербурге нащупывал разные возможности, готовый остановиться на любой из них, лишь бы она оказалась реальной.

В начале февраля 1828 года Пушкин вывихнул ногу и лежал в постели, а когда вставал, прихрамывал. Год, по его мнению, был невезучий. Но поскольку под лежащий камень вода не течет, надо было как-то действовать. Как всегда, он несколько недооценивал поступки властей и считал, что после его комплиментарных сочинений император стал к нему добрее и можно перейти к просьбе. Внешние обстоятельства этому способствовали.

Мирный договор с Персией развязывал руки для войны с Турцией. Идея овладения Царьградом оставалась частью великорусского патриотического сознания. Еще осенью русский флот одержал победу над турецким. Шла подготовка к захвату турецких территорий с обеих сторон Черного моря. Предстоящий военный хаос будоражил сознание поэта. Границы не охраняются, становятся гибкими, стираются, возникают новые.

Власти меняются, одни порядки и законы сменяются другими. Война всегда переселяет множество людей из страны в страну. Толпы людей исчезают, попадают в плен, дезертируют, просто бегут. Легко затеряться, тихо объявиться на другом конце Европы. Он и раньше видел некое упоение в бою, вспоминал свои кишиневские планы насчет Греции.

В письме собирающемуся за границу Соболевскому от февраля 1828 года Пушкин интересуется: «Пиши мне о своих делах и планах». Поэт не уверен, что заглянет в Москву, и добавляет: «Во всяком случае в Петербурге не остаюсь» (X.189). Не в Михайловское (как он писал раньше), не в Москву, – куда же тогда? В письме Бенкендорфу от 5 марта имеется приписка: «Осмеливаюсь беспокоить Вас покорнейшей просьбою: лично узнать от Вашего Превосходительства будущее мое назначение» (X.190). На письме этом Бенкендорф сделал пометку карандашом: «Пригласить его ко мне послезавтра в воскресенье в 4-м часу».¹³ Пушкин получил записку явиться к начальнику Третьего отделения 11 марта в 4 часа. «Можно лишь предполагать, что Пушкин уже в марте добивался быть назначенным в действовавшую в Турции нашу армию», – считает Лемке.¹⁴

Пушкин пытается пробиться в армию,двигающуюся на Турцию, для чего просит Бенкендорфа о содействии. Война еще не началась, но она висит в воздухе. По-видимому, поэт получил от Бенкендорфа неопределенный (но не отрицательный) ответ: Бенкендорф обещал доложить государю. Прошло чуть больше месяца. 14 апреля 1828 года Россия объявила Турции войну, русские войска к этому моменту уже перешли границу и вторглись на турецкую территорию, а ответа Пушкин не получил. 18 апреля он явился в канцелярию, «дабы узнать решительно свое назначение» (X.191). Его не только не впустили, но даже не разрешили дожидаться Бенкендорфа. Пришлось написать ему почтительное письмо: «судьба моя в Ваших руках».

Слухи о том, что Пушкина прикомандировали к Собственной канцелярии государя, уже ходили. Жуковский написал об этом, как о деле решенном, своей племяннице Александре Воейковой. Всезнающий чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе А.Я.Булгаков размышлял в письме брату: «Август и Людовик XIV имели великих поэтов. Пушкин достоин воспевать Николая».¹⁵ Вяземский обратился с такой

же просьбой об отправке в армию, и, похоже, ему обещали подобрать гражданскую должность на театре военных действий. В тот же день Пушкин и Вяземский встретились и отправились гулять за Неву. Подробности прогулки мы знаем из письма Вяземского жене, написанного сразу после их встречи. День этот был холодный, из Ладожского озера по Неве шел мелкий лед. На лодке переправились друзья к Петропавловской крепости и бродили по ней часа два, как выразился Вяземский, «по головам сидящих внизу в казематах».¹⁶

Однако содержание их разговоров не могло быть передано в письме к жене. Разговор почти наверняка вертелся вокруг политической ситуации и предпринятых ими шагов. Вяземский очень изменился. Человек умеренный (Вяземский был церковным старостой в своем приходе), два года назад он убеждал Пушкина пойти на компромисс, покаяться, дать честное слово в послушании, лишь бы вернули из ссылки. Он не был трусом. В Бородинском сражении под ним были убиты две лошади, а он продолжал участвовать в бою. Происходящее вокруг еще недавно он холодно называл «лютой существенностью», но в 1827 году сделался злым, чему свидетельство ходившее по рукам известное его стихотворение «Русский бог». Суждения его стали крайними, пессимистическими.

В письме, отправленном за границу Александру Тургеневу, князь Вяземский писал: «Как трудно у нас издавать журнал. Вовсе нет сотрудников, а все сотрутники. Иностранные журналы доходят поздно, неверно, разрозненные, оборванные в цензурной драке. Чужих материалов нет; своих не бывало. Пишущий народ безграмотен; грамотный не пишет. Наши Шатобрианы, Беранжи, Дарю гнушаются печати, и вертишься на канате перед мужиками в балагане журнальном, под надзором полицейского офицера, один с Булгариными, Каченовскими и другими паяцами, которые, когда расшумятся, начнут ссать на публику. Вот портрет автора в России».¹⁷

Письма Вяземского, видимо, перлюстрировались после его увольнения со службы. В апреле 1828 года, о котором идет речь, Николаю I донесли, что Вяземский с Пушкиным были на вечеринке у писателя Владимира Филимонова и что Вяземский собирается издавать «Утреннюю газету». На это последовало не только запрещение, но и обвинение в безнравствен-

ности, развратном поведении и дурном влиянии на молодых людей. Возникла угроза подвергнуться строгим мерам. Вместе с Пушкиным Вяземский ищет выход из тупика.

О настроении обоих поэтов можно иметь представление по письму, которое Вяземский написал Александру Тургеневу в Лондон. В Англию уезжал лицейский приятель Пушкина Сергей Ломоносов. Пушкин послал с этой же оказией Тургеневу свои старые и только что вышедшие издания, в том числе «Евгения Онегина». «Петербург стал суше и холоднее прежнего, – писал Вяземский. – Эгоизм брюха и жопы, добро бы европейский эгоизм головы, овладел всеми. Общего разговора об общих человеческих интересах решительно нет... Здесь одна связь: связь службы, личных выгод...»¹⁸

Возмущение Вяземского находит выход: «И есть же люди, которые почитают за несчастье быть удаленными из России. Да что же может дать эта Россия? Чины, кресты и весьма немногим обеспечение благосостояния. Да там, где или Россия отказывается вам давать эти кресты и чины, или вы сами отказываетесь их иметь, там нет уже России, там распадается, разлетается она по воздуху, как звук. Не дает она вам Солнца и дать не может, ни Солнца физического, ни Солнца нравственного. Чем, что она согреть, что прекрасного, что высокого оплодородить она может! Разумеется, тоска по России дело святое, ибо она рождается благородными возвышенными чувствами, но все ж она болезнь une maladie mentale, достойная уважения и которою страдать могут одни избранные, чистые душою, благородною страстью кипящие люди, но со стороны, но здоровым мучения этой болезни непонятны, а если понятны, то единственно мыслию, а не чувством соответствующим».¹⁹

Итак, возможность их существования в России, война и заграница – вот темы, которые обсуждали Пушкин и Вяземский. Как отчетливо сформулировал Вяземский в письме Тургеневу, «или в службу, или вон из России». Между тем на письме, полученном от Пушкина, Бенкендорф уже на следующий день наложил резолюцию: «Ему и Вяземскому написать порознь, что Государь весьма хорошо принял их желание быть полезными службою, что в армию не может их взять, ибо все места заняты и отказывается всякой день желающим следовать за армией, но что Государь их не забудет и при первой

возможности употребит их таланты».²⁰ А еще через день оба поэта эти уведомления получили.

В официальном ответе Бенкендорфа причина отказа следовать в армию («поелику все места в оной заняты») звучит с явной издевкой, будто Пушкин просился в командиры полка. Истинную причину объясняют письма великого князя Константина Павловича и записки великой княгини Марии Павловны. В письме к Бенкендорфу Константин Павлович писал: «Поверьте мне, любезный генерал, что, ввиду прежнего их (Пушкина и Вяземского. — Ю.Д.) поведения, как бы они ни старались теперь выказать свою преданность службе Его Величества, они не принадлежат к числу тех, на кого можно бы было в чем-либо положиться; точно также нельзя полагаться на людей, которые придерживались одинаковых с ними принципов и число которых перестало увеличиваться лишь благодаря бдительности правительства».²¹

В другом послании Константин Павлович еще более детализирует причину: «Поверьте мне, что в своей просьбе они не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения с большим успехом и с большим удобством своих безнравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров».²² А великая княгиня Мария Павловна, которая жила в Карлсбаде, говорила, что она вообще недовольна поездками русских за границу, и объясняла появление декабристов влиянием Франции.

Вяземский сообщает жене: «Мне душно здесь, я в лес хочу. Мне душно здесь, в Париж хочу. Пушкину отказали ехать в армию. И мне отказали самым учтивым образом». Письма Вяземского этого периода пропитаны ненавистью к русскому правительству и полны желания экспатрироваться, или, как мы теперь говорим, эмигрировать. Вяземский продолжает обдумывать возможность эмиграции. «Не хочу жить на лобном месте», — заявил он раньше, а теперь возмущается: «Как же не отличить Пушкина, который также просился и получил отказ после долгих обещаний. Эти ребячества похожи на месть Толстой-Протасовой, которая после петербургского наводнения проехала мимо Петра по площади и высунула ему язык».²³

Пушкин, получив отказ, удручен, а Вяземский в гневе активизировался. «У нас ничего общего с правительством быть

не может, – пишет он жене. – У меня нет ни песен для всех его подвигов, ни слез для всех его бед». Просим у читателя прощения за ненормативную лексику в цитатах, но не смеем цензурировать классиков. Размышляя о политике Государя и Бенкендорфа, Вяземский продолжает: «У женщины просишь пизды, а она отвечает тебе: не хочешь ли хуя?»²⁴ В другом месте Вяземский пишет Тургеневу: «Неужели можно честному русскому быть русским в России? Разумеется, нельзя; так о чем же жалеть? Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти к России – такой, как она нам представляется. Этот патриотизм весьма переносчив. Другой любви к отечеству у нас не понимаю... Любовь к России, заключающаяся в желании жить в России, есть химера, недостойная возвышенного человека. Россию можно любить как блядь, которую любишь со всеми ее недостатками, проказами, но нельзя любить как жену, потому что в любви к жене должна быть примесь уважения, а настоящую Россию уважать нельзя».²⁵

Александр Тургенев путешествовал по Англии и Шотландии, осматривал шекспировские места, обещал Пушкину дать свои записки. Теперь же Вяземский неожиданно просит Тургенева оказать ему услугу: разведать о его ирландских родственниках, с которыми не было никакой связи. Вяземский помышляет о переселении к ним. Объясняясь с московским генерал-губернатором Д.В.Голицыным, Вяземский писал: «Мне ничего не остается, как уехать из отечества с риском скомпрометировать этим поступком будущее моих детей».²⁶

Вяземский не только писал Тургеневу, но и делился этими мыслями с Пушкиным. И Пушкин разделял эти взгляды. Получив отказ, Пушкин на следующий же день отправляет Бенкендорфу новую просьбу, неосторожно открывая свои истинные намерения. «Так как следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии, – пишет Пушкин, – то желал бы я провести сие время в Париже, что может быть, впоследствии мне уже не удастся. Если Ваше Превосходительство соизволите мне испросить от Государя сие драгоценное дозволение, то Вы мне сделаете новое, истинное благодеяние» (X.191).

Истинное благодеяние последовало немедленно, причем в форме, которой поэт не ожидал.

Глава тринадцатая

«ЧЕСТЬ ИМЕЮ ДОНЕСТИ»

*С каким усердьем он молился
И как несчастливо играл!
Вот молодежь: погорячился,
Продулся весь, и так пропал! (III.49)*

Настала пора детальной исследовать один из наиболее неприятных аспектов биографии величайшего поэта – самую тайную часть его поднадзорного досье, или, иными словами, его контакты с Третьим отделением. Эта часть жизни Пушкина связана с весьма чувствительным для его и нашего достоинства вопросом: до какого момента, вообще говоря, допустим компромисс с русской властью? Иными словами, где уважающий себя человек должен остановиться, чтобы не осуществилась пословица «Коготок увяз – всей птичке пропасть»?

В письмах Пушкина встречаются выражения «Честь имею донести» и «при сей верной оказии доношу вам» (X.196 и 197). Типичные эти обороты отечественного канцелярского чиновничества были приняты в деловых письмах, даже если они не имели ничего общего с полицейским доносом. «Исправник донес губернатору, а этот доносит министру», – приводит пример Владимир Даль. Во времена Пушкина слова эти писались механически, а все ж отражали рабскую преданность подчиненного начальнику, исполнительность нижних, готовых на все,

и самоуверенность верхних, также на все способных. Сегодня суть этого выражения видится нам иначе, ибо, вообще говоря, доносит как раз тот, кто чести не имеет. Поэт уже употреблял канцеляризм «честь имею донести» в письмах к друзьям не без иронии и, по понятным соображениям, никогда – в письмах в Третье отделение.

Пушкинская переписка в какой-то мере отражает его человеческие и деловые связи. Зададим простой вопрос: кому поэт написал больше всего писем? При всех случайностях подобного подсчета ответ может показаться интересным, наводящим на размышления. Проанализировать мы, разумеется, можем лишь сохранившуюся переписку, то есть часть реальной. Кто же были те корреспонденты, с кем Пушкин общался в письмах чаще всего: родные, друзья, возлюбленные, издатели?

За всю жизнь Пушкин написал (исходя, повторяем, из сохранившегося) матери 2 письма, отцу 5, сестре тоже 5, брату 39 (наибольшую часть – из ссылки, надеясь на помощь в выезде за границу). Немного писем друзьям: Жуковскому – 12, а ближайшему другу Чаадаеву только 3. Исключение в списке составляют три человека: на первом месте жена, которой он отправил 77 писем, на втором Вяземский, единственный из друзей, получивший много писем (72) и третий – шеф тайной полиции А.Х.Бенкендорф, который получил от Пушкина 58 писем. Б.Л.Модзалевский заметил, что жизнь Пушкина была заполнена «почти непрерывными сношениями с Бенкендорфом, фон Фоком и преемником последнего А.Н.Мордвиновым».¹

События, рассматриваемые нами, относятся к апрелю 1828 года. За полтора года после возвращения из Михайловской ссылки Пушкин написал два письма Вяземскому, столько же брату, три своей приятельнице Елизавете Хитрово, четыре соседке по Михайловскому Осиповой, пять издателю Михаилу Погодину, восемь другу Соболевскому, с которым в это время планировал отъезд за границу, и одиннадцать писем Бенкендорфу.

Бенкендорф аккуратно и, как нам кажется, охотно отвечал на письма Пушкина. Не часто и не во всяком государстве найдешь главу тайной полиции, состоящего в переписке, пускай даже и в деловой, с поэтом, да еще, так сказать, инакомыслящим. Причины взаимной тяги к письменному общению лежат

глубоко, а во взаимоотношениях Пушкина с тайной полицией остаются неясности, несмотря на попытки в них разобраться. Попробуем, однако, отразить свой ретроспективный взгляд, несколько отличный от общепринятого.

Пушкин ощутил тайный контроль за своим поведением, будучи подростком, задолго до появления Третьего отделения. В двенадцать лет он заявил воспитателю в лицее, который отобрал на уроке листок бумаги у его приятеля: «Как вы смеете брать наши бумаги, стало быть и письма наши из ящика будете брать?»² Лицейсты узнали, что один из надзирателей, М.С.Пилецкий-Урбанович, состоял секретным агентом полиции. Уровень свобод в лицее был таков, что можно было добиться ухода его с должности. Последствия подобного либерализма вполне квалифицированно оценил Фаддей Булгарин, который говорил о лицеистах так: «Верноподданный значит укоризну на их языке, европеец и либерал – почетные названия».³ Между прочим, Булгарин писал это из убеждений, а не только от зависти, как принято считать: ведь писателем Булгарин считался значительно более популярным, чем Пушкин. Факт любопытный и искаженный в последующих оценках.

Слежка и доносительство в Российской империи осуществлялись и совершенствовались на основе важной задачи: «охранение устоев русской государственной жизни».⁴ Доносительство в России вбирало в себя те функции получения информации о реальном состоянии государства, которые в свободном обществе выполняет пресса. После декабристов организационная структура сыска была продумана тщательно. Начальник отдельного корпуса жандармов был одновременно и начальником Третьего отделения канцелярии Его Императорского Величества. Получалось, что разветвленная сеть агентов несла информацию снизу непосредственно к самому трону. Если и был посредник, то, в сущности, только один генерал Бенкендорф.

В дополнение к сети Третьего отделения повсюду проникали сексоты Министерства внутренних дел и достаточное количество добровольцев. Гостиные буквально наводнялись осведомителями. За доносы хорошо платили. М.Дмитриев, поэт и критик, писал: «Москва наполнилась шпионами. Все промотавшиеся купеческие сынки, вся бродячая дрянь, неспособная к трудам службы, весь обор человеческого общества подвиг-

нулся обыскивать добро и зло, загибая с двух сторон деньги: и от жандармов за шпионство, и от честных людей, угрожая доносом... О некоторых проходили слухи, что они принадлежат к тайной полиции».⁵ Дмитриев знал, что завербованы сенатор Степан Нечаев, агроном Василий Панов. Как раз в это время Пушкин встречается с Нечаевым, они вместе бывают в гостях. Панов известен тем, что донес на собственную жену и добился заключения ее в больницу для душевнобольных. Его жена Екатерина Панова была приятельницей Чаадаева: ей адресованы философические письма. После возвращения из Михайловского Пушкин, если был важный разговор, старался беседовать с приятелями в бане во время мытья, но и это вряд ли помогало.

Параллельно совершенствуется система перлюстрации почты, введенная еще при Екатерине Великой. Усовершенствована была служба вскрытия писем Санкт-петербургским почт-директором и президентом Главного почтового правления Иваном Пестелем, отцом декабриста. Заграничная почта прочитывалась практически вся. Добрая знакомая Пушкина фрейлина А.О.Смирнова писала из-за границы: «В матушке России, хоть по-халдейски напиши, так и то на почте разберут... Я иногда получаю письма, просто разрезанные по бокам».

Эпоху двадцатых годов прошлого века в России нельзя понять, если воспринимать доноительство слишком прямолинейно, по-современному. Почти все декабристы во время следствия доносили на себя и друг на друга, оговаривая также сообщников, оставшихся на свободе. Чистосердечно раскалывался Кюхельбекер. Явственно виден перелом в показаниях Пестеля, когда он вдруг «поплыл», как и почти все остальные. Загадочное поведение, требующее особых раздумий. В какой-то мере моральным оправданием доноса тогда было чистосердечие перед Богом, вера в справедливость государя, сомнения в своей правоте, наконец, искренняя уверенность в пользе честности для отечества. В любой стране существуют доносы, но в одной России они всегда были окружены официальным почетом.

Правительство стремилось ограничить независимость суждений, контролировать литературу, часть которой образовывала своего рода альянс с тайной полицией, а другая часть под-

вергалась особому контролю. В одном из донесений 1828 года имеется список лиц, проповедующих либерализм. На первом месте в этом списке Вяземский, на втором Пушкин. Даже Иван Пущин называл некоторые стихи Пушкина «контрабандными».⁶

Властям часто хочется привлечь на службу как людей вполне лояльных, так и оппозицию, явную и тайную. Третье отделение завербовало известных писателей Перовского, Булгарина, Греча. Вольнодумец, философ и член тайного общества декабристов Яков Толстой становится агентом русской службы за границей. Поездки за пределы империи и сотрудничество с тайной полицией оказываются подчас взаимозависимыми. Небескорыстно связанным с русским посольством в Париже остался после выезда из России барон Жорж Дантес. Шпионские сведения, добытые им во Франции, посольство переправляло в Петербург. Есть предположение, что Гоголь, честолюбивый молодой человек, мечтавший о карьере и власти над людьми, с 1829 года тайно служил Третьему отделению. Булгарин свидетельствует, что по просьбе бедствующего материально молодого автора Фок зачислил его на теплое место в Третье отделение: Гоголь «ходил только за получением жалования». Это не удастся проверить: дела такого рода предусмотрительно уничтожены.⁷ Основатель Харьковского университета и член Вольного общества любителей российской словесности В.Н.Каразин сообщал информацию о многих подозрительных лицах, в том числе и о Пушкине.

Вполне логично предположить, что руководители сыска не считали Пушкина особым исключением. Скорее наоборот. «Одиннадцать лучших лет своей жизни, – писал М.Лемке, – великий поэт... был, можно сказать, в ежедневных сношениях с начальством III отделения. Бенкендорф, Фок и Мордвинов – вот кто были приставлены к каждому его слову и шагу... Много ему не было ясно, многое он понял к концу жизни, многое унес в могилу и оставил неразрешенным...»⁸ Этот взгляд можно найти и в советской официальной пушкинистике. «Пушкин вступил в непосредственные отношения с III отделением в сентябре 1826, после аудиенции у Николая I», – пишет Л.Черейский.⁹

Действительно, некоторые особенности натуры поэта позволяли властям сделать ложное предположение, что рано или

поздно поэта удастся привлечь к оказанию услуг тайной полицией. С людьми, которые, как ему казалось, работали на Третье отделение, Пушкин обращался чрезвычайно любезно.¹⁰ Вспомним теперь, что декабристы не доверяли Пушкину свои тайны и не принимали его в свои круги. Традиционно считается, что декабристы берегли первого поэта России, не хотели им рисковать. Но тогда было и другое мнение: его не принимали, остерегаясь, что он может сболтнуть.¹¹

Точнее, нам кажется, имелось в виду, что при пушкинской общительности он может случайно проговориться, а вокруг много любознательных ушей. Часть знакомых поэта и некоторые декабристы отнеслись явно отрицательно к стремлениям Пушкина найти контакты с властью после ссылки, в стихах его увидели желание оправдаться и даже выслужиться. Н.Эйдельман считал, что Пушкин после возвращения из ссылки для властей остался подозрительным, но – и стал чужим для прошлых своих единомышленников.¹²

С Третьим отделением в разные периоды жизни были у Пушкина деловые контакты: разрешения на публикации, поездки, финансовые вопросы. Но не только это. Часть сотрудников Третьего отделения принадлежала к одному с Пушкиным и довольно узкому кругу. Их знали, поэт встречался с ними на балах и приемах. Он довольно много слышал о них слухов и сплетен, о чем-то догадывался. Они же знали об этом круге и поэте практически всё.

«Вашего превосходительства Всепокорнейший слуга» было стандартное выражение в письмах к Бенкендорфу, и только. Однако близкие друзья не раз упрекали Пушкина в недостойности высказываемого им этим людям почтения. Так, бывало, Пушкин являлся в приемную Бенкендорфа или к нему домой просто для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Пушкин настойчиво стремился сблизиться с М.Я.фон Фоком, управляющим тайной политической канцелярией, а ведь именно он ведал секретной агентурой. Фок дружил с Булгариным и Гречем, а Пушкина держал за человека, «не думающего ни о чем, но готового на все».¹³ Сходиться с Пушкиным Фок не стал.

Был Пушкин знаком и с А.Н.Мордвиновым, занявшим пост управляющего Третьим отделением после смерти Фока. Общался с Павлом Миллером, ставшим позже секретарем Бен-

кендорфа. Известный перлюстратор писем А.Я.Булгаков, Московский почт-директор, был хорошим приятелем Пушкина. Только в 1834 году Пушкин возмутился, когда узнал, что Булгаков вскрывал письма поэта к жене, сообщая о них по назначению. А в 1828 году эти и не перечисленные нами детали давали в руки тайной канцелярии козыри, которые в подходящий момент она должна была использовать для привлечения Пушкина к сотрудничеству, и это время настало.

Пробным шаром, запущенным в прощенного изгнанника, был заказ Бенкендорфа от имени царя написать записку «О народном воспитании», то есть развернутую характеристику идей и, конечно, лиц, озабоченных просвещением, включая самого себя. «От него, – точно почувствовал ситуацию Ю.М.Лотман, – явно ждали информации, которую можно было бы использовать в целях сыска, прощупывали возможность привлечь к сотрудничеству».¹⁴ Не случайно, разумеется, мысли об образовании было предложено одновременно с Пушкиным высказать лицам, напрямую связанным с охранными органами: графу И.О.Витту и Ф.В.Булгарину. Его откровенно готовили к сексотству, и самым удивительным нам кажется то, что бабочка, ничего не подозревая, с какой-то наивной охотой летела на огонь.

Стараясь быть гибким и обвиняя в записке декабристов в учиненных ими беспорядках, осуждая пагубное западное влияние в России, восхваляя мудрость престола, Пушкин вольно или невольно давал понять, что он единомышленник тех, кто дал ему поручение. Его подробные рекомендации о налаживании системы доносительства в учебных заведениях идут дальше, чем предложения платных агентов Третьего отделения. «Для сего нужна полиция, составленная из лучших воспитанников, – писал поэт в записке «О народном воспитании» и пояснял, – чрез сию полицию должны будут доходить и жалобы до начальства. Должно обратить строгое внимание на рукописи, ходящие между воспитанниками. За найденную похабную рукопись положить тягчайшее наказание; за возмутительную – исключение из училища, но без дальнейшего гонения по службе» (VII.33).

Прожектерство Пушкина в области сыска было оценено, и выражена письменная благодарность от имени Его Величест-

ва. Бенкендорф в донесении Николаю I сообщал: «Пушкин, после свидания со мной, говорил в Английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно».¹⁵

Логическим результатом такого взаимного сближения должно было стать прямое предложение о сотрудничестве, или, используя легкомысленный лексикон нашего времени, – вербачок. Пушкин должен был пройти, скажем так, собеседование, жертвой которого становились многие русские литераторы. И не литераторы тоже. Глава Третьего отделения обещал Пушкину, что Государь «не забудет Вас и воспользуется первым случаем, чтобы употребить отличные Ваши дарования в пользу отечества» (Б.Ак.14.11). Ничего страшного, экстраординарного в вербовке писателя не было. Кумир русских романтиков Байрон тоже выполнял в Греции определенные задачи аналогичного британского ведомства, о чем Пушкин, понятно, и не догадывался, а то бы, может, ему легче было перенести душевную травму.

В апреле 1828 года власти решили, что настал подходящий час использовать отличные дарования поэта. Бенкендорф, как нам кажется, улыбнулся, прочитав прошение Пушкина выпустить его, коли нельзя в армию, в Париж. «Ишь ты, чего теперь захотел!» – сказал, наверное, Бенкендорф своему подчиненному А.А.Ивановскому и даже не стал докладывать царю. Николай Павлович собирался через несколько дней отъехать в путешествие к театру военных действий, ему было не до мелких вопросов. Да и доложи Бенкендорф – тут не могло быть двух мнений, ответ государя был бы однозначен. Профессор Степан Шевырев, общавшийся в это время с поэтом, вспоминал: «Пушкин просился за границу, но государь не пустил его, боялся его пылкой натуры».¹⁶ Сам-то Шевырев вскоре поехал за границу. Стало быть, «пылкая натура» стала, так сказать, юридическим основанием для отказа.

Отказ свел Пушкина в постель: он потерял сон, перестал есть, как тогда говорили, у него разлилась желчь, или, как мы теперь говорим, началась депрессия. Здоровье его внушало самые серьезные опасения. Бенкендорфу об этом доложили, и

он приказал Ивановскому отправиться к Пушкину домой. Указание: уговорить поэта не делать глупостей, быть умником и – после предварительной обработки – сделать ему предложение. Оно будет взаимовыгодным. В своих воспоминаниях чиновник Третьего отделения Андрей Ивановский, который встречался с Пушкиным в свете и сам баловался сочинительством, подробно рассказывает об этом визите.¹⁷

Как и полагается в таких случаях, он прихватил в свидетели еще одного человека. Ивановский почтительно и почти ласково объяснял Пушкину, называя его гением, что, во-первых, поэт – не военный, и в офицеры его произвести не было оснований, а простым юнкером государь послать его в армию, дескать, не хотел. Во-вторых, государь решил сберечь «царя скудного царства родной поэзии и литературы», ведь на войне может случиться всякое и нет различия между исполинами и пигмеями.

Стало быть, причиной отказа, по Ивановскому (читай: по Бенкендорфу), явилась забота государя о поэтическом гении Пушкина. Поэт, если верить Ивановскому, клюнул на лесть: «глаза и улыбка его заблестали жизнью и удовольствием». Здесь-то и ждал Пушкина капкан, ловко поставленный агентом Третьего отделения. Эта важная деталь биографии поэта дважды засвидетельствована в мемуарной литературе и никем не была опровергнута.

«Если бы вы просили, – предложил выход Ивановский, – о присоединении к одной из походных канцелярий: Александра Христофоровича, или графа К.В.Нессельроде, или И.И.Дибича – это иное дело, весьма сбыточное, вовсе чуждое неодолимых препятствий». – «Ничего лучшего я не желал бы». Вот каким неосторожным был ответ Пушкина Ивановскому. Однако дальше поэт объясняется с вербовщиком тайной полиции в еще более опасном тоне, вовсе Пушкину не свойственном: «И вы думаете, что это еще можно сделать?.. Вы не только вывели и оживили меня, вы примирили с самим собою, со всем... и раскрыли предо мною очаровательное будущее!»

Кажется, с тех пор, как сыск существует, никто с таким восторгом не принимал подобного предложения. Тут необходим небольшой комментарий к процессу вербовки нового осведомителя, поскольку пушкинистика на этом конкретно еще

не останавливалась. Теперь понятно, почему Бенкендорф на просьбу Пушкина отпустить его погулять в Париж не ответил, как обычно, письмом, а послал к поэту домой своего сотрудника.

Момент, согласитесь, выбран идеальный, выбран профессионально. Разговор идет как по нотам: сначала лесть или запугивание, потом осторожное предложение, а сразу следом за ним – обещание посодействовать. Вы – нам, мы – вам. Пушкин, даже если Ивановский и утрирует восторг, согласен. Он готов «присоединиться». Выдающийся историк тайной полиции Михаил Лемке считает, что Ивановский точен и этот «рассказ должен быть признан безусловно соответствующим истине».¹⁸

Пушкин, как видим, обрадовался предложению сотрудничать с одной из трех канцелярий, предложению, исходившему, однако, непосредственно от Третьего отделения. За сотрудничество его возьмут на Кавказ, где он сможет под руководством Бенкендорфа среди великолепной природы вдохновляться новыми сюжетами. Но это не все. Далее последует исполнение другого желания Пушкина. «От вас, – добавляет Ивановский, – зависело бы испросить позволение перешагнуть к нам – в Европейскую Турцию». Что касается прошения в Париж, то теперь, когда открывается такая блестящая карьера, Пушкин и сам от этого намерения откажется, ведь «оно, выраженное прежде просьбы вашей об определении в армию, не имело бы ничего особенного и, так сказать, не бросалось бы в глаза; но после... Впрочем, зачем теперь заводить речь о том, что уже не существует. Завтра, часов в семь утра, приезжайте к Александру Христофоровичу: он сам хочет говорить с вами. Может быть, и теперь вы с ним уладите ваше дело. Между тем, я обрадую его вестью об улучшении вашего здоровья и расскажу ему о нашей с вами беседе».

О беседе Пушкина с Бенкендорфом на следующее утро мы знаем из воспоминаний близкого в то время приятеля Пушкина Николая Путьты, подтверждающего, что Ивановский точен. «Бенкендорф отвечал ему (Пушкину. — Ю.Д.), что государь строго запретил, чтобы в действующей армии находился кто-либо, не принадлежащий к ее составу, но при этом благосклонно предложил средство участвовать в походе: хотите, ска-

зал он, я определю вас в мою канцелярию и возьму с собою? Пушкину предлагали служить в канцелярии 3-го Отделения!»¹⁹ Возмущение Путяты этим фактом явно позднего происхождения и ничего не меняет в том, что происходило. То есть согласие Ивановскому Пушкин дал, и даже с радостью, а утром протрезвел.

Добросовестнейший в деталях Анненков отмечал, что с юности «способность к быстрому ответу, немедленному отражению удара или принятию наиболее выгодного положения в борьбе часто ему (Пушкину. — Ю.Д.) изменяла».²⁰ Биограф добавляет, что потом, в тиши, на бумаге, он мог ответить блистательно. Видимо, так случилось и в тот раз. Скорей всего, за ночь Пушкин обдумал предложение, понял, какая плата установлена за его желание, и уже не был столь легковверен и доверчив.

Вербовка агента — всегда дело секретное. Ивановскому, склонному к литературным занятиям, нечего было и думать опубликовать эти воспоминания при жизни своего шефа Бенкендорфа. Когда начальник умер, Андрей Ивановский хотел напечатать мемуары в «Северной пчеле», но и тут не получил разрешения нового начальника Третьего отделения Алексея Орлова. Опубликованы воспоминания были, лишь когда минуло четверть века после смерти Ивановского.

Нет сведений, как именно Пушкин отказался от предложения, сделанного Бенкендорфом через своего агента Ивановского. Впрочем, доказательства того, что Пушкин отказался, очевидны. Во-первых, армия двигалась за пределы империи, а он остался в Петербурге. Во-вторых, стань Пушкин агентом Третьего отделения, его бы наверняка не преследовали, а тут, обозлившись, возбудили против него дело. Спору нет, в России преуспевающий поэт должен в той или иной степени быть функционером и выполнять предначертания властей. Согласись Пушкин активно сотрудничать, он поехал бы и за границу. Испытание дьявола будет еще долго витать над ним.

Словом, его поездка в Париж опять не состоялась. «Разумеется, — пишет М.Лемке, — выпустить поэта в Европу означало, по мнению Николая и Бенкендорфа, собственными руками создать себе врага, который, не вернувшись в Россию, сумел бы сказать о ней жестокую и горькую правду».²¹ Бенкендорф,

встретив как-то Пушкина, весьма саркастически заметил: «Вы всегда на больших дорогах».²² Что в этой фразе: констатация известного Третьему отделению факта биографии Пушкина или ирония человека, который перекрыл поэту все возможности на эти большие дороги выйти?

Глава четырнадцатая

ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО

*И я с веселою душою
Оставить был совсем готов
Неволю невских берегов.
14 июня 1828 (III.65).*

Анна Ахматова обратила наше внимание на странный парадокс в отношениях Пушкина с разными людьми. Поэт легко писал оскорбительные эпиграммы, смело вызывал обидчиков на дуэль, никогда не забывал свести счеты. Графа Воронцова, который много для поэта сделал, но доставил ему один раз неприятность, Пушкин ругал всю жизнь, мстил ему, оскорблял, как только мог. И лишь один человек, по мнению Ахматовой, был исключением из этого жизненного правила поэта.

В самом деле, генерал Бенкендорф постоянно притеснял Пушкина, держал, как собаку на цепи, но – о нем поэт даже не заикнулся: ни недоброго слова, ни высказанной обиды, ни гневного письма, ни недоброго упоминания, ни эпиграммы. Даже в единственной шутке, которую припомнил приятель Пушкина Нащокин, звучит определенный пиетет: «Жженку Пушкин называл Бенкендорфом, потому что она, подобно ему, имеет усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок».¹

В этом был не только страх и гипноз власти, что вполне естественно, но и простой расчет Пушкина: желание не кон-

фликтовать с правительством. Блистательный психолог в других случаях, великолепный игрок, Пушкин тут пасовал, прятал козыри, становился послушным, как школяр, терял способность к ответным ходам и всегда проигрывал.

Традиционно в пушкинистике мы видим идущее от самого Пушкина преувеличение могущества этого человека и его негативной роли в жизни поэта, что отразилось и на этом наблюдении Ахматовой. Между тем Бенкендорф в чем-то, пожалуй, больше был склонен к компромиссу, нежели Пушкин. Не только вредил поэту, но иногда и помогал.

Даже некоторые недостатки Бенкендорфа как службиста можно, пожалуй, причислить к его заслугам. Он бывал рассеян; учет в Третьем отделении поставлен был плохо. Часто чиновники, получив от него на исполнение бумаги, держали их в столах, не раскрывая. Недели спустя, если Бенкендорфа переспрашивали, он мог ответить: «Да бросьте их в огонь!»² Веди себя поэт иначе, он сумел бы, нам теперь кажется, избежать многих неприятностей и достичь целей, к которым стремился.

Положение Пушкина остается крайне неустойчивым, неопределенным. Сам он ситуацию оценивает неадекватно: то слишком оптимистично, то слишком фатально. Как обычно, истина находится где-то посередине. Казалось бы, цель Третьего отделения достигнута: Пушкин выглядит исправившимся, относится верноподданнически к царю, пишет то, что надо. Но – русское полицейское иезуитство: если проштрафились, доверия вам нет и не будет. Вы полагаете, что они отстали, а тайная слежка та же, в доносах и докладах вы проходите, как и раньше, и остаетесь виноваты до конца ваших дней. Официально надзор за Пушкиным отменили много лет спустя после смерти. В этом, с точки зрения тайной полиции, был резон: физически поэта не стало, но душа его еще витает среди публики, еще влияет на общественное сознание, и надо следить за душой.

Третье отделение долго подталкивало Пушкина к сотрудничеству, ходили вокруг да около, выбирали подходящий момент, а жертва, похоже, ускользала. Но то, что для Пушкина было тяжелым нравственным и психическим потрясением, пощечиной, за которую он даже не мог вызвать на дуэль, – для

Бенкендорфа было будничной службой. Завербовать поэта на этот раз не удалось – не беда, никуда он не денется, удастся в следующий раз. А пока надо наказать упряма, проучить за непокорность, укоротить цепочку. Почувствует, как без нас плохо, сам запросится на службу в Третье отделение.

Негласный надзор за Пушкиным становится весной 1828 года более активным. Полвека спустя была опубликована статья Петра Каратыгина, в которой есть следующие строки: «Не пришло еще время, но история укажет на ту гнусную личность, которая под личиною дружбы с Пушкиным и Дельвигом, действительно по профессии, по любви к искусству, по призванию занималась доносами и извещениями на обоих поэтов. Доныне имя этого лица почему-то нельзя произнести во всеуслышание, но, повторяем, оно будет произнесено и тогда... даже имя Булгарина покажется синонимом благородства, чести и прямоты». ³ Актер и драматург Каратыгин встречался с Пушкиным все те годы, играл с ним в карты и оставил воспоминания о поэте, но имя таинственного сексота унес с собой в могилу. Хотя кандидатур имеется по меньшей мере несколько, кого конкретно имел в виду автор статьи, мы и теперь можем только гадать.

Месть за несговорчивость была вторым шагом властей. Искали, к чему придраться, что найти было несложно. Всплывшее дело по стихотворению «Андрей Шенье» достигло Государственного совета, который через месяц после предложения Бенкендорфа Пушкину о сотрудничестве с Третьим отделением вынес постановление «иметь за ним (Пушкиным. — Ю.Д.) в месте его жительства секретный надзор». И то было только началом новых неприятностей.

В обеих столицах стали распространяться слухи, компрометирующие Пушкина, а это ударило по самолюбивому поэту больней всего. Писатель и историк литературы Степан Шевырев вспоминал, что в Москве «после неумеренных похвал и лестных приемов охладели к нему, начали даже клеветать на него, возводить на него обвинения в ласкательстве и наушничестве и шпионстве перед государем». ⁴ Распространился слух, что Пушкин стал доносчиком, и нам кажется возможным предположить, что слух этот был составной частью мести Третьего отделения за отказ сотрудничать. Как бывало в таких случаях

не раз, пустили слух сознательно, чтобы заполучить жертву, которой все равно уже нечего терять.

9 мая 1828 года Пушкин провожал на пароходе до Кронштадта своего знакомого, уезжавшего за границу. Такие проводы до Кронштадта (далее не разрешалось) стали у Пушкина ритуалом. На том же корабле ехал домой в Англию знаменитый живописец Доу. Тут же он набросал карандашом портрет Пушкина. Неизвестно, кого провожал Пушкин и сохранился ли тот портрет, но стихи поэта, написанные для Доу, сохранились:

Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель (III.56).

А.О.Смирнова в дневнике пишет о таких проводях: «Вчера приезжал ко мне Пушкин и рассказывал, что он только что перед этим едва устоял против сильнейшего искушения: он провожал в Кронштадт одного приятеля, и ему неудержимо захотелось спрятаться где-нибудь в каюте и просидеть там до тех пор, пока корабль не выйдет в открытое море. Но он-таки устоял против этого страстного желания – отправиться за границу без паспорта».⁵

Вот какое состояние было у Пушкина после отказа в поездке в Париж и предложения Бенкендорфа о деловом сотрудничестве с тайной полицией. С парохода, идущего до Кронштадта, он вместе с уезжающими пересел на корабль, уходящий в Европу, и захотел спрятаться в каюте. Думается, выражение «устоял против этого страстного желания» – не совсем точное. Маркиз де Кюстин, приезжавший в Петербург тем же путем десять лет спустя, рассказывает, как рыскали по судну полицейские ищейки, шмонали чемоданы, а самого его подвергали допросу. Риск быть обнаруженным под койкой или в шкафу был достаточно велик, а Пушкин весьма благоразумен, чтобы так рисковать. Эпизод больше говорит о душевном состоянии Пушкина, чем о его намерениях.

Через несколько дней он заканчивает стихотворение «Воспоминание», представляющееся нам одним из самых трагичес-

ких во всей его лирике. «Змеи сердечной угрызенья» съедают поэта по ночам. Ум его подавлен тоской.

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю (III.57).

Опубликована была половина стихотворения; вторая половина, взятая из рукописи, традиционно печатается в приложениях к собраниям сочинений, хотя по всей логике могла бы быть соединена с первой. Во второй части слышится жгучая обида:

Я слышу вновь друзей предательский привет (III.417).

Это новая интонация в отношениях поэта с друзьями. Не семья, не дом, но друзья всегда оставались опорной точкой души Пушкина. Раньше, в Михайловском, он очень сердился, обижался, но говорил о непонимании. Нынче отношение друзей к нему видится Пушкину предательством. Причем, как он считает теперь, друзья предавали его и раньше. До боли знакомая ситуация: Пушкин превращается в Чацкого.

Я слышу вокруг меня жужжанье клеветы,
Решенья глупости лукавой,
И шепот зависти, и легкой суеты
Укор веселый и кровавый.
И нет отрады мне...

На фоне фактов, которые мы знаем, это состояние человека вполне объяснимо. Два призрака, два ангела стерегут поэта и мстят ему.

И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастья и гроба.

В 1828 году поэтом написано около полусотни стихов, часть из них носит «домашний» характер, написаны они по конкрет-

ным случаям, обращены к конкретным людям. В других, принадлежащих чистой поэзии, он, преодолевая житейские невзгоды, достигает истинной и высокой трагедийности. Темы меняются, но круг их чаще всего вполне определенный: покойники, утопленники, вороны, яд и тупая толпа. Душевное состояние Пушкина и в самом деле не из лучших. «Шурин Александр заглядывает к нам, – пишет своей матери Николай Павлищев, зять Пушкина, 1 июня 1828 года, – но или сидит букою, или на жизнь жалуется; Петербург проклинает, хочет то за границу, то к брату на Кавказ».⁶

Пушкин мечется, все ему не по душе, все раздражает. Он много пьет, играет в карты и чаще всего проигрывает. «Жалко бывало смотреть на этого необыкновенного человека, распаленного грубою и глупую страстью!» – вспоминает критик и журналист Ксенофонт Полевой.⁷ Возможно, вино и азарт помогают ему забыть неприятности, отвлечься, обрести цель на несколько часов, взбодриться.

Пушкину 29 лет, он уже не мальчик, но молод и должен быть в расцвете сил. На деле, как отмечает тот же Полевой, «после бурных годов первой молодости и тяжких болезней, он казался по наружности истощенным и увядшим; резкие морщины виднелись на его лице; но он все еще хотел казаться юношею».⁸ Он ухаживает за Анной Олениной, дочерью президента Императорской Академии художеств, и, по свидетельству Вяземского, делает вид, что влюблен. Похоже, причину этого сватовства Пушкин сам выразил в одном слове, сказав в письме Вяземскому, что он «бесприютен» (Х.195), – намек на имя Олениных Приютино. Игры с Олениной будут продолжаться до осени, в том числе в стихах, но потенциальная невеста считала его вертопрахом, а отец ее недавно подписался под документом, устанавливающим над Пушкиным секретный надзор.

Поэт опять пустился в распутство. Похождения его становятся известны всем. Он и сам распространялся о своих загулах весьма хвастливо. С писателем Борисом Федоровым они гуляли в Летнем саду и обсуждали дела семейные. «У меня детей нет, а все выблядки», – сказал великий поэт.⁹ С какой стороны ни подступись, высказывание это даже и в наш теоряющий традиционные моральные ориентации век режет ухо.

Возможно, Пушкин имел в виду, что ничто его не привязывает, семьи и дома нет. Впрочем, и это тяготило его еще больше: он утратил смысл жизни.

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум.
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум (III.59).

Это написал он в день своего рождения 26 мая 1828 года. За пять дней до этого в Царском Селе отъезжавший Вяземский предложил собраться на прощальный пикник. Предложение было принято, и так получилось, что друзья собрались накануне пушкинского дня рождения. Это стало у них ритуалом: совершать очередную поездку на пироскафе в Кронштадт. Вяземский после писал жене, что туда поехали при хорошей погоде, а обратно – ветер и дождь, поднялась паника. Оленин-сын (брат потенциальной невесты Пушкина) выпил портера и водки на 21 рубль. Видимо, и остальные пили много. «На корабле у меня опять закипел демон, мятежный и волнующий, – писал Вяземский, – но я от него скоро отмолился... Пушкин дуется, хмурится, как погода, как любовь». ¹⁰

Из всей честной компании, собравшейся на пироскафе (семеро, не считая Пушкина), по меньшей мере, трое были так или иначе связаны с конкретными заграничными планами Пушкина: Грибоедов, Киселев и Шиллинг. Все трое служили в Министерстве иностранных дел, все трое собирались за границу. О Шиллинге речь пойдет позже. А здесь упомянем вскользь договоренность Пушкина с Грибоедовым, который в то время напел Михаилу Глинке грузинскую мелодию, и композитор написал романс на слова Пушкина. Песни Грузии напоминают поэту

Другую жизнь и берег дальный (III.64).

Вроде бы в стихотворении речь идет о Кавказе, с которым и у Грибоедова, и у Пушкина так много связано воспоминаний:

Напоминают мне оне
Кавказа гордые вершины,
Лихих чеченцев на коне
И закубанские равнины (III.418).

Четыре приведенные строки Пушкин вычеркнул, они взяты нами из черновика. Географическая привязка исчезла. Таким образом, в стихотворении «Не пой, красавица, при мне» поэт вспоминает не Кавказ, а другую жизнь, другой призрак, «черты далекой, бедной девы».

Той весной Пушкин сошелся с Николаем Киселевым, который вместе с Языковым учился в Дерптском университете и теперь стал служить в Министерстве иностранных дел. 14 июня Николай Киселев отъезжал по службе в Вену с заездом в Карлсбад. Воспоминания вернули мысли Пушкина к планам побега из Михайловского. В этот день он написал два стихотворения. В рифмованном послании к Языкову поэт говорит:

К тебе собирался я давно
В немецкий град, тобой воспетый,
С тобой попить, как пьют поэты,
Тобой воспетое вино (III.65).

Пушкин хитрит: не вино пить, как мы знаем, собирался он ехать в Дерпт. И даже не к Языкову, а к своему приятелю Вульффу и доктору Мойеру с вполне конкретной целью. Но еще интереснее дальнейшие строки, частично уже процитированные нами в эпиграфе:

Уж зазывал меня с собою
Тобой воспетый Киселев,
И я с веселою душою
Оставить был совсем готов
Неволю невских берегов.

По тексту вроде бы получается, что Николай Киселев зазывал его ехать за границу раньше, то есть из Михайловского. Но ведь тогда они еще не были знакомы. А главное, речь идет

о том, чтобы оставить не Псков и Михайловское, а невские берега, то есть Петербург как символ всей России. Стало быть, Киселев был несомненно в курсе плана Пушкина уехать. Когда Языков их познакомил в Петербурге, Киселев предложил поэту ехать с ним в Западную Европу весной 1828 года. Пушкин недвусмысленно говорит, что он был готов отбыть за границу с веселою душою. Дальнейшие строки подтверждают это:

И что ж? Гербовые заботы
Схватили за полу меня,
И на Неве, хоть нет охоты,
Прикованным остался я.

Гербовые заботы – это, в традиционной трактовке, долги, деньги. А может быть, поэт имеет в виду, что «гербовые заботы» – это документы, получение паспорта? Ведь именно документа на выезд он добивался и не получил, то есть его удержали за полу. Ведь если бы Пушкин не проиграл много в карты (он был должен в это время около десяти тысяч рублей), если бы сумел раздобыть нужную сумму... Нет, за полу его схватили не деньги. Если это все же деньги, тогда не исключено, что поэт имел в виду нелегальный выезд, для которого эти деньги были необходимы.

Провожая Николая Киселева за границу, Пушкин пишет ему в блокнот четверостишие:

Ищи в чужом краю здоровья и свободы,
Но север забывать грешно,
Так слушай: поспешай карлсбадские пить воды,
Чтоб с нами снова пить вино (III.90).

К экспромту Пушкин пририсовал свой улыбающийся профиль, отправив себя, таким образом, вместе с Киселевым за границу. Стихи эти в Малом академическом собрании сочинений Пушкина находятся, может быть, по времени не на месте: им должно быть рядом с упомянутым выше посланием Языкову. Укажем также на опечатку, смешную в нашем контексте. В примечаниях Б.Томашевского строка Пушкина написана: «Ищу в чужом краю здоровья и свободы...» (III.443). Уже после смер-

ти Пушкина Киселев сделался полномочным послом России в Париже.

Между тем тучи над Пушкиным опять сгущаются. Крепостные отставного штабс-капитана Митькова доносят митрополиту Петербурга Серафиму, что их развращали чтением «Гавририады», о чем Серафим довел до сведения властей. Формально злостное богохульство, согласно уставу царя Алексея Михайловича, каралось смертной казнью, легкомысленное – шпицрутенами. Позже за богохульство полагалось лишение всех прав состояния и ссылка на поселение в отдаленные места Сибири.

По распоряжению Николая I заводится новое дело. На допросах Пушкин отрицал свое авторство, а в письме к Вяземскому, рассчитывая на перлюстрацию, даже назвал автором сатирика Д.П.Горчакова, к этому времени покойного. «Гавририада» была написана под влиянием «Орлеанской девственницы» Вольтера. И – совпадение судеб – Вольтеру пришлось отречься под угрозой обвинения, что он глумился над церковью; затем пришлось то же делать Пушкину.

Думается, однако, в случае с Пушкиным дело было не только в давлении церкви. Царь и Третье отделение таили обиду из-за отказа поэта сотрудничать и расставили новые сети. Сперва поэта преследовали за «Андрея Шенье», теперь всплыла «Гавририада». Обе вещи были старые, Пушкин так теперь не писал.

Казалось бы, достаточно ответить, имеет ли он у себя копию поэмы и подписать документ, что не будет впредь распространять что-либо без предварительной цензуры. Однако царю этого показалось недостаточно. На показаниях Пушкина он написал, что верит, будто список «Гавририады» был взят поэтом у одного из офицеров гусарского полка и сожжен в 1820 году. А далее император открытым текстом требовал от Пушкина того, чего раньше добивался Бенкендорф, а именно доноса: «...желаю, чтобы он помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость».¹¹

Угроза расправы становится реальной. «Ты зовешь меня в Пензу, – пишет он Вяземскому, – а того и гляди, что я поеду далее, «прямо, прямо на Восток» (X.195). Загнанный в угол Пушкин пишет унижительное письмо государю, которое от-

правляет на Бенкендорфа. В сущности, это был донос на самого себя. Хотя у властей не было никаких прямых доказательств авторства, Пушкин спешил признаться в том, что «Гаврилиаду» написал он сам.

Долгое время считалось, что покаянное письмо грешника не сохранилось, но копия его была уже в наше время найдена: «Вопрошаемый прямо от лица моего Государя, объявляю, что Гаврилиада сочинена мною в 1817 году».¹² В результате самодоноса и покаяния поэт был прощен. От него требуют доказательств преданности. Жуковский советует написать нечто лояльное и великое, и Пушкин спешит доказать свою полезность: работа над поэмой «Полтава», начатая еще весной, теперь кажется ему особенно важной.

Царь не сможет не оценить воспевание военных амбиций империи, поэзию, обосновывающую историческую необходимость захватнических войн Петра. Прочитав позже «Полтаву», Николай Тургенев сравнил автора с одописцем и графоманом графом Хвостовым. Воспевание войны, а также подвигов тирана Петра I было Тургеневу чуждо. «Полтавская битва... – писал Пушкин в верноподданническом предисловии к поэме, – утвердила русское владычество на юге; обеспечила новые заведения на севере и доказала государству успех и необходимость преобразования, совершаемого царем». Мало того, в эпиграфе царь назван триумфатором. В чисто литературном плане в «Полтаве» просматриваются аналогии с байроновским «Мазепой».

Вероятно, психоаналитики найдут иные связывающие нити, но отметим то, что кажется нам важным. В поэме, которую уже полтора века именуют героической, патриотической, воспевающей военные подвиги, Петра и пр., главной темой является нечто совсем иное.

Тема доносительства не оставляла Пушкина во время работы над «Полтавой», ведь работа протекала параллельно с личными неприятностями поэта, связанными с вербовкой. Оголив суть сюжетного хода, рискнем сказать так: «Полтава» – поэма о доносе. Основным стержнем, вокруг которого Пушкин завязывает весь конфликт, становится донос Кочубея «на мощного злодея предубежденному Петру». Между прочим, друзья Пушкина сразу именно так и поняли содержание поэмы, хотя никто не связывал текст с жизненной ситуацией поэта. «Недав-

но, заходя к Пушкину, – записал Алексей Вульф, ухватив суть, – застал я его пишущим новую поэму, взятую из Истории Малороссии: донос Кочубея на Мазепу и похищение последним его дочери».¹³

Пребывая в рискованной ситуации и уклонившись от сотрудничества с тайной полицией, Пушкин донес государю на самого себя. Принеся себя в жертву, признавшись в сочинении «Гаврилиады», то есть как бы раскаявшись, он надеется, что наказание его минует. «Донос на гетмана-злодея царю Петру от Кочубея» в поэме «Полтава» – тоже в каком-то смысле самодонос, ибо донос на Мазепу не может не коснуться жены Мазепы – дочери Кочубея. От доноса страдает и сам Кочубей. Пушкин пишет в примечании: «Тайный секретарь Шафиров и гр. Головкин, друзья и покровители Мазепы; на них, по справедливости, должен лежать ужас суда и казни доносителей» (IV.223). Вразрез с пристойной русской традицией («Доносчику первый кнут») Пушкин защищает и морально оправдывает доносителя Кочубея.

Выскажем впервые мысль, которая давно нас занимает: унижение, через которое государство протащило Пушкина, склоня к сексотству, оказало на поэта влияние более сильное, чем это принято считать. Немного осталось воспоминаний: поэт по очевидным причинам вынужден был не распространяться на столь щекотливую тему. Но подсознательно, как видим, мучившая его проблема доносительства выливалась через творчество. В апреле 1828 года секретная служба Бенкендорфа недвусмысленно предлагает Пушкину сотрудничество, в апреле же он начинает поэму о доносе Кочубея на Мазепу. Покаянное письмо, то есть донос на самого себя с признанием авторства «Гаврилиады», Пушкин пишет 2 октября, а первую главу «Полтавы», содержащую историю доноса, завершает 3 октября. Можно ли считать это случайным совпадением?

В то же время, с конца августа, Пушкин набрасывает черновик стихотворения «Анчар». 9 ноября, стараясь отвлечься и застряв по дороге в Михайловское у знакомых в Малинниках, поэт переписывает это стихотворение набело.

Принято считать, что «Анчар» относится к числу наиболее значительных созданий Пушкина, и стихотворению посвящено много исследований. Отмечалось, между прочим, что «Анчар»

находится в «несомненной внутренней связи» с окончательно отделяемой тогда же «Полтавой», хотя и не уточнялось, в какой именно связи.¹⁴ Столь же справедливо отмечена ошибка, гуляющая по всем советским изданиям этого стихотворения: «А князь тем ядом напитал свои послушливые стрелы...» При первой публикации стихотворения в альманахе «Северные цветы на 1832 год» Пушкин написал «Царь», да еще с большой буквы, а после конфликта с Бенкендорфом, во второй публикации, ему пришлось заменить слово «Царь» на «князь».

Толкований скрытого Пушкиным смысла легенды о древе яда, несущем смерть в округе, существует несколько. Как правило, они восходят к сочинениям на ту же тему нескольких западных авторов, которых Пушкин знал. Упоминаются и статьи в двух русских журналах, опубликовавших перевод с английского, о ядовитом дереве, находящемся на острове Ява. Между тем сам поэт взял эпиграфом слова английского поэта Озерной школы Самуэля Тейлора Колриджа о ядовитом дереве, которое плачет ядовитыми слезами (III.441). Цитируя Колриджа в данном случае и используя некоторые другие его литературные открытия (например, «Table-talk»), Пушкин не мог не знать биографии своего современника. Колридж с друзьями мечтал эмигрировать в Америку, чтобы основать там общину на рациональных началах, но не собрал для этого денег. Он объехал Германию и вернулся на Британские острова. Позже он стал наркоманом, а тяжело заболев, пришел к религии.

Одни исследователи считают «Анчар» художественным шедевром. Н.Измайлов писал, что «мрачное и загадочное творение Пушкина... таинственный образ, порожденный в далеких пустынях Востока».¹⁵ Другие усматривают в стихотворении чисто политические намеки: протест против деспотизма, против бесправия и рабства, против безграничной власти. «Стоглавой гидре уподобляет, как известно, Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» и самодержавие, и крепостничество, – пишет Д.Благой. – Подобная же концепция лежит в основе пушкинского «Анчара».¹⁶ Благой отрицает наличие в «Анчаре» каких-либо других аллегорий.

Третий взгляд принадлежит академику В.Виноградову. Он видит в «Анчаре» своеобразный ответ Пушкина тем, кто упре-

кал поэта в лизоблюдстве. Упреки эти были вызваны «Стансами». Павел Катенин написал «Старую быль», где содержался весьма прозрачный намек на низкопоклонство Пушкина. «Анчар», в котором яд можно понимать как яд клеветы, мог быть ответом на стихи Катенина. Катенинский образ «неувядающего древа», считал Виноградов, есть некая антитеза пушкинскому «древу смерти».¹⁷

В современной пушкинистике крайние точки зрения на эти стихи смягчены, лобовые политические аллегории остались только в учебниках. «Анчар» относят к философским стихотворениям Пушкина, легендам, притчам с глубоким значением и общечеловеческой мыслью, многозначными и внутренне свободными образами.¹⁸ С такой расплывчатой трактовкой трудно не согласиться. И все же, нам кажется, символика стихотворения оставляет простор для еще одного варианта прочтения, связанного с жизненными обстоятельствами поэта, приведшими к созданию «Анчара».

Рискнем в качестве гипотезы несколько иначе истолковать смысл стихотворения «Анчар». Несомненно, ядовитое дерево – символ зла; пустило оно глубокие корни не на Востоке, а в той «пустынной» стране, где живет автор «Анчара».

Слово «пустыня» у Пушкина – понятие не столько географическое, сколько социальное. «Пустыня» означает культурное пространство, где поэту скучно; пустыней он называет то Кишинев, а то и Петербург. Именно в этой пустыне его преследуют. И – «судьбою вверенный мне дар»

Доселе в жизненной пустыне,
Во мне питая сердца жар,
Мне навлекал одно гоненье (III.89).

Пушкин пишет о «пустыне нашей словесности» и даже о «философической пустыне» (V.104). Между прочим, в первоначальном варианте стихотворения «Анчар» было: «В пустыне чахлой и глухой», а не «скупой», что еще больше сближает пустыню с провинцией. Раба склоняют к тому, чтобы он участвовал в бесчеловечном деле, чтобы принес яд. Раб соглашается и приносит яд. Вспомним теперь: именно в это время Пушкин получил распоряжение царя донести ему лично, кто автор

«Гаврилиады». Отказ равносителен смерти. В дневнике у поэта 2 октября 1828 года краткая запись: «Письмо к царю. Le cadavre...» (VIII.18), то есть – труп.

Принес – и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки (III.81).

Доносительство – вот тлетворная, разлагающая человека отрава, источаемая этим всемогущим и таинственным (или тайным?) органом, именуемым «Анчаром», который наводит страх на всю Вселенную. Сперва отравленный раб, судя по черновикам стихотворения, страдал, но оставался жить. Больше того, в черновиках имеется следующий вариант этого четверостишия:

Но человека человек
Послал к анчару самовластно,
И тот послушно в путь потек –
И возвратился безопасно.

Значит, Пушкин, когда писал стихотворение, думал о том, что яд этот, хотя и смертельный, но он не причинит вреда человеку, который его принесет, и не сделает вреда другим. Кроме того, поначалу поэт продумывал и, так сказать, более субъективный вариант легенды: вместо «Природа жаждущих степей его в день гнева породила...» у Пушкина было «Природа Африки моей...»

Кстати, слово «яд» у Пушкина примерно в двух третях случаев используется в переносном смысле: «ядом стихи свои в угоду черни буйной он наполняет», «сеют яд его подосланные слуги», «подозревая все, во всем ты видишь яд» и т.д.¹⁹ Зачем же, согласно замыслу «Анчара», царю нужен яд? А для того, чтобы пускать ядовитые стрелы в своих врагов, уничтожать их. Не в этом ли великая и вечная сущность доносительства?

В те самые дни, когда началась работа над «Анчаром», Пушкин сочинял письмо Вяземскому. В конце рукописи этого письма есть несколько слов, трудно разбираемых и требующих

героических усилий текстолога: «Алексей Полторацкий сболтнул в Твери, что я шпион, получаю за то 2500 в месяц (которые очень бы мне пригодилась благодаря крепсу), и ко мне уже являются троюродные братцы за местами и за милостями царскими».²⁰ Подумав, Пушкин решил об этом Вяземскому не сообщать, и строки остались в черновике. Яд клеветы соединился для Пушкина с ядом доносительства. Вопрос этот мучил поэта. Мысль искала эзоповскую форму и нашла ее в стихах.

Поэтический образ ядовитого восточного дерева отражал, по-видимому, реакцию поэта на предложение распространять яд в «пустыне», где поэт жил. Смысл этот, представляется, мог наполнить произведение и подсознательно. В легендах, которые послужили Пушкину источниками, говорится, что за ядом посылали каторжников, смертников, обещая им свободу. И они шли к ядовитому дереву с последней надеждой освободиться. Над Пушкиным уже давно висело предложение Бенкендорфа принести яд с обещанием за эти услуги сделать поэта свободным, разрешить ему поехать за границу. О прецедентах такого рода он, разумеется, знал. Читательница Александра Тверская, с которой мы поделились мыслями о таком толковании «Анчара», вспомнила случай из жизни. Ее отец, будучи в тюремной камере, мысленно обращался за поддержкой к Пушкину. Отказаться от самооговора и оговора других стихотворение Пушкина помогло ему – единственному из большой группы однодельцев. Удержала этого человека мысль, что, принеся яд, подчинившись приказу владыки, он превратится в раба, а смерти все равно не избежать. Выйдя на свободу спустя 24 года, реабилитированный утверждал, что именно «Анчар» уберег его от доносительства.

Не случайно публикация стихотворения (а Пушкин не отдавал его издателям три года) привлекла внимание Третьего отделения, заподозрившего опасное иносказание. Цензура пропустила стихи, ничего не обнаружив, а умный Бенкендорф потребовал приказать Пушкину «доставить ему объяснение, по какому случаю помещены... некоторые стихотворения его, и между прочим Анчар, древо яда, без предварительного испрошения на напечатание оных высочайшего дозволения» (Б.Ак.15.10).

Пушкин понял, что дело плохо, но бросить прямое обвинение автору со стороны Третьего отделения было не желатель-

но: для этого цензорам пришлось бы «раскрыться», указать на намеки, их суть. Бенкендорф приказал поэту явиться и, отчитывая его, как подростка, обвинил в «тайных применениях» и «подразумениях». Пушкин написал ему весьма резкий ответ, в котором, памятуя, что лучшая защита – нападение, заявил, что «обвинения в применениях и подразумениях не имеют ни границ, ни оправданий, если под словом дерево будут разуметь конституцию, а под словом стрела самодержавие» (X.316).

В письме этом Пушкин смело протестовал против двойной цензуры, которой он подвергается вместо одной – царской. Решительный этот протест многократно приводится в советских работах о Пушкине как доказательство мужества и принципиальной позиции поэта в борьбе с самодержавием.²¹ Опускается лишь одна деталь: когда порыв отваги прошел, Пушкин решил это письмо не отправлять. А послал другое – «с чувством глубочайшего благоговения» (X.317).

Цензура в самом деле стала невероятно придирчива. Пушкин сочинял «Анчара», заменяя «самодержавного владыку» на «непобедимого», а в это время Вяземский писал Пушкину об уморительном цинизме цензоров, которые обязаны следить, чтобы в пропускаемых произведениях содержался патриотизм. Цензор и писатель Сергей Глинка жаловался Вяземскому: «Черт знает за что наклепали на меня какую-то любовь к отечеству, черт бы ее взял!»²²

Ошейник Третьего отделения всегда будет натирать шею Пушкину. Три года спустя приятель поэта Николай Муханов запишет в дневнике, что на вечере у Вяземского министр внутренних дел Д.Н.Блудов сказал, что министр иностранных дел Нессельроде не хочет платить Пушкину жалования. «Я желал бы, чтобы жалованье выдавалось от Бенкендорфа». Пушкин «тотчас смешался и убежал».²³

Глава пятнадцатая

НЕ СОВСЕМ ТАЙНЫЙ ОТЪЕЗД

«Если мне откажут, думал я, поеду в чужие края, – и уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы. Пироскаф тронулся: морской, свежий воздух веет мне в лицо; я долго смотрю на убегающий берег – My native land, adieu!» (VI.389)

Пушкин набросал эту картинку, приблизительно процитировав строчку из байроновского «Чайльд-Гарольда». Нет сомнения, что в неоконченной наброске «Участь моя решена, я женюсь», опубликованном через двадцать лет после смерти писателя, это биографическая деталь, хотя поэт написал, будто бы сделал перевод с французского. Из текста следует, что автор собирался уехать, если ничего не получится с женитьбой. Пушкину не сидится на месте. Он мечется из одного места в другое, и тема дороги перетекает у него из одного стихотворения в другое.

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком? (III.121)

Печаль, тревога, безнадежность, тоска и отчаяние то и дело звучат в стихах и письмах. «Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным», – вспоминала Анна Керн.¹ Тяжелое состояние Пушкина отмечает и Вяземский в письме к жене: «Он что-то во все время был не совсем по себе. Не умею объяснить, ни угадать, что с ним было или чего не было, *mais il n'était pas en verve* (но он был не в лучшем состоянии. – фр.)».² Софья Карамзина, старшая дочь историографа, писала Вяземскому про Пушкина: «Он стал неприятно угрюмым в обществе, проводя дни и ночи за игрой, с мрачной яростью, как говорят».³ Снова, как двадцать лет назад, поэт готов послать эту жизнь к черту, проститься со всем, что его окружает, и только женские прелести еще способны скрасить мрак и вызвать чувство симпатии.

Он раздвоен, странен в поступках, непонятен окружающим. Катя Смирнова, попова дочка, с которой Пушкин познакомился, будучи проездом в Малинниках, после вспоминала: «Показался он мне иностранцем...» Накануне Нового, 1829 года, на общественном балу у танцмейстера Иогеля Пушкин встречает шестнадцатилетнюю девицу Наталью Гончарову. Но и эта влюбленность не отвлекла его от других серьезных планов. О намерении ехать на Кавказ или в Европу Пушкин писал брату Льву, писал не по почте, конечно, еще 18 мая 1827 года, а после всех неприятностей и полученных от Бенкендорфа отказов и обид стал еще более решительно собираться в дорогу.

Сразу оговоримся, что в биографии Пушкина, полной противоречий, которые не удастся объяснить, его кавказская эпопея остается одной из самых загадочных, несмотря на многочисленные попытки разобраться в ее целях. Первоисточник путаницы, разумеется, сам поэт: у него были весьма важные причины скрывать истину.

В письме к матери Натальи Гончаровой Пушкин объяснял мотивы своего отъезда внезапной влюбленностью и суровой реакцией матери на его предложение. «Я полюбил ее, голова у меня закружилась, я сделал предложение, ваш ответ, при всей его неопределенности, на мгновение свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию; вы спросите меня – зачем? клянусь вам, не знаю, но какая-то произвольная тоска гнала меня из Москвы; я не мог там вынести ни вашего, ни ее присутствия» (X.634,

по-фр.). На деле решение двинуться на Кавказ было принято задолго до этого; предложение Гончаровой Пушкин сделал внезапно, задержавшись в Москве по дороге из Петербурга на юг.

В письме Бенкендорфу, потребовавшему объяснений, Пушкин сообщает: «По прибытии на Кавказ (зачем прибыл, опущено. — Ю.Д.) я не мог устоять против желания повидаться с братом, который служит в Нижегородском драгунском полку и с которым я был разлучен в течение 5 лет. Я подумал, что имею право съездить в Тифлис» (X.628). Выходит, что мысль увидеть брата возникла у Пушкина уже на Кавказе. Между тем задолго до поездки поэт говорил родственникам и знакомым, что собирается повидать на Кавказе брата. Дядя поэта Василий Пушкин писал Вяземскому из Москвы: «Александр Пушкин здесь и едет в Тифлис к брату».⁴

Задолжав много денег, выпивоха Лев уехал служить в армию за два года до этого, как выразился Пушкин, «чтоб обновить увядшую душу» (X.176). Но не самому ли поэту хотелось того же самого: обновить увядшую душу? Итак, поездка к брату. Но брату Пушкин писал, что он едет вовсе не к нему, а к своему другу: «поеду... не для твоих прекрасных глаз, а для Раевского» (X.178).

В черновике предисловия к «Путешествию в Арзрум» Пушкин еще несколько сдвигает акцент, говоря, что ехал он на Кавказские воды (что означало для читателя отдых у минеральных источников), а уж там решил свидеться с братом. Пушкин добавляет то, что по понятным причинам не хотел сообщать Бенкендорфу: о своем желании встретиться с «некоторыми из приятелей». Имеются в виду опальные декабристы, сосланные на Кавказ и ставшие там, говоря современным языком, оккупантами, причем вполне искренними. Но не только к ним ехал Пушкин, добавим мы. Не застав на месте в Тифлисе друзей, сообщает он в предисловии к своему «Путешествию», он решил увидеть «блистательный поход» и поэтому отправился в Арзрум. На деле и раньше было известно, что он вроде бы собирался именно в армию, а не пить минеральную воду.

Вообще говоря, писатель, публикующий заметки о своем путешествии, вовсе не обязан оправдываться перед читателем. Думается, не случайно оправдание целей вояжа на передовую так занимало Пушкина. Записки свои он опубликовал спустя

шесть лет, и в предисловии не раз возвращается к причинам, побудившим его к поездке и к сочинению – теперь уже – воспоминаний. «Сии записки, – пишет Пушкин в отброшенной им перед публикацией части предисловия, – будучи занимательны только для весьма немногих, никогда не были бы напечатаны, если б к тому не побудила меня особая причина. Прошу позволение объяснить ее и для того войти в подробности очень неважные, ибо они касаются одного меня». По возвращении «я не стал оправдываться (на самом деле, сделал это. — Ю.Д.). Но обвинение важнейшее заставляет меня прервать молчание».

Речь в журналах, которые имеет в виду Пушкин, шла о том, что он не воспел победы русского оружия, вернувшись с Кавказа. Выходит, публикация осуществлялась им из стремления выполнить свой патриотический долг. В другой рукописи Пушкин вдруг начинает отстаивать свое право писать или не писать о поездке: «частная жизнь писателя, как и всякого гражданина, не подлежит обнародованию» (VI.505–506). Так какой же была поездка – частной или деловой?

Реальных причин, по которым поэт ринулся на Кавказ, кажется нам, было несколько. Самой таинственной из них представляется та, которая тщательно отрицалась советской пушкинистикой, но, как мы попытаемся показать, была ясна Бенкендорфу и даже Николаю I. Вернувшись, Пушкин по вполне понятной причине постарался отвести истинные цели в своем оправдательном письме. «Что именно имеет в виду поэт? – спрашивает В.Кунин и отвечает. – Прежде всего разнесшийся клеветнический слух, будто он собирается через турецкое побережье бежать за границу. Эта абсурдная мысль, судя по некоторым намекам, пришла в голову Вяземскому; в разное время ее повторяли и некоторые пушкинисты».⁵ Итак, клевета и абсурд – такова точка зрения официальной советской пушкиистики.

Три причины выдвигаются этим автором в качестве истинных: «ностальгия по декабризму», то есть стремление Пушкина встретиться с опальными офицерами, желание вырваться из светской суеты, соединенное со страстью к путешествиям, и, наконец, безудержная храбрость, «сопричастность героическому делу русских воинов». ⁶ У другого автора читаем: «Поездка Пушкина на Кавказ в действующую армию летом 1829 г.

определялась преимущественно творческими интересами, хотя последние и были неотделимы от страстного желания увидеть «друзей, братьев, товарищей».⁷

Слухи о поездке Пушкина ходили разные, тайной она не была. Писатель и цензор Владимир Измайлов писал Вяземскому: «Пушкин на полете к югу и, вероятно, к новой славе литературной».⁸ Василий Ушаков, театральный критик и писатель, вспоминал, что он «встретился в театре с одним из первоклассных наших поэтов и узнал из его разговоров, что он намерен отправиться в Грузию».⁹

Говорили, что поэт, продувшись в карты, поехал туда выигрывать деньги. Вяземский считал, что разрешение Пушкину ехать в армию могли пробить офицеры-игроки. У них он выиграл деньги, которые пустил на путевые расходы, а там надеялся еще выиграть. К такому предположению были основания: в полицейском списке московских картежников за 1829 год общим числом 93, под номером 1 значится Федор Толстой, 22 – другой приятель Пушкина Нащокин, 36 – сам Пушкин, «известный в Москве банкومت».¹⁰ Но, разумеется, такой слух не столь опасен, может, даже выгоден.

Об отбытии Пушкина фон Фок докладывал Бенкендорфу, и все соображения тут невероятно интересны: «Я вам сказывал (значит, еще раньше доложил. — Ю.Д.), что Пушкин поехал отсюда в деревню *один*. Вот первое о нем известие от собачонки его Сомова. Что далее узнаю, сообщу. Вспомните при сем, что у Пушкина родной брат служит на Кавказе и что господин поэт столь же опасен *pour l'Etat* (для государства. – фр.), как неочиненное перо. Ни он не затеет ничего нового в своей ветреной голове, ни его не возьмет никто в свои затеи. Это верно!.. *Laisser le courir le monde, chercher des filles, des inspirations poétiques et – du jeu.* (Предоставьте ему обойти свет, искать девиц, поэтических вдохновений и – игры. – фр.) Можно сильно утверждать, что это путешествие устроено игроками, у коих он в тисках. Ему верно обещают золотые горы на Кавказе, а когда увидят деньги или поэму, то выиграют – и конец».¹¹

Слух о бегстве поэта за границу не был в действительности ни клеветническим, ни абсурдным. 18 октября 1828 года Пушкин провожал за границу Соболевского, прочитав ему напоследок «Полтаву» и седьмую главу «Онегина». «Соболевский один,

без Пушкина, отправился в первую европейскую поездку», — пишет, противореча себе, В.Кунин.¹² Этой поездке одного Соболевского предшествовали долгие переговоры. Пушкин зазывал Соболевского в Петербург: «Мне бы хотелось с тобой свидеться да переговорить о будущем». О том переговорить, добавим мы, про что по почте писать было нельзя. Год спустя план изменился в связи с отъездом Соболевского в одиночку, но, как мы увидим, продолжал осуществляться. Он ждал Пушкина в Европе.

Многое известно о дружбе Пушкина с Сергеем Соболевским, а конкретные детали их путешествия остаются тайной. Намерения отправиться за границу в 1827 и в 1828 годах были у приятелей очень серьезными. Не исключено, что Соболевский откладывал в течение всего года собственный отъезд из-за Пушкина, которому отказывали в выезде и опутывали неприятностями. Планы друзей менялись на ходу. Перед отъездом друга Пушкин заказал свой портрет у художника Тропинина и подарил его Соболевскому. А тот сделал маленькую копию, которую увез с собой.

Библиотека Соболевского осталась на хранение Ивану Киреевскому, но Пушкин продолжал брать оттуда книги, о чем Киреевский уведомлял хозяина. По отъезде они с Пушкиным друг другу не писали, и в этом тоже можно подразумевать сговор. Но в письмах общим знакомым Сергей Александрович то и дело наводил справки о поэте. Из Флоренции Соболевский просит Киреевского: «Скажи Пушкину, что я пришлю ему 200 бутылок Aliatico на следующих условиях: 1) он мне напишет восемь страниц сплетен своего сердца; 2) известит меня о здоровье Людмилки, Анны Петровны и Лизы; 3) назначит мне, к кому адресовать в Петербург; 4) заплатит мне 250 рублей, ибо Aliatico здесь не более 125 centimes il fiasco (125 сантимов за бутылку. — Ю.Д.); 5) пересылку выплатит, но это, впрочем, вздор, как и пошлина. Не могу не похвалиться Флоренцией. Я везде принят, как старый знакомый, всюду позван и, вероятно, через три дня буду давно и всюду забыт при отъезде, ибо Флоренция — трактир Италии».

Весь этот вздор, как Соболевский сам пояснил, нужен был ему, чтобы затуманить в письме, идущем через перлюстрацию, кое-какие важные детали. «Прошу тебя, — продолжает он, —

написать больше о Пушкине, как и когда приехал, где и как жил, в кого влюблялся и когда едет». ¹³ Неужели для Соболевского могло быть важным, когда Пушкин едет на Кавказ, если бы за Кавказом не последовала поездка к нему в Италию? Первым на эти слова в нетрадиционном ракурсе обратил внимание К.Черный: «Когда едет? Это означало: когда Пушкин будет бежать за границу». ¹⁴ Разумеется, бежать – ведь в легальном выезде ему отказано.

Киреевский, издатель журнала «Европеец», был, по-видимому, в курсе планов Пушкина с Соболевским. Во всяком случае в ответном письме Киреевский отвечал насчет Пушкина столь же непонятно: «Такого мозгу, кажется, не вмещает уже ни один русский череп, по крайней мере, ни один из ошупанных мною». ¹⁵ Ум Пушкина перерос Россию – так, пожалуй, мог Соболевский истолковать намек Киреевского.

А Россия ведет в это время сперва персидскую, а затем турецкую кампании. Поняв, что разрешения ему не дожидаться, Пушкин решает ехать в том направлении самовольно.

Примерно в марте или апреле 1829 года он пишет повинную записку Ивану Алексеевичу Яковлеву, которому проиграл он в карты 6000 рублей. «Ты едешь на днях, а я все еще в долгу. Должники мои мне не платят, и дай Бог, чтоб они вовсе не были банкроты, а я (между нами) проиграл уже около 20 т. Во всяком случае ты первый получишь свои деньги. Надеюсь еще их заплатить перед твоим отъездом» (X.202).

Как видим, они «на ты». Двадцатичетырехлетний Иван Яковлев, с которым Пушкин сходитя в этот период, был правнуком известного богача и фабриканта Саввы Собакина. Наследник сказочных богатств: земель, горных и железодельных заводов, домов в Петербурге – Яковлев широко жил и азартно играл. Пирь, праздники, сопровождавшиеся выходками, о которых говорил весь Петербург, видимо, опостытели молодому человеку, и он стал собираться на жительство в Европу, что вскоре, как пишет Пушкин в цитированном выше письме, осуществил. В Париже он провел двадцать лет, сохранив тот же образ жизни и шокируя парижан.

Пушкин играл в это время в карты действительно много. В 1829 году он проиграл 24800 рублей и долг уплатил с трудом в 1831 году. Однако между Пушкиным и Яковлевым в 29-м году

были, как мы сейчас увидим, помимо карт, переговоры, связанные с выездом поэта за границу. Об этом есть свидетельства, хотя и скудные, с провалом во времени.

Яковлев благополучно отбыл в Париж, откуда, не имея никакой информации о Пушкине и не дождавшись его, просил общего знакомого Николая Муханова, служившего адъютантом петербургского генерал-губернатора, передать Пушкину, что об их договоренности Яковлев не забыл. «Благодарю за несколько слов о Пушкине, – говорится в письме Яковлева Муханову. – Если он не уехал в деревню на зиму, то кланяйтесь поэту-герою. Он чуть ли не должен получить отсюда небольшого приглашения анонимного. Дойдет ли до него? А не худо было бы ему потрудиться пожаловать, куда зовут. Помнит ли он прошедшее? Кто занял два опустевшие места на некотором большом диване в некотором переулке? Кто держит известные его предложения и внимает погребальному звуку, проводимому его засученною рукою по ломберному столу?»¹⁶

Все это письмо зашифровано. Намеки представляются очень важными, поскольку все связано с выездом Пушкина, но не очень ясны. Не понятно, что это за анонимное приглашение, которое было послано (иначе бы ни к чему было и беспокойство). Получил ли его Пушкин? Приглашения поэт, по-видимому, не получил, значит, оно было перехвачено. Напоминая о прошедшем, Яковлев вряд ли имеет в виду пушкинский долг. Человек деликатный и тактичный, да к тому же невероятно богатый, он не стал бы намекать на какие-то шесть тысяч рублей.

Остается предположить, что «прошедшее» – это их переговоры о том, чтобы встретиться в Париже. «Некоторый переулок» – скорее всего, Загигенный на Васильевском острове, в котором Яковлев жил. На кого, сидевшего на большом диване, намекает Яковлев? Может быть, это они сами сидели рядом и обговаривали детали выезда? Или там был третий человек, который должен участвовать в совместных делах? Чьи и какие хранятся предложения? У кого? Легче всего предположить, что речь идет о продолжении игры, на этот раз в Париже. Но, думается, не только это. Наиболее вероятно, что имеется в виду договоренность Яковлева с Пушкиным вместе путешествовать. А может, и какие-нибудь издательские дела,

которые поэт собирался предпринять при финансировании этих дел приятелем? Словом, в письме Ивана Яковлева явно сказано больше, чем читается.

Б.Модзалевский в комментарии к яковлевскому свидетельству писал: «Письмо это намекает, по-видимому, на новые планы Пушкина о поездке за границу, – быть может, при помощи или при поддержке Яковлева». Л.Черейский тоже считает, что Яковлев «намекал, что хотел бы видеть его (Пушкина. — Ю.Д.) в Париже; по-видимому, он сам намеревался содействовать поездке».¹⁷ Остается вопрос: как именно Иван Яковлев содействовал поездке и хотел поддержать поэта-беглеца? Договаривались они весной, а приведенное письмо написано в декабре 29-го года, когда Пушкин уже вернулся с Кавказа, о чем Яковлев, возможно, и не знал. Долг 6000 рублей Пушкин Яковлеву так и не смог отдать, он был возвращен опекой после смерти поэта.

Еще одна нить от Пушкина из России за границу тянулась к графу Каподистриа. Мы помним роль доброго гения, которую граф сыграл, будучи статс-секретарем Министерства иностранных дел в 1820 году, превратив ссылку подчиненного ему Пушкина в командировку к своему другу, наместнику Бессарабии Инзову. Каподистриа и позже интересовался судьбой поэта. Пушкин не раз, будучи в южной ссылке, вспоминал этого человека добрым словом, а когда вернулся, грек Каподистриа, оказавшийся жертвой русских интриг, уже уехал в бессрочный отпуск в Швейцарию. В Женеве он жил как частное лицо в ожидании перемен. В начале 1828 года народным собранием Греции Каподистриа был избран главой греческого правительства, пользовался популярностью и мечтал стать королем Греции, но честолюбивые замыслы его не реализовались.

Собираясь на Кавказ, Пушкин пытался установить связи со старым своим покровителем и начальником Каподистриа. О контактах этих мало что известно, по-видимому, связь была устная, через общих знакомых. Грузинский пушкинист И.Ениколопов пишет: «Его (Пушкина. — Ю.Д.) обуревало одно стремление, – вырваться из этих тисков на волю – в страну, где главой государства был избран доброжелательно к нему относившийся Иоанн Каподистриа, там, мнилось ему, осуществлятся его заветные мечтания».¹⁸ Для этого Пушкину надо было

перебраться из азиатской части Турции в европейскую, а оттуда в Грецию к Каподистриа.

В Париже в это время находился и другой покровитель Пушкина Александр Тургенев; «страстно любя Россию, он... почувствовал себя в ней лишним». ¹⁹ Его брат Николай, декабрист и эмигрант, тоже жил за границей. Вяземский говорил, что Александр Иванович был космополитом. По натуре человек эклектический, Тургенев не писал, но был мастером в отыскании редких исторических материалов в архивах Европы и был окружен литературными друзьями, среди которых первым стал Пушкин. Они часто общались до отбытия Пушкина на юг. «Тургенев, верный покровитель попов, евреев и скопцов», – лихо написал об этой человеколюбивой натуре юный Пушкин. Потом они переписывались, а в 1825 году Тургенев уехал за границу. Начались его скитания по миру. В архиве сохранились о нем стихи неизвестного автора:

Где был иль где он не бывал?
И к дальним – сердцем ближе,
В Париже о Москве вздыхал,
В Москве же о Париже.
Европу облетая вкруг,
Везде спешит явиться,
Из Рима рвется в Петербург,
Оттуда в Рим умчится.²⁰

Двадцать лет он жил в Европе, изредка приезжая (он отвез гроб с телом Пушкина в Святогорский монастырь), но в России Тургенев стал уже чужим. В 1832 году Александр Воейков писал из Петербурга: «А.И.Тургенев провел здесь и в Москве почти год. Он стал дик и странен в образе мыслей и суждений. Он потерян для России». ²¹ «Дик и странен» – следует читать, что Тургенев сделался еще более западным человеком, чем был всегда. Но для Пушкина Тургенев не только не был ни дик, ни странен, ни потерян, но оставался близким по духу человеком, с которым поэт стремился увидеться.

Важной фигурой в замысле Пушкина был и его близкий друг и единомышленник Николай Раевский-младший, который служил на Кавказе под началом генерала Паскевича. Он

уже не раз помогал поэту, и Пушкин мог рассчитывать на его внимание и его плечо. Н.Н.Раевский-отец воевал здесь с Персией, а позже сын его стал командиром полка. Старик был в курсе дела или, по меньшей мере, знал, что Пушкин собирается к его сыну. Еще в ноябре 1827 года Пушкин хотел наладить переписку с Николаем через отца. Пушкин мог и сам написать своему другу, но, по-видимому, не хотел, как мы теперь говорим «засвечиваться». Через отца писать было удобнее. Расчет был на поддержку, укрытие по дороге и, конечно, на связи.

Ближе к поездке Пушкин взял письмо у Раевского-старшего. Это произошло 3 апреля 1829 года. «Пушкин хотел из Петербурга к тебе ехать, – писал старый генерал, – потом из Москвы, где нездоровье его еще раз удержало. Я ожидаю его извещения, и письмо сие назначено к отправлению с ним».²² Из письма этого выясняется причина, почему Пушкин по дороге из Петербурга на Кавказ так долго пробыл в Москве. По-видимому, болезнь, а не сватовство к Гончаровой, стала одной из причин отсрочки поездки.

За несколько дней до отъезда Пушкина на Кавказ отбыл за границу Степан Шевырев, с которым все годы после возвращения из Михайловского они были близки. Поэт, критик и издатель (он выпускал «Московский вестник»), Шевырев занимался теорией стихосложения. Оба поэта даже сочинили вместе эпиграмму. Шевырев отправился в Рим в качестве воспитателя сына княгини З.А.Волконской и оттуда в письмах Михаилу Погодину интересовался делами Пушкина. Год спустя Пушкин участвовал в сочинении коллективного письма Шевыреву в «политический Рим».

Тогда же отправился в Европу писатель Николай Рожалин. Пушкин часто встречался с ним перед отъездом, вместе они провожали в Германию и Италию Адама Мицкевича. На прощальном обеде Мицкевичу поднесли кубок, на котором были выгравированы имена всех участников пирушки. Перед разлукой они много общались в салоне пианистки Марианны Шимановской. Думается, обсуждали и поездку Пушкина. О прощании Пушкина и Мицкевича Герцен писал: «Они протянули друг другу руки, как на кладбище. Над их головами грозула гроза».²³

Словом, попади Пушкин за границу, там его встретили бы друзья, путешествие с которыми по Европе было многолетней его мечтой.

Перед поездкой Пушкин собрал и стал изучать литературу о Кавказе и Турции, долго обсуждал политическую и военную ситуацию с Управляющим Главным штабом графом П.А.Толстым, своим родственником. Тот был послом во Франции при Наполеоне и даже предсказал поход на Россию. Именно Толстому было поручены дела по «Гаврииаде» и «Андрею Шенье». По совету этого высокопоставленного родственника Пушкин написал расписку, что впредь обязуется не распространять своих сочинений без цензуры. Важно также, что канцелярия Толстого занималась смещением генерала Ермолова и назначением на его место Паскевича, к которому собирался двигаться Пушкин. М.Гершензон позже скажет: «Никто кроме Пушкина не интересовался в такой степени событиями на турецкой границе, никто кроме него не мог подтверждать правильность сведений о территориальных изменениях».²⁴

Как это бывало уже не раз, тайное в процессе сборов поэта стало явным. Это произошло хотя бы потому, что Пушкину нужна была подорожная. Он ее без труда получил, не испрашивая разрешения у Бенкендорфа. 5 марта 1829 года частный пристав Моллер выписал поэту подорожную и, скорей всего, сделал это по указанию канцелярии Толстого, либо просто знал о благоволении главнокомандующего к Пушкину и не посмел не выписать. К.Я.Булгаков, петербургский почт-директор, подписал выданную Пушкину Моллером подорожную «от Санкт-Петербурга до Тифлиса и обратно».²⁵ Спустя пять лет Пушкин запомнил, что в подорожной написано «до Тифлиса», и написал, что ехал к минеральным водам.

Он выехал, скорей всего, 6 марта, а когда добрался до Москвы, там многие уже слышали, что он отправляется на Кавказ. Московский почт-директор А.Я.Булгаков пишет брату К.Я.Булгакову в Петербург, откуда Пушкин недавно уехал: «Он едет в армию Паскевича, узнать ужасы войны, послужить волонтером, может и воспеть все это». Думается, такая трактовка поездки вполне устраивала Пушкина. Что касается воспевания подвигов русской армии, то Пушкин приложил немало усилий, чтобы доказать это свое стремление. Через несколько дней

Булгаков опять писал: «Пушкин едет на Кавказ», хотя Пушкин еще из Москвы не двинулся.²⁶

В Москве Пушкин навестил А.Я.Булгакова. Дочь его сказала тогда поэту: «Байрон поехал в Грецию и там умер; не ездите в Персию, довольно вам и одного сходства с Байроном».²⁷ Пушкин поразился (или сделал вид, что поразился) этому суждению. Сам поэт, конечно, подобные настроения отрицал. Сохранился разговор, в котором приятели упрекали Пушкина за то, что «он не хочет проехаться по заграничным странам». Пушкин ответил: «Красоты природы я в состоянии вообразить себе даже еще прекраснее, чем они в действительности; поехал бы я разве для того, чтобы познакомиться с великими людьми; но я знаю Мицкевича, и знаю, что более великого теперь не найду».²⁸ Он старался пресечь все слухи о том, что собирается за границу.

Еще одна причина задержки Пушкина в Москве становится ясной из письма, которое дядя Пушкина Василий Львович отправил Вяземскому: «Александр Сергеевич, кажется, до летнего пути, т.е. еще месяц пробудет с нами. Да и как теперь отправляться в Тифлис? Никакого на то способа нет». Еще через две недели дядя повторяет: «А.Пушкин здесь и, кажется, не так скоро отправится в Грузию».²⁹ На ту же причину ссылается и Евгений Боратынский: «Пушкин здесь. Он дожидается весны, чтобы ехать в Грузию. Я с ним часто вижусь».³⁰ Словом, болезнь и бездорожье – вот два серьезных обстоятельства, которые задержали Пушкина в Москве на семь недель.

Слухи о его поездке дотекли уже до Кавказа. Газета «Тифлисские новости» от 26 апреля 1829 года сообщила, что одного из лучших наших поэтов ожидали сюда, но сия надежда уничтожена. Если учесть, что согласно специальному распоряжению по империи все печатные издания немедленно предоставляли один экземпляр в Третье отделение, можно не сомневаться, что там были в курсе дела.

Новая мысль о женитьбе, казалось, спутает все планы и договоренности с друзьями. 1 мая Федор Толстой от имени Пушкина отправился в семейство Гончаровых делать предложение. Ответ матери разрешал надеяться. Т.Цявловская справедливо называет его «полуотказом».³¹ Но либо «полунадежда» не вдохновила, либо «полуотказ» обидел уже не раз до

этого обжигавшегося и темпераментного поэта. Серьезное решение бежать было готово давно, а реализовалось после неопределенного ответа матери Натальи Гончаровой, и Пушкин в ту же ночь выехал на юг.

Итак, давно намеченное путешествие, причины и цели которого столь противоречивы, началось. На этот раз, впервые в жизни, Пушкин не только задумывал и готовился – он действовал. 7 мая 1828 года Вяземский писал жене: «Пушкин едет на Кавказ и далее, если удастся». Слово «далее» обычно толковалось в литературе как поездка на передовую, но передовая линия фронта была на самом Кавказе, а не «далее», так что сообщение Вяземского просто не желали понять правильно. К тому же после «далее» стоят многозначительные слова «если удастся».

Куда же это – «далее»? Одним из первых пушкинистов выражение «и далее, если удастся» назвал своим именем Тынянов. Вот его комментарий: «Слова «далее, если удастся» могут означать самый театр военных действий (Закавказье), хотя следует отметить, что на языке того времени театр этот был именно «на Кавказе». Быть может, слова «и далее» имеют здесь более широкое значение». Затем, размышляя на эту тему, Тынянов сформулировал свою мысль более определенно: «Недозволенная поездка Пушкина входит в ряд его неосуществленных мыслей о побеге».³² Пироскаф, о котором Пушкин мечтал и на котором можно было торжественно отплыть в Европу, не состоялся. Поэт двинулся в далекое путешествие на перекладных.

Глава шестнадцатая

КАВКАЗ: ПЕРЕХОД ГРАНИЦЫ

Далекий возжеленный берег (III.134).

1 мая 1829 года, так рано, что было еще темно, Пушкин покати́л из Москвы на юг в собственной коляске, преодолевая в среднем по пятьдесят верст в день. Началось путешествие в Арзрум, столь известное, описанное самим поэтом и многими исследователями творчества его, но при этом остающееся одним из самых загадочных эпизодов жизни Пушкина.

Для выезда он выбрал очень удобный момент. Понимая, что за ним наблюдают и будут следить, он выехал, когда вся полиция и жандармерия были заняты охраной кортежа Николая Павловича, совершавшего поездку в Варшаву, чтобы короноваться польским королем. Хватило б одного жандарма, чтобы задержать поэта, но почему-то этого не сделали. Николай прибыл в Варшаву 10 мая, Пушкин же в это время отправился в направлении Калуги, а потом свернул на Орел. Он сделал крюк, чтобы повидаться с генералом А.П.Ермоловым, хотя лично знакомы они не были. Факт визита известен, а цели и разговоры покрыты мраком, хотя и отмечается в общем виде, что темы были затронуты важнейшие.

В официальной пушкинистике, исходя из патриотических соображений, Ермолов рассматривался как сильная, положительная фигура: он присоединял Кавказ; это деяние было по-

лезным для империи, а значит, прогрессивным. Ермолов подвергался политическим преследованиям, за хранение вольных стихов дважды наказывался. Герой Бородин, он с трудом уживался с царями. После участия в захвате Парижа он мог рассчитывать на заслуженные почести, а оказался в опале – в Грузии. Он покровительствовал декабристам, и ходили легенды (впрочем, мало обоснованные), что готов был примкнуть к ним: у него возникали шансы в случае удачи переворота стать главой правительства.

Пушкин часто восторгался генералом Ермоловым, а это был хитрый царедворец, человек двуличный, по характеру немного иезуит. Как глава оккупационных войск на Кавказе он был жесток. Его не раз называли душителем, вешателем, новым Чингисханом, что соответствовало действительности. Приказы Ермолова и сейчас леденят душу: «...не оставляйте камня на камне в сем убежище злодеев, ни одного живого не оставляйте из гнусных его сообщников». Или: «...селения, коих жители подняли оружие, истреблять до основания... дома главных мятежников непрерывно разорять».

Террор был его основным методом достижения победы, и генерал сам этим методом гордился. В своих «Записках» этот крайний шовинист писал: «Бунтующие селения были разорены и сожжены, сады и виноградники вырублены до корня, и через многие годы не придут изменники в первобытное состояние. Нищета крайняя будет их казнью».¹ Само слово «шовинист» появилось незадолго до этого (1815) из имени французского солдата Николя Шовина, патриотизм которого выразился в абсолютной преданности Бонапарту. Современный Webster объясняет шовинизм как крайний, или слепой, патриотизм. Пушкин, если полагаться на «Словарь языка Пушкина», слова «шовинизм» не употреблял. Специалист по наведению порядка, Ермолов считал себя большим гуманистом: «Снисхождение в глазах азиатцев знак слабости, – писал он, – и я прямо из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены».

Вяземский писал Александру Тургеневу о Ермолове: «Он как черная зараза губил, ничтожил племена. От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся, гимны по-

эта никогда не должны быть славословием резни».² «Проводимая Ермоловым при покорении отдельных народностей система отличалась подлинным варварством», – пишет, в отличие от русских пушкинистов, грузинский литературовед.³ Эта кампания стала впоследствии официально называться воссоединением Кавказа, добровольным присоединением Грузии к России, etc.

Ермоловское владычество на Кавказе продолжалось десять лет. Генерал и наместник Кавказа Николай Муравьев вспоминает о приказе Ермолова в Тифлисе: «Пойманного муллу он велел повесить в виду всего города за ноги...»⁴ В советское время пушкинист отмечал «некоторую жестокость Ермолова».⁵ Зверства достигли такого масштаба, что о них донесли в Петербург, и Ермолов получил от императора выговор. Заменяли его Паскевичем, к которому теперь направлялся Пушкин.

Позже Пушкин стал относиться к подвигам Ермолова более трезво, пять лет спустя назвал его даже «великим шарлатаном». Но теперь, по дороге туда, где Ермолов совершал свои подвиги, поэт заехал к нему в гости в Орел. И Пушкин, и Ермолов в своих воспоминаниях предпочли обойти суть встречи. Приводятся разговоры о поэзии и истории, в частности, об «Истории» Карамзина. Думается, не случайно в разговоре они затронули Курбского, который успешно бежал за границу от Ивана Грозного. Касались Паскевича, что Пушкину было важно. Потом поэт посчитал нужным подчеркнуть: «О правительстве и политике не было ни слова» (VI.435). Когда биограф Пушкина Бартенев спустя четверть века посетил Ермолова, чтобы расспросить о подробностях встречи, Ермолов остался осторожным на слова. «О предмете своих разговоров с ним Ермолов не говорил», – записал Бартенев.

В действительности, нам кажется, смысл заезда к Ермолову был вовсе не в том, чтобы обсудить с генералом состояние русской поэзии. Пушкин хотел заручиться у него рекомендациями к оставшимся в Закавказье людям Ермолова, а также узнать побольше о военных и гражданских порядках на Кавказе, которые лучше Ермолова, самолично устанавливавшего эти порядки, никто не знал.

Трясаясь по ужасным дорогам, Пушкин не мог делать ничего иного, кроме как размышлять. Спустя почти десять лет он

снова двигался на Кавказ, где одна за другой шли военные кампании. Захват Грузии (сын своего времени Грибоедов называл эту оккупацию «усыновлением Закавказья») открыл пути на Персию и Турцию, а в стратегических мечтах правительства уже вынашивались планы завоевания Индии. Позже Николай Павлович назвал Турцию «больным человеком Европы». Название оправдывало притязания России «на лечение» больного, но доля истины в этом определении была.

Еще до выезда Пушкин знал, что идут усиленные приготовления к очередной турецкой кампании. С конца XVII века Россия и Турция воевали 13 раз, так и не решив своих притязаний. Столетиями Россия утверждала право военной силой отстаивать православный мир от влияния ислама, для чего стремилась изгнать Турцию из Европы, вернуть христианскому миру Константинополь и проливы. Чаадаев эту тенденцию комментировал так: «Мы идем освобождать райев (турецких христиан. — Ю.Д.), чтобы добиться для них равенства прав. Можно ли при этом не приснуть от смеха?»⁶

Бывшие борцы за свободу – декабристы – превратились в этой войне в активных оккупантов. Опальный Михаил Пущин фактически руководил осадой Эривани. Пушкин прекрасно знал, что весной в Лондоне было достигнуто соглашение о создании независимого греческого государства. «Греция оживала...» – писал он, но сам в данный момент хотел продолжения войны. Его замыслы были связаны со стратегическими планами армии Паскевича в Закавказье, которые он, несомненно, знал хотя бы в общих чертах. Планы эти имели в виду захват черноморских портов Трапезунд и Самсун.⁷ Оттуда можно было легко отправиться морем в Грецию или дальше в Европу.

Путешествие на Кавказ описано и самим Пушкиным, и его знакомыми, и несколькими поколениями пушкинистов. Очужившись на Северном Кавказе, Пушкин начал вести «Журнал путешествия в Арзрум». Но ни в этом журнале, ни в «Путешествии в Арзрум», весьма обтекаемо написанном на основе этого журнала, почти нет столь свойственной Пушкину открытости мысли и чувства. Писатель невероятно осторожен на слова, так умело обходит острые углы, заполняя текст второстепенными подробностями, что становится скучным. Задержим внимание на нескольких деталях.

Пушкин оглядывает Россию, будто он иностранец. В прозе и в стихах («Прощай, любезная калмычка!») безо всякой романтики рассказывает он о встрече с женщиной, в которой с сожалением не обнаруживает ничего ни от француженки, ни от англичанки. Но француженки и англичанки ему недоступны, и вот философское обобщение, родившееся, пока ему запрягали лошадей:

Друзья! Не все ль одно и то же:
Забиться праздною душой
В блестящей зале, в модной ложе
Или в кибитке кочевой (III.112).

В прозе эта легкость исчезает. Он ругает еду, которую калмычка ему подала: ничего гаже того, чем его угостили, он не может себе представить. Он рассчитывал и на другие услуги этой женщины, но на деле, кажется, забиться не удалось.

По пути поэт то и дело встречает знакомых, суть встреч, если они не были случайными, остается для нас загадкой. В Карагаче Пушкин получил из Петербурга порядочный куш за свои сочинения. Шампанское лилось рекой. По дороге ухитрился стать секундантом на дуэли, которая кончилась примирением. Он проехал Осетию в своей тяжелой петербургской карете, но из аула Коби отправил ее на стоянку во Владикавказскую крепость, а далее стал продвигаться верхом. Военно-Грузинская дорога была проложена русскими войсками за тридцать лет до поездки Пушкина и находилась в ужасном состоянии. К дорожным опасностям примешивались военные: без сопровождающей охраны двигаться рискованно. Пушкин был любопытен, посетил сначала немецкую колонию, а потом колонию шотландских миссионеров. По дороге он присматривался, проверяя бдительность полицейских кордонов своим любимым методом. Вместо документов предъявил офицеру черновик стихотворения «Калмычке», а тот по неграмотности принял его за разрешающую бумагу.

В день своего тридцатилетия Пушкин добрался до Тифлиса, где оказался в обществе знакомых, устроивших в его честь празднование. Но чтобы попасть дальше, на передовую, требовалось получить разрешение командующего, графа Паскевича.

Через несколько дней, когда разрешение было получено, Пушкин заспешил далее в сторону границы.

Мы можем лишь приблизительно представить себе чувства, с которыми он приближался к рубежу, отделявшему Российскую империю от Турции, от иностранной державы. В последнюю минуту Пушкин дернул коня за поводок и помчался к границе. В «Путешествии в Арзрум» описание этого события, нам кажется, своей искренностью вырывается из остального олимпийски спокойного повествования.

«Вот и Арпачай», – сказал мне казак. Арпачай! наша граница!.. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимую мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег». Итак, он вырвался на свободу. Он вне контроля, его больше не будут преследовать, наконец-то мечта сбылась: Пушкин – за границей. Впрочем, отрезвев мгновенно, осознал он горечь реальности, состояние человека, видящего, как без него уходит его пароход. «Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России» (VI.454).

Каким эмоциональным становится, увидев границу, Пушкин, обычно скупой употребляющий восклицательные знаки. В этом тексте поэт словно обращается к тем, кто будет утверждать, что он не особенно стремился выехать. Пушкин говорит: «никогда еще я не вырывался из пределов». Мог сказать «не выезжал», «не был», «не путешествовал», «не покидал», а написал «не вырывался». Пограничную реку мог назвать любым приемлемым словом, а назвал «заветной». Расставался он с родиной не как-нибудь, а «весело». А когда узнал о том, что он «все еще» в России, веселость его улетучилась.

В одной из книг мы нашли такой эмоциональный комментарий к этому месту в «Путешествии в Арзрум»: «И вот теперь Пушкин стоял на границе. Ему были известны разговоры о стратегических планах турецкой кампании. Паскевич думал достичь Трапезунда и Самсуна. Через тот или другой порт легко попасть в Европу. Боже мой! Может быть, это сейчас самое главное: бежать, переступив Арпачай?»⁸

«Арпа-чай» по-персидски значит «Ячменная река»; Арпа-чай служит естественной границей между Арменией и Турцией и впадает в Аракс. Но, разумеется, «переступив Арпа-чай», Пушкин бежать не мог: пока он добирался сюда, граница передвинулась, ушла вместе с наступающей армией. И надо было двигаться дальше. К тому же на берегу Арпачая поэт был не один, а с сопровождающим. Русские войска быстро продвигались по чужой территории. Поэт двинулся им вослед. Через четыре дня он оказался в военном лагере.

Цепь поступков, им совершенных, подчас трудно понять и объяснить. День рождения монарха он отмечал льстивыми тостами. Что это было: проявление патриотизма и любви к царю или тактический ход? Об отчаянной отваге поэта, в сюртуке и круглой шляпе скачущего на неприятеля, написано много. Стремился он действительно сделаться героем или уже видел выход в смерти и искал ее?

Пушкину нравилась война, военная карьера. Старый приятель его Липранди считал, что из поэта мог получиться выдающийся военный. По характеру своему он рвался в драку, хотел участвовать в битвах. Семь лет назад Пушкин мечтал вместе с Байроном освободить Грецию. Теперь он с правительственным войском участвует в закабалении кавказских народов. Казалось, он на себе хотел испытать вариант окончания «Евгения Онегина», согласно которому Евгений должен был стать декабристом, а затем погибнуть на Кавказе. Позже, отказавшись от этого варианта, поэт так и не придумал литературной развязки жизни своего героя.

Впрочем, смерть Пушкина здесь грозила оказаться и менее героической. Его могли просто пристрелить из засады, он рисковал потерять голову при артобстреле. А то и еще глупее: «Не турецкие пули и сабли были опасны в этой бешеной скачке, а возможность упасть с усталым конем и быть затоптанным своими же», – писал свидетель.⁹

Пушкин спокойно рассказывает о трупах, валявшихся на его пути. Он рисковал жизнью: сакля взорвалась через 15 минут после того, как он вышел. Он принял участие в перестрелке с турками и в набеге на них. Военный историк Н.Ушаков вспоминал, что в атаке Пушкин подхватил где-то пику и отчаянно поскакал вперед один, как типичный новобранец, но

его догнал опытный майор Семичев, посланный Раевским, и «вывел насильно из передовой цепи казаков». ¹⁰ Первое издание своей книги, вышедшее в 1836 году, Ушаков подарил Пушкину. ¹¹ Впрочем, не известно, так ли это было, как писал Ушаков, и было ли вообще: есть расхождения во времени и деталях, которые вызывают сомнение.

Этого странного человека в штатской черной одежде солдаты принимали за немецкого пастора и звали батюшкой. Пушкин, добравшийся до передовой, уже не был таким общительным, как раньше. Он избегал новых знакомств и сходил только с прежними своими приятелями, при посторонних был молчалив и казался задумчивым. ¹² Большую часть времени он проводил с Николаем Раевским, в палатке которого собирались свои. Пушкин никогда не расставался с чемоданом, в котором у него лежали рукописи и пистолеты.

«В стратегический план главнокомандующего отдельным кавказским корпусом Паскевича, – пишет Л.Гроссман, – входило завоевание черноморских портов Трапезунда и Самсуна, откуда так легко было «посхать посмотреть на Константинополь». ¹³ Русские подошли и начали готовиться к осаде города Арзрум, важнейшей стратегической точки в русско-турецких войнах. Паскевич торжествовал. «Вы истребили врага совершенно, – говорилось в его приказе. – Для вас открыт теперь путь в недра тех стран Азии, где две тысячи лет живет слава побед великого Рима. Идите туда с радостью, достойные воины!» ¹⁴

Упоминание Рима не случайно не только потому, что тут присутствует навязчивая идея Третьего Рима – Москвы. Арзрум был древнейшей крепостью, воздвигнутой еще римлянами, принадлежал Византии, Османской империи. Выяснилось, однако, что штурм для взятия этого лакомого куса не понадобился: турецкие войска покинули город без боя, и 27 июня русские спокойно вошли в Арзрум.

Командующий Паскевич, поселившийся в арзрумском дворце Сераскира, распорядился пригласить Пушкина в гости. Вместе с А.Абрамовичем, ординарцем графа, поэт посетил гарем Осман-Паши. Паскевич подарил Пушкину саблю. Пушкин побывал в лагере, где были случаи заболевания чумой, после чего вдруг – и это тоже странно – заспешил назад в Россию. Кульминационный момент всей поездки в тексте «Путешест-

вия» смазан, нелогичен, не аргументирован. На три дня Пушкина задержали в карантине, а 28 августа он выехал из Тифлиса в Москву, о чем было донесено в Третье отделение. Собирая материалы для этой книги и объехав все места в России, в которых побывал Пушкин, мы нацелились было и на Арзрум. Но эта часть территории была возвращена Турции и, таким образом, снова превратилась в за границу, куда путь для нас, как когда-то для Пушкина, был из России закрыт.

Глава семнадцатая

«ЖАЛЬ МОИХ ПОКИНУТЫХ ЦЕПЕЙ»

*Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне (III.134).*

Побег поэта за границу не состоялся, хотя намерения у Пушкина были серьезные. Уехав из Петербурга и Москвы, Пушкин писал домой мало. За пять месяцев, что он отсутствовал, сохранилось только одно краткое письмо в Москву, Федору Толстому, о дорожной скуке и опасностях в горах. Вся корреспонденция с Кавказа перлюстрировалась в Москве, и приходилось быть осторожным. Ни в письме к матери Натальи Гончаровой, написанном перед отъездом, ни в письме к Толстому с дороги нет ни слова о невесте или о том, когда он собирается вернуться.

Однако есть косвенные свидетельства, что Пушкин письма посылал. Так, он отправил сразу несколько писем с адъютантом Паскевича Александром Дадиани, своим дальним родственником, которого Паскевич послал с донесениями в Петербург. Но отправил эти письма Пушкин, когда решил возвращаться назад. Почему же он не довел дело, на которое затратил столько сил и времени, до логического конца?

От самого начала замысел наткнулся на препятствия. Чувство предвидения, которое раньше Пушкина не подводило, на этот раз изменило ему. В очередной попытке реализовать

юношескую мечту о заморских краях он рассчитывал на помощь друзей. Но вереница смертей, которую раньше не прослеживали биографы, сопровождала поэта по мере его продвижения к Турции.

По дороге туда он встретил гроб с телом Грибоедова, убитого в Тегеране фанатиками-персами. Тынянов считал, что Грибоедов не хотел возвращаться в Россию.¹ Возможно, Грибоедов примеривался к поступку собственного героя Чацкого, и Пушкин об этом догадывался или знал. За год до смерти, перед отъездом в Персию, Грибоедов писал Екатерине Булгаковой: «Прощаюсь на три года, на десять лет, может быть, навсегда».²

Тело Грибоедова было выдано персидской стороной через пять месяцев после убийства. Изуродованный труп протащили по улице за руку и бросили в выгребную яму. Спустя две недели по требованию русского правительства труп якобы нашли и выдали. Месяцы спустя установили по простреленной руке, что это Грибоедов (об этом упоминает и Пушкин в «Путешествии в Арзрум»), но, отвечая на наши вопросы, специалисты в Тбилиси доказательств не прибавили. Могила Грибоедова условная, возможно, в ней лежит тело другого человека, перса с простреленной рукой, по другим сведениям, – случайный труп уловника.

Именно благодаря поручительству Грибоедова, сделанному раньше, Пушкин все же смог попасть в район действующей армии. Паскевич, давший разрешение Пушкину, высоко ценил Грибоедова и был его близким родственником. Теперь Грибоедов его больше не ждал, и у Пушкина появились плохие предчувствия. Хотя Пушкин и написал, что смерть Грибоедова была «мгновенна и прекрасна», вряд ли поэт отправился в путь, чтобы найти такую же смерть на Кавказе для себя.

В Тифлисе умер губернатор Николай Сипягин, с которым поэт раньше встречался у Всеволожских. Сипягин входил в число участников Российско-Закавказской компании, о которой мы упоминали выше. Пушкин в «Путешествии» отмечает его смерть мимоходом, хотя и пересказывает одну из версий. У современного грузинского автора сказано, что смерть Сипягина, которому было 43 года, наступила «при загадочных обстоятельствах». Следом были уничтожены сипягинские пись-

ма. Его имущество было вынесено на улицу и поспешно продано с торгов.³ Ходили слухи, что Сипягин с единомышленниками планировал осуществить военный переворот в Грузии.

Два с половиной месяца спустя при таких же странных обстоятельствах умер начальник дипломатической канцелярии Паскевича Ф.Хомяков, а вслед за ним – один из пайщиков компании француз Каstellла. Со смертью организаторов идея этого странного предприятия, сулившего деньги, очень нужные Пушкину для жизни на Западе, заглохла. А отчаянная надежда выиграть эти деньги в карты, которая не покидала поэта ни до, ни во время поездки на Кавказ, тоже оказалась несбыточной.

Принятие Пушкиным окончательного решения совпало с еще одной смертью. Отряд генерала и декабриста Ивана Бурцова, с которым Пушкин был знаком добрых двадцать лет, посланный в разведку на турецкую территорию, пробивался к Черному морю той самой дорогой, которая занимала Пушкина. Город Байбурт был примерно в двух третях пути до порта Трапезунд. Сосланный на Кавказ Бурцов, благодаря своему мужеству и героизму, дослужился до генеральского чина. И вот он был тяжело ранен. Потеряв командира, отряд начал поспешно отступать. Весть эта распространилась среди турок; с криками о священной войне и мести они устремились на русских. «Жаль было храброго Бурцова, – написал позже Пушкин, – но это происшествие могло быть губительно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче» (VI.475).

В «Путешествии в Арзрум» Пушкин пишет, что узнал о смерти Бурцова 19 июля от Паскевича, который выразил огорчение смертью своего приближенного (VI.475). Это произошло в день, когда он решил двигаться обратно. Однако фактически Бурцов умер спустя три дня. Если Пушкин услышал об этом, еще находясь в ставке Паскевича, то это также могло повлиять на его решение отказаться от побега в Турцию. А если он узнал об этом уже на обратном пути и позже просто присочинил огорчение Паскевича, то это известие не могло не поразить поэта, добавить к мартирологу еще один труп и убедить, что бегство к туркам было невозможно.

Пушкин долго готовился к поездке, но реальную ситуацию на Кавказе до того, как туда попал, представлял себе плохо. Он любил слушать турецкие песни еще в Кишиневе. Ему нравились турчанки. Он сам любил вспомнить, что его предок попал в Россию через Турцию. Константинополь имел для него особую притягательную силу: именно оттуда Ганнибал был прислан в качестве подарка Петру I. По-видимому, поэт переоценивал силу русского оружия, надеялся, что быстро захватят морские порты, а в них будет первое время неразбериха и отсутствие контроля. Оказавшись у Паскевича, он прочитал депешу Николая I от 30 июня 1829 года, останавливающую войска в связи с международными трудностями. «...Я предполагаю, – писал царь, – что Трапезонт не уйдет из рук ваших...»⁴

Недовольство тем, что Константинополь не оказался захваченным, можно увидеть в пушкинском стихотворении «Олегов щит». Русские войска пробирались к Константинополю под предлогом защиты Святых мест. Но Англии все было ясно, и она преградила путь русской армии под тем же предлогом. Русская военная машина забуксовала. Расчет на то, что русские достаточно приблизятся к морю, не оправдался. От Арзрума до моря оставалось верст 200 – минимум три дня пути по плохим горным дорогам, притом одинокому путнику без всякой охраны и без сопровождающих проводников.

Пушкин спервоначалу недооценил злобу персов и турок по отношению к русским. На каждом шагу он своими глазами видел зверства русской армии и ответную резню отступавших. Попади он к туркам в руки, пробираясь в одиночку к морю, с ним наверняка расправились бы мгновенно, как с Грибоедовым и Бурцовым. Он понял, что переход границы становится самоубийством. По дороге до ближайшего порта на Черном море его, выучившего для этой поездки два слова по-турецки («вербана ат» – дай лошадь), несмотря на африканскую внешность, примут за шпиона, беглого солдата или просто случайного русского, но все равно, значит, врага. А это верная смерть. Узнал здесь Пушкин и другое: по приказам русской военной администрации специальные подразделения ночью устраивали обыски в аулах, чтобы обнаружить среди осетин и турок русских перебежчиков (так тогда называли дезертиров), которых ждала каторга.

Как мы помним, 9 марта Пушкин отбыл из Петербурга, а 21 марта на столе у Бенкендорфа лежал донос о бегстве Пушкина на Кавказ. Ему несомненно известно об истинных намерениях поэта «на Кавказ и далее, если удастся...». На следующий день он распорядился о слежке.⁵ Более чем за два месяца до выезда Пушкина из Москвы на Кавказ графу Паскевичу было сообщено об учреждении за поэтом секретного надзора.

Уехав без разрешения Бенкендорфа, Пушкин имел основания опасаться, что его вернут обратно. Бенкендорф молчал почти четыре месяца и доложил о самовольной отлучке поэта царю лишь 20 июля, когда Пушкин был уже в Арзруме. Может быть, Бенкендорф почувствовал, что именно в этот момент Пушкин может исчезнуть, и поспешил доложить императору? Десять лет спустя Николай I вспомнит эту историю и скажет лицейскому приятелю Пушкина барону Корфу: «К счастью, там было кому за ним присмотреть. Паскевич не любит шутить».⁶ Нам кажется понятным, какие шутки имелись в виду.

Видимо, Бенкендорф понимал маневры Пушкина лучше самого поэта, и ему было ясно, что никуда беглец не денется. Он знал то, во что не поверил бы Пушкин: некоторые из знакомых поэту опальных декабристов исправно доносили в Третье отделение. На Кавказе Пушкина с нетерпением ждали и друзья, и осведомители, по инстанциям спускались распоряжения о наблюдении за прибывающим путешественником. Слежка была организована в лучших традициях сыскного дела.⁷ Не случайно Паскевич хотел, чтобы Пушкин неотлучно находился при нем. Ему сообщали о каждом шаге поэта. Бенкендорф на расстоянии контролировал Пушкина и поэтому не придавал такого значения путешествию, какое придавал ему сам поэт и какое спустя полтора столетия видится нам.

Зная о «хвосте», Пушкин вел себя осторожно. В несохранившемся письме Нащокину он писал, что «путешествует с особым денщиком».⁸ Две недели ждал он в Тифлисе пропуска от Паскевича. Паскевич, как и власти наверху, рассчитывал, что поэт воспевает воинские доблести (еще один довод для Бенкендорфа не пресекать своевольное путешествие). А если так, почему бы не дать писателю, добровольно на военный театр попавшему, возможность увидеть поле сражения? В опеке шефа Третьего отделения видятся два этапа: распоряжение Бен-

кендорфа следить за Пушкиным сперва помогло поэту, дало возможность добраться до передовой. Но в результате Пушкин никуда не мог деться от круглосуточной заботы Паскевича и людей Бенкендорфа.

Штаб Нижегородского драгунского полка, в котором у Пушкина был брат и приятели, находился в Карагаче. Тут была налажена эффективная система слежки за опальными декабристами, да и вообще за всеми, подозревавшимися в вольнодумстве. Именно поэтому сюда потом сослали Лермонтова, Одоевского, Оболенского и ряд других офицеров.

Строевым офицером в полку был майор Иван Казасси, сын надзирательницы женской половины Петербургского театрального училища М.Ф.Казасси. Пушкин знал их обоих в юности и писал о сексуальных шалостях с воспитанницами училища в послании Мансурову в 1819 году. Майор Иван Казасси был осведомителем Третьего отделения и рапортовал о каждой подробности поведения прибывшего сюда Пушкина. На пирушках и обедах Казасси непременно оказывался в одной компании с Пушкиным. Бенкендорф с удовлетворением отмечал отличные деловые качества Казасси. Через три года он был сделан подполковником корпуса жандармов и «с оказией» доставлял письма Пушкину от знакомых из Тифлиса.

Далее, от Тифлисского начальства Пушкин попал к главнокомандующему Паскевичу, так сказать, с рук на руки. Паскевич был хорошим командиром и организатором. Умный администратор, смелый и решительный человек, он заботился о солдатах, отменил муштру. При этом он принял Пушкина таким образом, чтобы его людям удобно было наблюдать за поэтом. Ординарцу Паскевича А.Абрамовичу было поручено следить за гостем. У Паскевича особым доверием пользовался также доктор Мартиненко, который был его личным соглядатаем и исполнителем самых разных поручений такого рода. Н.Потокский вспоминает открытую ссору фельдмаршала с поэтом, которому было предложено уехать.⁹ Впоследствии Паскевич был обижен на Пушкина и в письме к царю после смерти поэта высказался: «Жаль Пушкина как литератора... но человек он был дурной».¹⁰

Конечно, находясь постоянно под колпаком, невольно начинаешь переоценивать могущество тайной полиции. Пушкин

схал на Кавказ без разрешения, заведомо зная, что у него будут неприятности, если... он вернется. Пушкин еще не вернулся и, возможно, не знал, вернется ли, а Николай I, уверенный, что поэт никуда не денется, наложил на донесение Бенкендорфа резолюцию: «Потребовать от него объяснений, кто ему разрешил отправиться в Эрзерум, во-первых, потому что это вне наших границ, а во-вторых, он забыл, что обязан сообщать мне обо всем, что он делает, по крайней мере, касательно своих путешествий. Дойдет до того, что после первого же случая ему будет определено место жительства».¹¹

Уведомляя об этом Пушкина и будучи недовольным тем, что тот «странствовал за Кавказом», Бенкендорф прибавлял: «Я же с своей стороны покорнейше прошу Вас уведомить меня, по каким причинам не изволили Вы сдержать данного мне слова и отправились в Закавказские страны, не предупредив меня о намерении вашем сделать сие путешествие». Приятелю Пушкин, между прочим, сам рассказывал, что Николай I спросил его, как он смел поехать в армию. На ответ, что главнокомандующий ему это позволил, возразил: «Надобно было спроситься у меня. Разве не знаете, что армия моя?»¹²

Параллельно занималась Пушкиным и обычная полиция, хотя и не столь усердно. Спустя шесть месяцев после отъезда поэта из Тифлиса, полиция эта рапортовала, что имярек в Тифлисе «на жительстве и временном пребывании не оказался».¹³

Наконец, еще одна «смертельная» причина могла повлиять на отказ Пушкина от давно вынашиваемого решения бежать через русско-турецкий фронт. Хотя об этом поговаривали давно, внезапно Пушкин узнает от человека, стоявшего в карауле, что в Арзруме открылась чума. Попав с лекарем в лагерь, где находились больные чумой, Пушкин не слезал с лошади и, как он сам пишет, «взял предосторожность стать по ветру». Впрочем, он поспешил оттуда удалиться. «Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решил оставить армию» (VI.474). Мысль углубиться на территорию, зараженную чумой, и превратиться в одного из несчастных, медленно умирающих людей отвращала, вынуждала отказаться от задуманного, бежать назад как можно скорей.

Осмелимся утверждать с достаточной степенью уверенности, что, отправляясь на Кавказ в 1829 году, Пушкин думал

вырваться из России. Обычно он начинал действовать решительно. Эмоции опережали рассудок, как было уже не раз. Похоже, однако, что в данном случае были и план, и долгие приготовления, но по дороге, и особенно прибывши на место, беглец стал постепенно осознавать, что это сопряжено с такими трудностями, такими опасностями и риском, к которым он не был готов. Поэт с его суеверностью либо побоялся, либо передумал, что, практически, одно и то же. И это, как нам представляется, был разумный поступок. Чуть позже поляков-повстанцев, которых Пушкин ошелмует в своем верноподданническом стихотворении «Клеветникам России», повезут по Военно-Грузинской дороге под конвоем из Варшавы в ссылку на Кавказ. А еще позднее, в 1855 году, Адам Мицкевич умрет во время следующей русско-турецкой войны от холеры, добравшись до того самого Константинополя, куда стремился Пушкин.

Вряд ли отзыв о Пушкине тех дней его приятеля Михаила Юзефовича объективно отражал реальное состояние поэта: «Он был уже глубоко верующим человеком и одумавшимся гражданином, понявшим требования русской жизни и отрешившимся от утопических иллюзий».¹⁴ Просто в довершение всего Пушкин, каким бы он ни был энергичным любителем путешествий, устал от почти трехмесячной отвратительной дороги, грязи, плохого питания, бивачной жизни, отсутствия женщин. Он больше не стремился вперед, где его ждала неопределенность. Пушкин жаждал отдыха и, как это у него часто бывало, перегорел, разрядился, остыл и успокоился.

Меж горных стен несется Терек,
Волнами точит дикий берег,
Клокочет вокруг огромных скал,
То здесь, то там дорогу роет,
Как зверь живой, ревет и воет –
И вдруг утих и смирен стал.
Все ниже, ниже опускаясь,
Уж он бежит едва живой.
Так после бури истощаясь,
Поток струится дождевой (III.151).

В комментариях к этому черновому отрывку обычно говорится, что здесь описан обвал, который преградил Пушкину дорогу во время его путешествия в Арзрум. Нам же пушкинские строки видятся объяснением того, что с ним произошло. Теперь ясно, что легче и проще всего бежать за границу ему было из Кишинева, труднее из Одессы, еще сложнее из Михайловского, а побег через Кавказ на деле оказался сопряженным со смертельным риском. Поэт опять оказался у разбитого корыта, в том подвешенном состоянии, которое он однажды описал в письме к брату: «...кажется и хорошо – да новая печаль мне сжала грудь – мне стало жаль моих покинутых цепей» (X.53).

Оставалось соблудости хорошую мину и возвращаться назад. Он спустился с гор, отдохнул, полечился минеральными водами и двинулся на север. «Граф (Паскевич. — Ю.Д.) предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию», – сочинял Пушкин позже (VI.475). Бенкендорфу же он объяснял все еще нелепее: «Я понимаю теперь, насколько мое положение было фальшиво, а поведение легкомысленно; но, по крайней мере, тут было только одно легкомыслие. Мысль, что это можно приписать другой причине, была бы для меня невыносимой. Я скорее хотел бы подвергнуться самой строгой немилости, чем прослыть неблагодарным в глазах Того, кому я всем обязан, кому готов пожертвовать жизнью – и это не фраза» (X.205, фр.). Это была, конечно же, только пустая фраза и хитрость, чтобы перекрыть «другую причину», то есть попытку бегства за границу.

Хотя Пушкин и делал записи по дороге, отчет о поездке появился лишь спустя почти шесть лет. Во многих исследованиях «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» оценивается как выдающееся литературное произведение. «Путешествие в Арзрум», – приводим для примера цитату, – в истории русской путевой прозы занимает совершенно особое место. Пушкин взорвал изнутри традиционный жанр, расшатал его, казалось бы, незыблемые каноны и создал тот «вечный образец», который не был в достойной мере оценен современниками.¹⁵ Или оценка другого исследователя: «Путешествие в Арзрум» – это пиршество идей, здесь пафосом является поэзия мысли.¹⁶ Подобные оценки звучат пародийно.

Достаточно взять хотя б «Письма русского путешественника» Карамзина, чтобы увидеть всю поспешность и небрежность Пушкина. Между тем лишь иногда авторы осмеливаются отметить мелкие описки по части дат, событий и географии, вроде той, что гору Арагай Пушкин спутал с Араратом. Лишь единожды мы встретили замечание, что «Путешествие» фрагментарно, что впечатления поэта от похода были ему не важны, etc.¹⁷

Над названием Пушкин, видимо, недолго думал, поставил первое пришедшее на ум. Тогда в газетах и журналах часто печатались то «Путешествие в Малороссию», то «Путешествие в Кронштадт». У самого Пушкина имеется четыре работы под названием «Путешествия». Кстати, традиционно говорится, что Пушкин ездил на Кавказ, а произведение называется не «Путешествие на Кавказ», и даже не «Путешествие в Закавказье», но – «Путешествие в Арзрум», то есть в Турцию, ведь Арзрум был турецким, когда он туда собирался. А по существу, это произведение точнее было бы назвать «Неудачное путешествие в Турцию».

Осмелимся вразрез с традицией сказать, что «Путешествие в Арзрум» – одно из самых слабых произведений Пушкина. Обычно такой недосыгаемо искренний, автор здесь то и дело фальшивит. Напечатал Пушкин это эссе (если не считать публикации маленького отрывка) в первой книжке собственного «Современника». То и дело Пушкин стремится подчеркнуть свою лояльность, патриотизм, даже национализм. Оккупация у него – «приобретение важного края Черного моря», хотя он отмечает и некоторые негативные стороны колонизации Закавказья. Пушкинские эвфемизмы для оккупации: «Грузия прибегла под покровительство России» и «Грузия перешла под скипетр императора». Пушкин находит два гуманных средства «принуждения к сближению» и «укрощения сих диких людей»: самовар и – «более нравственное» – «Евангелие».

Тынянов видел в двух пушкинских стихотворениях, написанных во время путешествия, некую оппозицию и призывы к миру. Имеются в виду «Из Гафиза» и «Делибаш». Делибаш – еще одно турецкое слово, которое узнал Пушкин, означает – отчаянная голова.

Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! Каковы?
Делибаш уже на пике,
А казак без головы (III.133).

Никакого пацифизма в этих кровавых шутках нам не видится, и вряд ли можно отнести эти стихотворения к заслуживающим серьезного внимания. Кстати, они были без возражений цензуры опубликованы.

Оставим в стороне географическую информацию, почерпнутую Пушкиным из прочитанных книг. Пушкин использовал, например, книгу Н.Н. «Записки во время поездки из Астрахани на Кавказ и в Грузию в 1827 году», изданную в Москве в 1829. Автор, которого поэт знал, путешествовал вместе с Всеволожскими; собирался поехать с ними и Пушкин. У Пушкина было два экземпляра этой книги, из которых он много, как было доказано до нас, заимствовал.¹⁸ Отметим, что в работе Пушкина немало и собственных интересных наблюдений о нравах, о происходящем. Но по сути все-таки «Путешествие в Арзрум», нам кажется, опубликовано, так сказать, ради сокрытия истины о целях путешествия автора. Для понимания этой работы Пушкина-журналиста приходится опираться на весь существующий материал и лишь в последнюю очередь на текст и сохранившиеся черновики.

Кажется, автору скучно было описывать свое «Путешествие», а читателю скучно читать. Русские и кавказские пейзажи поэт сравнивает с картинами западных художников. Язык не богатый, с бесконечным «яканьем»: «Я ехал», «Я думал», «Я сказал» на каждой странице, без всяких попыток сделать текст стилистически богаче. Переделанное для публикации «Путешествие» так и осталось по сути личным дневником, написанным на ходу. Печать спешки заметна, хотя между сбором материала и публикацией этой небольшой рукописи прошло без малого шесть лет. Белинский, например, сразу отнесся к тексту «Путешествия в Арзрум» холодно, заметив лишь, что «он хорош только подписью автора». Почему ж Пушкин долгое время спустя надумал свои заметки печатать? Как остроумно выразился один пушкинист, автор «решил выдать свои путевые записки».¹⁹

За год до опубликования «Путешествия в Арзрум» поэта пригласил к себе главнокомандующий граф Паскевич и попросил осветить талантливym пером турецкую кампанию. Пушкин обещал выполнить свой долг и заплатить за кавказское гостеприимство фельдмаршала, хотя ясно, что поэт это делал не для одного Паскевича. Однако был, видимо, и еще один внешний повод. За полгода до публикации во Франции вышла книга, в которой перечень генералов, командовавших русской армией, заканчивался так: «...и наконец, г-н Пушкин... покинувший столицу, чтобы воспеть подвиги своих соотечественников».²⁰ Пушкина это, видимо, обидело. Во всяком случае, в предисловии к «Путешествию» он писал: «Признаюсь: строки французского путешественника, несмотря на лестные эпитеты, были мне гораздо досаднее, нежели брань русских журналов» (VI.433).

Поэт говорил, что публикует свои записки так, как они были сделаны в 1829 году, а сам переписал их. Существует точка зрения, что по поводу публикации «Путешествия в Арзрум» автор встречался с Бенкендорфом, а текст редактировался лично Николаем Павловичем.²¹ Но и тут, спустя шесть лет после войны, цензура вместо слов «Сводный уланский полк» поставила «*** уланский полк», – такова уж природа русской секретности.

Так или иначе, позиция Пушкина в «Путешествии в Арзрум» выглядит двойственной: на деле он, безусловно, отдавал должное славе покорителей Закавказья. Почитаемый им генерал Ермолов «желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу». Но при этом поэт пытается гордо отвергать упреки в славолюбии: «Приехать на войну, с тем, чтоб воспевать будущие подвиги, было бы для меня, с одной стороны, слишком самолюбиво, а с другой – слишком непристойно» (VI.433). Но задним числом он это сделал. Двойственность позиции самого Пушкина во время путешествия отразилась и в произведении на эту тему.

За годы, прошедшие от поездки до публикации «Путешествия», и ситуация, и сам поэт изменились. Пушкин женился и стал государственным чиновником. Уже прошли польские события: Паскевич потопил в крови Варшаву. На портрете на-

местник изображен самодовольным – с рукой, положенной на карту Польши. Жуковский и Пушкин откликнулись панегириками на это событие, и от них многие отвернулись. Молчание писателя в своем «Путешествии» об истинных целях, делах и встречах, упоминание небольшого количества имен можно, скорей всего, объяснить не только и не столько разумной осторожностью, скованностью, сколько тем, что к моменту сочинения живые подробности попросту выветрились из памяти.

Само собой, если не считать нескольких взволнованных строк о переезде речки Арпачай, границы с Турцией, к которой он так стремился, – ответа на сокровенные мысли поэта в тексте «Путешествия в Арзрум» искать бессмысленно. И именно бессмысленность публикации истинным писателем неискреннего произведения в угоду обстоятельствам кажется нам основной причиной, по которой он откладывал писание и публикацию, пока на него не надавили, что это надо сделать. Естественно, реальное назначение поездки из текста не ясно, но и легендарная цель, как выше говорилось, расплывчата, и этот компромисс великого поэта с реальностью можно понять и простить.

Итак, бегство за границу, как бывало у Пушкина уже много раз, не состоялось. Не доведя операцию до конца, поэт капитулировал. Разрядившись, соскучившись по друзьям, набравшись впечатлений, он возвратился в Москву мрачным. «Цинизм его увеличивается», – вспоминала Анна Керн о вернувшемся из Арзрума поэте.²² Мы видим теперь, что Пушкин не смог учесть ни реальной ситуации, ни своих возможностей. Попытка была обречена на неудачу. «Далекий вожденный берег», о котором так мечталось, не приблизился, а может быть, даже стал дальше.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Пушкин «бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну», которую нам суждено разгадывать. Это заметил Достоевский.¹ Тайну эту разгадывают давно. По меньшей мере, один аспект биографии и творчества великого русского классика, закулисная сторона его жизни, до сего времени, как ни странно, всерьез не затронутая пушкинистами, стала главной темой двух хроник под общим названием «Узник России».

Кажется, о Пушкине – поэте, прозаике, критике, историке, журналисте, наконец, о Пушкине-человеке, – известно все. За полтора века литературоведение узнало о нем больше, чем он сам знал о себе. Обсуждены его воззрения на литературу, философию, политику, религию, экономику, даже медицину. Подсчитано, сколько раз употребил он в сочинениях то или иное выражение. Зарегистрировано, на каком расстоянии стрелялся на дуэлях, какой длины отращивал ногти, какие лекарства и от каких болезней принимал. С точностью до рубля подсчитаны его долги. Изучены предки Пушкина шестисотлетней давности. Каталогизированы имена большинства женщин, которых он удостоил своим вниманием. Изданы книги анекдотов о нем. Составлены подробные карты его путешествий и хронологии его жизни от первого до последнего вздоха. Образованный человек в России знает Пушкина лучше, чем самого себя.

Вопрос, однако, в том, какого Пушкина мы знаем с детских лет. Пушкин – национальная святыня, «центральный ху-

дожник», как сказал о нем Иван Тургенев.² Пушкин – ключевая фигура не только русской литературы, но и русской культуры вообще. Именно потому, что он оказался ключевой фигурой, вот уже полтора века власти, партии, социальные группы в поисках исторической опоры делают его своим единомышленником.

Пушкина используют не только в литературных, но в политических и религиозных, групповых и личных целях. В разные времена, а иногда и одновременно, его считали философским идеалистом, индивидуалистом, русским шеллингианцем, эпикурейцем и представителем натурфилософии, истинным христианином (то есть православным), монархистом, воинствующим атеистом, масоном, мистиком и прагматиком, оптимистом и пессимистом. В советский период его называли помещичьим поэтом, потом он прошел чистку, стал поэтом-революционером, декабристом, просто материалистом и даже, в соответствии с марксистской идеологией, историческим материалистом.

В какой-то мере авторы всех этих точек зрения были правы. Духовный мир Пушкина, как заметил философ Семен Франк, «многослоен».³ Гений – всегда энциклопедист, и элементы интереса к чему угодно можно найти, если не в изданных сочинениях, то в черновых рукописях или пометках на книгах домашней библиотеки. Наука о Пушкине продвигалась в фактическом отношении, но концептуально в разные периоды оказывалась в подчинении у идеологии, в какие бы маски эта идеология ни рядилась. В советское время официальная пушкинистика превратилась в бюрократический аппарат, который подавлял любую неординарную мысль. Достаточно вспомнить постановления о юбилеях Пушкина, стандартизированные биографии поэта, тенденциозно подобранные его избранные сочинения, выпущенные десятками миллионов экземпляров, и урезанные мемуары, в которых Пушкин «соответствовал». До сих пор произведения Пушкина и, добавим, исследования многих пушкинистов остаются оскопленными цензурой.

Государство присвоило себе не только авторские права на произведения писателя, но и право трактовать его биографию в полезном для данного момента и данной власти свете. Критика Пушкина, столь способствовавшая его известности при жизни, впоследствии стала рассматриваться как посягательств-

во на национальные святыни. Журналист Ксенофонт Полевой, одним из первых назвавший Пушкина великим поэтом за бессмертные заслуги перед русской словесностью, с грустью отмечал: «Знаю, что я должен очень осторожно говорить о Пушкине. Нашлись люди, которые в последнее время усиливались представить меня каким-то ненавистником нашего великого поэта и чуть не клеветником нравственной его жизни».⁴

Пушкин с его гениальностью и вполне человеческими стремлениями и слабостями все больше соответствовал образу, нужному власть предержащим. Его сделали идолом, размноженным в памятниках, названиях городов и улиц, олицетворением русского духа, одним из официальных героев, символом великодержавной России. После Октябрьской революции думающие пушкинисты попытались было противиться этой тенденции. Борис Томашевский очень огорчался, что «мнимый Пушкин играет такую большую роль в литературе о Пушкине».⁵ А поэт был превращен в мумию, в икону, которой нужно было поклоняться, не мучаясь сомнениями и не задавая лишних вопросов.

Не вина, а трагедия Пушкина, что он превращен в точку опоры пропаганды, предназначенной для массового читателя. Не вина, но беда пушкиноведения, что оно вынуждено было укрывать истину, смещать акценты, поддерживать и разрабатывать мифы. Естественное для большинства людей, в том числе и для Пушкина, чувство родины было превращено в полезный для идеологии инструмент. Его склоняли к воспеванию империи при жизни, он подчинялся, но и мертвый он обязан своей жизнью и творчеством подтверждать правоту русской власти – как ее стабильность, так и ее переменчивость.

Реальный Пушкин никогда не был за границей. Начав, как мы теперь знаем, попытки выехать из России сразу после окончания лицея, Пушкин продолжил их в Кишиневской ссылке, в Одессе и в Михайловском. Вернувшись в Москву, он снова надеялся, что его выпустят на все четыре стороны легально, а ему пришлось бежать в Закавказье, чтобы кружным путем через Турцию пытаться добраться до Европы. Но цепь только натянулась, не оборвалась. Выхода не предвиделось.

Возникает типично русский вопрос, на который не только не ответило, но который и не ставило еще пушкиноведение.

Ответ на этот важный вопрос затрагивает миф об официальном государственном поэте-патриоте, строившийся полтора столетия. Вопрос этот: хотел Пушкин просто поехать за границу и вернуться или собирался уехать навсегда, то есть эмигрировать?

У Пушкина, как отметит погибший в сталинских лагерях и посмертно реабилитированный пушкинист Петр Губер, было «пламенное желание» побывать за границей.⁶ В первые годы после лица Пушкин, принятый на службу в Министерство иностранных дел, собирался за границу служить чиновником по дипломатической части. Затем он не раз пытался просто поехать с тем, чтобы путешествовать и расширить кругозор, как это делали многие люди его круга. Скорей всего, Пушкин вернулся бы из заграничного путешествия, рассуждая, как его коллега, друг и родственник Евгений Боратынский в письме матери: «Я вернусь в мою родину исцеленным от многих предубеждений и с полной снисходительностью к некоторым нашим истинным недостаткам, которые мы часто с удовольствием преувеличиваем».⁷

В отличие от всех его собратьев по перу, Пушкину категорически не разрешали выехать. И тогда поэт начинает искать возможности покинуть родину тайно. Эти попытки, как мы знаем, задумывались им много раз. Но как только Пушкин задумал первый раз бежать, то есть покинуть родину нелегально, и начал предпринимать усилия, чтобы дело увенчалось успехом, – для того, кто понимает русскую историческую ситуацию, становится ясно, что вернуться Пушкину было бы невозможно. Побег из России на Запад напрочь отрезал любому беглецу добровольный путь назад, ибо возврат означал бы печальное путешествие в Сибирь, которое Пушкин также обдумывал в деталях применительно к себе не раз.

Стать беглецом – автоматически означало сделаться невозвращенцем, политическим эмигрантом, изгоем. Таких людей Россия плодила в течение нескольких столетий. А власти лепили из них пропагандистские чучела отщепенцев, изменников родины, врагов. Как правило, беглецы, превратившиеся в изгнанников, возвращались обратно после серьезных политических перемен внутри страны или – после смерти. Наиболее значительные из эмигрантов становились хранителями ду-

ховного наследия, до того на родине запретного. А беглецы-неудачники кончали жизнь на каторге.

И те, и другие случаи во все времена имели место. Пушкин, разумеется, знал о них, подобные события происходили с его знакомыми, и поэт не раз примеривал их судьбу на себя. Итак, не остается лазейки для сомнений, что Пушкин, решая стать беглецом, хотел он того или нет, был вынужден присокупить к этому эмиграцию.

Не сыскать в истории русской литературы другого писателя, который был бы одновременно таким простым и таким загадочным, как Пушкин. Одним из любимых занятий его было рисовать собственные профили. Он делал это всю жизнь, и в дошедших до нас рукописях можно собрать интересную коллекцию. Впрочем, на эту тему уже имеется обширная литература. Но в ней не найти ответа на простой вопрос, который невольно возникает: почему все профили поэта, сделанные им самим, смотрят только на Запад? Впрочем, это, конечно же, шутка.

Серьезный вопрос в том, почему мечта жизни поэта не осуществилась. Кто или что помешало поэту осуществить хотя бы одну из своих попыток: царь? тайная полиция? чувство долга перед отечеством? женщины, которых он любил? деньги? собственный характер? страх? Наверное, даже у гения лежит пропасть между желаниями и их осуществлением. Поэт по природе своей беглец, и если бежать ему некуда, то он бежит от самого себя. Пушкину было от кого бежать и было куда: ему тесно, ему душно в России. Он называл себя то «беглецом», то «изгнанником», хотя беглец – самовольно спасающийся от властей, а изгнанник – человек, насильственно удаленный. Парадокс великого поэта в том, что он считал себя беглецом даже тогда, когда был в ссылке, то есть был изгнанником. И чувствовал себя изгнанником в Москве или в Петербурге, когда вовсе не был в ссылке. На вопрос, кто же он, поэт, как мы знаем, ответил о себе сам:

...Изгнанник самовольный,
И светом, и собой, и жизнью недовольный,
С душой задумчивой (II.63).

Естественное его желание посмотреть мир – подавлено, запрещено, сделано преступлением. Ему не дали возможности увидеть Европу, Африку, Китай, куда он стремился, насильно изолировали от живой западной культуры. Солнце русской поэзии взошло на Востоке и хотело сесть на Западе. Но осуществиться этому было не суждено. Доведенный до отчаяния, незадолго до смерти поэт сам сформулировал свое отношение к родине, которую любил: «...черт догадал меня родиться в России с душою и талантом!» (X.454)

Мировое значение Пушкина всегда преувеличивалось и искажалось. «Обвинять Европу в том, что она не заметила Пушкина, мы, русские, собственно не можем. Ведь мы сами упорно обносили его пограничными столбами», – писал западный исследователь.⁸ Кем бы стал Пушкин по отношению к Западу, проживи он еще четверть века: Гоголем или Герценом? Ответа у нас никогда не будет.

Настала пора нового подхода к пониманию Пушкина, этапа пушкинистики, свободного от схоластики и идеологических запретов. Жизнь и творчество Пушкина, находившегося всю жизнь на цепи, в состоянии имманентного трагизма, нельзя ни понять, ни объяснить вне его стремления увидеть Запад. Но именно этот аспект его биографии всегда оставался в тени. Замысел книги о, как говорили в советскую эпоху, «выездном деле» Пушкина не только для читателей, но и для литературоведения новый. Если не считать одной дореволюционной статьи, данная тема вообще специально не изучалась.⁹ А важность ее несомненна. Ведь и сосредоточенный на национальном самосознании Достоевский, говоря о Пушкине, соглашался, что «стремление наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайностями его, было не только законно и разумно, в основании своем, но и народно, совпадало вполне с стремлениями самого духа народного, а в конце концов бесспорно имеет и высшую цель».¹⁰ Огромная литература о Пушкине дает возможность по-новому прочитать полузабытые документы, свидетельства мемуаристов, архивные материалы. Возникает возможность сравнивать, сосредоточить внимание на белых пятнах, обнаружить противоречия, понять заблуждения, построить новые гипотезы.

Не раз отмечалось, что, вырывая одного писателя из контекста среды, мы нередко приписываем ему заслуги, принад-

лежащие литературе целой эпохи. Книга «Узник России» сознательно избегает широкого жизнеописания и анализа творчества Пушкина вообще. Рассмотрение биографии писателя, да еще столь известного, под определенным углом зрения неизбежно ведет к некоторому перекосу, к гиперболизации одной темы в ущерб другим, вынуждает постоянно опускать важное, но не относящееся непосредственно к основной задаче. Нельзя не согласиться с Василием Ключевским: «О Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и не скажешь всего, что следует».¹¹

Меньше всего хотелось, чтобы кто-нибудь воспринял этот труд в качестве попытки поставить под сомнение значение Пушкина, да еще в эпоху, когда, кажется, только он и остается на культурном кладбище России неразгромленным. Как справедливо заметил Викентий Вересаев, «скучно исследовать личность и жизнь великого человека, стоя на коленях».¹² Постигание истины, очистка исторического прошлого от наслоений лжи не расшатывает, но укрепляет подлинные культурные ценности, каковой, без сомнения, является Пушкин. Он мастер, совершивший рывок из русской литературы средневековья в литературу современную. И вдвойне мастер, потому что творил, будучи от живой европейской цивилизации насильно изолированным. Он старался связать Россию с Западом, а ему ставили палки в колеса.

*Москва,
1983-87,
Дейвис, Калифорния,
1988-93.*

ПРИМЕЧАНИЯ

Сноски на цитаты из Пушкина приводятся в тексте. Их принято давать по Большому академическому собранию сочинений в 16-ти томах (Издательство Академии наук СССР, 1937-1949, справочный том – 1959). За полвека, прошедшие после выпуска, это важнейшее издание обросло множеством критических замечаний, поправок и дополнений, а тома комментариев остались неизданными по политическим причинам.

В данной работе мы ссылаемся в основном на более позднее Малое академическое издание: А.С.Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах. Издание четвертое. Под редакцией Б.В.Томашевского. Издательство «Наука», Ленинград, 1977-1979. Оно тоже устаревшее, с тенденциозным толкованием отдельных текстов, но лучшего пока нет. Римская цифра в круглых скобках означает том, арабская – страницу. Если текст цитируется по Большому академическому собранию сочинений, то указывается: Б.Ак. и арабскими цифрами том и страница.

Из-за купюр, сделанных в разное время цензурой, тексты иногда уточняются по микрофильмам рукописей и всем доступным источникам.

«Узник России» публиковался: первый том в 1992 (издательство Antiquary, США), второе издание – 1993 (издательство Московского университета); второй том в 1993 (издательство Heritage, США); оба тома вместе – издательство Изограф, Москва, 1997.

Хроника первая ИЗГНАННИК САМОВОЛЬНЫЙ

Глава первая ПУШКИН СОБИРАЕТСЯ ЗА ГРАНИЦУ

¹ Воспоминания Катенина были переданы Павлу Анненкову и опубликованы им впервые: П.В.Анненков. Материалы для биографии А.С.Пушкина. Соч. Пушкина с приложением материалов для биографии, портрета, снимков с его почерка и его рисунков, и проч. Спб., 1855. Здесь: Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.1, с. 183, комментарий, с.477.

² Ibid.

³ Ю.М.Лотман. Роман «Евгений Онегин». Л., 1983, с.376.

- ⁴ М.А.Цявловский. Тоска по чужбине у Пушкина. Голос минувшего, 1916, №1. Отд. оттиск с авторской надписью, 2.VI.1916.
- ⁵ Gnammanku Dieudonne. Abraham Hanibal: l'aieul noir de Pouchkine. Paris, 1996.
- ⁶ Н.К.Телетова. Забытые родственные связи А.С.Пушкина. Л., 1981.
- ⁷ В.В.Маяковский. Мое открытие Америки. Соч. в одном томе. М., 1941, с.217.
- ⁸ Летописи Государственного литературного музея Пушкина. Кн. I, М., 1936, с.447.
- ⁹ Н.К.Телетова. Забытые родственные связи А.С.Пушкина. Л., 1981.
- ¹⁰ П.Милюков. Очерки по истории русской культуры, часть I. М., 1918.
- ¹¹ Ю.М.Лотман. Пушкин. Л., 1982, сс.12, 28.
- ¹² Б.В.Томашевский. Пушкин и Франция. Л., 1960, с.62.
- ¹³ Воспоминания о детстве А.С.Пушкина со слов его сестры О.С.Павлищевой. Летописи Гослитмузея. Кн. I, М., 1936, сс. 453–454.
- ¹⁴ Цит. по: В.Вересаев. Пушкин в жизни. Вып. I. М., 1926, с.46.
- ¹⁵ О.С.Павлищева в передаче П.И.Бартенева. Род и детство Пушкина. Отечественные записки, ноябрь, 1853.
- ¹⁶ Например, А.Попов. Пушкин и французская юмористическая поэзия XVIII века. Пушкинский историко-литературный сб. под ред. С.А.Венгерова. Спб., 1914, т.I, с.205.
- ¹⁷ П.В.Анненков. Материалы для биографии. Соч.Пушкина, т.1, Спб., 1855, с.6.
- ¹⁸ Этому посвящена специальная работа Л.И.Вольперт «Пушкин и психологическая традиция во французской литературе». Таллинн, 1980, с.214.
- ¹⁹ В.П.Бурнашев. Из воспоминаний петербургского старожила. Заря, 1871, №4, с.25.
- ²⁰ «Протокол Лицейской годовщины», написанный самим поэтом. Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.–Л., 1935.
- ²¹ Высказывания Д.Шарыпкина, П.Морозова и др. Временник Пушкинской комиссии, 1970, сс.91–95.
- ²² С.П.Шевырев. Рассказы о Пушкине. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985, т.2, с.49.
- ²³ Летописи Государственного литературного музея Пушкина. Кн. 1, с.88.
- ²⁴ Об этом вспоминает сестра Пушкина О.С.Павлищева. Ibid, с.453.
- ²⁵ К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. М., 1959, т.13, с. 603, т.11, с.323.
- ²⁶ В.Глинский. Республиканец при дворе. Исторический вестник, т.XXXIV, Спб., 1888, с.89.
- ²⁷ С.Ф.Платонов. Лекции по русской истории. Изд.7–е. Спб., 1910, с.624.
- ²⁸ Ibid, с.623.
- ²⁹ И.С.Тургенев. Речь по поводу открытия памятника Пушкину в Москве. Соб. соч. М., 1979, т.12.
- ³⁰ Очерки по истории русской культуры. М., 1918, ч.I, сс.156–157.
- ³¹ Цит. по: Г.Р.Державин. Избранная проза. М., 1984, с.143.
- ³² Воспоминания эти приводит Я.Грот: Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Изд.3–е, Спб., 1901, с.246.
- ³³ Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.I, с.119.
- ³⁴ Ibid, с.117.
- ³⁵ Рукою Пушкина. М.–Л., 1935, с.290.

³⁶ Абрам Терц. Прогулки с Пушкиным. Лондон, 1975, с.78.

³⁷ Поэты пушкинского круга. М., 1983, с.454.

³⁸ Туманский — Пушкину из Одессы, 12 апреля 1827 г. Переписка А.С.Пушкина. М., 1982, т.1, с.172.

Глава вторая «ПЕРЕСЕЛИТЬ ЕГО... В ГЕТТИНГЕН»

¹ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.131.

² Жуковский — Вяземскому, 19 сентября 1815. Литературное наследство, т. 58.

³ К.Н.Батюшков. Соч. Спб., 1887, т.3. сс. 553–554.

⁴ Пушкин. Сб. статей под редакцией А.Еголина. М., 1941, с.29.

⁵ Цит. по: Книжное обозрение, 1991, №6, с.5.

⁶ РГАЛИ, фонд 384, ед. хр. 326.

⁷ Письмо от 11 июля 1818. В книге: Письма Н.М.Карамзина И.И.Дмитриеву. Спб., 1866, с.243.

⁸ К.Н.Батюшков. Соч. Спб., 1887, т.3, с.503.

⁹ Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899, т.1, с.150.

¹⁰ Ibid, с.110.

¹¹ И.С.Тургенев. Новые письма Пушкина. Сб. соч. т. 12. М., 1979, с.258.

¹² В.Кирпотин. Наследие Пушкина и коммунизм. М., 1936, сс.7 и 122.

¹³ В.Непомнящий. Начало большого стихотворения. Вопросы литературы, 1982, №6, с.126.

¹⁴ Б. Вадецкий. Федор Матюшкин. М.-Л., 1949, сс. 8–9.

¹⁵ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 128.

Глава третья НЕВЫЕЗДНОЙ

¹ РГАЛИ, фонд 384, ед. хр. 326.

² Цит. по: Книжное обозрение, 1991, №6, с.5.

³ Ibid.

⁴ Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию. Спб., 1906, с.224.

⁵ Н.А.Рожков. Происхождение самодержавия в России. Пг., 1923, с.101.

⁶ С.М.Соловьев. История России с древнейших времен. М., 1959–1966, т.5, с.340.

⁷ Г.Котошихин. О России в царствование Алексея Михайловича. 1666, сс.52–53.

⁸ Ю.Крижанич. Политика. М., 1965, сс.384, 407, 482, 540.

⁹ Daniel Rancour-Laferriere. Out from under Gogol's Overcoat. Ardis, 1982, p.228.

¹⁰ Б.А.Майков. Пушкин. Изд.2-е. Спб.-Варшава, 1912, сс.107–108.

¹¹ Н.М.Карамзин. Письма русского путешественника. М., 1980, с.28.

¹² Временник Пушкинской комиссии, 1973, с.72.

¹³ Письмо к И.И.Дмитриеву, 30 декабря 1798. Цит. по: Н.Эйдельман. Последний летописец. М., 1983, с.39.

¹⁴ Проблемы истории общественных движений и историографии. Сб. М., 1971, сс.62–92.

¹⁵ О романтической поэзии. Опыт в трех статьях. Ст. третья. Соч. О.Сомова. Спб., 1823, с.87.

¹⁶ И.А.Крылов. Соч. М., 1956, т.1, с.151.

Глава четвертая КОНФЛИКТ УМА И СЕРДЦА

¹ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.161.

² Альбом Московской Пушкинской выставки 1880 года. М., 1882, с.45.

³ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.142.

⁴ Ibid, с.148.

⁵ Цит. по: Пушкин. Сб. статей. М., 1941, с.60.

⁶ П.В.Анненков. Пушкин. Материалы для его биографии и оценки произведений. Спб., 1873, с.40.

⁷ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.143.

⁸ Письмо полностью не опубликовано. Архив бр. Тургеневых. ИРЛИ, ф.309, №230.

⁹ Остафьевский архив князей Вяземских. Письмо от 28 августа 1818. Спб., 1899.

¹⁰ Звенья. Сб. материалов и документов, т.7, М.-Л., 1936, с.195.

¹¹ Ibid.

¹² Н.М.Карамзин. Письма русского путешественника. М., 1980, с.38.

¹³ А.Н.Муравьев. Ответ сочинителю речи о защищении права дворян на владение крестьянами. В сб.: Их вечен с вольностью союз. М., 1983, с.221.

¹⁴ Декабрист Н.И.Тургенев. Письма к брату С.И.Тургеневу. М.-Л., 1936, с.267.

¹⁵ Н.И.Тургенев. Запись в дневнике 21 июня 1819. Сб.: Их вечен с вольностью союз. М., 1983, с.314.

¹⁶ Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899, т.1, с.137.

¹⁷ П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874, с.137.

¹⁸ Всеобщая история, обработанная «Сатириконом». Спб., 1912, с.230.

¹⁹ См. указания на прямые заимствования в «Руслане и Людмиле», отмеченные Б.А.Майковым: Пушкин. Изд.2-е, Спб.-Варшава, 1912, сс.35-37.

²⁰ Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899, т.1, сс.200, 202.

²¹ К.Н.Батюшков. Соч. Спб., 1887, т.3, с.555.

²² Декабрист Н.И.Тургенев. Письма к брату С.И.Тургеневу. М.-Л., 1936, с.299.

²³ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, сс.161, 182, 187.

²⁴ Б.Вадецкий. Федор Матюшкин. М.-Л., 1949, сс.42-43.

²⁵ В.В.Вересаев. Пушкин в жизни. М., 1936, т.1, с.132.

²⁶ П.А.Вяземский. Из старой записной книжки. Русский архив, №11, с.2139.

²⁷ Невский зритель, 1820, февраль-апрель; Соревнователь просвещения и благотворения, 1820, №1-3.

²⁸ Старина и новизна, кн.1, с.99.

²⁹ Пора, наконец, нам кажется, вернуться к правильному написанию фамилии русского классика. Аргумент, что слишком много издано с ошибкой, представляется ошибочным. Между тем, пра-пра-правнучка Евгения Боратынского Katherina Boratynski, работающая вместе с нами в Калифорнийском университете, ни слова не знает по-русски, но свою фамилию пишет правильно.

³⁰ Воспоминания о Тынянове. Сб.: Портреты и встречи. М., 1983, с.58.

³¹ Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.1, с.221.

³² Русская старина, 1887, т.53, сс.241-242.

³³ М.Басина. На берегах Невы. Л., 1969, сс.234-235.

³⁴ М.А.Цявловский. Статьи о Пушкине. М., 1962, сс.45-46.

Глава пятая КУРОРТНИК ПОНЕВОЛЕ

¹ Пушкин в воспоминаниях современников, т.2, М.,1974, сс. 106-107.

² Письма Н.М.Карамзина И.И.Дмитриеву. Спб., 1866, с. 290.

³ Цит. по: М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951.

⁴ А.М.Фадеев. Воспоминания 1790-1867. Одесса, 1897, сс.43-44.

⁵ Цит. по: В.Я. Рогов. Далече от берегов Невы. 1984, с. 45.

⁶ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с. 227.

⁷ М.А. Булгаков. Соб. соч. Энн-Арбор, т.1, с.228.

⁸ Ю.М.Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л.,1981, сс.57-58.

Глава шестая КИШИНЕВ: ТРАНЗИТНЫЙ ПУНКТ

¹ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951.

² И.Н.Халиппа. Бессарабия до присоединения к России. Кишинев, 1914.

³ А.Н.Шимановский. Пушкин в Кишиневе в связи с предыдущей и последующей жизнью. Кишинев, 1900.

⁴ Юбилейный сборник Кишинева. 1812-1912, с.1.

⁵ Цит. по: Пушкинские места в Молдавии. Кишинев, 1973, с.9.

⁶ Книга, которую мы не сумели разыскать: А.Я.Стоженко. Два месяца в дороге по Бессарабии. 1829. Цит. по: И.Н.Халиппа. Город Кишинев времен жизни в нем Пушкина. Кишинев, 1899, с.67.

⁷ Б.А.Трубецкой. Пушкин в Молдавии. Кишинев, 1983.

⁸ В.Теплов. Граф И.Каподистриа, президент Греции. Исторический очерк. Спб., 1893.

⁹ С.Потоцкий. Инзов. Биографические очерки. Бендеры, 1904.

¹⁰ Пушкин в Бессарабии. Сб. Кишинев. 1899.

¹¹ М.Хазин. Твоей молвой наполнен сей предел. Кишинев, 1979. сс.155-156.

¹² Друзья Пушкина. М., 1984, т. I, с.229.

¹³ Ю.Н.Тынянов. Избр. произв. М., 1956, с.76. См. также: Тынянов. Французские отношения Кюхельбекера. В сб.: Пушкин и его современники. М., 1969, сс.295-347.

¹⁴ Б.А.Трубецкой. Пушкин в Молдавии. Кишинев, 1983. с.305.

¹⁵ Ю.Н.Тынянов. Пушкин и его современники. М., 1969. с.324.

¹⁶ Ю.Н.Тынянов. Избр. произв. М., 1956.

¹⁷ Н.И.Греч. Записки о моей жизни. М.-Л., 1930, сс.462-463.

¹⁸ Письмо это от 20 ноября 1820 года цитирует М.А.Цявловский в Летописи жизни и творчества Пушкина. М.,1951.

¹⁹ Друзья Пушкина. М., 1984, т.2, с.136.

²⁰ Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.1, сс. 298-299.

²¹ Н.К.Телетова. Забытые родственные связи Пушкина. Л., 1981.

- ²² М.Хазин. Твоей молвой наполнен сей предел. Кишинев, 1979, с.177.
²³ М.А.Цявловский. Тоска по чужбине у Пушкина. Голос минувшего, 1916.
²⁴ Л.С.Масевич. Из Кишинева о Пушкине. В сб. статей: В.Я.Яковлев. Отзывы о Пушкине с юга России. Одесса, 1887, с.29.

Глава седьмая С ГРЕКАМИ В ГРЕЦИЮ

- ¹ Н.Барсуков. Жизнь и труды Погодина. Спб., 1888, кн.І, сс.109, 194–195. А также: М.Хазин. Твоей молвой наполнен сей предел. Кишинев, 1979.
² Пушкин. Статьи и материалы. Вып. І. Одесса, 1925, с.5.
³ Ю.М.Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981.
⁴ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951.
⁵ Цитируется по: М.Хазин. Твоей молвой наполнен сей предел. Кишинев, 1979, с.145.
⁶ И.А.Новиков. Пушкин в изгнании. М., 1985, с.223.
⁷ Воспоминания И.П.Липранди. Русский Архив, 1866, сс.1481–1482.
⁸ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951.
⁹ М. Хазин. Твоей молвой наполнен сей предел. Кишинев, 1979, сс.145–146.
¹⁰ Н.О.Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд.2–е, Спб., 1910, с.486.
¹¹ В.Н.Иванов. Александр Пушкин и его время. Хабаровск, 1985.
¹² П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874, сс.196–197.
¹³ Н.Барсуков. Жизнь и труды М.П.Погодина. Кн.1, Спб., 1888, с.109.
¹⁴ В.Я.Брюсов. Летопись жизни Тютчева. Русский Архив, 1903, с.486.

Глава восьмая БЕГСТВО С ТАБОРОМ

- ¹ Пушкинский историко–литературный сборник. Под ред. С.А.Венгерова. Спб., 1914, т.1.
² Пушкин. Статьи и материалы. Вып.І. Одесса, 1925.
³ Материалы собраны в кн: Б.А.Трубецкой. Пушкин в Молдавии. Кишинев, 1983.
⁴ Л.А.Черейский. Пушкин и его окружение. Л., 1988, с.192. Воспоминания о Кириенко и Пушкине опубликованы в «Русском обозрении», 1890, №№ 1–3.
⁵ В.А.Яковлев. Отзывы о Пушкине с юга России. Сб. статей. Одесса, 1877.
⁶ Пушкин в Бессарабии. Кишинев, 1899.
⁷ А.Н.Шимановский. Пушкин в Кишиневе в связи с предыдущей и последующей жизнью. Кишинев, 1900.
⁸ Б.А.Трубецкой. Овидиев венец. Кишинев, 1969, с.43.
⁹ Б.А.Трубецкой. Пушкин в Молдавии. Кишинев, 1983, сс.301–304.
¹⁰ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.306.
¹¹ Новороссийский телеграф, 22 мая 1880, №1576.

Глава девятая НАДЕЖДА НА ВОЙНУ

- ¹ А.Н.Шимановский. Пушкин в Кишиневе в связи с предыдущей и последующей жизнью. Кишинев, 1900, сс.71–72.

- ² И.А.Новиков. Пушкин в изгнании. М., 1985, с.125.
- ³ Пушкин. Статьи и материалы. Вып. I. Одесса, 1925.
- ⁴ Ю.М.Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981.
- ⁵ Пушкин. Статьи и материалы. Вып. II. Одесса, 1926, с.8.
- ⁶ Ю.Курочкин. Дело Липранди. Урал, №6, 1973, с. 144.
- ⁷ Б.А.Трубецкой. Пушкин в Молдавии. Кишинев, 1983, с.42.
- ⁸ Об этом пишет, напр., Л. Гроссман в книге: Пушкин, М., 1939.
- ⁹ Т.Г.Цявловская. Храни меня, мой талисман. Прометей, №10, М., 1974, с.308.
- ¹⁰ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951.
- ¹¹ Цит. по: Б.А.Трубецкой. Пушкин в Молдавии. Кишинев, 1983, с.91.
- ¹² П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874.
- ¹³ Бессарабия. Сб. М., 1903, с.183.
- ¹⁴ Е.М.Двойченко-Маркова. Заметки о Пушкине и беженцах этерии в Кишиневе. Временник Пушкинской комиссии, 1973, с.26.

Глава десятая ХЛОПОТЫ И ОТКАЗЫ

- ¹ Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899, т. II, с.257.
- ² Литературное наследство, т.58, М., 1952, с.301.
- ³ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951.
- ⁴ В.А.Яковлев. Отзывы о Пушкине с юга России. Одесса, 1887, с.151.
- ⁵ П.Катенин. Избр. произв. М.-Л., 1965, с.185.
- ⁶ Более подробный анализ см.: Пушкинский историко-литературный сборник. Под ред. С.А.Венгерова. т. I, Спб., 1914.
- ⁷ Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., т. III, 1899, с.48 и далее.
- ⁸ Эта эффектная формулировка приговора заимствована нами из статьи о Пушкине в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Спб., 1895, т. XIVa(28), с.724.
- ⁹ Друзья Пушкина. М., 1984, т. I, с.494.
- ¹⁰ Ю.Н.Тынянов. Пушкин и его современники. М., 1969.
- ¹¹ Литературное наследство. тт. 22-24, М., 1935, с.23.
- ¹² Так считал, напр., Ю.М.Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981, сс.86-87.
- ¹³ Цит. по: М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.326.
- ¹⁴ Пушкин в воспоминаниях современников. т. I, М., 1974, сс.356-357.
- ¹⁵ Ibid, с.361.
- ¹⁶ С.Потоцкий. Инзов. Биографические очерки. Бендеры, 1904, с.47.
- ¹⁷ Государственный архив Молдавии, ф.1, оп.2, д.752, лл.4-5.
- ¹⁸ Ibid.
- ¹⁹ Эти слова приводит без комментария М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.387.

Глава одиннадцатая ОДЕССА: ЗА ЧЕРТУ ПОРТО-ФРАНКО

- ¹ В.А.Яковлев. Значение нашего края в жизни и деятельности Пушкина. Речь. Одесса, 1887.

² Это братья Россет рассказали П.И.Бартеневу. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.2, с.314.

³ А.В.Сухомлинов. Дом-музей Пушкина. Кишинев, 1959, сс.21-22.

⁴ А.П.Кирпичников. Столетие Одессы. Исторический вестник. 1894.

⁵ Пушкин в Одессе. Методические рекомендации в помощь лектору. Одесса, 1973. См. также: Из прошлого Одессы. Сб., сост. Л.М.де Рибасом. Одесса, 1894.

⁶ Например, статья З.А.Бориневич-Бабайцевой. Пушкин в Одессе. Сб.: О.С.Пушкин в Одесі. Одесса, 1950, с.71.

⁷ Пушкин на юге. Труды Пушкинской конференции Одессы и Кишинева. Кишинев, 1961.

⁸ Об этом упоминает, не придавая значения, Л.Гроссман в книге «Пушкин». М., 1939, с.285.

⁹ И.П.Липранди. Из дневника и воспоминаний. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.1, с.342.

¹⁰ В.И.Саитов, т. I, с. 83; Б.Л.Модзалевский, т.1, сс.58-60.

¹¹ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.406.

¹² Русский архив, 1866, № 10, сс.1473-1474.

¹³ С.А.Соболевский. А.С.Пушкину. В кн.: Миллион терзаний. М., 1991, с.74.

¹⁴ Л.П.Гроссман. Пушкин. М., 1939, с. 204.

¹⁵ М.А.Цявловский. Тоска Пушкина по чужбине. Голос минувшего. 1916.

¹⁶ Ю.Н.Тынянов. Пушкин и его современники. М., 1969.

Глава двенадцатая ПУТЯМИ КОНТРАБАНДИСТОВ

¹ О.С.Пушкин в Одесі. Одесса, 1950, с. 76.

² Н.О.Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е, Спб., 1910, с.89.

³ См.: В.В.Вересаев. Пушкин в жизни. Вып. I, М., 1936, с.45.

⁴ А.Н.Вульф. Рассказы о Пушкине, записанные М.И.Семевским. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т. I, с.413.

⁵ Высказывание это приводит Л.П.Гроссман: Пушкин. М., 1939.

⁶ Н.В.Гоголь. Собрание сочинений. М., 1953, т.5, с.245.

⁷ О.О.Чижевич. Город Одесса и одесское общество в 1837-1877 гг. Из прошлого Одессы. Сб., сост. Л.М.де Рибасом. Одесса, 1894, сс.22-23.

⁸ Ibid.

⁹ Н.О.Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд.2-е, Спб., 1910, с.97.

¹⁰ П.И.Бартенев со слов Веры Вяземской. Русский Архив, 1888, т.11, с.306.

¹¹ Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.1, с.342.

¹² Из прошлого Одессы. Одесса, 1894, с.359.

¹³ В. Лясковский. Корсар. Горизонт. Сборник. Одесса, 1974.

¹⁴ Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.1, с.338.

¹⁵ Материалы для биографического словаря одесских знакомых Пушкина. Пушкин. Статьи и материалы. Вып.111. Одесса, 1927.

¹⁶ Пушкин в воспоминаниях современников. Комментарии. М., 1974, т.2, с.510.

¹⁷ Из прошлого Одессы. Сб., сост. Л.М.де Рибасом. Одесса, 1894.

¹⁸ Н.В.Берг. Посмертные записки. Русская старина, 1891, №3. с.591.

¹⁹ А.В.Недзведовский. Пушкинский юбилей 1937 года в Одессе. В кн: Пушкин на юге. Кишинев, 1958, с.348.

²⁰ Н.Мурзакевич. Одесская старина. Одесса, 1869, с. 33.

Глава тринадцатая ДЕНЬГИ ДЛЯ ВЫЕЗДА

¹ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, т.1, с.127.

² На это первым обратил внимание Л.Гроссман в книге: Пушкин. М., 1939, с.284.

³ Ю.М.Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981, с.101.

⁴ Ю.М.Лотман. Роман Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1983, с.172.

⁵ Ю.Н.Тынянов. Пушкин и его современники. М., 1968.

⁶ Например: И.Фейнберг. Читая тетради Пушкина. М., 1985.

⁷ Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.1, с.421.

⁸ Из прошлого Одессы. Сб., сост. Л.М.де Рибасом. Одесса, 1894.

⁹ К.А.Полевой. Записки. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.2, с.61.

¹⁰ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М.,1951.

Глава четырнадцатая ОТ ТУЧ ПОД ГОЛУБОЕ НЕБО

¹ В.Ходасевич. Поэтическое хозяйство Пушкина. Л., 1924, Кн.1. сс.51–52.

² Иван Бороздна. Поэтические очерки Украины, Одессы и Крыма. Письма в стихах к графу В.П.З. М., 1837.

³ А.И.Кирпичников. Столетие Одессы. Исторический вестник. 1894, август.

⁴ Л.Н.Толстой. ПСС. М., 1950, т.35, с.40.

⁵ Ibid, с.690.

⁶ Из прошлого Одессы. Сб., сост. Л.М.де Рибасом. Одесса, 1894, с.367.

⁷ Литературные листки. 1824, с.25.

⁸ Записки Н.В.Басаргина. Деятнадцатый век. Сб., изд. П.И.Бартевым. Кн.1. М., 1872, с.80.

⁹ Письмо М.С.Воронцова П.Д.Киселеву, 28 марта 1824. Литературное наследство, т.58.

¹⁰ Цитируем по работе Т.Г.Цявловской. Храни меня, мой талисман. Прометей, №10, М., 1974, с.22.

¹¹ Из поздних работ на эту тему: М.Филин. Перстень верный. Литературная Россия, №7, 17 февраля 1989.

¹² Т.Г.Цявловская. Храни меня, мой талисман. Прометей, №10, М., 1974, с.359.

¹³ З.А.Бориневич-Бабайцева. Высылка Пушкина из Одессы (с. 272) и другие статьи в сборниках «Пушкин на юге». Труды Пушкинских конференций Одессы и Кишинева. Кишинев, 1958 и 1961.

¹⁴ Альбом Московской Пушкинской выставки 1880 года. М., 1882.

¹⁵ О.С.Пушкин в Одесі. Одесса, 1950, с.124.

¹⁶ Т.Г. Цявловская. Храни меня мой талисман. Прометей, №10, М., 1974.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874.

¹⁹ Ф.Ф. Вигель. Из «Записок». Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1885, т. I, с. 230.

²⁰ Г.Зленко. Одесские тетради. Одесса, 1980, с.5.

²¹ П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874, с.259.

²² Временник Пушкинской комиссии. М.-Л., 1936, т. 2, сс.287-288.

²³ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951.

²⁴ Переписка Пушкина. М., 1982, т. I, с.177.

²⁵ А.де Рибас. Старая Одесса. Исторические очерки и воспоминания. Одесса, 1913.

²⁶ Ibid.

Глава пятнадцатая «Я НОШУ С СОБОЮ СМЕРТЬ»

¹ Б.В.Томашевский. Пушкин. Кн. I. М.-Л., 1956, с.435.

² Пушкин. Соб. соч. М., 1959. Комментарий Т.Цявловской. т. I, с.612.

³ Б.Майков. Пушкин. Спб., 1912, с.29.

⁴ Пушкин. Письма. Под редакцией и с примечаниями Б.Л.Модзалевского. М.-Л., 1926, т. I, с.314.

⁵ П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874, с.260.

⁶ Ibid, с.253.

⁷ Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т. I, с.357.

⁸ Из прошлого Одессы. Сб., сост. Л.М.де Рибасом. Одесса, 1894, с.31.

⁹ Е.В.Петухов. Об отношении императора Николая I и Пушкина. Речь. Юрьев, 1897.

¹⁰ По морю и суше. Одесса, 1895, №11, сс.1-2.

¹¹ Переписка Пушкина. М., 1982, т. I, с.89.

¹² М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.485.

¹³ Рукою Пушкина. М.-Л., 1935, с.837-838.

Глава шестнадцатая ЧАС ПРОЩАНИЯ

¹ П.И.Бартенев. Из рассказов князя Петра Андреевича и княгини Веры Федоровны Вяземских. Русский архив, 1888, №7, с. 306.

² Т.Г. Цявловская. Неясные места биографии Пушкина. Сб. Пушкин. Исследования и материалы. т. IV. М.-Л., 1962, с.33; Прометей, №10, М., 1974, с.34.

³ А.О.Смирнова-Россет. Воспоминания о Жуковском и Пушкине. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т. II, с.154.

⁴ Т.Г.Цявловская. Храни меня, мой талисман. Прометей, М., 1974, с.25.

⁵ Ibid, с.160.

⁶ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И.Бартеневым в 1851-1860 годах. Л., 1925.

⁷ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, т. I, с.494.

⁸ Пушкин. ПСС. М.-Л., 1931, т.6. Путеводитель. Хронологическая канва биографии Пушкина. Сост. М.А.Цявловский, с.11.

- ⁹ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.493.
- ¹⁰ Альбом Московской Пушкинской выставки 1880 года. М., 1882.
- ¹¹ П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874, с.283.
- ¹² Пушкин. Исследования и материалы. т.XIV, с.134.
- ¹³ Прометей, №10, М., 1974, с.30.
- ¹⁴ Ibid, сс.30–34.
- ¹⁵ В.Лясковский. Корсар. В сб.: «Горизонт». Одесса, 1974.
- ¹⁶ Л.П.Гроссман. Пушкин. М., 1939.
- ¹⁷ Л.Берловская в сб.: Одесский год Пушкина. Одесса, 1973, с.8.
- ¹⁸ Пушкин об искусстве. М., 1990, т.1, с.73.
- ¹⁹ Одесский год Пушкина. Одесса, 1973, с.12.
- ²⁰ Рукою Пушкина. М.–Л., 1935, с.636.
- ²¹ М.Цветаева. Сочинения. М., 1980, т.2, с.360.
- ²² П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874.
- ²³ Пушкин. Статьи и материалы. Одесса, 1926, вып. II, с.93.
- ²⁴ Н.О.Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е, Спб., 1910, с.446.
- ²⁵ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.560.
- ²⁶ Л.М.Аринштейн. К истории высылки Пушкина из Одессы. В сб.: Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1982, с.288.
- ²⁷ А.Л.Вейнберг. Граф М.С.Воронцов о Пушкине. Московский пушкинист. Вып. II. М., 1930, сс.55–58. Подлинник по-фр.
- ²⁸ Русский Архив, 1901, №6, с.187.
- ²⁹ Пушкин. Статьи и материалы. Вып. I. Одесса, 1925, с. 49.
- ³⁰ Об этом мечтательно пишет в биографии поэта Л.П.Гроссман. Пушкин. М., 1939, с.310.
- ³¹ И.А.Крылов. Сочинения. М., 1984, т.1, с.161.

Хроника вторая ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА

Глава первая МИХАЙЛОВСКОЕ: УГОВОР С БРАТОМ

- ¹ Ю.М.Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981, с.112.
- ² Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899, т. III, с.74.
- ³ М.Цявловский. Тоска по чужбине у Пушкина. Голос минувшего. 1916, с.36.
- ⁴ Несколько слов о Пушкине. Псковские губернские ведомости, 1868, №10.
- ⁵ Русская старина, 1908, октябрь, сс. 111–112.
- ⁶ Псковские губернские ведомости, 1868, №10.
- ⁷ Соболевский, друг Пушкина. Со статьей В.И.Саитова. Пг., 1922.
- ⁸ Рукою Пушкина. М.–Л., 1935, сс.304–305.
- ⁹ В.И.Чернышев. Пушкинский уголок. Известия Гос. рус. геогр. общества, 1928, т. X, с.353.
- ¹⁰ Русский архив, 1872, сс.2360–2361.
- ¹¹ Звенья. Сб. материалов. т. VI, 1936, с.149.

¹² Ал.Виков. Письма П.Я.Чаадаева из-за границы брату, 1823-1825. Записки общества истории, филологии и права при Варшавском университете, 1912, вып. VI, сс.168-169.

Глава вторая СЛУГА НЕПОКОРНЫЙ

¹ П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874, с.283.

² Друзья Пушкина. М., 1984, т. II, с.200.

³ П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874, с.287.

⁴ Е.В.Петухов. Пушкинский сб. Императорского Юрьевского университета. Юрьев, 1982, с.9.

⁵ А.Н.Вульф. Рассказы о Пушкине, записанные М.И.Семевским. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.1, с.414.

⁶ П.Мериме. Новеллы. М., 1953, с.529.

⁷ А.Н.Вульф. Рассказы о Пушкине, записанные М.И.Семевским. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.1, с.414.

⁸ Н.М.Карамзин. Письма русского путешественника. М., 1980, сс.30 и 35.

⁹ И.И.Пушин. Записки о Пушкине, письма. М., 1956, с.82.

¹⁰ Ibid, с.88.

¹¹ Г.Дейч. По следам утерянной переписки. Ленинградская правда, 6 июня 1986.

Глава третья ЛЕГАЛЬНО, ДЛЯ ОПЕРАЦИИ

¹ С.М.Бонди. Подлинный текст и политическое содержание «Воображаемого разговора с Александром I». Литературное наследство, т.58, с.191.

² Пушкин. Письма. Под ред. Б.Л.Модзалевского. М.-Л., 1926, т. I, с.431.

³ Письмо Л.С.Пушкина от 16 февраля 1825. М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951.

⁴ Ibid, с.574.

⁵ Пушкин. Письма. Под ред. Б.Л.Модзалевского. М.-Л., 1926, т. I, с.447.

⁶ В.В.Вересаев. Пушкин в жизни. М.-Л., 1936, с.275.

⁷ Б.М.Шубин. Дополнение к портретам. М., 1989, с.52.

⁸ Н.А.Тучкова-Огарева. Воспоминания. М., 1959, с.96.

⁹ Н.И.Пирогов. Соч. Спб., 1887, т.2, с.136.

¹⁰ П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874, сс.287-288.

¹¹ Ibid, сс.288-289.

¹² Эта приписка опущена в Полном академическом собрании сочинений в десяти тт. См. Б.Ак.13,163.

¹³ Русский архив, 1870, №6.

¹⁴ ЦГВИА, ф.35, оп.2/243, д. III, л.3 и об. Оригинал на фр.

¹⁵ Советские архивы, 1977, №2, с.85.

¹⁶ Ibid, с.82.

¹⁷ П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874, с.294.

¹⁸ Н.О.Лернер. Труды и дни Пушкина. Спб., 1910, с.119.

¹⁹ Псковские губернские ведомости, 1868, №10, с.68.

²⁰ И.А.Крылов. Соч. М., 1956, т. I с.174.

Глава четвертая ЗАГОВОР С ТИРАНСТВОМ

¹ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И.Бартеневым в 1851–1860 гг. Л., 1925, с.52.

² В.В.Вересаев. Спутники Пушкина. М., 1993, с.359.

³ Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.1, с.398.

⁴ П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874, с.283.

⁵ Пушкин и его современники. Вып. VIII. Л., 1930, с.86.

⁶ В.В.Вересаев. Об автобиографичности Пушкина. Печать и революция, 1925, кн.5–6, с.41.

⁷ Б.В.Томашевский. Пушкин и итальянская опера. Пушкин и его современники. т. VIII, с.50.

⁸ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.570.

⁹ В.Я.Смирнов. Жизнь и поэмы Н.М.Языкова. Критико-биографическое исследование. Пермь, 1900, с.120.

¹⁰ Письма Н.М.Языкова к родным за дерптский период его жизни. Спб., 1913, с.196.

¹¹ Ibid, с.261.

¹² М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.641.

¹³ А.Роспопов. Русская старина, 1876, т.15, с.466.

¹⁴ Цит. по ст. Н.Скатова. Прекрасен наш союз. Пушкинист. Сб. Пушкинской комиссии. М., 1989, с.243.

¹⁵ И.А.Новиков. Пушкин в изгнании. М., 1985, сс.682–683.

Глава пятая ПРОШЕНИЕ ЗА ПРОШЕНИЕМ

¹ Здесь имеется ссылка на работу: A.Hasselblatt und G.Otto. Album Academicum der Kais. Univ. Dorpat. 1896, S.43, N622. Пушкин. Письма. Под редакцией и с примечаниями Б.Л.Модзалевского. М.–Л., 1926, т.1, с.520.

² I. Brenson. Die Aerzte Livlands. Mitau, 1905, S.342.

³ Das Inland. Eine Wochenschrift für Liv- Esth- und Kurlands Gesch., Geogr., Stat. und Liter. Jahrgang 1837, №12, 24 März, S.212.

⁴ Письмо А.П.Керн от апреля–мая 1859 г. в кн.: А.П.Керн. Воспоминания, дневники, переписка. М., 1989, с.333.

⁵ Комментарий Б.Л.Модзалевского в кн.: Пушкин. Письма. М.–Л., 1926, т.1, с.463.

⁶ Л.А.Черейский. Пушкин и его окружение. Л., 1988, с.82.

⁷ Журнал «Даугава», Рига, 1985, №9, сс.77–78.

⁸ ЦГВИА, Дела Канцелярии Главного штаба Его Императорского Величества, ф.35, оп.2/243, д.III, л.11.

⁹ Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899, т.V, вып.1, сс.56–57.

¹⁰ ЦГВИА, Дела Канцелярии Главного штаба Его Императорского Величества, ф.35, оп.2/243, д.III, л.10. Оригиналы обоих писем на фр.

Глава шестая
«ЧТО МНЕ В РОССИИ ДЕЛАТЬ?»

¹ И.А.Новиков. Пушкин в изгнании. М., 1985, с.715.

² П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874; Ю.Айхенвальд. Дон-Кихот на русской почве. Chalidze Publications, NY, 1982, vol.I, p.42.

³ С.А.Соболевский. Таинственные приметы в жизни Пушкина. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.2, с.7.

⁴ И.Фейнберг. Читая тетради Пушкина. М., 1985.

⁵ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.659.

⁶ Ю.Н.Тынянов. Кюхля. Глава «Побег», сс.211–236. В кн.: Избранные произведения. М., 1956.

⁷ Цит. по: Б.Вадецкий. Федор Матюшкин. М.–Л., 1949, с.17.

⁸ М.А.Бестужев. Мои тюрьмы. В сб.: Писатели–декабристы в воспоминаниях современников. М., 1980, т.1, с.73.

⁹ Барон А.Е.Розен. Записки декабриста. В сб.: Писатели–декабристы в воспоминаниях современников. М., 1980, т.1, с.159.

¹⁰ Цитирует без комментария М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.777.

¹¹ Письма Языкова к родным за дерптский период его жизни. Спб., 1913, с.243.

Глава седьмая
НА ПРИВЯЗИ

¹ Л.Гроссман. Пушкин в театральных креслах. Л., 1926, с.168.

² В кн.: М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951.

³ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.688.

⁴ Цит. по: Н.Я.Эйдельман. Пушкин и его друзья под тайным надзором. Вопросы литературы, 1985, №2, с.132.

⁵ М.А.Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.712, по-фр.

⁶ А.Покровский. Следствие над декабристами. В кн.: Восстание декабристов. Материалы. тт. I–IV. М.–Л., 1925–29, с.XVIII.

⁷ Книга К.Х.Бенкендорфа издана в Петербурге в 1879 году, и экземпляр ее имеется в Российской государственной библиотеке.

⁸ Эта фраза русского царя, высказанная послу Н.Пальмшерну, приводится в книге: A.Wellington. Despatches, Correspondence and Memoranda. vol.III. London, 1860, p.152.

⁹ Интересно, что это цитировал советский вузовский учебник «История СССР XIX века». М., 1983, с.161.

¹⁰ Пушкин. Письма. Под ред. Б.Л.Модзалевского. М.–Л., 1928, т. II, с.157.

¹¹ Л.Гроссман. Пушкин. М., 1939, с.363.

¹² Н.Д.Дубровин. П.Я.Чаадаев. Материалы для его биографии. Русская старина, декабрь, 1900, с.586.

¹³ Архив братьев Тургеневых. Пушкинский дом, фонд 309.

¹⁴ Пушкин. Письма. Под ред. Б.Л.Модзалевского, М.–Л., 1928, т. II, с.157.

Глава восьмая
МОСКВА: «ВОТ ВАМ НОВЫЙ ПУШКИН»

¹ М.А.Корф. Записки. Русская старина, 1900, т.101, с.574. В.В.Вересаев. Пушкин в жизни. Минск, 1986, с.25. Пушкин в воспоминаниях современников: изд. 1-е. М., 1974, т.1, с.122, изд. 2-е. М., 1985.

² М.И.Цветаева. Сочинения. Минск, 1989, т.2, сс.333-334.

³ Описание Санкт-Петербурга Ив.Пушкарева. Спб., 1839, с.1.

⁴ Многочисленные источники на эту тему собраны в кн.: Г.А.Невелев. Истина сильнее царя. М., 1985, сс.101-102.

⁵ Н.Я.Эйдельман. Секретная аудиенция. Новый мир, 1985, №12.

⁶ Е.В.Петухов. Об отношениях императора Николая I и А.С.Пушкина. Юрьев, 1897, сс.1-2.

⁷ Рассказы о Пушкине. Изд. М. и С.Сабашниковых. М., 1925, с.34.

⁸ См. также аргументы Д.Д.Благого: Творческий путь Пушкина. М., 1967, сс. 29 и 674. Первоисточник всех предположений — воспоминания А.П.Пятковского «Пушкин в Кремлевском дворце». Русская старина, 1880, т.27, с.674. Пятковскому высказал мнение брат поэта Веневитинова.

⁹ См.: Е.А.Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1981, с.110.

¹⁰ С.Булгаков. Жребий Пушкина. Наше наследство, 1989, с.345.

¹¹ Слова брата Пушкина записал Н.И.Лорер. Записки декабриста. М., 1931, с.200.

¹² Напр.: Пушкин. Исследования и материалы, т.XIV, с.61 и др.

Глава девятая
ПОХМЕЛЬЕ ПОСЛЕ СЛАВЫ

¹ Воспоминания С.А.Соболевского. «Русский», газета политическая и литературная. 1867, лл.7-8, с.111.

² Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921, вып.6, сс.42-43.

³ Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.2, сс.363-364.

⁴ Пушкин. Письма. Под ред. Б.Л.Модзалевского. М.-Л., 1928, т.II, сс.208-209.

⁵ См. напр.: Н.Г.Костин. К вопросу об эволюции общественно-политических взглядов Пушкина в конце 20-х — начале 30-х гг. В сб.: Пушкин. Статьи и материалы. Ученые записки Горьковского университета. Горький, 1971, вып.115.

⁶ П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874, с.83.

⁷ Ibid, с.85.

⁸ Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.1, с.463.

⁹ Пушкин. Сб. статей. Под редакцией А.Еголина. М., 1941, с.51.

¹⁰ В.В.Ермилов. Наш Пушкин. М., 1949, сс.16,18,19.

¹¹ П.А.Вяземский. Полн. соб. соч. Спб., 1878, т.I, сс. 321.

¹² Пушкин в воспоминаниях современников. М.,1974, т.1, сс.89-90.

¹³ А.Н.Радищев. Полн. соб. соч. М.-Л., 1952, т.I, сс.7-8.

¹⁴ П.И.Першин-Караксарский. Воспоминания о декабристах. В сб.: В потомках ваше имя оживет. Иркутск, 1986, с.138.

¹⁵ Ю.М.Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981, с.176.

¹⁶ Неизданные места из записок И.И.Пушина. Полярная звезда, 1861, с.113.

¹⁷ П.А.Вяземский — В.А.Жуковскому. Март, 1826. Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899.

- ¹⁸ Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.1, с.222.
- ¹⁹ Ю.Н.Тынянов. Пушкин и его современники. М., 1968, с.71.
- ²⁰ К.А.Полевой. Из записок. В кн.: Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.2, с.54.
- ²¹ 1917 год в документах и материалах. Буржуазия накануне Февральской революции. Изд. Б.Б.Граве. М.-Л., 1927, с. 61.
- ²² Ю.М.Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981, с. 126.
- ²³ А.И.Дельвиг. Из «Моих воспоминаний». Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.2, с.117.
- ²⁴ Это отмечает Ю.Н.Тынянов. Пушкин и его современники. М., 1968, с.307.
- ²⁵ Ф.М.Достоевский. ПСС. М., 1979, т. 19, с.10.
- ²⁶ С удовольствием цитирует это Ю.Н.Тынянов. Пушкин и его современники. М., 1969, сс.116-117.
- ²⁷ Н.П.Барсуков. Жизнь и труды М.П.Погодина. Кн. II, с.253, по-фр.

Глава десятая НОВАЯ СТАРАЯ СТРАТЕГИЯ

- ¹ Д.-Г.Байрон. Соб. соч. М., 1981, т. I, с.567.
- ² П.И.Бартенев. Русский Архив, 1874, т. II, с.703.
- ³ Цит. по: Б.Л.Модзалевский. Пушкин. Л., 1929, с.375, по-фр.
- ⁴ Б.В.Томашевский. Пушкин. М.-Л., 1962, кн.2, с.385.
- ⁵ О.Демиковская, К.Демиковский. Тайный враг Пушкина. Русская литература, 1963, №3, сс.85-89.
- ⁶ Пушкин писал «Андрей Шенье», хотя он Андре Мари Шенье. Лишняя буква в имени могла сначала испугать власти, что автор — русский.
- ⁷ К.Н.Батюшков. Избр. соч. М., 1986, сс.444, 448.
- ⁸ И.К.Ениколопов. Пушкин в Грузии и под Эрзерумом. Тбилиси, 1975.
- ⁹ И.К.Ениколопов. Пушкин в Грузии. Тбилиси, 1950.
- ¹⁰ Ф.Ф.Вигель. Из «Записок». Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.1, сс.229-230.
- ¹¹ Соболевский, друг Пушкина. Со статьей В.И.Саитова. Пг., 1922.
- ¹² Н.П.Барсуков. Жизнь и труды М.П.Погодина. Кн. II, сс.63-64.
- ¹³ РГАЛИ, ф.450, ед.хр.43.
- ¹⁴ Пушкин и его современники. Вып. XXXI-XXXII. Л., 1927, с.38.
- ¹⁵ Б.Ак. 13.329.
- ¹⁶ М.Я.фон Фок, донесение А.Х.Бенкендорфу. Б.Л.Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. Л., 1925, с.40.
- ¹⁷ Исторический вестник, 1886, №3, с.552.
- ¹⁸ Соболевский, друг Пушкина. Со статьей В.И.Саитова. Пг., 1922, с.39.
- ¹⁹ П.Я.Чаадаев. Полн. соб. соч. и избр. писем. М., 1991, т.2, с.66.

Глава одиннадцатая НЕОТМЕЧЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ

- ¹ П.Л.Яковлев — А.Е.Измайлову, 21 марта 1827. В кн.: Сборник памяти Л.Н.Измайлова. Спб., 1902, с.249.
- ² А.А.Скальковский. В кн.: Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.2, с.392.

³ Цит. по: Т.Г.Цявловская. Не Ленский, а Туманский. Пушкинский праздник. 4–9 июня 1976, с.21.

⁴ М.И.Цветаева. Соч. М., 1980, т. I, с.296.

⁵ Н.К.Шильдер. Император Николай I, его жизнь и царствование. Спб., 1903, т. I, с.342.

⁶ Русский архив, 1877, кн. I, №4, сс.513–514.

⁷ Исторический вестник, 1883, №12, с.536.

⁸ Воспоминания о Тынянове. Сб. М., 1983, с.281.

⁹ В.Гаевский. Празднование лицейских годовщин. Отечественные записки, 1861, т. 139, с.36.

¹⁰ Разговоры Пушкина. М., 1939, с.138.

¹¹ П.И.Бартенев. Русский архив, 1888, т. III, с.468.

¹² Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т. 2, с.246; Звенья, т. IV, М.–Л., 1936, с.198.

Глава двенадцатая В АРМИЮ ИЛИ В ПАРИЖ

¹ Н.В.Путята. Записные книжки. Русский Архив, 1899, кн. II, с.350.

² Н.О.Лернер. Труды и дни Пушкина. 2-е изд. Спб., 1910.

³ П.А.Муханов — М.П.Погодину, 11 августа 1828 г. Цит. по: Н.П.Барсуков. Жизнь и труды М.П.Погодина. т. II, с.185.

⁴ М.П.Алексеев. Английский язык в России. Ученые записки ЛГУ, вып. 9, 1944, сс.102–106.

⁵ Исторический вестник, 1883, №12, с.527.

⁶ П.А.Вяземский — А.И.Тургеневу, 18 апреля 1828 года. Переписка А.И.Тургенева с кн. П.А.Вяземским, т. I, Пг., 1921, сс.70–71.

⁷ Друзья Пушкина. М., 1984, т. I, с.245.

⁸ Русский вестник, 1865, ноябрь, с.367.

⁹ И.К.Ениколопов. Пушкин в Грузии. Тбилиси, 1950, с.34.

¹⁰ Временник Пушкинской комиссии, 1980, с.111.

¹¹ Литературное наследство, т. 58, с.76.

¹² Ibid, с.14.

¹³ Пушкин. Письма. Под ред. Б.Л.Модзалевского. М.–Л., 1928, т. II, с.48.

¹⁴ М.Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. Изд. 2, Спб., 1909, с.487.

¹⁵ Русский Архив, 1901, кн. III с.142.

¹⁶ В.В.Вересаев. Пушкин в жизни. М.–Л., 1936, с.390.

¹⁷ П.А.Вяземский — А.И.Тургеневу, 25 февраля — 12 марта 1827. Литературное наследство, т. 58, с.63.

¹⁸ Переписка А.И.Тургенева с кн. П.А.Вяземским 1814–1837, Пг., 1921, сс.68–69.

¹⁹ Ibid, сс.71–72.

²⁰ Пушкин. Письма. Под ред. Б.Л.Модзалевского. М.–Л., 1928, т. II, с.50.

²¹ Ibid, с.287.

²² Ibid, сс.288–289.

²³ Переписка А.И.Тургенева с кн. П.А.Вяземским. Пг., 1921, вып. 6, с.70–71.

²⁴ Ibid, с.71.

²⁵ П.А.Вяземский. Старая записная книжка. Л., 1929, с.337.

²⁶ Звенья. Сб. материалов и документов. т. VI, М.–Л., 1936, с.199, по-фр.

Глава тринадцатая
«ЧЕСТЬ ИМЕЮ ДОНЕСТИ»

- ¹ Б.Л.Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. 3-е изд. Л., 1925, с.6.
- ² М.А. Цявловский. Летопись жизни и творчества Пушкина. М., 1951, с.43.
- ³ Б.Л.Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. 3-е изд. Л.,1925, с.36.
- ⁴ МВД. Исторический очерк. Спб., 1901, с.100.
- ⁵ М.А.Дмитриев. Воспоминания. Рукописный отдел РГБ, шифр 818412, с.211.
- ⁶ И.И.Пушин. Записки о Пушкине, письма. М., 1956, с.75.
- ⁷ М.Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. Изд.2-е. Спб., 1909, с.135. Здесь имеется ссылка на «Северную пчелу», 1854, №175.
- ⁸ Ibid, с.467.
- ⁹ Л.А.Черейский. Пушкин и его окружение. 2-е изд. Л., 1988, с.468.
- ¹⁰ На это обратил внимание Панаев в своих мемуарах: И.И.Панаев. Литературные воспоминания. ПСС, Спб., 1888, т.IV, сс.40–42.
- ¹¹ И.И.Горбачевский. Записки декабриста. М., 1916, с.300.
- ¹² Н.Я.Эйдельман. Пушкин: история и современность в художественном сознании поэта. М., 1984, с.118.
- ¹³ В.В.Вересаев. Спутники Пушкина. М., 1993, с.146.
- ¹⁴ Ю.М.Лотман. Пушкин. Биография писателя. Л., 1981, с.149.
- ¹⁵ А.Х.Бенкендорф. Донесение Николаю 12 июля 1827. Старина и новизна, т.VI, с.6, по-фр.
- ¹⁶ С.П.Шевырев. Рассказы о Пушкине. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.2, с.40.
- ¹⁷ Русская старина, 1874, №2, с.392–399.
- ¹⁸ М.Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. Изд.2-е. Спб., 1909, с.491.
- ¹⁹ Н.В.Путята. Из записной книжки. Русский Архив, 1899, т.I, с.351.
- ²⁰ П.В.Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. Спб., 1874, с.53.
- ²¹ М.Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. Изд.2-е. Спб., 1909, с.491.
- ²² Литературное наследство, т.58, с.16.

Глава четырнадцатая
ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО

- ¹ Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И.Бартеневым. Л., 1925, с.49.
- ² Воспоминания Ф.М.Деларю. В кн.: Альбом Московской Пушкинской выставки 1880 г. М., 1882, с.156.
- ³ П.А.Каратыгин. Северная пчела, 1825–1859 год. Русский архив, 1882, кн.IV, с.274.
- ⁴ С.П.Шевырев. Рассказы о Пушкине. В кн.: Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.2, с.39.
- ⁵ Записки А.О.Смирновой. Спб., 1895, с.33.
- ⁶ Л.Павлищев. Воспоминания об А.С.Пушкине. М., 1890, с.97.

- ⁷ К.А.Полевой. Записки. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.2, с.61.
- ⁸ Ibid, с.62.
- ⁹ Русский библиофил, 1911, №5, с.34.
- ¹⁰ Уже цитированное Литературное наследство, т.58.
- ¹¹ Протокол заседания комиссии. Секретно. Дела III отделения собственной Е.И.В. канцелярии об А.С.Пушкине. Спб., 1906, с.343.
- ¹² Копию письма сделал А.Н.Бахметев, зять П.А.Толстого, ведшего расследование дела. Об этом: В.П.Гурьянов. Письмо Пушкина о «Гаврилиаде». Пушкин. Исследования и материалы. т.VIII, сс.287–288.
- ¹³ А.Н.Вульф. Дневник, 4–5 октября 1828 года. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.1, с.417.
- ¹⁴ Д.Д.Благой. Творческий путь Пушкина. М., 1967, с.180.
- ¹⁵ Н.В.Измайлов. Из истории Пушкинского текста «Анчар, древо яда». Пушкин и его современники, вып. XXXI–XXXII. Л., 1927, сс.3–14.
- ¹⁶ Д.Д.Благой. Творческий путь Пушкина. М., 1967, сс. 189–190.
- ¹⁷ В.В.Виноградов. Стиль Пушкина. М.,1941, сс.422–426. А также: О стиле Пушкина. Литературное наследство, тт.16–18, 1934, сс.143–148.
- ¹⁸ Е.А.Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1984, с.118.
- ¹⁹ Словарь языка Пушкина. М., 1961, т.IV, с.1030.
- ²⁰ Разные варианты, кроме Полных соб. соч. (X.509 и Б.Ак.14.266), см.: Пушкин. Письма. Под ред. Б.Л.Модзалевского. т.II, М.–Л., 1928, с.56 с пропусками и ошибками; Пушкин. Соб. соч. М., 1962, т.9, с.386.
- ²¹ Например: Е.А.Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1984, с.118.
- ²² Соч. Пушкина. Переписка. Под ред. и с прим. В.И.Саитова, т.II, Спб., 1908, с.77.
- ²³ Н.А.Муханов. Дневник. Пушкин в воспоминаниях современников. 1974, т.2, с.182.

Глава пятнадцатая НЕ СОВСЕМ ТАЙНЫЙ ОТЪЕЗД

- ¹ А.П.Керн. Воспоминания, дневники, переписка. М., 1989, с.46.
- ² Пушкин. Письма. Под ред. Б.Л.Модзалевского. М.–Л., 1928, т.II, с.243.
- ³ Литературное наследство, т.58, с.16.
- ⁴ Ibid, с.89.
- ⁵ В.В.Кунин. Жизнь Пушкина. М., 1987, с.147.
- ⁶ Ibid, с.149.
- ⁷ Г.А.Невелев. Истина сильнее царя. М., 1985, с.53.
- ⁸ Литературное наследство, т.58, с.91.
- ⁹ Московский телеграф. 1830, №12.
- ¹⁰ Соч. Пушкина под ред. Ефремова. 1903, т.VII, с. 677.
- ¹¹ Цит. по: М.Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. Изд.2–е. Спб., 1909, с.493.
- ¹² В.В.Кунин. Соболевский. В кн.: Друзья Пушкина. М., 1984, т.II, с. 283.
- ¹³ Русский Архив, 1906, кн.III, с.567.
- ¹⁴ К. Черный. Кавказ подо мною. Ставрополь, 1965, с.62.
- ¹⁵ Цит. по: Н.М.Волович. Пушкинские места Москвы и Подмосковья. М., 1979, с.91.

- ¹⁶ Русский Архив, 1899, №6, с.356.
- ¹⁷ Л.А.Черейский. Пушкин и его окружение. Изд. 2, Л., 1988, с.522.
- ¹⁸ И.К.Ениколопов. Пушкин в Грузии и под Эрзерумом. Тбилиси, 1975, с.31.
- ¹⁹ Предисловие в кн.: Письма и дневник А.И.Тургенева геттингенского периода. Спб., 1911.
- ²⁰ Ibid, с.11.
- ²¹ Ibid, с.113.
- ²² Архив Раевских. Спб., 1908, т.І, сс.441-442.
- ²³ А.И.Герцен. Соб. соч. М., 1956, т.VII, с.207.
- ²⁴ М.О.Гершензон. Статьи о Пушкине. М., 1926, с.59.
- ²⁵ Литературный архив, М.-Л., 1938, т.1, с.5.
- ²⁶ Русский Архив, 1901, кн.ІІІ, с.298.
- ²⁷ Ibid.
- ²⁸ А.Э.Одынец — Ю.Корсаку, 9-21 мая 1829 года. Цит. по: В.В.Вересаев. Пушкин в жизни. М., 1936, сс.330-331.
- ²⁹ Литературное наследство, т.58, сс.89-90.
- ³⁰ Ibid, с.88.
- ³¹ Т.Г.Цявловская. Храни меня, мой талисман. Прометей, М., 1974, №10, с.68.
- ³² Ю.Н.Тынянов. О «Путешествии в Арзрум». Пушкин и его современники. М., 1969, с.193.

Глава шестнадцатая КАВКАЗ: ПЕРЕХОД ГРАНИЦЫ

- ¹ Записки А.П.Ермолова. М., 1868, ч.ІІ, сс.130 и 162.
- ² Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899, т.2, с.275.
- ³ И.К.Ениколопов. Пушкин в Грузии и под Эрзерумом. Тбилиси, 1975, с.47.
- ⁴ Н.Муравьев. Записки. Рукопись. Госуд. центр. архив Грузии, ф.2, №9202.
- ⁵ В.В.Кунин. Жизнь Пушкина. М., 1987, т.ІІ, с.154.
- ⁶ Цит. по: З.А.Каменский. Урок Чаадаева. Вопросы философии, 1986, с.139.
- ⁷ Подробно об этих планах — в ставшей теперь библиографической редкостью книге Исарлова: Письма о Грузии. Тифлис, 1899, с.15.
- ⁸ К.Черный. Кавказ подо мною. Ставрополь, 1965, с.62.
- ⁹ Кавказская поминка о Пушкине. Издание редакции газеты «Кавказ». Тифлис, 1899, с.118.
- ¹⁰ Н.И.Ушаков. История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах. Изд.2, Варшава, 1843, с.303.
- ¹¹ Об этом: Вопросы литературы, 1990, №1, с.25.
- ¹² А.С.Гангблов. Воспоминания декабриста. М., 1888, сс.187-188.
- ¹³ Л.Гроссман. Пушкин. М., 1939, с.435.
- ¹⁴ Цит. по: К.Черный. Кавказ подо мною. Ставрополь, 1965, с.126.

Глава семнадцатая «ЖАЛЬ МОИХ ПОКИНУТЫХ ЦЕПЕЙ»

- ¹ Ю.Н.Тынянов. Избранные произведения. М., 1956, с.122.
- ² А.С.Грибоедов. Соч. М., 1971, с.294.
- ³ И.К.Ениколопов. Пушкин в Грузии. Тбилиси, 1950, с.93.

⁴ М.М.Щербатов. Генерал-фельдмаршал кн.Паскевич. Спб., 1888-1894, т.ІІІ, сс.198-199.

⁵ Н.О.Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд.2-е. Спб., 1910, с.185.

⁶ М.А.Корф. Записка о Пушкине. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.1, с.122.

⁷ Акты Кавказской археологической экспедиции, т.VII, с.954.

⁸ Пушкин. Письма. Под ред. Б.Л.Модзалевского. т.ІІ, М.-Л., 1928, с.345.

⁹ Н.Б.Потоцкий. Встречи с Пушкиным в 1824 и 1829 годах. Русская старина, 1880, №7, с.583.

¹⁰ Известия Отделения русского языка и словесности, 1896, т.І, кн.1, с.106.

¹¹ Дела ІІІ отделения собственной Е.И.В. канцелярии о А.С.Пушкине. Спб., 1906, с.91. Оригинал по-фр.

¹² Русский архив, 1899, кн.ІІ, с.351.

¹³ И.К.Ениколопов. Пушкин в Грузии и под Эрзерумом. Тбилиси, 1975, с.156.

¹⁴ М.В.Юзефович. Воспоминания о Пушкине. Русский архив, 1880, т.ІІІ, с.435.

¹⁵ Т.И.Орнатская. От «Путешествия в Арзрум» к «Фрегату «Паллада». Болдинские чтения. Горький, 1981, с.156.

¹⁶ Г.П.Макогоненко. Творчество Пушкина в 30-е годы. Л., 1982, с.321.

¹⁷ Напр.: И.К.Ениколопов. Пушкин в Грузии и под Эрзерумом. Тбилиси, 1975.

¹⁸ А.П.Семенов. Пушкин на Кавказе. Пятигорск, 1937.

¹⁹ Е.А.Маймин. Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1981, с.132.

²⁰ Voyages en Orient entrepris par ordre du Gouvernement Français. Paris, 1834. — Путешествия на Восток, предпринятые по заданию французского правительства.

²¹ Точка зрения Я.Л.Левкович опубликована: Временник Пушкинской комиссии, 1964, с.37.

²² Б.Л.Модзалевский. Поездка в Тригорское. Пушкин и его современники. Вып.І, с.86.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

¹ Ф.М.Достоевский. Пушкин. Полн. соб. соч. Л., 1984, т.26, с.149.

² И.С.Тургенев. Речь на открытии памятника Пушкину в Москве в 1880 году. Соб. соч. М., 1962, т.10, с.303.

³ С.Л.Франк. Этюды о Пушкине. Мюнхен, 1967, с.88.

⁴ Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т.2, с.52.

⁵ Б.В.Томашевский. Пушкин. Совр. проблемы ист.-лит. изучения. Л., 1925, с.51.

⁶ П.К.Губер. Донжуанский список Пушкина. Пг., 1923, с.10.

⁷ Поэты пушкинского круга. М., 1983, с.502.

⁸ Н.Былов. Пушкин как основа контрреволюции. Буэнос-Айрес, 1953, с.32.

⁹ В начале нашего века, в 1916 году, тщетным попыткам поэта выехать за рубеж посвятил небольшое эссе, уже упоминавшееся раньше, Мстислав Цявловский. В урезанном виде «Тоска по чужбине у Пушкина» была перепечатана в сборнике его работ «Статьи о Пушкине». М., 1962.

¹⁰ Ф.М.Достоевский. Объяснительное слово. Полн. соб. соч. Л., 1984, т.26, с.131.

¹¹ Пушкин. Статьи и материалы. Одесса, 1925, с.12.

¹² В.В.Вересаев. Пушкин и Евпраксия Вульф. В двух планах. М., 1929, с.87.

СОДЕРЖАНИЕ

Хроника первая ИЗГНАННИК САМОВОЛЬНЫЙ

Глава первая. ПУШКИН СОБИРАЕТСЯ ЗА ГРАНИЦУ	9
Глава вторая. «ПЕРЕСЕЛИТЬ ЕГО... В ГЕТТИНГЕН»	28
Глава третья. НЕВЫЕЗДНОЙ	38
Глава четвертая. КОНФЛИКТ УМА И СЕРДЦА	47
Глава пятая. КУРОРТНИК ПОНЕВОЛЕ	70
Глава шестая. КИШИНЕВ: ТРАНЗИТНЫЙ ПУНКТ	79
Глава седьмая. С ГРЕКАМИ В ГРЕЦИЮ	91
Глава восьмая. БЕГСТВО С ТАБОРОМ	101
Глава девятая. НАДЕЖДА НА ВОЙНУ	107
Глава десятая. ХЛОПОТЫ И ОТКАЗЫ	118
Глава одиннадцатая. ОДЕССА: ЗА ЧЕРТУ ПОРТО-ФРАНКО . . .	134
Глава двенадцатая. ПУТЯМИ КОНТРАБАНДИСТОВ	144
Глава тринадцатая. ДЕНЬГИ ДЛЯ ВЫЕЗДА	154
Глава четырнадцатая. ОТ ТУЧ ПОД ГОЛУБОЕ НЕБО	164
Глава пятнадцатая. «Я НОШУ С СОБОЮ СМЕРТЬ»	179
Глава шестнадцатая. ЧАС ПРОЩАНИЯ	189

Хроника вторая ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА

Глава первая. МИХАЙЛОВСКОЕ: УГОВОР С БРАТОМ	209
Глава вторая. СЛУГА НЕПОКОРНЫЙ	222

Глава третья. ЛЕГАЛЬНО, ДЛЯ ОПЕРАЦИИ	231
Глава четвертая. ЗАГОВОР С ТИРАНСТВОМ	245
Глава пятая. ПРОШЕНИЕ ЗА ПРОШЕНИЕМ	264
Глава шестая. «ЧТО МНЕ В РОССИИ ДЕЛАТЬ?»	274
Глава седьмая. НА ПРИВЯЗИ	287
Глава восьмая. МОСКВА: «ВОТ ВАМ НОВЫЙ ПУШКИН»	298
Глава девятая. ПОХМЕЛЬЕ ПОСЛЕ СЛАВЫ	305
Глава десятая. НОВАЯ СТАРАЯ СТРАТЕГИЯ	322
Глава одиннадцатая. НЕОТМЕЧЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ	336
Глава двенадцатая. В АРМИЮ ИЛИ В ПАРИЖ	347
Глава тринадцатая. «ЧЕСТЬ ИМЕЮ ДОНЕСТИ»	360
Глава четырнадцатая. ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО	372
Глава пятнадцатая. НЕ СОВСЕМ ТАЙНЫЙ ОТЪЕЗД	389
Глава шестнадцатая. КАВКАЗ: ПЕРЕХОД ГРАНИЦЫ	403
Глава семнадцатая. «ЖАЛЬ МОИХ ПОКИНУТЫХ ЦЕПЕЙ»	412
Послесловие	425
ПРИМЕЧАНИЯ	432